

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

А. Шевцов

**ВВЕДЕНИЕ
В ПРИКЛАДНУЮ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПСИХОЛОГИЮ**

Академия Самопознания
«Тропа Троянова»
Санкт-Петербург
2007

УДК 159.922
ББК 919.88
Ш37

Серия «Культурно-историческая психология»

Художники: *Я. Темная, А. Глебов*

Ш37 Шевцов А.А.

Введение в прикладную культурно-историческую психологию.

СПб.: Тропа Троянова, 2007. — 352 с. — (Культурно-историческая психология)

А.А. Шевцов, ректор Академии самопознания, последовательно ведет постановку психологии как прикладной науки, обеспечивающей возможности для самопознания.

Данная книга посвящена теории Прикладной КИ-психологии, которая необходима для перехода к прикладной работе.

«Теория — это созерцание действительного предмета своего исследования, то есть предмета, который есть в действительности. И созерцание пути или способа, которым ты этот предмет исследуешь. Если предмет твоей науки душа, то созерцать нужно ее...»

Для психологов, философов и всех, кто хочет познать себя.

УДК 159.922
ББК 919.88

© Издательство «Тропа Троянова», 2007
© А.А.Шевцов, 2007

ISBN 978—5—89798—055—0

Введение

Книгу, посвященную прикладной психологии, стоило бы начать с предшественников. К сожалению, история культурно-исторической психологии, насчитывающая более века, совсем не богата такими предшественниками, которые бы стоили упоминания. Хуже того, во время написания «Общей культурно-исторической психологии» я пришел к убеждению, что прикладной КИ-психологии не существовало совсем!

Это вполне очевидно, если рассматривать, например, Психологию народов Вильгельма Вундта. Она считается одним из важнейших исторических корней современной КИ-психологии. Вундт был кабинетным этнографом, как это называется. Иными словами, используя материалы иных культур, сам он из кабинета не выходил и лишь рассуждал о возможности каких-то культурно-исторических исследований.

Но когда речь заходит о советском культурно-историческом подходе школы Выготского или о культурной психологии Коула, такое заявление звучит странно. Ведь они ездили по миру, вели полевые исследования, ставили эксперименты! Однако исследования их не были психологическими, вот в чем беда!

Мало того, что Вундт, Выготский и Коул отказали душе в праве на существование, а значит, считали предметом своих наук не душу, но они еще и заимствовали свои исследовательские методы у другой науки. У какой? Строго в соответствии с тем отказом от души: сказав А, они вынуждены были двигаться к Б, то есть к чему-то, что естественно вытекает из подобной смены предмета. Если предмет твоей науки не душа, то и методы будут не методами изучения души. А что стало их предметом?

Человек. Человек как таковой, но в той части, что не охватили анатомия, физиология и обществоведение или социология. Когда-то эту составляющую человека изучала психология, но с изгнанием души вотчина эта отошла антропологии, то есть науке о человеке. Вот этой наукой и занимались все культурно-исторические психологи двадцатого века.

А экспедиции их, исследования и эксперименты были, как это называют американцы, кросс-культурными. То есть, в сущности, кросс-культурной антропологией.

Но антропология исходно — это описательная наука, созданная в Америке как американский ответ Европе с ее этнографией и этнологией. Соответственно, исследования антрополога — это исследования этнографа, имеющие целью рассказать о той или иной культуре. Но отнюдь не исследования психолога, пытающегося понять душу.

Поэтому все антропологи от психологии были заняты одной простой задачей: изучением культурных отличий различных народов. И совсем не странно то, что велись такие исследования только двумя сверхдержавами — Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И тот и другие на государственном уровне были заинтересованы в изучении тех народов, которых покоряли политически или экономически.

В силу этого так называемые культурно-исторические, — а по существу, кросс-культурные или культурно-антропологические исследования, — всегда сводились к тому, чтобы понять поведение тех, кем государства хотят управлять.

Поэтому культурно-исторические психологии двадцатого века были науками о поведении и имели именно поведение своим предметом. Советский культурно-исторический подход вырастает из реактологии, и Выготский, пытаясь осмыслить предмет своей науки, склоняется к тому, что единицей психического является реакция. А американская кросс-культурная и культурно-историческая психология имеют своим основанием бихевиоризм, который, как вы помните, считал одним из своих корней рефлексологию Ивана Павлова...

Все рефлексологии — это не психологии, причем не психологии исходно и навсегда, просто потому, что ставят своей задачей объяснить поведение человеко-машины, исходя из устройства его тела, то есть без гипотезы души!

Обидно.

Но, к счастью, у самых истоков нашей науки, еще до Вундта, стоял человек, который говорил именно о душе и который сумел заложить теоретические начала и для прикладной психологии. Это был Константин Дмитриевич Кавелин. Я посвящу ему изрядную часть этой книги.

А кроме него был наш народ, который наукой не владел, но имел свою «психологию», которую знал, видел и прекрасно понимал. А иногда и изучал, и как поведение собратьев и как душу, о которой много думал.

Лично мне довелось с 1985 по 1991 год вести этнографические сборы у русских мазыков — так называли себя потомки коробейников-офеней, жившие на землях Савинского и Ковровского районов бывшей Владимирской губернии. Я уже много о них рассказывал и потому в этой книге буду прямо опираться на какие-то мазыкские знания народной психологии.

Но сначала несколько самых общих понятий, составляющих основание нашей науки.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НАЧАЛА

Прикладная наука предъявляет совсем иные требования к своим началам, чем науки академические. В сущности, в основе любой науки должно лежать созерцание или теория, как это предпочитают произносить наши ученые на иностранный лад. Но созерцание — это не действие, точнее, это может быть действие, но если ты сохраняешь связь с действительностью, это должно быть действие, переходящее на предмет. Иначе говоря, созерцание — это всегда созерцание, видение и рассматривание чего-то. А именно того, что ты избрал предметом своего исследования.

Прикладные науки не могут терять этой связи, потому что иначе они тут же теряют то, к чему приложимы. Науки академические наоборот — часто позволяют себе теоретизировать беспредметно, создавая искусственные миры, в которых их построения могли бы работать. Математика показывает возможность таких игр, создавая пространства, которых нет, но если бы они были, то там были бы другие законы, вроде геометрий Лобачевского и Римана.

Игрушка эта оказалась настолько потрясающей воображение, что ее решили повторить многие другие науки, стремящиеся быть поближе к трону царицы наук, в частности, академическая психология. Выкинув свой предмет, психологи полтора-два года пытаются доказать, что могут построить науку то на одних основаниях, то на других. В итоге в мире существует необозримое множество разных психологий, но нет книги, которую можно было бы уверенно посоветовать простому человеку, который хочет помощи в своих обычных делах.

Все эти психологии не имеют отношения к жизни и существуют лишь как кормушки для поддерживающих их существование сообществ. Ответов на человеческие вопросы психологии не дают.

Эта беда давно замечена и повела к тому, что с начала двадцатого века в мире создаются так называемые «практические психологии» — науки, использующие кое-какую психологическую терминологию, но в целом выстроенные на опытных находках. Академическая наука весьма неохотно считает их вправе называться науками, и во многом это оправданно. Почувствовав недомогание, я могу выпить таблетку, которую найду в холодильнике или куплю в аптеке, попросив «чего-нибудь от головы». И почувствую облегчение.

Обретя такой опыт я теперь буду всем советовать при недомогании пить такие таблетки... При чем тут наука?

В основе науки, даже практической, должна лежать теория, то есть какое-то глубинное видение и понимание устройства мира. Но практические

психологии только тужатся, раздувая вводные части своих учебников до такого размера, чтобы они стали похожи на теорию. А потом быстро сбегают к тому, что им действительно нравится и что у них получается. Связи у их теории с тем, что они действительно нашли, почти нет. Почему?

Во-первых, все потому же, что теория — это не несколько глав или книг, написанных подобно «настоящим» теоретическим сочинениям. Теория — это вообще не вводная часть науки. Теория — это созерцание, созерцание того, что ты делаешь и как ты это делаешь. Практики же вместо созерцания пишут главы, похожие на «теорию» из книг по академической психологии.

Это означает, что созерцают они при этом лишь то, как пристроиться под крылышко академической науки, и поэтому теория практической психологии совсем не теория.

Но еще хуже то, что теория, которой они подражают, чаще всего тоже не теория. А если и теория, то научного сообщества, но не науки как поиска истины. Вот это беда!

Академическая психология, лишив себя души, до сих пор не определилась с предметом, который изучает и созерцает. Точнее, без единого предмета предметов этих стало множество, к тому же они постоянно меняются. Как писала о психологии Британская энциклопедия: «Бедная, бедная психология. Сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу поведения». Откуда все эти сложности?

Теория — это созерцание действительного предмета своего исследования, то есть предмета, который есть в действительности. И созерцание пути или способа, которым ты этот предмет исследуешь.

Если предмет твоей науки душа, то созерцать нужно ее. И для этого надо просто обратить взор на душу. Не получается...

Почему? Слишком сложно удерживать взор на том, что так привычно и к тому же невидимо, как воздух. Просто попробуйте созерцать воздух. Это быстро надоедает, и хочется бежать за более яркими созданиями, которые в нем порхают, летают и падают...

Мы не готовы к такому подвигу, как психология. Наши академические ученые, избравшие предметом своих исследований душу, — совсем юные детишки, которым, как писал в середине девятнадцатого века Василий Николаевич Карпов, еще охота бегать за бабочками по полям. Они уже убелены сединой, увешаны академическими званиями и регалиями, но это лишь в этой жизни. В действительности они слишком юны, чтобы удерживать внимание на том, что так неприметно. Вероятней всего, это чуть ли не первая жизнь, когда они задумались о душе.

Задумались и тут же утомились от усилия, расстроились оттого, что победа не дается сразу, надули губы и сказали: и вообще никакой души нет! Вот и вся психология!

Искусство созерцания, очевидно, не дается с лету, к нему надо идти, приучая себя, возможно, не одну жизнь. И освоить его так же сложно, как

другие душевные качества — терпение, душевность, спокойствие, верность себе, любовь...

Созерцать душу прямо — очень трудно для человека, обращенного в мир тел. Ее там нет, она созерцается взором, обращенным в себя. Но обратить взор не менее трудно, потому что ток жизни, охота, которая влечет нас сюда, захватывает наше внимание и привязывает его к тому, что снаружи. Ведь мы затем и приходим на землю, чтобы познать эту жизнь и отдаться ей. Такое направление естественно для воплощенного существа. И насильно свой взор можно обращать на такие нездешние вещи, как душа, только на краткие мгновения в минуты редких душевных состояний и большой силы.

Именно в такие минуты молодой человек решает, что станет психологом. К сожалению, второе прозрение посещает некоторых из них лишь при смерти...

Тем не менее, решение познать душу является первым началом психологии.

Понимание, что познать ее можно напрямую, прямым созерцанием, будет следующим началом, из которого вытекает вопрос: почему же это не получается?

Ответ на него будет третьим началом. Ответ-решение: жизнь и моя яростная природа, рвущаяся в жизнь, не позволяют мне созерцать, они манят и отвлекают меня, не давая обернуть взгляд внутрь и привязывая его к внешним вещам и явлениям. И я увлекаюсь ими.

Увлекаюсь всей душой, даже забывая про душу! Это ужасно, но это прекрасно. Яростный человек может жить в прекрасном и яростном мире, только проливаясь в него всей душой. А это значит, что все, что я делаю, так или иначе содержит в себе мою душу. И если я делаю какие-то внешние вещи, то они, безусловно, содержат в себе следы моей души.

Пусть это лишь тени, отбрасываемые на стены пещеры, но по теням я могу судить о том, что их отбрасывает. Это уже важно. Потому что само такое созерцание теней уже дает знание предмета. Но еще важнее то, что, глядя на тень, я всегда знаю, куда повернуться, чтобы увидеть то, что ее отбрасывает. Оно всегда ближе к свету...

Все, что я называю тенями души, есть культура, как это принято именовать. И в ней тоже скрыт предмет психологии, как вы это понимаете.

А то, как от игры с внешними вещами перейти к созерцанию теней, от них — к пониманию того, что отбрасывает тени, а затем набраться смелости, повернуться и прямо поглядеть на душу и самого себя, это — созерцание пути, которым наука душеведения может прийти к своему предмету. Путь, он же способ, научно называется методом.

В сущности, метод психологии оказывается методом самопознания. Хотя он вполне применим и для оказания помощи другим, потому что мы все устроены одинаково.

Вот исходные начала прикладной психологии.

Теперь подробнее обо всех входящих в это понятие частях.

Глава 1. Психология

Нельзя ни писать книгу по психологии, ни заниматься ею, не определив, что же ты понимаешь под этим словом. Существует научное и бытовое понятие психологии. Где взять научное, я не знаю.

Научные братья большей частью обходятся без подобного определения, ссылаясь на то, что определение это слишком трудно. Просто пишут себе в рамках некоего понимания, так сказать, имеющегося у них по умолчанию. Лишь редкие психологи рискуют рассуждать о предмете своей науки, но при этом общего понимания так и не выработано. Как я показал это во Введении, научное понимание психологами психологии множественно и всегда спорно.

Хуже того, предмет этот болезнен для психолога, почему они и избегают самого первого вопроса своей науки. Думаю, болезненность эта существует с тех времен, когда, по выражению русского историка Ключевского, психология стала наукой о душе без души. Именно с тех пор психологам постоянно приходится придумывать себе предмет, который бы выглядел «научным» в глазах естественнонаучного сообщества и при этом был бы в состоянии заткнуть все любопытные рты, из которых рвутся наивные вопросы.

Я имею в виду непсихологов, которые не понимают научной психологии, не понимают, о чем она говорит, и не понимают, зачем она нужна. Но пытаются понять, выискивая в этой науке то, что они от нее ожидают. А что ожидает обычный человек от науки психологии?

Если заглянуть в себя в поисках ответа на этот вопрос, то обнаружится совершенно ненаучное, но зато вполне определенное понятие о психологии, которое, оказывается, живет в нас. Как это ни удивительно, но это же ненаучное понятие имеется и у всех профессиональных психологов. Именно оно подтолкнуло их когда-то поступить учиться на психолога, именно его они ожидали найти в научной психологии, а потом как-то незаметно предали...

Понятие это скрывается за выражением: он психолог! Что мы думаем о человеке, про которого говорят, что он прекрасный психолог, утонченно знающий психологию людей? Особенно когда имеется в виду, что у этого психолога нет психологического образования.

Ну, уж определенно мы ожидаем от него не владения теорией высшей нервной деятельности и даже не теорией деятельности, как основой психического.

Психолог — это человек, который понимает людей, понимает причины их поступков, знает, как оказать на них воздействие, и в силу этого может управлять их поведением. И управляет людьми так, что вокруг него разливается спокойствие, люди собираются и могут делать то, о чем договорились. Психолог может использовать эту способность как во зло, так и на благо. Но определенно то, что всё, задуманное им, получается, потому что он видит возможные помехи и устраняет их. А иногда он способен на чудеса, вроде

чтения мыслей и тому подобного!.. И вообще, он может раскрывать сверхспособности.

Вот за какой психологией мы шли в университеты и вот чего искали от нее. И не нашли, предав себя и приняв, что пока придется жевать какую-то бесконечную био-физиологическую жвачку, чтобы поддержать существующий порядок. И ведь предали! Почему? Потому что звание научного психолога давало взамен того, о чем мечтали, определенное место в обществе. Место сильное, потому что сама приставка «научный» в современном мире ценится. Вот за эту цену мы и продались...

Я не хочу больше заниматься научной психологией. Я отдал ей годы, и с меня достаточно. С долгами покончено. Теперь я хочу вспомнить свою мечту о ТОЙ психологии, ради которой шел когда-то учиться, и попытаюсь описать ее предмет.

Итак, что такое психология, как ее понимают до науки? Психология моей мечты!

Если всмотреться в описание, которое я сделал чуть выше, то снаружи это наука о поведении. Ведь человек-психолог, умеющий убирать сложности и помехи во взаимоотношениях людей, это, безусловно, человек, управляющий поведением, меняющий его.

Научная психология несколько раз заявляла своим предметом поведение. Это было в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, когда рождались русская наука о поведении и американский бихевиоризм. Но они тут же свели поведение к рефлексам и реакциям, поскольку исходили из предположения, что человек — это биологическая машина, которая может быть описана на языке физики, точнее, механики. Обе эти попытки оказались крайне неудачными и были со временем утеряны и самой научной психологией.

Очевидно, что поведение не может быть описано знаменитой формулой поведенческой психологии: стимул-реакция. Как не может быть сведено и к раздражительности простейших, откуда и был заимствован этот первокирпичик возможной науки о поведении протоплазмы. Человек, конечно, отвечает своим поведением на раздражения, идущие из окружающей среды. Но отвечает совсем не как инфузория, просто отодвигающаяся в сторону.

Именно на том, что поведение людей гораздо сложнее, чем можно описать через стимул-реакции, и ломались научные теории поведения. Как вы понимаете, означает это, что они не были теориями, не были созерцаниями поведения, а были насилием, были попыткой придумать схему, в которую с каким-то усилием можно всунуть действительность. Схемы ломались, как картонные коробки, которые не вмещают живого тигра...

При этом нельзя не отметить, что некое соответствие действительности в том, что человек, как и любое другое живое существо, взаимодействует с окружающей средой, конечно же, есть. При очень высоком уровне обобщения можно сказать, что понятие «стимул-реакция» вполне пригодно для описания человеческого поведения. Но именно как обобщение, метафора, то есть некий знак, который надо уточнять и разворачивать. Народ знал другой знак для обозначения того же самого: бьют — беги, дают — бери.

Это народная мудрость. И если уж мы хотели создавать науку, существующую на таком уровне обобщений, нам вовсе не обязательно было ехать за ней за три моря или в Европу. Брали бы свое и делали по-русски! И было бы то же самое. Но не научно выглядело бы! Поэтому исходные понятия — верны они или нет — нашим ученым необходимо заимствовать от иностранцев и на иностранных языках! Тогда они будут работать.

Почему «бьют — беги, дают — бери» не работает научно, а «стимул-реакция» целых полвека загаживала наши и научные мозги? Только потому, что в русской поговорке с очевидностью видно, что эта «формула» неточна и недостаточна. А вот за иностранным выражением это рассмотреть сложнее, и потому оно позволит дольше водить за нос тех, кого мы обманываем.

Иными словами, «психологические термины» научной психологии действительно гораздо «психологичней» простых русских поговорок, не говоря уж о словах, — они позволяют управлять людьми, позволяют воздействовать на умы простых людей и жить за их счет. Это магический язык, язык силы, в силу чего он не случаен. Более всего он близок к языку алхимии, которая, если вспомнить, лишь косвенно имела отношение к химии, а в действительности была поиском скрытых сил и способностей, в сущности, самопознанием. Вот и научная психология лишь по видимости занимается психологией, а в действительности есть наука выживания малого сообщества в современном обществе...

Психология мечты определенно должна быть наукой о поведении. Она, безусловно, должна позволять человеку менять мир вокруг себя, меняя отношения людей, создавая настроение, убирая помехи для решения самых сложных задач. Но как это возможно?

Как отвечается из глубины моего понятия о психологии моей мечты — за счет глубокого понимания устройства человека. Звучит-то: психологии человека, — но я меняю ее на устройство, чтобы не было путаницы. Как вы видите сами, тут иностранное словцо «психология» играет с нами первую злую шутку: оно обозначает два разных понятия.

Психология — это наука о психологии. Настоящий психолог — тот тот, кто знает науку о психологии, или тот, кто разбирается в психологии людей?

Надо раскрывать оба понятия. Первое, которое мы обозначаем словами «настоящий психолог», обозначает человека, понимающего других и способного оказывать воздействие на их поведение, управлять ими. Мы могли бы обозначить его русским словом мудрец. Но лучше, как это делали мастики, у которых я учился народной психологии, назвать такого человека докой. Докой звались знающие люди, хитрецы и умельцы. Вот пусть психолог моей мечты, то есть человек, владеющий бытовой, народной психологией, зовется нами докой.

Итак, вопрос: дока — тот тот, кто знает науку о психологии, или тот, кто разбирается в психологии людей?

Явно обозначилось противоречие в использовании понятия «психология». Научное сообщество избрало считать психологией науку и завязло в наукотворчестве, так и не дойдя до того, чему эта наука должна учить.

Для психологии моей мечты дока — этот тот, кто не знает, а может. А точнее, кто знает, как сделать, и может сделать. Кстати, именно это и означало русское слово дока. Дока — это не кабинетный ученый, не теоретик. Дока, говоря научно, — практик, обладающий утонченными знаниями того дела, за которое берется. А дело это — поведение человека, как мы решили.

Что же знает дока об этом? Знает ли он психологию людей? Если исходить из моего понятия о психологии, то именно в ней он и разбирается. Но что означает это понятие, скрытое под тем же именем психологии? Ну, определено не то, что описала вся научная психология.

Когда народ говорит, что кто-то разбирается в психологии людей, он имеет в виду, что человек этот знает, что определяет в человеке его поведение, и умеет обратиться именно к этому. Он как-то видит некое ядро или корень поведения и воздействует на него. Если вы взглянете, то почувствуете, что я описываю не некую «психологию», а самого человека. Вот почему я сказал, что дока знает устройство человека.

Устройство это, можно сказать, тонкое, определено не телесное. Или не только телесное. Телесность должна учитываться, но то, что правит, а главное — принимает решения, лежит за телесностью. Но внутри меня. Оно может быть названо содержанием. И чтобы я или другой рассмотрел его, надо предложить заглянуть в себя.

Как вы видите, понятие «психология» растворяется и исчезает, если мы начинаем думать о поведении лишь в рамках возможности воздействовать на него. Именно поэтому наука о поведении и была отвергнута научной психологией, как путь, не ведущий к действительному ее предмету. К какому предмету и каким путем надо идти, академическая психология пока еще не решила.

Но если мы всмотримся в описание «психологии» как устройства человека, то снова налетим на то, что телесность и многое, вплоть до самого поведения, окажутся внешними проявлениями чего-то, на что и воздействует дока. Это ядро, определяющее поведение, и необходимо научиться видеть, чтобы стать психологом.

И я могу высказать предположение заранее: ядром этим окажется душа. Почему и не удастся науке, сохранившей понятие о душе в своем названии, успокоиться ни на одной из своих естественнонаучных находок. Все-таки психолог — этот тот, кто изучает и знает душу. Именно это знание и позволяет ему стать докой и управлять поведением людей, делая жизнь лучше.

Глава 2. Прикладная психология

Прикладная психология — это мечта. Прикладной психологии не существует. Практические психологии, как они сами себя называют, не признаются академической психологией, да и на деле психологией в научном смысле не являются. Хотя при этом и работают. Но это действительно не науки, а собрания способов воздействия, случайно найденных опытным путем.

Именно это и лишает их права считаться научными: их приемы найдены или подмечены случайно, а не выведены из основополагающей теории. При этом приемы могут быть действенны, но... не научны! По крайней мере, так считают те, кто имеет право говорить от имени науки.

Впрочем, требование, чтобы приемы вытекали не из опыта, а из теории, не случайно и вполне оправданно. Настоящая наука должна выводить свою прикладную часть из той фундаментальной теории, в которой она созерцает основания своего предмета. Выводить путем точного и строгого рассуждения, и вовсе не затем, чтобы извлекать выгоды или лечить людей. Это побочно и попутно. Настоящая задача прикладной части науки — быть подтверждением того, что теория верна.

Психология не имеет прикладной части, и это признак того, что фундаментальная теория научной психологии либо не соответствует действительности, либо еще очень далека от проверок действием. Что значит, в ней пропущены какие-то важнейшие слои, лежащие между началами и действительной частью. Самое большее, что может естественнаучная психология, это наработать условные рефлексy, к примеру, у людей, посаженных в одиночные камеры и заморенных голодом. Впрочем, самые необразованные надзиратели запросто вызывают у них слюноотделение, постукивая ключами по дверям...

Прикладная психология — это мечта любого настоящего психолога. Он затем и шел в психологию, чтобы однажды стать тем кудесником, о котором люди с восхищением говорят: он настоящий психолог! Это значит, что прикладная психология — это единственная настоящая психология. Все остальные теоретические ее части — это лишь приложения, которые нужны, чтобы научиться прикладной работе. В сущности, они — лишь подготовка к тому, чтобы творить чудеса.

Но в них скрыто то, что объясняет и учит искусству психологической работы. Самое малое, в теоретической части должно быть описание того, что есть человек, как он устроен и что может быть в нем предметом воздействия. Это если мы хотим воздействовать на других.

И тут есть искушение пойти путем практической психологии — стать внимательным наблюдателем и попытаться собрать как можно больше уточненных наблюдений за тем, что повторяется в поведении человека и что вызывает повторяющиеся ответы и отклики у других людей. Собрать, обобщить, а потом использовать для воздействия.

Но можно пойти и строгим академическим путем: описать устройство человека, на основании этого описания сделать предположения о том, как это устройство должно отзываться на различные воздействия, и проверить это в опытах. Соответственно, отбрасывая то, что неверно, и уточняя то, что работает.

Надо только понять две вещи: как устроен человек и что ожидается от психолога, что люди от него хотят. Иначе говоря, определить пространство, в котором действует именно психолог, ведь воздействовать на человека можно самыми разными способами, от экономического принуждения до насилия.

Психолог — этот тот, кто хорошо знает «психологию», то есть внутренний мир человека, через который и воздействует. Если говорить строго, то пространством применения психологических знаний является душа и то в человеке, что позволяет на нее воздействовать, меняя поведение. Но что это?

Глава 3. Строй или устройство человека

Настоящий психолог должен очень хорошо видеть то ядро, ту сердцевину, которая управляет поведением человека. Это понятно. Непонятно, почему мы его не видим. И не видим ли?

В действительности, мы все видим и очень хорошо знаем, как сделать другому больно. Вот уж чего-чего, а бить по самым болезненным точкам мы умеем. И это — управление. Тонкое и очень точное управление, мгновенно заставляющее человека сменить поведение.

Значит, мы все прекрасные психологи и владеем наукой управления поведением. Почему же мы не довольствуемся этим и хотим учиться психологии?

Что имеем — не храним, потерявши — плачем... Иначе говоря, народная мудрость утверждает, что мы не умеем ценить то, что имеем. Это слишком обычно и привычно, значит, не волшебство. А нам хочется раскрыть в себе особые способности и стать волшебниками и чародеями...

Однако детские мечты пока не важны, как не важна и наша охота за какой-то особенной психологией, например, научной. Она всего лишь показатель нашего недовольства собой, то есть тем, что есть. Мы, со всей очевидностью, не считаем свои способности к управлению поведением достаточными, почему и ищем дополнительных знаний.

Но достаточными для чего? Ведь мы же управляем друг другом каждый день и каждую минуту, применяя богатейший арсенал приемов и орудий. Чем мы не довольны?

Похоже, тем, что наша естественная способность управлять не приводит к счастью. Настоящий психолог, как чародей, должен одним мановением руки или волшебной палочки создавать вокруг себя мир своей мечты, где все будет так, как он хочет. В общем, счастье или рай на земле. А рай на земле — это земное воплощение Небес, то есть места, где живут души... Вот почему так хочется быть настоящим психологом!

Психолог — это не просто умелец, способный управлять поведением, это волшебник, дока, создающий условия для душевной жизни. А что мы?

А мы, конечно, умеем управлять друг другом, но так, что творится только ад. И никак не вспомним, как возвращать рай. Мы утратили его и всё не можем нащупать забытую дорогу домой...

Что же получается?

А то, что мы прекрасно знаем, как осечь кого-то, особенно близкого, как заставить его закрыться и не высовываться, но не очень умеем помочь

ему творить, раскрываться, воспарять... И мы ужасно не любим себя за то, что гасим порывы своих близких.

Поэтому мы, по крайней мере, стараемся не бить зря. Кто-то потому, что не хочет расходувать зря сильнодействующее средство. Кто-то потому, что ненавидит себя за эту способность и не хочет мешать другому. А большинство просто потому, что причинять боль другим опасно, они же ответят тем же!

Следовательно, мы знаем, как управлять с помощью боли, но скрываем это и от других и, частенько, от себя. И так перекрываем одну половину своего психолога.

Другую же мы перекрываем, прячась от чужого управления. Ведь оно, чаще всего, болезненно. Вот мы и учимся закрывать себя, прятать за слоями отвлекающих образов. И делаем это так удачно, что и сами верим, что хорошо спрятались. Страусы...

Мы все — прекрасные психологи, сумевшие потерять веру в себя. Веру эту мы потеряли потому, что, с одной стороны, между людьми существует договор о пощаде: ты не будешь видеть моих уязвимостей, а я не буду видеть твоих. А с другой, потому что наши попытки отказаться от этого договора прекрасно творят нам наш личный ад, но очень редко ведут к действительному улучшению жизни. Поэтому люди живут по договору: не умеешь — не суйся. Только всё испортишь.

И при этом постоянно надеются, что однажды придет спаситель — волшебник или наука, например, — и всё изменит...

Наука, научная психология пользуется верой людей, но ничего не может. Сами мы запутались так, что живем в отчаянии. Волшебников нет...

Что же делать?

Похоже, надо либо сдаться, либо попробовать думать. Думать просто, не выходя за рамки того, что есть мы и наша жизнь. Просто наблюдая за тем, как связаны наше внутреннее устройство и внешнее поведение.

Но идти придется последовательно, слой за слоем. Сначала то, что снаружи, что может быть названо внешним устройством. Потом устройство внутреннее. И лишь затем — душа.

Глава 4. Внешнее устройство человека

Что представляет собой внешний человек, если даже не пытаться вглядываться в то, что мы зовем психологией? Конечно, тело с его потребностями. Он хочет есть, ему то холодно, то жарко, он размножается, испражняется, он любопытен и боится боли и смерти. Наверное, я пропустил что-то еще, но уже из перечисленного видно, что на человека вполне можно воздействовать через его тело. И даже есть подозрение, что этого одного будет достаточно для управления им.

Собственно говоря, так называемые тоталитарные государства, вроде бывшего Советского Союза, использовали именно это управление. Они до-

водили людей до полунищенского, пролетарского состояния, загоняли изрядную часть народа в лагеря и тюрьмы, ставили перед угрозой насилия, и люди делали то, что от них требовалось, лишь бы выжить...

Лишь бы выжить. Это выбор, и это очень важная подсказка. Ведь когда глядишь на этот список телесных потребностей, кажется, что за ними совсем нет души. И что человека действительно вполне можно загнать в скотское состояние биомашин. Однако, у нас всегда есть выбор не жить такой жизнью, и его не может совершить тело!

Тело не может не только отказаться от жизни, оно даже не может иметь этого выбора. Это выбор душевный. А душа всегда присутствует во всём, что мы видим как телесные потребности. Но это присутствие еще надо рассмотреть. Поэтому пока приму, что чисто телесные потребности существуют и должны быть описаны. Они совсем не такие, как у животных, поскольку присутствие души, условно говоря, искажает их. Но они есть, и не будь души, они бы правили нами. Их надо видеть и отчетливо различать как слои в устройстве человека.

Однако это не единственный слой, который мы бы назвали «внешним человеком». Мы очень про многих людей можем сказать, что они живут скотской жизнью, то есть жизнью тела. Но при этом мы как бы не видим одно важнейшее различие — они пьют либо принимают наркотики. Скоты так не делают.

И если по вину еще не так явно, что это духовная потребность, то с наркотиками совершенно очевидно, что человек с их помощью сбегает из этого мира в миры образов, куда не пройти телесно. А значит, это полет души. Тело при этом, определенно, истощается и отмирает. Кстати, как и при компьютерной игромании, в которую сбегают подростки.

Скотская жизнь алкаша или наркомана отнюдь не такая простая вещь, как это кажется естественникам. И лечить её надо не химически. К химии она имеет отношение только кажущееся. Ход мысли естественников прост: раз эти состояния вызываются приемом химических веществ, вроде ядов, то надо найти подобное противовещество, противоядие, и так потребность будет нейтрализована...

Первая ошибка в самом исходном утверждении, что вино или наркотик — это химическое вещество. Наука химия взяла да приписала себе все вещества. Так что сказать, что какое-то вещество химическое, теперь значит не сказать ничего. Но возьмите просто землю у себя из-под ног. Химическое ли это вещество?

Конечно, химик может забубнить о том, что она состоит из химических элементов и её бы надо исследовать... Однако наш язык, говоря «земля», не осознает её химическим веществом. Он ощущает её чем-то выше химии. Вот так и вино с наркотиками. Это, конечно, вещества, но исследовать их можно химически, а можно и иначе. Например, на предмет того, чем же они оказывают воздействие на наше сознание, а может быть, и души.

И если последнее допущение верно, если наркотики способны оказывать воздействие на души хоть каким-то образом, то ясно, что они это делают

совсем не химической составляющей. Просто по исходному определению, что химия, как наука естественная, духовного не понимает.

Эти сложные вещества содержат в себе дух, — спиритус или какой-то еще, — он и воздействует. Как его исследовать, наука не знает, а знают только алкаши и наркоманы. Но кто же их спрашивал!

Между тем, лечение от наркомании показывает, что успешным оно бывает только тогда, когда человек делает выбор — опять выбор! Когда он избирает перетерпеть ломку. И это выбор души. Как и последующая тяга вернуться — соблазн души...

Похоже, это «скотское состояние» — одно из самых духовных, доступных человечеству. Не зря же всё человечество к нему привержено.

Кстати сказать, люди занимающиеся самопознанием теряют потребность в курении и выпивке. Об этом я бы мог рассказать подробнее, поэтому не буду втискивать свои наблюдения и размышления в эту короткую главу, но очевидно, что очищение сознания убирает то, от чего бегут в грезы, и приближает души к тем состояниям, в которые бегут. Могу только добавить, что при действительной работе над собой не только пропадают тяга, но перестает ощущаться и воздействие. Привычные ранее средства просто не могут больше никуда тебя перевести. Ты уже там.

Но есть еще один вид или слой внешней жизни — это то, как живет обыватель. В сущности, это человек обычая, человек, который живет «как все». Иногда о таких говорят, что они живут растительной жизнью, «без духовных запросов». Действительно ли выбор жить так, как все, не имеет отношения к душе?

Что значит, как все? Это значит по образцам. Старшее поколение живет так, как ему велят сериалы — не отрываясь от телевизора. Точнее, между тремя ящиками: телевизор — холодильник — газовая плита. Младшие — по образцам, насаждаемым экономикой — то есть по моде потребительского общества, выкачивая деньги и жизненные соки из своих семей. Средние — в погоне за общественным мнением, которое оценивает их по машинам, связям, занимаемым в обществе местам.

Казалось бы, полная бездумность и бездуховность. Однако если всмотреться, то мы увидим, что человек, пытающийся одеваться по моде или меняющий машину на дорогую иномарку, на самом деле видит тот образ, который его очаровал, и пытается вогнать в него свое тело и свой дом. И это ничем не отличается от наркомании, это все тоже затянувшееся путешествие души по воображаемым мирам, ее сны...

То, что мы считаем настоящим миром, действительностью, этот плотный мир, захваченный злобной богиней по имени Естественная наука, для души — лишь один из её снов. Он — краткий миг, что дано осознать каждому в старости, когда жизнь пролетела, будто бы и не было ничего. А его соблазны — суэта и дым... А точнее, игры, которые зачем-то очень важны нашим душам.

Зачем?

Это вопрос, с которого и начинается прикладная психология.

Глава 5. Внутреннее устройство

То, что в человеке есть животная или биологическая составляющая, очевидно. Но я надеюсь, не менее очевидно и то, что в поведение она переходит только по нашему душевному выбору. Человек всегда ведет себя тем или иным образом только потому, что душе это зачем-то нужно. И тут мы попадаем в игры мировоззрений: как стакан по личному выбору можно видеть полуполным или полупустым, так и человека можно рассматривать с точки зрения его биологической составляющей, а можно с точки зрения души.

Это всего лишь выбор — убеждать себя, что раз у человека есть тело, значит, он тело и изучать его надо только по законам тела. Душа тоже учитывает, что человек — тело и вести его можно только по законам, определяющим жизнь тел. Она не может заставить человека летать, как бы ей этого ни хотелось. Она даже может захотеть изучить принадлежащее ей тело — и анатомически, и физиологически. Но если мы хотим понять поведение, то нам надо понять, почему это «тело» ведет себя так, а не иначе. А ведет себя тело-человек совсем не так, как тело-животное.

Именно потому, что есть душа. Но это пока лишь мое утверждение, которое совсем не доказательно для тех, у кого души нет. Поэтому, я заменяю его на приемлемое словосочетание, и оно сразу станет научным. Наука — это в изряднейшей мере игры словами.

Итак, поведение человека определяется чем-то, что скрыто за его телесностью, неким ядром внутренней жизни, которое способно исказить обычные биологические проявления телесного поведения в силу своего устройства. Исказить, менять и создавать таким образом, что иногда полностью отрицает животность, даже жертвуя жизнью тела или лишая его тех благ, которые оно хочет иметь — пищи, ласки, сна...

Нечто, оказывающее воздействие на удовлетворение биологических потребностей человека, искажающее их и тем превращающее в поведение, можно назвать внутренним миром или ядром человека. Академическая наука могла бы назвать его психикой и была бы предельно точна, поскольку простонаучное слово «психика» происходит не от греческого слова психе, то есть душа, а от слова психикос, то есть душевный. Это значит, что в данном случае речь идет не о душе, которая правит поведением, а о каких-то душевных проявлениях, которые и оказывают это искажающее воздействие. Душа лишь за ними, и поэтому мы пока можем оставить ее вне рассмотрения.

Что представляет собой этот внутренний мир или «внутренний человек»?

Попробую пойти от каких-то простых и общедоступных наблюдений. К примеру, нам всем известно выражение: он живет богатой внутренней жизнью. Что оно может означать?

Первое впечатление, что речь идет о человеке, который ходит, нахмурив лоб, не обращая внимания на других, и постоянно погружен мыслью

куда-то в себя. Куда? В мысли же. Он постоянно что-то думает, чем ему вовсе не хочется поделиться с другими.

Но это неточное описание, потому что такое состояние лучше было бы назвать самопогруженностью. К тому же она может быть весьма болезненной, а выражение «богатая внутренняя жизнь» ощущается очень здоровым. Человек, который живет такой жизнью, должен быть весьма полноценным. Поэтому, время от времени, мы наблюдаем у него изменения его сосредоточенности. Он может смеяться, радоваться, даже делиться своими открытиями.

Это значит, что человек, живущий богатой внутренней жизнью, не замкнут, не аутичен, как говорит психиатрия, он просто имеет две жизни: одну с нами, другую где-то еще — в мечтах или в воображении. И там ему лучше, чем в этой серой действительности.

Важно в обоих этих случаях то, что погружение в свой внутренний мир меняет поведение человека. Оно начинает в гораздо большей мере зависеть от того, на что обращен его взгляд. И человеку почти безразлично, «действительные» ли это вещи, существа или явления, или воображаемые. Действительность того, что он видит во внутреннем мире, для него такая же правящая, как и действительность мира внешнего. К примеру, если человек начал видеть привидения или духов, ему безразлично, где он их видит — снаружи или только в воображении — поведение его меняется.

Очень часто человек творческий настолько уходит в свое воображение, что становится рассеянным, что означает рассеянность внимания. Он почти перестает осознавать то, что происходит вокруг него в этом мире, перестает запоминать и учитывать эту действительность. Зато в том мире он может обладать утонченным рассудком и блестящей памятью, как это бывает с большими математиками или музыкантами.

Однако другие люди настолько направлены в эту жизнь, что их не заставит прочитать книгу. Один мой старый приятель похоронил подряд несколько родственников, начиная с мамы. Чувствуя, что это для него потрясение, я прямо на первые похороны принес ему книгу Моуди «Жизнь после смерти». Он продержал ее в ящике служебного стола года полтора, хороня время от времени других людей. И так и не прочитал дальше первой страницы. Не до того...

Думаю, это делает очевидным, что поведением правит именно то внутреннее ядро, которое определяет, куда направить взор. Сами миры безразличны для понимания поведения — внешний или внутренний, — они лишь то, к чему прилагается это тело. И определяют поведение не больше, чем наше животное тело. Иначе говоря, без мира, сквозь который ведет себя человек, понять его поведение так же невозможно, как и без тела, в котором он себя ведет.

Но ведет он себя к той цели, которую хочет достичь душа. Или, по крайней мере, то Нечто, что стоит за мирами, в которых мы живем, будь они внешние или внутренние. Но что это за миры?

Глава 6. Поведение

Поведение оказывается исходным понятием всей психологии. Однако в науке не существует не только единого, но даже и сколько-нибудь внятного определения поведения.

Составители словарей, что поумней, вроде В.А. Бачинина¹, умудряются избежать упоминания о поведении даже в изданиях, гордо именуемых «энциклопедическими словарями» по психологии. Энциклопедия — в переводе с французского и исходно греческого — круг знаний, охватывающий всё, что известно во всех отраслях знания или в отдельной отрасли. Например, в психологии. Если доктор наук, профессор и даже академик в 2005 году не считает поведение частью психологии, достойной упоминания в энциклопедическом словаре, это показатель. Бедная, бедная психология!..

Более старые и, наверное, отсталые словари, все же содержат в себе определения этого понятия. Попытки определений... Вот как вымучивает его словарь Зинченко и Мещерякова²:

«Поведение (англ. Behavior) — извне наблюдаемая двигательная активность живых существ, включающая моменты неподвижности, исполнительное звено высшего уровня взаимодействия целостного организма с окружающей средой.

Поведение представляет собой целенаправленную систему последовательно выполняемых действий...»

Я оборвал Зинченко, дающего это определение, чтобы обратить ваше внимание на то, что поведение как-то соотносится с действиями. Действия не есть поведение. Но тело наше или человек может осуществлять действия, а может вести себя... Это важно.

Словарь «Общая психология» под редакцией А. Петровского устами И. Трофимова дает такое определение:

«Поведение — совокупность направленных действий субъекта, реализуемых им согласно закономерностям внутреннего развития и взаимодействия со средой. Субъектом поведения может выступить как естественное (биологическое, социальное), так и искусственно созданное человеком образование.

Поведение естественных субъектов, в отличие от поведения искусственных, сопровождается необратимыми интегративными внутренними процессами (в психике организма либо в социальной жизни группы, общества)».

Психолог, если вы приглядитесь, не выводит свое определение из наблюдений над действительностью, а навязывает его по простонаучной привычке. Эта легкая подмена почти незаметна для стороннего человека, а сами члены научного сообщества настолько привыкли к такому подходу, что не в силах обратить на него внимание. Между тем, поведение — это русское слово,

¹ Бачинин В.А. Психология. Энциклопедический словарь. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.

² Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, В. Зинченко, СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

которое исконно использовалось для обозначения чего-то, что хорошо нам известно. Действительное определение просто описало бы то, ради чего используется это имя.

Просто научное «определение» строится иначе, оно всегда скрытно творит особый, «научный» язык, и потому имеет невидимые части. В действительности «определение» Трофимова должно читаться так: *Под поведением мы будем понимать...* и дальше по тексту. Иными словами, это не определение, а договор об использовании обычного слова в каком-то особом значении.

Но и этот боец психологического фронта не смог избежать соотнесения поведения и действий. Причем использует он это соотнесение так же, как Зинченко, то есть отчетливо показывая: действия — есть основа, из которой творится поведение. Творится целенаправленно, кем-то подбираясь и складываясь в «систему», то есть в некий целостный образ, нужный для достижения какой-то цели.

В оправдание такого невнятного отношения наших психологов к поведению можно было бы привести свидетельство Михаила Ярошевского, написавшего большое исследование о русской науке о поведении. Оправдание это политическое и унижительное для науки:

«Следует отметить, что в течение ряда лет в нашей психологии на термине “поведение” по существу лежало “табу”. И обращение к нему оценивалось как явная или тайная приверженность к бихевиоризму.

В силу идеологических соображений (кстати, добровольно навязанных нашей психологии считавшими себя правоверными теоретиками марксизма) понятие о поведении было вытеснено “марксоидным” понятием о деятельности. Более того, объявлено, что предметом психологии является психическая деятельность» (Ярошевский, Наука о поведении, с. 9).

Эта «добровольность» психологов в прогибании перед властями утомляет, но как психолог я вижу в ней те самые слои внутреннего мира этого сообщества, которые складываются исторически и определяют до сих пор поведение психологов. Психологи все еще не уверены, что изучать поведение правильно и за это поглядят по головке. Все-таки никаких иных, кроме «марксоидных» определений поведения и деятельности, русский психолог не имеет и не помнит. Того, что о деятельности в связи с психологией впервые заговорил еще Кавелин, наверное, никто из академиков и не подозревает...

Как бы там ни было, сам Ярошевский, давая определение поведения в их совместном с Петровским словаре «Психология», дает совершенно «марксоидное» словосочетание:

***Поведение** — присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Термин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и к их совокупности (поведение биологического вида, социальной группы) (Психология. Словарь, 1990).*

Да, действительно, мы можем использовать словосочетание «вести себя» или «ведет себя» в отношении чего угодно. Просто потому, что язык позволяет это. Но это опять же договор о «научном» использовании хорошего и точного народного слова.

Что можно сказать о научных определениях поведения? Содержится ли в них какое-то соответствие действительности? Безусловно. Иначе они совсем бы не узнавались. Есть ли в них искажения действительности? Тоже безусловно.

Меня, по большому счету, не интересует, что наука неточна. Мне бы как раз хотелось получать от нее качественные исходные определения, чтобы спокойно идти в собственные исследования, отталкиваясь от них. Я же постоянно ощущаю себя настороженным в отношении ученых, потому что они ведут себя не в соответствии с заявленной целью познавать истину или действительность. Они все время вносят какие-то дополнительные слои в то, что делают. Это их история и культура, но от нее надо очищаться.

Понятием поведения мне придется заниматься еще долго, входя в него все глубже и уточняя шаг за шагом. Но пока можно с определенностью сказать: поведение складывается из действий и какой-то внутренней жизни, которая эти действия складывает в последовательности, воплощая некий образ, задуманный человеком.

Если исходить из этого, мы вполне определенно можем сказать, что действия доступны человеку, как ему дано тело и его биологическая, то есть животная, жизнь. Но человек превращает действия в поведение. Это вполне может означать, что само тело, как животное, не имело бы поведения. Оно бы не вело себя. Вести себя может только человек, хотя это понятие еще придется уточнять и уточнять.

Тем не менее, на первый взгляд выглядит вполне очевидным, что человек как таковой обладает поведением, но как животное он может осуществлять только действия. Действия, ведущие к удовлетворению потребностей.

Но в таком случае это означает, что использование слова поведение к животным, а тем более к неживым или искусственным «образованиям» неверно. Мы, конечно, можем сказать, что «ледник ведет себя непредсказуемо». Но означает это лишь то, что мы боимся этого ледника и приписываем ему человеческое коварство, то есть очеловечиваем. И потому в праве ожидать от него «поведения». Но ледник не ведет себя.

Также не ведут себя и животные. Это лишь наивный научный наблюдатель, глядя на птиц или зверей, незаметно для себя начинает узнавать что-то из своей человеческой истории, из того, что делали люди, и произвольно приписывает животным человеческое поведение. Но это не более чем узнавание по случайному сходству. Подобное используют резчики по дереву, когда вглядываются в сучки и переплетения волокон на какой-нибудь коряге, чтобы разглядеть «прячущуюся внутри нее птичку».

Там нет птички, как нет и рыбы. Там есть сучки, волокна, и есть действия, вызванные потребностью удовлетворить потребности. Это все, на что способны тела. Если в них, конечно, не вселится душа.

Вот тогда мы можем говорить и о поведении животного. Но это не повод считать, что животные могут вести себя, это повод раскрыть глаза и всмотреться в то, что происходит: потому что происходит чудо!

Чудо очень важное именно для психолога, потому что душа, ведущая животное, редкое явление. А в силу этого, гораздо более видимое, чем душа в человеке.

Однако понятие действия чрезвычайно важно понять и научиться видеть в чистом виде. Без него почти невозможно увидеть, как добавляются душевные воздействия, рождающие поведение. Как исходное предположение, которое, конечно же, надо проверять и исследовать, я могу сказать, что поведение нужно понимать по прямому значению этого русского слова. Поведение — ведение себя по.

По образу, который ты задумал или который предложила душа. На выбор.

Но образы могут создавать и животные. Это еще не главное. Главное, что вести себя нужно куда-то, за рамками того, что ты видишь непосредственно глазами. Образы души — это не образы тела. Они лишь учитывают телесные потребности как то, что обязательно отвлечет зверушку, в которую ты вселился, и отвлечет многократно, так что прямой прорыв к твоей цели оказывается невозможен. Тело надо обучить и подготовить для совершения тех действий, которые приведут душу к ее цели. Вот она и ведет человека по жизни, обучая все его тела — и физическое и общественное: тель и личность.

Вести себя — неверное выражение, выражение нерасчлененное. В нем человек един, тела его сливаются. И кажется, что это тело и ведет себя. Но если мы психологи, если мы хотя бы ученые, мы должны вглядываться в происходящее внимательнее. И мы увидим, что человек иногда ведет себя как тело, иногда, как личность, но при этом все время остается как бы за этим.

Человек ведет себя! Какого-то себя, того себя, которым лучше действовать в тех или иных условиях. Он все время выставляет перед собой то, что ведет, и ведет строго по тем правилам поведения, которые подходят к данному миру.

Человек, как оказывается, и есть то внутреннее ядро, через которое душа задает поведение. Просто нацелив его на то, ради чего пришла.

Глава 7. Миры, сквозь которые мы ведем себя

Вести себя можно только будучи двойным, то есть находясь вне того, что ведешь. Чтобы вести кого-то нужно, условно говоря, взять его за ручку или на поводок. Поведение потому и не привилось в психологии, что естественнонаучная психология исключала всё, помимо тела. Она телесна. А тело

не может вести себя, оно может только ходить; чтобы вести себя, нужно кроме тела иметь еще и водящего, например, душу.

Если не привязываться к искусственному образованию, которое навязывает определенное мировоззрение, а просто взглядеться в русский язык, то это очевидно, это вполне можно рассмотреть. Гораздо сложнее рассмотреть как раз тот мир, в котором душа водит нас. Для этого требуется не прозрение, а смена мировоззрения. Кстати, в нашем случае, на мировоззрение психолога, если вдуматься.

Итак, мы ведем себя всегда в отношениях с другими людьми. Без свидетелей, наедине с собой мы перестаем вести себя, мы просто живем. Это еще одна черта поведения, которую обязаны были рассмотреть ученые от психологии. Поведение просто не нужно без людей. Почему?

А потому, что оно рождается исторически. Если бы ученые описывали это явление, а не навязывали удобное им понимание, они бы это рассмотрели. Но им нужно было не понять поведение, а вписать психологию в иерархию наук. Поэтому они полтора века доказывают, что психология — наука биологическая, наука о живых телах. Следовательно, человек — животное, а не дух. Вот это они и доказывали в борьбе с религией.

Но человек не животное, хотя и имеет живое тело. Однако тел у него три — физическое, или тель, общественное, или личность, и духовное, или душа. И он по собственному выбору может переходить в любое из них, иногда покидая тель совсем. Иногда же не покидая, оставаясь сразу во всех трех телах, но избирая только интересы одного тела.

Человек волен в этом выборе, и он волен в выборе поведения. Нет, не в том смысле, чтобы выбирать то или иное поведение, подходящее случаю. Это очевидно, и это не тайна. Тайна, которую просмотрели, — это то, что мы вольны выбирать поведение вообще, выбирать, вести себя или не вести. И возможно это потому, что поведение принадлежит только одному телу. Вести себя мы можем только в личности.

Тель и душа недоступны для поведения. Тель может быть только ведомым, душа только свободной. Но тели не нужно поведение, потому что она, как все животные, просто действует, удовлетворяя свои потребности. А душе не нужно поведение, потому что она выше общества, выше того мира, для которого оно необходимо.

Поведение рождается исторически, то есть в определенном возрасте, и строго в рамках зарождающегося общественного мировоззрения, когда ребенок учится видеть общество как мир, в котором ему придется жить.

Ребенок приходит и видит мир как природу. Это длится довольно долго. И если вы вспомните отношение к детям лет до трех, то не обнаружите в нем ни следа от требований вести себя. Лишь когда ребенок усваивает понятие порядка, ему начинают насаждать правила поведения. От него начинают требовать вести себя в соответствии с договорами. Без понятия договора поведение вообще невозможно.

Именно тогда у ребенка происходит смена мировоззрения. Можно даже сказать, что мировидение меняется на мировоззрение. Эти словосочетания

условны, и я искусственно разделяю их значения, чтобы показать разницу в нашем восприятии окружающего и в отношении к нему. До какого-то времени мы просто видим мир, видим единым, а потом вдруг понимаем, что мир двойной или миров два: мир-природа и мир-общество. И второй гораздо опасней и важней для нашего выживания.

Вот тогда мы начинаем выращивать особое тело для выживания во втором мире. Мы создаем личность для жизни в обществе. И так рождается двойственность или двуличность человека... Общественное мнение не любит двуличных людей. Но именно оно и создает эту двуличность, требуя от ребенка вести себя.

Вести себя — значит перестать быть естественным существом, перестать быть богом в животном теле и стать человеком. То есть стать таким, как все люди. Именно в ответ на требование стать человеком и рождается тело, в котором мы можем выживать в мире людей. Именно оно и ведет себя. То есть дает возможность пройти насквозь этот хищный и жестокий мир человекoв, чтобы добраться однажды до того, зачем душа воплощалась в тело.

Мир, в котором мы ведем себя — это общество. Это бесспорно. Но удалось ли нам рассмотреть, что это за мир? И тут нас тоже улучает очевидность. Нам кажется, что мы знаем, что такое общество. Есть даже науки, изучающие его, например, социология и обществознание. И это верно. Но не для психологов.

Почему-то доверчивые психологи склонны считать, что общество для них — это то же самое, что и для социологов. Это такая же ловушка, как и их доверчивость биологам. Психолог не должен идти одновременно и за биологом, и за социологом, как хороший мальчик. Его просто порвут, если уже не порвали. Психолог даже не должен вести себя правильно. Ведь он уже большой.

Психолог должен понять, что такое поведение и что такое мир, в котором возможно поведение, с точки зрения души. Ведь он психолог.

Глава 8. Настоящий мир психологии

Человек имеет несколько тел и поэтому живет сразу в нескольких мирах. Тель живет в плотном мире, который естественная наука объявила единственным и настоящим. Именно из-за желания стать одной из наук-победительниц в дружине Естествознания Психология и не смогла до сих пор обрести действительную научность. Она попросту ослепила себя. Но естественнoнаучная психология ничего не может знать о поведении, потому что в мире тел оно неведомо и невозможно.

Поведение рождается в мире-обществе, где человек присутствует выращенным для этого телом-личностью. Там он и водит свою телушку, так в старину мазыки называли человеческие тела, заставляя ее кланяться, приседать и выказывать знаки уважения «доминирующим особям».

Однако, как и мир тел, мир личностей — ужасно бездушное место. Признаком этого является то, что мы все постоянно требуем душевности. Тело

может действовать лишь как животное, личность — как бездушный автомат, и это подталкивает к мысли, что у души есть свой мир. Вполне естественно, что он-то и является настоящим миром психологии, если она избрала своей целью изучение души.

Что это за мир?

Константин Дмитриевич Кавелин называл его психической средой, то есть неким тонким окружением души, сквозь которое она проявляет себя. На поверку его «психическая» или душевная среда оказывалась сознанием, содержащим в себе образы. Даже если осознавать, что действительный мир душ — это Небеса, все же мы должны признать, что души наши вынуждены до смерти жить в этих телах и этих личностях, но от непосредственного взаимодействия и с миром природы и с миром-обществом они закрыты многочисленными защитными слоями. И это слои образов.

Мазыки говорили о том, что Душа испускает из себя ту тонкоматериальную среду, которая и производит образы. Как паук, выпускающий из себя паутинку. Они называли эту среду Парой, приписывая именно ей способность сознать, то есть превращать нечто воспринятое в знания, которые всегда хранятся в образах. Я пока не готов со всей очевидностью показать, что сознание или вещественная его часть — пара — действительно творятся душой. Поэтому оставлю на уровне предположения.

Однако бесспорно и очевидно то, что за поведением всегда стоят образы поведения. Поведение вообще невозможно без образов или образцов, по которым мы и ведем себя. Бесспорно и то, что образы имеют отношение к сознанию. Я писал об этом много в других книгах, поэтому не хочу повторяться и доказывать еще раз, что естественнонаучная психология вместе со всем естествознанием оказалась в вопросе о сознании излишне идеалистической. Существует слишком много свидетельств о том, что сознание пространственно, способно иметь и хранить содержания, и что оно не является «функцией мозга», а использует мозг для управления телом.

Иначе говоря, мы вообще не думаем мозгом, это ошибка очевидности — связывать сознание и думание с мозгом: если человеку хорошо врезать по голове, то он теряет сознание и перестает думать. Отсюда знаменитая естественнонаучная мечта продлевать жизнь великим представителям научного сообщества, отрезая им головы и подключая их к «системе жизнеобеспечения». Как наивно предполагают ученые, если продлить биологическую жизнь головы, к примеру, профессора Доуэля, то сохранится и личность ученого. Под личностью в данном случае они подразумевали как раз его способность думать, сделавшую его выдающимся исследователем.

Голова эта будет думать отрезанной только в том случае, если душа захочет остаться в таком «теле». Но даже если бы удалось чудо и кто-то «оживил» бы такую голову без души, думать она бы не смогла. А смогла бы только повторять те образцы, что выжили бы в окружающем ее сознании. И повторяла бы их раз за разом, как испорченный патефон, создавая иллюзию жизни...

Мозг хранит в клетках своего вещества некоторое количество памяти. Это явно видно по тому, что при смене деятельности человеком в его мозге образуются новые пучки нейронов, обеспечивающие эту деятельность. Однако если внимательно прочитать отчеты нейропсихологов, замечаешь, что речь идет лишь о запоминании постоянно повторяющихся действий и о сохранении постоянно используемых связей. Мозг — это биоэлектрическая машина высочайшего уровня сложности, обеспечивающая управление телом. Но даже она не в состоянии запомнить и хранить в себе весь объем нашей памяти.

Память хранится вне мозга и вообще вне тела — в сознании, если говорить современно. Или в паре, как говорили раньше. Пара — это тонкоматериальная среда, в сущности, вид тончайшего вещества, творящего и хранящего образы. Образы же — отнюдь не те задуховно-идеальные знаки, как увидел их материализм с подачи классического немецкого идеализма. Образы надо рассматривать не по-немецки, а по-гречески, как Платон.

А Платон, как и вся греческая культура, не мыслил свой идеализм вне телесности. Даже тончайшие отвлеченные понятия были для грека той поры всегда телесны, все они обладали телами. Именно поэтому греческая философия столь мифологична. Это наследие народной культуры. А русская народная культура философична — это родственная черта с греческой культурой, поскольку выходили они обе из единого корня.

Образы, они же идеи или эйдосы, — это тонкоматериальные вещи или сущности, сотворенные из вещества, которое окружает душу как среда ее обитания. Еще раз повторю: есть подозрение, что душа приносит способность испускать эту среду с собой. Однако это предположение сомнительно, потому что у животных тоже есть души. Народ называл их Животной душой или Живой, как растительную душу называл Жнивой. Испускают ли эти души свое сознание?

Тот же наш народ, судя по этнографическим записям прошлых веков, которые я приводил в предыдущих книгах, считал, что у животных нет души, у них одна пара... Иначе говоря, у них есть та среда, в которой могут твориться образы. И мы определенно можем видеть, что это так, поскольку не раз замечали, как наши собаки, когда мы появляемся неожиданно, насто-раживаются и какое-то время рассматривают нас, пока не узнают. После чего резко меняются и исполняются радостью.

Чтобы узнать, надо создать образ того, что воспринимаешь, и сличить его с образом из своей памяти. В этой части собаки — очень общественные существа и, можно сказать, ведут себя. Является ли это действительным поведением, или же есть лишь вид действий, я пока определять не взялся бы, для этого нужно особое исследование. Но я подозреваю, что у них тоже есть такая часть сознания, которая соответствует личности и, соответственно, позволяет иметь поведение в прямом и полном значении этого понятия.

Но сейчас мне важно лишь то, что животные определенно способны создавать образы и хранить их, значит, у них должна быть соответствующая среда, которую и называли в старину парой. Правда, под парой иногда по-

нимали именно животную душу. Означает ли это, что пара — своеобразное тело, как и наша душа, или же она то, через что всегда проявляются души, почему и кажется душой не слишком искушенному наблюдателю? Я склонен считать, что пару лишь принимают за душу, потому что она всегда ее окружает.

Так же мне кажется, что любая душа испускает пару, то есть вещество сознания, и в силу этого верно и то, что душа приносит с собой свою пару, но при этом у человека сохраняется какой-то объем образов жизнедеятельности и тогда, когда душа покидает тело. Ведь при выходе души из тела мы все замечаем, что тело остается живым, будто бы спящим. В нем сохраняется то, что биология называет инстинктивным уровнем управления телесными отправлениями. Это же самое до науки называли наличием Живы, живой или животной души, которая делает тело живым, хоть и бесчувственным. Если это так, значит, сохраняется и достаточный объем сознания, в котором хранятся образы жизнеобеспечения.

То, что это именно образы, доказывается тем, что люди при определенном усилии, вроде йогического или аутогенной тренировки, оказываются способными менять работу любых своих органов — сердца, желудка, легких, кишечника... Значит, если иметь точный образ того, что ты хочешь от своего тела, и вложить в него достаточно силы, прежний образ, созданный Живой, можно заместить на искусственно созданный. Следовательно, инстинкты — тоже образы, лишь хранящиеся в той части сознания, что обычно нам недоступна.

Но эту мало доступную часть сознания, а точнее пары, принадлежащей Живе, или обеспечивающей жизнедеятельность тела душе, я пока трогать не могу. Мне важнее прозвучавшие и выглядящие очень естественно слова о том, что при выходах из тела мы обнаруживаем тело своим живым, сохраняющим телесное жизнеобеспечение, лишь лишенным чувств.

«Чувства» эти, как считала та психология, что еще допускала существование души, принадлежат ей. Что такое те «чувства», которые с древности связывались с душой, надо бы разбирать особо. Однако очевидно, что именно они-то и составляют мир моей души. Чувства, воплощенные в образы.

Но в образы воплощено все — и поведение, и культура, и память, и чувства. Все эти облака, окружающие нашу душу, доступны для ее путешествий и составляют ее миры, как те миры, в которых она путешествует во снах. Уже из этого краткого описания видно, что мир психологии огромен и сложен. И в нем есть устройство — некоторые из его частей направлены наружу, поскольку необходимы для управления телом и личностью, а некоторые, условно говоря, внутрь, поскольку в них душа отдыхает...

Тем не менее, именно здесь скрыта тайна управления поведением человека, и здесь находится предмет психологии, которым ей стоило бы себя ограничить. Просто потому, что изучаемая ею душа ограничивает себя этим миром в действительности.

Заключение начал

Предметом психологии может быть только душа и путь к ее познанию. Путем этим является всё, в чем душа проявляет себя. Иными словами, всё, через что можно хоть как-то ее проявлять. В сущности, это лишь тени, которые отбрасывает душа, но утопающий хватается и за соломинку.

Тем не менее, пока нам не доступно прямое созерцание души, мы вынуждены будем считать предметом своей науки то, что Константин Кавелин называл психической средой и что на деле является нашим сознанием, хранящим все те образы, которые мы создаем и накапливаем за жизнь. Всё остальное, вроде работы нервной системы, к предмету психологии не относится, хотя и может быть изучаемо психологом, если он хочет понять, как же передается душевное управление телу.

А передается оно, бесспорно, через нервную систему. А точнее, через целую лестницу или цепочку все утончающихся звеньев, крайними полюсами которой являются плоть и душа, а посередине — биоэлектрическая машина нервной системы и образы сознания.

Однако ни мозг, ни остальная нервная система не могут быть предметом психологии просто потому, что гипотеза о том, что именно проявления их работы и были приняты нашими невежественными предками за душу, несостоятельна. Это можно доказывать, показывая множественные нестыковки в построенной на этой гипотезе научной теории, и я это делал в предыдущих книгах. Но в этой я просто исхожу из того, что психология — это наука о душе. И это не предмет логического дискурса, как говорится. Это предмет опыта, поскольку и я сам и многие другие люди оказывались вне тела и его нервной системы.

Поскольку это действительность, то будет этому сопротивляться естественнонаучное сообщество или не будет, но настоящее только здесь, а то, что творят от имени научной моды — ложь. Поскольку моя личная цель — познать себя, то мне врать самому себе невыгодно. И поэтому тех, кто хочет идти этим путем дальше, я прошу настроить свое видение не снаружи от тела внутрь, а как бы изнутри, от души наружу, как взгляд на тело, которое твое, то есть тебе данное. Но не ты!

Тогда душевную среду можно ощутить. И ощутить очень явственно. Как пространство, заполненное образами, которое лишь где-то очень далеко соприкасается с телом...

Вот об устройстве этого пространства, или душевной среды, и стоит поговорить особо.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УСТРОЙСТВО МИРА ДУШИ

Душевная или психическая среда, сквозь которую душа являет себя для нашего познания, в действительности есть мир, в котором она живет, будучи воплощена. Это значит, что душа, даже воплощенная в тело, не соприкасается с ним напрямую, хотя это и кажется невероятным.

Но это очевидно. Во-первых, плоть, вещество сами по себе не в состоянии удержать душу. Они для нее проницаемы, как туман. Когда находишься вне тела, мир будто бы меняет знаки. Душа оказывается плотной, как обычное тело, а вот то, что было твердым и плотным, становятся проницаемыми, будто они — лишь сон души или плоды ее воображения. Тем не менее, душа как-то держится в теле, и держится крепко, так что выйти из него требует чрезвычайных усилий.

Мазыки говорили, что в тело душа помещается в особой рубашечке, вроде той, в какой рождаются дети. Рубашка эта называлась Волохой. Она похожа на мешочек, вкладывающийся в тело, и находится почти сразу под кожей. Это внутренняя защита или кожа души. Снаружи ее — телесная кожа, которая, в действительности, отнюдь не только телесна. Думаю, что кожу наша наука еще даже не начинала изучать, так мало о ней знают. А поверх кожи находится еще одна защитная оболочка, называвшаяся Собь. Она выходит за пределы кожи примерно на полтора пальца.

Все эти оболочки удерживают душу в теле и передают управление на тель. Их можно было бы расписать подробнее, но это предмет Общей психологии, и пока я лишь кратко рассказываю о том, что собрал во время обучения у мазыков как своего рода этнографическую запись. Для этой книги достаточно лишь того, что душа, если она помещена в тело, должна иметь возможность в нем удерживаться и передавать управление. И как-то это делает. Как и через что — особый разговор, который нельзя вести походя.

Но то, что душа не соприкасается с телом напрямую, видно и тогда, когда пытаешься созерцать душевную среду. Пространство образов разливается во все направления от той точки, которой ты осознаешь себя. Но они нигде не становятся телесными, не сливаются с телом и не ощущаются частью тела. Они как бы сами по себе.

Разум подсказывает: я исполняю эти образы, воплощая заключенные в них требования своим телом. Но как? Этого разум не знает, как не видит и мой внутренний взор. Как-то они исполняются, но это вне пределов душевной среды. Наверное, так оно и есть — исполнение образов происходит уже в следующей среде, которая работает сама и которую вовсе не требуется

осознавать, чтобы исполнить образы. Как не требуется осознавать работу желудка или кишечника — только помешаешь.

Иными словами, похоже, что исполнение образов осуществляется уже не душевной средой. Ее дело — лишь создавать их, хранить и избирать для исполнения. Все остальное — предмет телесной психологии. То есть науки, которая пытается познать душу в том, как она проявляется сквозь тело. Поскольку я намерен заняться этим исследованием особо, то и исключаю сейчас эти проявления из рассмотрения.

В этой книге моим предметом является лишь душевная среда как мир, в котором живет моя душа, воплотившись в это тело, в это общество и на этой Земле. И я могу сказать, что считаю ее особым органом, неизвестным науке, по-своему настолько вещественным, что мы можем говорить о ее устройстве.

Кавелин называл этот орган Высшей душевной способностью.

Глава 1. Психическая среда Кавелина

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) использует понятие «психическая среда» во второй главе «Задач психологии» (1872), посвященной им предмету психологии. Многим современным психологам его рассуждения кажутся устаревшими, поскольку, как они считают, психология давно ушла дальше.

Дальше-то она ушла, вот только сбившись с пути. И сбилась она как раз в то время, когда писал Кавелин. А писал он свои «Задачи психологии» десять лет, как раз все то время, когда шли затеянные Чернышевским и Сеченовым споры о том, кому делать психологию — психологу или физиологу. И победил физиолог. Даже то, что психология сохранилась вроде бы как самостоятельная наука, — иллюзия. В ее шкафу до сих пор хранится скелет Физиолога, почему ни один профессиональный психолог даже сейчас не может считать своим предметом что-то иное, помимо «секрета», выделяемого мозгом. Они могут возмущаться и кричать, что психология самостоятельная наука, но в душе знают, что есть только та психология, которую одобрил и завещал им дедушка Сеченов...

А вот Кавелин спорил с Сеченовым, и спорил еще при жизни, когда это было опасно, потому что за это травили. Спорил, доказывая, что предмет психологии — не психика, не деятельность нервной системы, а душа.

«По названию, психология есть наука о душе, ее свойствах и проявлениях.

Но душа тесно связана с телом, и разграничить факты психические от материальных чрезвычайно трудно. Оттого в психологии смешиваются различные явления, и она колеблется между философией и физиологией, примыкая то к той, то к другой, смотря по эпохе и господствующим воззрениям.

Общее сознание относит к числу физических, материальных предметов и явлений те, которые существуют или совершаются вне нас и подлежат внешним чувствам. Так как человек отличает себя от своего тела, то и оно, со

всеми его явлениями, относится к тому же разряду внешних фактов; наоборот, явления и предметы, которые недоступны внешним чувствам, но совершаются или существуют в нашей душе и представляются только нашему сознанию, приписываются душе и считаются внутренними. Духовными.

Таковы наши мысли, убеждения, чувства, страсти, желания, намерения, цели, вообще все наши, доступные одному сознанию, внутренние состояния и движения. Они-то и должны быть исследованы в психологии» (Кавелин, 1872, с. 11).

Собственно говоря, наши современники считают Кавелина устаревшим именно потому, что и они тоже относят все перечисленные вещи к предмету своей науки. Вот только расстань в том, что для них это — часть физиологии высшей нервной деятельности, а для Кавелина — проявления души. Психология Кавелина была именно психологией, вот этого, кажется, до сих пор не понимают. И она была одной из последних психологий в России и мире. Всё, что было позже и до сего часа, — это психофизиологии. То есть совсем другие науки.

И самое главное, Кавелин в «Задачах психологии» действительно построил образ науки о душе, предложив пути ее развития. Я уже говорил это, но повторю еще раз: отрицать Кавелина можно, но тогда придется либо блуждать не там, либо тайком от себя повторять предложенный им путь. Однако предшественников лучше знать. Это достойно и вызывает уважение к стране и народу, которые не забывают своих великих предков.

Главная мысль Кавелина: воплотившись в тело, душа, тем не менее, живет в особой среде, которой окружена и защищена от этого грубого мира. И защита эта удивительна, поскольку, в сущности, является неким качественным скачком между мирами, будто мы одновременно живем и в этом мире, и в мире душ, который душа наша приносит с собой...

«Следовательно, мы имеем непосредственно дело только с предметами и явлениями психического свойства, внутренними, доступными одному сознанию. Душа в действительности гораздо более сосредоточена в себе и отделена от внешнего мира, чем мы думаем; она не имеет к окружающему прямого, непосредственного отношения, а сносится с ним через посредство тех впечатлений, которые от него получает, насколько способна их получать, и такими впечатлениями возбуждается к собственной деятельности» (Там же, с.13).

Разрыв этот, граница между мирами настолько качественна, что в действительности человек почти не в состоянии ее осознать. Поэтому он вынужден выбирать себе мировоззрение, подобно выбору политической партии — на веру. До последнего времени правило естественнонаучное или материалистическое мировоззрение, утверждавшее, что нет ни души, ни духовного мира. И люди верили в это. Сейчас происходит перелом, и люди снова начинают верить, что есть бог и душа, но тем самым они отрицают материализм.

Кавелин был одним из немногих людей, способных не верить, а видеть действительность широко. Для него и то и другое — грани одного большого явления. Поэтому он говорит о необходимости положительной науки о душе. То есть науки, изучающей душу и ее мир, но не отбрасывающей и тот мир,

в который она воплотилась. Ведь она и приходит, чтобы познать законы вещественного мира.

Но как его познать?

«Мы не знаем внешнего мира помимо впечатлений, которые он производит в нас через внешние наши чувства; но эти впечатления, упорным трудом поколений, очищены от посторонних примесей и получили ту степень объективности, которая составляет непрременное условие и основание положительного знания.

«Кто думает, что мы изучаем и исследуем реальный, внешний мир, каков он сам по себе, тот очень ошибается» (Там же, с. 22).

Последнюю мысль удается понять далеко не многим. И не потому, что она так уж трудна: нет никакого объективного знания, как бы ни кричала о нем естественная наука. Все знания субъективны, потому что они плод осмысления впечатлений, полученных нашими душами. И никакие приборы и приборные методы исследования не могут избежать очищения, производимого с ними той границей, которой душа защищена от мира вещества. Все знания, которыми обладает человечество — принадлежат душам и потому являются психологическими!

Мысль простая и понятная. Прибор, не прибор, но знанием то, что в приборе, без человека не становится. А в человеке оно становится знанием не тогда, когда на него реагирует нервная система или ее рецепторы, а тогда, когда душа осознает это впечатление. Понять это можно.

Вот принять удается не всем, потому что невыгодно. Но те, кто в состоянии это понять, но не принял, сохраняя видимость благополучия в науке, должны в таком случае принять другую мысль: они имеют право на эту ложь. Просто потому, что это их жизнь, и никому нет дела до того, как они ею распорядятся. Если они избрали всегда быть на стороне силы и для этого врать всем, как это делала, к примеру, коммунистическая партия, это ни хорошо, ни плохо, это просто жизнь. Их жизнь.

Но действительность такова, что никаких объективных знаний нет, как нет и знаний, которыми обладают тела.

Все знания, которыми владеет человечество, есть знания, которые добыли души, пытаясь научиться познавать этот мир с помощью сложнейшего исследовательского прибора по имени человеческое тело.

И нет никакой цивилизации!

Есть лишь огромный исследовательский эксперимент, который ведут все те же души, воплотившиеся на этой планете...

«Стало быть, положительное изучение так называемых реальных предметов и явлений улетучивается, при ближайшей проверке, в психические действия над психическими фактами.

Обратимся теперь к последним. Мы видели, что они не только совершаются в душе, но принимают также деятельное участие в реальных предметах и явлениях, выражаются в них, приурочиваются к ним, приводят их в тысячи новых сочетаний. Это более или менее заметно на всех созданиях человеческих рук, — этой второй природе, воздвигаемой человеком над той, которая живет помимо

его действия и вмешательства, а также и на тех изменениях, которым подвергается человеческое тело под влиянием психической жизни.

В обоих случаях мысль, чувства, деятельность человека обнаруживаются и становятся доступными для внешних чувств» (Там же, с. 23).

Вторая природа — это культура. Далее Кавелин и будет развивать мысль о том, что познание души должно идти через внешние воплощения или «проявления психической жизни», то есть через культуру.

Но культура есть, и ее нет...

Просто потому, что она не то, что мы о ней думаем. Она — лишь возможность для душ проверить, верно ли они познали этот мир.

Воплотившись в тела животных, мы могли бы жить в этом мире, ничего не меняя. Но мы меняем. Мы создаем себе условия для совсем иной, совсем не земной жизни! Для какой и зачем?

Чтобы лучше жить? Но откуда мы знаем, как жить лучше? Что за мир воплощают наши души? Тот, в котором лучше телам? Вроде бы, верно. Ведь телам нашим нравится, когда тепло, светло, сытно...

Но все мы знаем за собой и то, что с детства, обучившись чему-то, тут же начинаем проверять, освоили ли это. И пробуем, пробуем, пробуем, пока не получится. Вот и улучшение нашей жизни идет через освоение того, как управлять веществом. Мы познаем вещественный мир и делаем из него вещи... Вещь — это то, что делает жизнь лучше. Почему?

Потому что в ней воплощено знание — о веществе и о том, что такое лучше. Вещь — это вещей образ, несущий в себе память об ином мире, о мире, который нами утерян...

Глава 2. Особенности психической среды

Я много писал о Кавелине и его психологии раньше, поэтому я оставляю его «Задачи психологии» и помяну из них еще только три мысли, которые необходимы для описания устройства мира моей души. Две из них присутствуют вот в этом его высказывании, посвященном наблюдению над собой:

«Без всякого внешнего повода мы иногда припоминаем давно забытое. Это значит, что оно из нашего психического резервуара или хранилища подымается на поверхность и представляется нашему внутреннему зрению» (Кавелин, Задачи психологи, с. 29).

Первая мысль Кавелина: что мир души, или сознание, — пространствен. Эта мысль многократно оспаривалась во времена метафизики, что и унаследовала естественнонаучная психофизиология. Тем не менее, с появлением психоанализа стало общим местом, что сознание может иметь содержания, а это невозможно, если не видеть его неким хранилищем, то есть пространством для жизни образов. Пространство для жизни чего-то — и есть мир.

Вторая мысль столь же очевидна: для изучения себя и души мы обладаем неким внутренним зрением. Чуть ниже Кавелин пишет о нем, говоря о том, как наш внутренний мир воплощается в культуре:

«Таким образом, статуи, картины, ноты, письма, — факты осязательные, реальные, доступные внешним чувствам, — свидетельствуют несомненным образом о том, что сверх деятельности общей с животными, человек имеет еще свою особенную, характеристическую, ему одному исключительно свойственную воспроизводить представления во внешнем образе, приурочивать психические состояния, чувства, мысли, словом, психические факты и события к известным внешним условным знакам, по которым они могут быть узнаны и воспроизведены.

Такая деятельность человека показывает, во-первых, что он одарен каким-то психическим зрением; не имея он способности видеть находящихся или происходящих в нем психических фактов, он не был бы в состоянии выразить их в образе или условном знаке, они вовсе бы для него не существовали и он не имел бы об них ни малейшего понятия.

Что психические факты выражаются в образах и условных знаках, показывает, во-вторых, что психические явления имеют в нашей душе действительное существование и свою точную определенность и объективность» (Там же, с. 34-35).

Мысли Кавелина просты: мы имеем психическое зрение, способное видеть образы, являющиеся по своему содержанию некими знаками, которые мы понимаем. Я хочу отметить, что эта простая мысль, через четверть века выказанная швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром, покорила умы европейских мыслителей и ляжет в основу всего современного языкознания, а во многом и психологии. У Кавелина она прошла незамеченной, поскольку зрение наших интеллектуалов было обращено туда, куда уходит от нас солнце.

Теория знаков меня сейчас ни в малой мере не занимает, а вот то, что все «психические факты», то есть мысли, чувства, воспоминания, — есть образы, я хочу отметить. Также хочу отметить и то, что Кавелин использует здесь выражение «в нашей душе» в совершенно народном смысле, который виден в выражениях, вроде «чужая душа потемки».

Каким-то образом народ расширяет понятие души и на ту среду, что заполнена образами, созданными душой. Говоря: чужая душа потемки, — мы имеем в виду, что в чужие мысли не заглянешь, то, что человек таит, не разглядишь. Тем самым, душой в расширительном смысле оказывается и то хранилище образов, о котором пишет Кавелин. Для народа душа — и само тело, в котором я переживу смерть, и то, что я унесу с собой, умирая. А то, что я унесу свою память и способность думать, подтверждает мой личный опыт выходов из тела.

В том состоянии действительно сохраняется способность воспринимать, ощущать, думать, удивляться, то есть испытывать чувства, вспоминать. Иными словами, хотя наше «психическое хранилище» и не может быть собственно душой, но оно принадлежит ей и может считаться ее частью. Наверное, внешней.

В этом смысле душа подобна улитке, которую не так-то просто отделить от ее домика, который она всегда носит с собой.

Вот самое общее описание мира души, как его рассмотрел Кавелин. Наблюдения его бесспорны, и я не хотел бы их утратить. Для любого человека, способного на самонаблюдение, они очевидны, поэтому их можно считать началом любой действительной психологии.

При этом, как вы заметили, Кавелин всюду показывает связь образов с вещами внешнего мира. Образы способны воплощаться, точнее, мы способны воплощать свои образы. Это значит, что наши души, при всей их невещественности, все же имеют средства для воздействия на вещественный мир, и это не может быть случайностью борьбы за выживание. Борьба за выживание — лишь частная задача сохранить тело, как важнейшее орудие для выполнения той задачи, ради которой пришла душа.

Глава 3. Душевный мир. Впечатления и сознание

Описание предмета психологии и входящих в него частей, таких как мысли, чувства, впечатления и состояния, сделанное Кавелиным, верно до очевидности, но и вся остальная психология признавала их частью своего предмета. И так и не стала прикладной. Сказать, что предметом психологии является то, что относится к миру внутреннему — недостаточно, как показала жизнь. Нам придется описать душевный мир подробнее и постараться выйти на его устройство.

Думаю, делать это нужно послойно, создавая множество описаний, в соответствии с теми гранями собственной душевной жизни, которые мы осознаем. Душевный мир — слишком большое явление, чтобы можно было рассчитывать создать его полноценную картину одним мазком.

Итак, граница, за которой кончается мир вещей и начинается мир души, — это впечатления, как и писал Кавелин. Тело воспринимает происходящее с помощью органов восприятия. Очень похоже на приборы физиков. Однако все эти восприятия не имеют никакого значения для человека, пока он сам эти значения в них не вложит. Для этого он должен осознать воспринятое. Без осознания впечатления просто улетучатся из нашего сознания, будто их и не было. Соответственно не будут они оказывать и никакого воздействия ни на действия, ни на поведение человека.

Что такое осознание?

Точнее было бы спросить, что такое сознание? В том значении, что звучит в вопросе: *«сознаешь ли ты, что происходит?»* На первый взгляд кажется, что сознание — это нечто вроде понимания. На самом же деле понимание приходит лишь к тому, что создано. Понимание вообще действие разума, а сознание еще доразумно, оно предшествует разуму, потому что готовит для него орудия — а именно образы.

Сознать — это основное действие сознания, которое оно производит с впечатлениями. Впечатления, как это очевидно из самого слова, — это отпечатки, которые оставляет воспринятое в чем-то. Как говорит русский

язык, либо в душе, либо в сознании. Здесь опять присутствует то двойственное понимание души, которое я отмечал, рассказывая про Кавелина.

Чужая душа потемки, — говорится в действительности не про душу, а про то хранилище мыслей, которое создает душа. Вот и внешние события производят впечатления на душу, что не значит, что впечатываются они прямо в нее. Это было бы так же невозможно, как уместить всю память в мозге. Восприятие производит впечатление на душу, но впечатываются они в испускаемую душой тонкую среду, которую наш народ называл парой, а мы можем называть сознанием. Она-то и была той «вощенной дощечкой», или табулой раса, о которой говорят Сократ и Аристотель.

Почему я говорю о паре и сознании, ставя между ними знак равенства?

Так меня учили те, у кого я как этнограф учился народной психологии — мазыки. Но, думаю, это соответствует действительности. Как происходит сознание воспринятых впечатлений?

Во-первых, они должны во что-то впечататься. К примеру, в некую воспринимающую поверхность души, чтобы она могла обратить на них внимание. Затем они должны от нее отделиться, чтобы душа была способна воспринимать следующие впечатления. Следовательно, эта, условно говоря, «воспринимающая поверхность» должна быть отделима от души и должна постоянно отделяться от нее по мере восприятия и сознания. Получается, что она больше похожа на некое вещество, изливаемое из себя душой и заполняющее пространство вокруг нее. Как некая очень тонкая, но вещественная среда, вроде газа или пара, что и отразил русский язык.

При этом само впечатление, если следовать за языком, должно как-то продавить тело души — только тогда на нем возможен отпечаток. Но это значит, что одновременно с поверхностью души продавливается и поверхностный слой этого вещества — пары. Но что потом? Изогнутое либо выпрямляется, либо сохраняет след. Сохранение следа становится памятью, а значит, и знанием. Как оно возможно?

Сознанием. То есть превращением впечатления в знание. Попросту говоря, закреплением отпечатка в паре, то есть в веществе сознания, как некоего остаточного образа, ибо знания и память хранятся у нас в виде образов.

Творение образов из впечатлений, перевод впечатлений из простых надавливаний на воспринимающую поверхность в долговечный образ и есть сознание. Но кто сознает? Душа? Наверное. Без нее или без некоего деятеля, который может сказать про себя Я, сознание невозможно, как невозможно оно и тогда, когда я оказался «без сознания». Но при этом есть и вторая сторона сознания — все сознание мною создано как образы, созданные из вещества пары и хранящиеся в ней. Иными словами, все мое уже имеющееся сознание уходит в память в виде образов, создавая содержания сознания.

Можно их назвать и плодами сознания, но выражение «содержания сознания» не случайно. Оно показывает, что в каждом образе пары содержится частица уже закрепленного мною сознания. Благодаря этому образы и обретают вещи качества, то есть способность замещать того, кто сознает, пока я занят другими делами.

Образы пары — это мое разлитое и сохраненное навсегда сознание, которое я вложил так, чтобы облегчить свое существование на Земле. Используя их, я облегчаю себе дальнейшую работу с тем, что мне предстоит, хотя бы то же самое понимание. Мне уже не надо будет *со-знавать* воспринятое еще раз, мне достаточно будет его *у-знать*, вытащив из памяти, поскольку сознавание я в него уже вложил, закрепив образом. Теперь я могу перейти сразу к пониманию. А от понимания прямой путь к использованию.

Сознавание чем-то похоже на душевное пищеварение или на изготовление вещей, полезных для выживания наших тел. В сущности — это творение «второй природы», как говорил Кавелин. Только в ином пространстве, а именно в том, в котором мы оказались воплощены, то есть в плоти или вокруг нее.

Если исходить из того, что у новорожденного еще нет всех этих образов как среды, он должен быть связан с телом гораздо плотней, чем взрослый, особенно пожилой человек. И ему трудней уйти из жизни душой, разве что погибнет тело, которое еще очень слабо. Он весь направлен в этот чужой мир, всей охотой или всем своим естеством. Старый же человек способен покинуть тело легко и светло. И это — плоды вызревания именно той переходной среды, которую творит душа, чтобы еще при жизни в теле создать мостик в свой мир, на Небеса...

Глава 4. Душевный мир. Сон и полеты души

То, что одной границей мира души являются впечатления, которые душа получает от телесных органов восприятия, очевидно. Это его телесная граница, то есть граница в сторону мира, хотя кажется, что в сторону тела. Но тут само тело оказывается той границей или защитой, через которую душа глядит в мир, но мир дотянуться до нее не может.

При этом у души есть и граница в сторону тела — это те тонкие рубашки или мешочки, через которые она взаимодействует с ним и передает на него управление — Собы, Кожа и Волоха. Далее в теле есть еще и устройство, обеспечивающее это управление через особые духовные узлы, называвшиеся у мазыков Стогнами. Но это пока выпадает из задач моего исследования.

Пока мне важно лишь показать, что границ или частей у мира души много, и я не в состоянии описать его устройство за один раз. Мне приходится идти путем культурно-исторического исследования, описывая слой за слоем свои представления и наблюдения, пока они не сложатся в цельную картину. Граница в теле и граница сквозь тело оказываются первыми слоями, которые приходят мне на ум. Значит, для меня они наиболее очевидны.

Следующая очевидная для меня часть душевного мира — это сны.

Сны привлекают многих исследователей, но в то же время исследователи их боятся. Академические психологи очень редко берутся исследовать эти

состояния сознания. Думаю, потому, что без «гипотезы души» они плохо понимаются, и исследования остаются неудачными. Как «функциональные состояния мозга» сны остаются загадочными.

Я писал о снах и проводил начальные КИ-психологические исследования, которые опубликовал в книге, посвященной Ведогони¹. Ведогонь — мазыкское понятие, относящееся к тому телу, в котором мы осознаем себя внутри снов. Поэтому я не буду сейчас углубляться в этот предмет. Скажу только, что есть несколько очевидностей, которые нельзя не учесть, глядя в эту часть душевного мира.

Первое: сон необходим нам, мы не можем не спать. Но редко кто может ответить на вопрос: кто не может не спать?

Кому необходим сон и кто спит?

Может быть, телу? Если это так, то действительно можно сказать, что тело спит, когда мы спим. И тогда появляется соблазн описать состояние тела во время сна с точки зрения его физиологических проявлений и объявить именно это состояние сном. Тогда сон — это определенное электрическое состояние мозга, вызывающее снижение различных физиологических функций. Иначе говоря, сон — это состояние сниженное. Для физиолога.

Но для психолога сон — состояние важное, даже возвышенное.

Сны бывают вещими, в снах человек познает себя неведомым и неожиданным; люди не хотят быть послушными мальчиками и девочками и не слушаются физиологов — они по-прежнему относятся ко снам с предельным вниманием и даже настороженностью. А стремления наших государственных гулаговцев от науки убедить народ, что жить надо по режиму, спать как можно меньше, вставать раньше и много работать на родную индустрию, провалились. Как провалилась и мысль, что, пока ты спишь, жизнь проходит мимо.

Пока ты спишь, мимо проходит телесная жизнь, потому что сон — сниженное состояние только для тела. Душевная же жизнь часто оказывается при этом гораздо богаче, чем во время бодрствования, и человек отдыхает душой. Для тех, кто живет в зонах и лагерях, вроде наших промышленных предприятий или учреждений, где правит скотство или коммунальное паскудство, сбежать в сон — отдушина. Уколоться и забыться и упасть на дно колодца... — как пел Высоцкий.

Сон был отдушиной для всего советского народа, и остается ею для многих и сейчас. Сон, опьянение и наркотики. Пивная революция, что медленно превращает Россию в Европейскую державу, показывает, что жизнь стала лучше, лагерность уходит, и людям больше не надо глушить себя сильнодействующей водкой. Хватает легкого пивного расширения сознания и сна...

Итак, хотим мы того или нет, но сон необходим отнюдь не только для восстановления уставшего тела, он необходим душе. Во сне душа восстанав-

¹ *Скоморох И., Соколова Н.* Первая Ведогонь. — СПб.: Тропа Троянова, 2005. (Иван Скоморох — литературный псевдоним А.А. Шевцова. — *Ред.*)

ливается, тело могло бы восстановиться, и просто полежав без движений. И возникает вопрос: кто же спит? Не душа ли?

Но мы точно знаем, душа-то как раз во снах и не спит. Во снах душа путешествует. И путешествует она по мирам, в обычном состоянии нам недоступным.

Точнее, она путешествует по разным мирам, как по слоям, которые окружают душу и, возможно, составляют некую «лестницу» ее движения от Небес к телу и от тела обратно на Небеса. Во всяком случае, мы все знаем, что иногда во сне мы продолжаем переживать дневные события. И происходит это почти в тех же условиях, что и всегда. В тех же, да не совсем. Иногда сон увязывает обычные образы в удивительную вязь.

И это значит, что и в обычных снах душа путешествует не по обычному миру, а по миру образов, то есть внутри сознания, их хранящего, а значит, по собственной душевной среде.

Но иногда образы становятся неожиданными, и мы попадаем в миры, где определенно не могли бывать. И никакие попытки в бодрствующем состоянии понять, откуда что взялось, не приносят воспоминаний, объясняющих события сна. Событий, которые бы повели к созданию воображением из имеющихся в сознании воспоминаний таких странных видений, нет. Но сон случился.

Пока не буду ни на чем настаивать, скажу только, что мазыки считали, что в таких случаях мы бываем в иных мирах, доступных нашей душе только в ее полетах. Это могут быть миры, которые душа вспоминает из прошлых ее воплощений. А могут и те, что лежат на пути к дому, куда ей однажды придется вернуться.

Самое главное тут то, что душа во снах путешествует прочь от тела и забот этого мира. И проходит слой за слоем миры убывающей плотности, все приближаясь к духовным мирам, которые для нее являются естественной средой пребывания. Именно погружение в те миры и дает отдохновение душе...

Вопрос же, кто спит во время сна, остается открытым. Как кажется, кто-то спит. Но этот кто-то, похоже, не я, потому что я осознаю себя деятелем в тех телах, в которых вижу себя во время душевных путешествий, точно с такой же силой достоверности, как и в этом физическом теле, которое уложил в постель...

Иными словами, похоже, что мне совершенно все равно, в каком теле быть и извлекать свои уроки. Могу только добавить из собственного опыта: состояние это, когда осознаешь себя внутри сна и начинаешь действовать осознанно, или выходишь из тела и осознаешь себя внутри душевного тела, с точки зрения цельности и готовности познавать мир и себя, ничем не отличается от пребывания в Тели и от пребывания во сне. Если во сне случается жить тем же, что и в бодрствовании, например, вести какие-то исследования, то исследуешь с той же силой и с тем же самоощущением. Другое дело, что итоги исследований могут потом оказаться очень странными... Но это шутки снаоразума, которые я сейчас не разбираю.

Главное одно: во сне я остаюсь я и путешествую в собственном теле, которое оказывается телом сна, ведогонцем. Но при этом оно, как и тело бодрствования, тель, носит в себе мою душу, а в ней меня. И значит, избирает ли себе душа иные тела или путешествует без них, но мое пребывание в телах снов — это путешествия моей души. И до какого-то удаления от этого мира ничем от жизни в теле не отличается.

Настоящая душевная жизнь начинается лишь тогда, когда душа уходит в те миры, где дополнительные защиты, вроде телесных скафандров, не нужны. Но такие сны мы очень плохо помним, будто бы их отделяет некая граница, стирающая память. Возможно, память и не стирается, но будучи воплощенными, мы просто не в состоянии вызывать из памяти образы такой плотности. Хочется сказать, утонченности...

Однако это не так, скорее, мы их просто не понимаем, ожидая увидеть что-то похожее на этот мир. А приходят совсем иные образы, которых мы не понимаем по грубости и невоспитанности наших чувств. Это выражение, я думаю, знакомо и узнаваемо: невоспитанность, грубость чувств. Если это так, то в нем важная подсказка: мы не умеем понимать именно те образы, которыми живет душа, поскольку она живет чувствами.

Даже рисуя рай или царство Царя небесного, человек рисует деревья, троны, одежды... А вот нарисовать ту светлую тоску, которая охватывает иногда и детей и взрослых, когда они глядят в глубину звездного неба или видят небывалый закат, мы не можем. У нас не хватает образов даже не для передачи, сколько для понимания. Может быть, я бы и написал об этом, да кто поймет!

Поэтому те, кто вспоминают путешествия души, пишут без слов — музыку, картины...

Душа живет в мире чувств — это не образное выражение. В том мире, где она отдыхает, она живет тем, что дает ей отдохновение. И это надо понять и описать, что невозможно, пока нами правят естественнонаучные представления, — как исследовать мир души, если нет самой души!?

Однако душа приносит все, что ей необходимо для жизни в этом мире, с собой. И мы ведь прекрасно знаем, что нам нужно для отдохновения души, и всю жизнь стараемся собрать вокруг себя все подобные возможности. Мы собираем музыку, живопись, друзей, понимание, высокие мысли, красоту...

Есть подсказка: отдохновение души. И одной ее достаточно думающему человеку, чтобы понять себя так глубоко, как это и не снилось нашим мудрецам!

Глава 5. Душевный мир. Это воплощение

Когда я пытаюсь охватить душевный мир, который описал, единым взглядом, то вижу некое огромное пространство, в котором существует душа. Оно простирается от моего тела и до недоступных моему внутреннему зрению далей. И, как ни странно, тело мое и все, что связано с его земной жизнью,

как-то до обидного мало присутствуют в этом мире. Если я смотрю на себя из души, тело будто бы почти не имеет значения, а жизнь моя, полная болей и радостей, запутанная и прекрасная, оказывается какой-то мелочью, малозначительным эпизодом в чем-то огромном... то ли спектакле, то ли битве, то ли просто в жизни моей собственной души...

Но я знаю, что могу одним простейшим движением, кстати, все той же души, превратить эту мою жизнь в нечто захватывающее и единственно важное. И к тому же, в огромное и чрезвычайно сложное, и улучающее меня полностью. Для этого всего лишь надо засунуть то ли нос, то ли голову души в дырочку на оболочке душевного мира, в которой открывается вход в мир этого моего воплощения. Мирок этот висит крошечным мешочком на теле огромного мира моей души. Подобные мешочки или пузыри в старину называли Гворами.

Как ни странно, но даже простое созерцательное упражнение, попытка представить, как я вхожу в гвор этого моего воплощения из мира души, удивительно похожа на рождение. Я знаю: сейчас я шагну, и там начнется... и побаиваюсь этого шага, будто и в самом деле начнется новое воплощение. Поэтому я слегка оттягиваю его, задавая себе различные уточняющие вопросы.

К примеру: как получается, что мир моего воплощения, то есть весь вот этот огромный и важный для меня окружающий мир, ощущается вообще за пределами мира души, хотя бы как отросток от него, если я отчетливо осознавал границы душевного мира — впечатления, получаемые через телесные органы восприятия?

И как только я задаю себе такой вопрос, тут же приходит понимание: когда я выходил из тела, мои ощущения были удивительно телесными, будто я вставал с кровати телом!.. И лишь когда потом висишь над кроватью, понимаешь: все эти ощущения, которые обычно считаешь телесными, одновременно и телесны и душевны. Душа — тоже тело, только очень тонкое. Оно хранит в себе Дух и меня. Но при этом обладает не только всеми признаками тела, но и всеми его свойствами и качествами. В том числе, и органами восприятия.

Тот самый внутренний взор, о котором писал Кавелин, и который замалчивается всю психологией, в действительности — зрение души, точнее, вѣдение. Это очевидно. А опыт выходов из тела показывает, что видение — не единственная воспринимающая способность души. Она чувствует гораздо больше, просто никто не задался целью описать ее восприятие, поскольку науки о душе не было.

Следовательно, когда я вижу, что одна граница душевного мира — это впечатления, я вовсе не обязательно пишу о телесных впечатлениях. Душа способна видеть и без телесных глаз. Это умеют многие, и мы обучаем этому, как работе в темную, уже годы. И если это так, то что подразумевается под впечатлениями? Следы от телесного восприятия, или же это то, что получает душа, рассмотрев своим видением итоги «восприятия» телесными рецепторами?

Вопрос не такой уж простой, но если бездушное тело не более, чем куча атомов, то отличается ли его «восприятие» от «восприятия» телескопа или микроскопа? И вообще, есть ли у тела восприятие? Или же у него есть только раздражительность, как у простейших?

Не буду вдаваться в это глубже, но, похоже, граница впечатлений — это не граница телесных впечатлений, это граница душевных впечатлений. А с границей телесных впечатлений она совпадает лишь тогда, когда душа воплощена в это тело и воспринимает сквозь него и, значит, одновременно с ним. Вероятно, в этом есть какой-то великий смысл. Но для того, чтобы это ощутить, душе необходимо сделать шаг в новый мирок, который она для себя открыла, избрав воплощаться.

Она шагает — и оказывается в крошечном и беспомощном детском тельце. Мы глядим на это тельце со стороны и отчетливо осознаем, что его взгляд бессмыслен, а тельце это, похоже, еще почти не умеет воспринимать. А душа?

Неужели воплотившаяся в тело душа тоже потеряла свою способность к восприятию? Вот в этом я сомневаюсь и предполагаю, что душа в это время ведет сложнейшую битву за то, чтобы овладеть управлением этим новым телом. А потом научить его всему, начиная с восприятия. Пока она это не сделала, она просто не пробивается наружу, к тем, кто ищет общения с вновь пришедшей душой...

Думаю, именно из-за тяжести этого начального времени душа моя и колеблется, прежде, чем сделать даже воображаемый шаг в это воплощение. Однако, она его делает, и дальше мир души остается по ту сторону прохода, а мир воплощения оказывается так опасен, что приходится отдаваться ему целиком.

В чем его опасность? Конечно, в том, что тельце это может погибнуть. И не то, чтобы это страшная потеря — душа-то останется жива. Но это трата сил и времени, и это крайне нежелательно. Поэтому сразу после воплощения для души начинается битва за выживание тела. И так ее захватывает, что многие души за время земной жизни так и не вспоминают себя, а то еще хуже — придумывают себе веру в то, что их нет... а есть только выживание тел...

Выживание тел очень важно. Без них не сделать того, зачем пришел. Но зачем-то же я пришел!

Глава 6. Битва за мир

Душа приходит в тело младенца и застает там хаос. Или не хаос, поскольку хаос стал для нас чем-то вроде беспорядка, а отсутствие всего. Более всего это похоже на одиночную камеру или бутылку, в которой запечатан джинн...

Стены этого сосуда почти непроницаемы, к тому же он постоянно болеет и с трудом справляется с поддержанием жизни. И душа все время чув-

ствуется, что еще чуть-чуть, и сосуд придется покинуть, поскольку жизнь в нем невозможна... Но она борется и растит и воспитывает себе орудие для воплощения задуманного. Поэтому вначале душа изучает только само тело. На это уходит довольно много времени, в сущности, долгие годы, если судить по тому, что мы обучаем свое тело новым движениям и состояниям порой до глубокой старости.

Освоение это, — а это именно освоение, то есть делание своим, — совсем не просто. Надо как-то научиться воздействовать на этот комок живой плоти. А как? Он не чувствует тебя ни в младенчестве, ни будучи взрослым. Но взрослому ему можно подсовывать образы, которые он считает своими, а в младенчестве даже это невозможно, поскольку никаких образов еще нет. Их еще только предстоит создать. Есть лишь проблески света, изредка мелькающие сквозь щелки глаз, есть болезненные ощущения тела, то от давления внешних вещей, вроде пеленок, то от голода, то от разъедающей тело мочи...

Тело определенно живо, и оно не любит, когда ему холодно, горячо, голодно или больно. Это возможно использовать, создавая образы, которые можно превратить в образы действия и передать на тело. Вот только оно не слушается... и его еще надо приучать к тому, чтобы оно ощущало очень тонкий неуют от тех понуждений, что посылает ему душа по нервной системе и в нервную систему...

Затем приходит время, когда удастся настроить зрение и слух, теперь надо научить тело удерживать внимание, сохраняя нужное направление восприятия. А также приучить его ко все более сложным образам действия, которые можно создать только из уже имеющихся простых образов...

Можно ли это сделать, помимо сознания этого тела, скажем, на старых запасах души? Похоже, что нет. Воплощение определенно отодвигает память души за пределы той оболочки, в которую она воплотилась. В итоге между образами прошлых жизней и душой воплощенной всегда есть граница или слой новой Пары, похожие на кожицу, непроницаемую для прямого взаимопроникновения. Именно поэтому новый мир и кажется карманом или отростком от Мира души. У него своя поверхность, которая не дает прежним образам проникать к нам, и поэтому душе надо создавать всё с нуля.

Почти всё. Во всяком случае, любая мать чувствует, когда ребенок узнает ее и тянется в самом младенчестве. Это значит, что душа видит и чувствует, но не может это перевести во взрослые образы, потому что их нет еще в сознании ребенка. Поэтому она и не делает лишнего, она лишь обеспечивает тельцу выживание, заставляя его видеть душевное тепло, идущее от тех, кто о нем заботится.

Таким образом, получается, что первыми понятиями, что рождаются у ребенка, оказываются очень философские вещи — плотность и душевное тепло. Ребенок начинает познавать мир именно с них. Он, как амеба с ее раздражительностью, стекает с плотного, которым оказывается и жесткое, и холодное, и горячее, и даже голод, и течет в мягкое, теплое, доброе, любящее, кормящее и греющее. То есть в сторону душевности.

Иными словами, воплощаясь, мы видим плоть, то есть плотное, и видим души, как любящий нас теплый свет. Видение душ пропадает со временем, но остается способность распознавать душевность. Это и есть след прежней способности, как говорит наука — рудиментарный орган. Если бы кто-то задался целью изучить душевность... но кому же это нужно в мире тел?!

А затем начинается долгая битва за освоение этого мира. Она идет как познание расширяющихся кругов доступного ребенку пространства: семья, дом, двор, улица, школа, город, страна, Земля... Мы снова возвращаемся к широте, доступной душе до воплощения.

И идет эта битва за мир отнюдь не как битва тел. Тела бросаются нами в исследования, как войска бросаются полководцем в разведку или на прорыв. Но исследует и изучает мир душа. И не потому, что ей нужен этот мир. Как это ни странно, но душа, похоже, приходит вовсе не ради этого мира. Судите сами: она же во время всех этих битв остается за непроницаемой стеной впечатлений.

Значит, она бьется ради чего-то своего, что мы либо не замечаем, либо не понимаем. Нам кажется, что мы сражаемся за власть, силу, деньги, уважение, славу... А душа все это время лишь получает впечатления от происходящего и творит образы, лепя из них понятия. Душа сражается за свои ценности. И для нее наши земные битвы лишь источник чего-то действительно ценного и важного.

Чего?

Похоже, что ей очень важно ощущать душевную боль и душевный покой. Поэтому она заставляет наши тела — Тель и Личность — повторять одни и те же ошибки до тех пор, пока не станет неуязвимой. А достигает она своей неуязвимости, совершенствуя понятия о мире и его природе.

В сущности, ничего другого, кроме той битвы, что вел Сократ, выращая утонченные понятия обо всем, что важно человеку, мы и не ведем. Сократ не зря называл своё философское искусство майевтикой, то есть родовспоможением души. Он действительно помогал душам освобождаться от родовых пелен, заставляя их обретать совершенные понятия о действительности и себе.

И значит это то, что души, воплощающиеся в человеческие тела, еще очень молоды. Они, думается мне, вообще новорожденные души. Пусть это рождение идет много воплощений и тысячи земных лет, но это миг по понятиям той вечности, в которой суждено жить душам.

Мы — не вершина природы, мы ясли, лягушатник, мы — планета-детский сад. Библия называла его Раем, русская дохристианская мифология Выреем.

Вырей — это теплые и сытные земли, куда на зиму улетают птицы... и души.

Заключение Мира души

Что происходит с душой дальше? Она творит Образ мира, в котором и проигрывает все то, что ей нужно для достижения совершенства. И творит она его, создавая одновременно слепок с действительного мира и творя Образ себя, то есть того существа, которым она по этому миру путешествует. Именно так и рождается понятие о поведении. Водим мы по миру не себя, не тело и даже не личность, мы водим Образ себя, который облечен и в тело и в личность. Им мы и отыгрываем все те сложнейшие взаимодействия, благодаря которым нам становится доступен опыт душевной боли и покой.

Наличие Образа мира, как второго мира, в котором мы живем, дает человеку способность быть существом множества миров сразу. Для проверки этой способности мы творим учебные миры, самый заметный из них — мир по имени Общество. Но такими же учебными мирами являются наши дома, гнездышки, которые вьют себе влюбленные женщины, песочницы, которые строят дети, политические партии, создаваемые грозными мужчинами...

Мы обучаемся на земле будущему состоянию, в котором нам придется творить миры. Для этого нам надо научиться создавать их сначала в своем воображении. И Земля предоставляет такую возможность, заставляя нас ради выживания тел создавать разум и его основу — отражение мира земли, которое и именуется Образом мира.

У мазыков были множественные понятия о разных ступенях, которые проходит наш разум и его образ мира в их развитии. Но это особый рассказ, который я поведу, когда буду рассказывать о разуме. Пока достаточно сказать, что, воплотившись, душа должна обеспечить своему телу выживание, а для этого создать орудие выживания на земле — земной разум. Но у нее есть и другие разумы. Один из них вы все прекрасно знаете — это снаразум, который вас не раз удивлял после пробуждения...

Создание разума — это создание понятий. Они кажутся частями разума, и наши философы так и считают, что понятия — это образы, с помощью которых разум думает. Однако понятия — это отблески от граней души, с помощью их душа светит. И светит либо плохо, либо совершенно. Именно поэтому работа над совершенствованием понятий оказывается не логической и не научной, а психологической. Это всего лишь способ, которым совершенствуются души.

Для того чтобы совершенство было как можно выше, нужно создать как можно более искушающую, испытывающую среду. И мы сначала проверяем себя земными условиями, природой, а потом создаем себе искусственный мир общества. И познаем, познаем, познаем себя и свое несовершенство с помощью братьев по разуму, которые очень охотно делают нам больно...

Как они делают больно, важно лишь тому, кто хочет этим управлять. А управлять можно лишь в том случае, если знаешь, куда правишь, то есть видишь цель движения. Поэтому, прежде чем перейти к разговору о способах

воздействия на поведение людей или себя, стоит поговорить о том, что мы хотим и какое управление нам нужно. Тогда можно будет менять мир и создавать иные условия для общения с людьми.

Иными словами, прикладная психология возможна лишь в том случае, если мы знаем, чего хотим, и понимаем, как это извлечь из окружающей нас среды. А среда эта, как вы поняли, отнюдь не земной мир. Это мир душ, в котором они решают свои задачи, вводя искусственно созданные для этого фигурки образов себя. И при этом они все потеряли память и, как детишки, заигрались в то, что создали в собственных песочницах...

Но настоящее управление возможно лишь в том случае, если ты понимаешь истинную цель человека и помогаешь ему ее достичь в тех условиях, которые он избрал. Все остальное — обман, который будет вскрыт и поведет к ненависти. Управлять поведением по-настоящему можно, лишь договариваясь с человеком честно и взаимовыгодно. Поэтому сначала надо понять, что ты хочешь сам и что ты можешь предложить другому, чтобы он поменял свое поведение осознанно, понимая, что это лучший путь к достижению его собственной цели.

Цель же эта — за пределами этого воплощения. Она в мире души.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. МИР, КОТОРЫЙ ТЫ ИЗБРАЛ. МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Я завершил предыдущую часть, сделав из нее вывод, что настоящее управление возможно лишь в том случае, если ты понимаешь истинную цель человека и помогаешь ему ее достичь в тех условиях, которые он избрал. Условия, которые ты избираешь себе для решения задач воплощения, становятся миром, в котором ты проживешь эту жизнь.

Как психологу понять того, кого он изучает или кому хочет помочь? Он должен понять, в каком мире живет человек, — мы существа множественных миров, просто потому, что мы — живые души, а изучать человека психолог должен как душу...

Но душа не живет в этом мире. Она лишь использует его, творя из впечатлений, которые поставляет ей тело, свои миры. Душа живет в Образе мира, который строит, с одной стороны, опираясь на впечатления от действительности, а с другой, стремясь к той цели, ради которой пришла.

Поэтому даже внутри Образа мира душа всегда прокладывает своим стремлением путь к избранной вершине. Мазыки называли такие пути Водьмами и Стремянками, наука, с подачи немецких романтиков восемнадцатого века и философа Шлейермахера, начала называть мировоззрением или мировидением. Родилось это понятие за век до того, как Вильгельм фон Гумбольдт изобрел образование.

Обычно считается, что мировоззрение — это определенное отношение к этому миру и своей жизни, как бы способ видеть мир. Это не так. В действительности мировоззрение — это способ видеть свой собственный Образ мира.

А еще точнее — это способность выбирать из Образа мира только то, что ведет к душевной цели, к чему стремится душа. Поэтому мазыкские названия Водьма и Стремянка гораздо действенней, чем философское «мировоззрение». Стремянка — это всего лишь лестница к вершине мира. Она может сломаться, с нее можно сорваться, поскольку вокруг нее есть остальной мир, но она, как бурная стремнина, собирает наше внимание в узкий пучок, которым и заставляет жить. Мировоззрение недействительно, Стремянка — это то, что заставляет человека действовать определенным образом и гонит его вперед. А Водьма — это то, что ведет сквозь мир, тем самым творя поведение.

Если уж и есть нечто, с чем может работать прикладной психолог, так это устремления человека. Но чтобы переход в новый и незнакомый язык

был постепенным, я буду говорить о нем и как о мировоззрении, которое определяет поведение. А то, что поведение определяется мировоззрением, мне кажется, всегда было понятно даже психологам. По крайней мере, те, кто был не учеными, а настоящими психологами, вроде революционеров, всегда начинали свои перевороты с ломки и перестройки мировоззрения людей.

Глава 1. Мировоззрение

Прикладная психология работает либо с состояниями сознания, либо с поведением людей. Чтобы задать определенное поведение человеку, нужно либо воспитание, либо образование, либо мировоззрение. Соответственно, и воздействовать на поведение можно лишь через то, что способно оказывать на него воздействие. И если нет прямого принуждения, то через мировоззрение, образование или воспитание.

Начну с мировоззрения.

Мировоззрение, как кажется, это способ видеть мир. Довольно часто считается, что в основе мировоззрения лежит образ мира, как его представляет себе человек. Это, пожалуй, верно, однако при этом не делается описание того, что есть мир человека. В итоге представления исследователя, который пишет об образе мира, оказываются сужеными его собственным образом мира.

Это особенно заметно в работах географов. Начиная с созданного еще в XII веке Гонорием Августодунским сочинения «Об образе мира», географы используют это выражение, подразумевая, что мир — это то, что изучает география, то есть земля, небо, звезды, посреди которых мы живем... Иными словами, для современного ученого образ мира — это место, где обитает его тело, откуда и рождается понятие «физическая география».

Однако для обычного человека, кстати, и для любого ученого, одновременно с этим существует иной мир и иной его образ. Ученые отмечают это странное противоречие, иногда уважительно, иногда презрительно, как «наивное».

«Представления о пространстве, об устройстве вселенной и Земли, о природном мире принадлежат к числу тех, которые присутствуют в сознании человека, даже не будучи специально осмысленными. В XX веке благодаря всеобщему образованию и средствам массовой информации основные, базовые знания распространены во всех слоях общества. Все или почти все население земного шара обладает единым образом мира, то есть картиной вселенной и места в ней Земли, примерно одинаково представляет себе ее форму и размеры, ее строение и т.п.

Конечно, для большинства из нас это чрезвычайно общая, схематичная картина. Лишь ученые, географы и астрономы, владеют всей суммой сегодняшних знаний о мире и Земле...» (Мельникова Е.А. с. 9).

Глубокое заблуждение!..

Глубокое и важное, потому что в этом убеждении ученых, что только они обладают действительным знанием, скрывается самая суть ловушки естественнонаучности, а ловушка эта не проста. В сущности, она мифологична и имеет прямое отношение к образу мира, в котором мы живем. Тот же автор далее описывает различия между ученым и обыденным знанием, как они существовали в прежние века. В сущности, в этих размышлениях есть все подсказки для понимания того, что такое образ мира.

«Противоположность “ученых”, теоретических знаний, и не только географических, обыденным, “естественным” проходит через всю историю человечества. Она возникла задолго до средневековья и отражала разделение сознания на обыденное, основанное на житейских знаниях и навыках, добытых внеучным путем, и теоретическое, стремящееся с помощью системы понятий создать логически цельную картину мира. Их противопоставление мы находим уже в первобытном обществе, когда роль теоретической картины мира выполнялась мифологией, описывающей все многообразие действительности как цельность» (Там же, с. 9-10).

Далее географ, как говорится, предельно тактично показывает, что обыденные знания вовсе не плохи, но все же далеко уступают научным: *«Знание обыденное существовало в виде бессистемных и безличных сведений, накапливавшихся эмпирическим путем и распространявшихся во всех слоях общества»* (Там же, с. 10).

Не думаю, что автор в состоянии объяснить, что значит «бессистемность» в данном случае, поскольку понимает под «системой» то, как надо излагать знания научно. Поскольку само это словечко стало визитной карточкой науки, то и оно и то, что под ним подразумевается, принадлежит исключительно ученым. Хотя означает оно в данном случае всего лишь определенный способ укладки знаний в собственном сознании. Ученые укладывают их системно... а что это значит? Наверное, так, как недоступно остальным, и точно не так, как они укладываются в обыденной жизни. Особенно!

Но в обыденной жизни знания эти складываются двумя способами: в образ мира и в мироззрение. Может быть, у ученых это иначе? Не берусь судить, но думаю, что ученые тут попали в ловушку мышления исключительности. В действительности, ничего иного, кроме возможного для самой природы нашего сознания, им недоступно. Иными словами, знания у ученых укладываются точно так же, как и у обычных людей. Загадка, похоже, в чем-то ином... Я предполагаю, что она как раз в мифологичности научного мышления.

Вот как описывает тот же автор средневековый образ мира, который раскрывается через такой способ рассказывать о мире, который называется сейчас героическим эпосом, а когда-то был сказительством.

«Героический эпос был своеобразной и весьма архаичной формой художественного познания и отражения мира. В нем создавалась пространственная модель, которая формировалась и существовала как некая поэтическая абстракция. Тем не менее, она основывалась на практическом опыте и воплощала

сложившиеся в обществе знания о мире и природе. Эпический образ мира соотносился с реальным пространством, но не был тождествен ему. <...>

Эпическое пространство, и квазиреальное, и населенное чудовищами, как оно предстает в наиболее развитых европейских эпических традициях — англо-саксонской, древнеисландской, старофранцузской, — последовательно осмысливается через ряд социальных категорий и потому существует только в контексте эпического социума. Пространственно-географическое восприятие охватывает незначительную часть ойкумены (обжитого мира — АШ) — фактически лишь ту ее часть, в которой разворачивается географическое действие, определенное сюжетом. Самые дальние обитатели мира: финны в англо-саксонском “Беовульфе”, сарацины в “Видсиде”, гунны в “Старшей Эдде” оказываются на таком расстоянии, которое можно преодолеть за несколько дней.

Искажение масштаба расстояний обусловлено не отсутствием реальных знаний о тех или иных территориях, а спецификой самого понимания пространства в его неразрывной связи с героическим действием.

Весь мир видится эпическому певцу как совокупность отдельных точек (локусов) — королевских (княжеских) дворцов и мест сражений героя с его противниками. Существование локусов определяется законами эпической героики, в соответствии с которыми пространство, лишенное атрибутов героического мира, то есть не заполненное героическим действием, не имеет значения, то есть не существует. Пространство между локусами лежит вне эпико-героического мира, оно “пусто” “незначаще”, а сами локусы примыкают друг к другу, создавая “точечную” структуру пространства» (Там же, с. 11-12).

Вот такое объяснение естественнонаучной «слепоты» создал ум естественника. Вчитайтесь в него, и вы найдете ответ, почему наш современный мир устроен так, что в нем появились новые «слепые пятна» и полностью выпал из рассмотрения духовный мир. Современный герой-естественник живет жизнью плоти, и поэтому весь его образ мира уложен так, что места его битв примыкают друг к другу, а промежутки, не заполненные телесностью или вещественностью, оказываются пусты и незначащи...

Естественнонаучность системна и мифологична, она лишь кажется передовой, то есть лучшей, чем прежние мировоззрения. В действительности же она всего лишь после них, и через тысячу лет будет выглядеть такой же первобытной, как и то, что отменила.

Действительный образ мира человека состоит не из географии и астрономии, а из того, в чем человек живет. И если для него существуют эльфы или лесные духи, он сделает все, чтобы не вести дорогу или нефтепровод через их места, хотя и будет стыдиться говорить об этом вслух — чтобы не засмеяли!

Поэтому действительный образ мира, который правит нашими жизнями, как раз не связан с действительными географическими знаниями, о которых вещает наука. Для нашего настоящего выживания совершенно не важно, сколько километров до луны, но очень важно знать, где расположен кабинет чиновника, который подпишет разрешение на воплощение моей мечты.

Образ мира всегда состоит из тех мест, которые существенны для моей жизни и для тех битв, которые я веду. Но люди, живущие в одном городе, ведут очень, очень разные битвы. И поэтому тот же самый город для одного человека состоит из одних мест, а для другого — из других. Места же эти связаны с людьми, поскольку либо заняты ими, либо не заняты, то есть свободны от них. Поэтому образ мира всегда есть и образ общества, что и отразил русский язык, называвший миром и пространство, и состояние, и общество.

Географические знания, действительные знания о мире, как считают ученые, оказываются лишь легкой пеной на поверхности того образа мира, в котором живет человек. Они не нужны, и прав Недоросль Фонвизина: человеку, живущему в действительном мире, достаточно уметь управлять кучером, — кучер довезет. Он и должен знать географию. Действительному человеку нужно знать действительные вещи об этом мире. География же, как и вся естественная наука, — лишь вид сказок, эпическое сказительство, которое приятно послушать на досуге...

Люди живут в ином мире, в мире, где расположены места притяжения их интересов. Поэтому они плохо учатся в школах и университетах, хотя и вынуждены прилюдно креститься или произносить естественнонаучные фразы, чтобы их узнавали как правоверных. Естественнонаучность — не более чем правящая религия современности... Правящее мироззрение. И в силу этого она очень важна, поскольку с очевидностью управляет нашим поведением, заставляя вести себя неестественно.

Мироззрение определяет поведение человека. Это можно принять как очевидность. А можно и научно, то есть исследовав и выведя из наблюдений за жизнью. Тем более важно для меня показать, что научно-философское понимание мироззрения мало пригодно для прикладной работы и значительно проигрывает народному пониманию того, через что можно воздействовать на поведение. Поэтому мне придется провести хотя бы краткое исследование самого понятия «мироззрение».

Исследовать я его буду, конечно же, культурно-исторически. То есть снимая один понятийный слой за другим, пока через эту понятийную археологию не доберусь до того материка, в котором лежит действенная часть нужного нам понятия.

Слой же эти, в первую очередь, научные. Они лежат верхними, и доказательством этого является то, что первый же позыв, как только возникает вопрос, что такое мироззрение, протянуть руку за каким-нибудь словарем. Это значит, что наука прочно присвоила себе это понятие, и мы сомневаемся в том, что обладаем действительным пониманием понятия «мироззрение» сами, без науки.

А какая наука при этом является собственником понятия «мироззрение»?

Рождалось оно на границе литературы и философии. А последнее время, похоже, и психологи стали понимать, что им без мироззрения не

обойтись. Возможно, это понятие нужно еще в культурологии и обществоведении, но я их опущу, потому что пока не смог найти ничего определенного. Другие науки, я думаю, в нем не нуждаются. По крайней мере, так им кажется.

Вот по этим слоям я и попробую прогуляться.

Глава 2. Мировоззрение лингвистов

Хотя «мировоззрение» исходно философское понятие, но начну я с лингвистов, потому что именно они взяли на себя задачу объяснить значения слов, так сказать, самым широким слоям населения... Иными словами, лингвисты считают, что их определения самые понятные и доступные и, надо думать, легче всех вьедаются в сознание...

Самые простые и незатейливые определения мировоззрения лингвисты давали в толковых словарях, предназначенных для массового использования, то есть для привития понятий, соответствующих требованиям правящих сообществ.

Этим я хочу сказать то, что все толковые словари, кажущиеся, как и всё научное творчество, такими «объективными», в действительности всегда пишутся по некоему заказу. Иногда государственному, как это было со знаменитым Ушаковским словарем — первым советским толковым словарем русского языка, написанным в середине тридцатых годов прошлого века как бы по сталинскому заказу. В случае Ушаковского словаря с очевидностью совпало то, что сообщество, заказывавшее словарь с целью создания языка победившей революции, было и государством.

В случае с другими словарями это не так очевидно. Иногда словари писались по заказу научного или естественнонаучного сообщества, которое еще только рвалось к власти и через словари насаждало свой язык. А поскольку за языком, то есть за словами, скрываются понятия, то есть определенное понимание того, о чем говоришь, то так прививалось и определенное мировоззрение. Самый яркий пример такого заказного словаря, созданного сообществом, еще не захватившим власть, была «Энциклопедия» Дидро и Даламбера, которая подготовила Французскую революцию.

Подготовила, осуществив сначала переворот в умах, то есть как раз в мировоззрении. И сделала это, именно прививая новый понятийный язык. Словарь Ушакова, как пишут об этом сами авторы, решал почти такую же задачу, — он «приводил в порядок» «испорченный» за время революции и гражданской войны русский язык, приучая безграмотных победителей извлекать значения незнакомых им слов из общего источника, который сам подпитывался из идеологических глубин коммунистической партии.

Современные толковые словари, по видимости являясь лингвистическими, в действительности продолжают дело первой революционной энциклопедии и незаметно насаждают идеологию или мировоззрение естественно-

научного сообщества, которое уже перестало быть правящим, но пробралось в умы, как когда-то религия, которую естественники и отодвигали от власти. Поэтому определение мироззрения не может не быть насаждением определенного мироззрения, а значит, является примером работы прикладных психологов.

Как я уже писал, само понятие мироззрение — *Weltanschauung* — было создано Шлейермахером в начале восемнадцатого века. В Россию оно пришло не сразу, и словарь Даля в середине девятнадцатого века его еще не знает. Как, кстати, не знает и Философский словарь Радлова в 1904–1913 годах. Поэтому будет вполне оправданным посчитать исходным определением мироззрения в России именно определение сталинского словаря Ушакова. По крайней мере, именно после него это понятие стало общеупотребительным.

Определеннице это еще совсем кратенькое и помеченное примечанием: *книжное*.

«Мироззрение. Совокупность взглядов, воззрений на окружающее, на жизнь, на мир, на ту или иную область бытия. Люди разных мироззрений. Мироззрение древних греков. Буржуазное мироззрение. Марксистское мироззрение».

Последние примеры чрезвычайно красноречивы. Наши языковеды к 1938 году, когда вышел этот том, только начинают осваивать понятие мироззрения, а в идеологии оно уже давно общее место, и прикладные психологи марксизма профессионально изменили его у половины человечества.

Однако для языковеда это понятие, похоже, совсем не из его пищевого рациона, поскольку выйти за пределы сталинского определения они, в сущности, так до сих пор и не смогли. В конце советской власти, в 1986 году академический «Словарь русского языка» смог развиваться только до:

«Мироззрение. Совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности. Коммунистическое мироззрение».

В 2006 году словарь Ожегова и Шведовой еще лаконичней:

«Мироззрение. Система взглядов, воззрений на природу и общество».

В том же году «Большой толковый словарь правильной русской речи» Скворцова вообще не знает этого слова. Видимо, оно неправильное...

Если бы был смысл придираться к языковедам, то стоило бы задать уточняющий вопрос: что такое система или совокупность? Точнее, что они имеют в виду под этими странными словцами, и выяснилось бы, что именно там и скрывается определение мироззрения. Скрывается языковедами, конечно, которые, попросту говоря, спрятались от задачи, которую должны были решить. Но мироззрение нельзя определить, не раскрыв, что это за система или совокупность. Именно поэтому и меняются в словарях перечисленные составляющие — они не так важны, — но сохраняется, что мироззрение всегда некая «система» или «совокупность» взглядов. Иначе говоря, важны не взгляды, а то, во что они собраны или сложены.

Однако это словари, которые должны не исследовать и не давать настоящие определения, а всего лишь создавать у народа ощущение, что мир

описан наукой полностью и уверенно, а потому ни за каким странным понятием не таятся ни тени, ни тревога, и оттуда никогда не выпрыгнет неведомое. Поэтому обыватель может спокойно пастись на сдобренных нитратами полях научно-политического пастбища. Ему ничего не угрожает, а кушать его будут не жестоко и внезапно, а человеколюбиво и планомерно...

Кроме словарей были и исследования, которые языковеды вели для себя. Как таковое мировоззрение они, кажется, не исследовали, зато пытались понять, как человек видит мир. Назывался этот раздел современного языкознания — картина мира и человека. Точнее, наивная картина мира. Очевидно, в противоположность научной, которая гораздо умней и взрослей народной.

Вот об этом стоило сказать особо, но тема эта относится уже не к мировоззрению, а к той основе разума, которая называется Образом мира. Поэтому об этом я буду рассказывать в другой книге. Скажу только, что для себя называю это наивной языковедческой картиной мира... Иными словами, эти исследования настолько же интересны, насколько и беспомощны, будто мы наблюдаем за самым детством науки.

Глава 3. Мировоззрение философов

Как я уже писал, в 1913 году единственный тогда философский словарь Радлова еще не знает такого понятия, как мировоззрение. Это не значит, что его не знают или не используют русские философы, это значит лишь то, что они не считают его философским понятием.

Это подтверждается тем, что далеко не все современные философские словари имеют словарную статью «мировоззрение», как не имеет ее и «Словарь философских терминов» под «научной редакцией» В. Кузнецова. Мировоззрение до сих пор не воспринимается философами как научный философский термин, то есть действующее понятие этой науки.

Зато значение мировоззрения быстро поняли представители прикладной философии — марксисты. Им нужно было не созерцать и рассуждать, а менять мир, поэтому о мировоззрении, точнее, мирозерцании пишет еще Ленин, и пишет так, что не понять значение этого понятия невозможно: *«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям полное мирозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета».*

Сталинский «Краткий философский словарь» завершает этой цитатой статью о мировоззрении и во втором своем издании 1940 года. Суть сказанного Лениным в том, что настоящее мировоззрение не должно быть способом видеть мир каким-то образом, оно должно быть просто восприятием его, подобным приборному — без малейших добавок. Верно то, что соответствует действительности.

Мы знаем, что марксизм не оказался таким способом видеть действительность — он проиграл. Да и лжи в нем было немало — чего стоил один

только навязчивый романтический призыв: мечтать, надо мечтать детям орлиного племени! Но именно призыв видеть мир как действительность, без суеверий и воображения, дорисовывающего восприятие, почему-то оказался действенным. Ради него люди готовы были не замечать, что при этом их обманывают. Почему-то нам важно видеть настоящее, будто уж одно это дает силу...

Настоящим марксизм посчитал естественнонаучную картину мира. Человек должен был срастить себя с машиной, обзавестись вместо сердца планетным мотором и покорить пространство и простор... В общем, стать биомеханическим богом. В своем мире, конечно. В мире тел и вещества.

Вот сужение до этого мира и навязывает Ленин как верное мирозерцание, когда требует освободиться от суеверий и реакции, то есть от видения мира не так, как требует прогресс, а так, как его видели раньше. А раньше мир видели духовным или телесно-духовным. Суть марксизма в ленинской редакции, как вы помните, — возможность построить социализм в одной отдельно взятой стране. А в мировоззренческом отношении — в том, что можно стать богом в одном отдельно взятом мире, который ограничен рамками плоти, и тем самым уменьшен до такого масштаба, что может быть моделью и более сложных миров.

В общем, марксистское мироззрение — это мироззрение песочницы, в которой выращиваются будущие строители больших миров...

При этом собственное определение марксистского философского словаря противоречит той заключительной цитате, к которой приводит всё рассуждение:

«Мироззрение — система взглядов, представлений о всех окружающих человека явлениях природы и общества».

Языковой сорняк «система» можно сразу отбросить, поскольку он нужен лишь для создания ощущения научности. А вот взгляды и представления, которые и составляют суть мироззрения, если их не определить, полностью совпадают с суевериями. Суеверия — это тоже взгляды и представления. Конечно, можно закричать: но это совсем другие взгляды и другие представления!

К сожалению, ни один философский словарь, используя эти понятия, не удосужился дать определения тому, что под ними понимает. Суеверия — это тоже взгляды и представления, отличающиеся по своему содержанию от других взглядов и представлений. Следовательно, природа и тех и других взглядов едина, отличаются лишь содержания. Но это отличие уже выходит за рамки философского, по крайней мере, психологического. И это значит, что создатели марксистского философского определения мироззрения противоречили сами себе, если они, конечно, были философами...

Однако марксизм невольно вынужден противоречить своим классикам, поскольку те довольно часто давали определения в тех отраслях знания, в которых не разбирались в совершенстве. Поэтому подобные противоречия можно не принимать в расчет. Главное, как развивается рассуждение внутри собственно философской его части, без цитат.

Итак, мироззрение — это *система взглядов и представлений о всех окружающих человека явлениях природы и общества*. Кроме того,

«Значение мироззрения состоит в том, что, определяя общий взгляд на мир и его закономерности, оно тем самым обуславливает и отношение людей к окружающему».

Неважно, что создатели определения не объяснили, как это вдруг мироззрение обрело такую власть, что стало определять общий взгляд на мир и его закономерности. В сущности, это утверждение выглядит верным. И очень важно понять, что мироззрение обуславливает или, вернее, навязывает нам определенное отношение ко всему окружающему и происходящему. Это наблюдение над действительностью, и это так. Никакого «просто восприятия» нет, и человек таковым не обладает. Он видит сквозь приборы, но не приборами. А видя, всегда оценивает и помечает своим отношением.

Далее марксисты скатываются в определение передового мироззрения революционных классов, оправдывая свое право на захват власти в мире, что я опускаю. Классовое мироззрение меня не интересует. Вместо этого я приведу определение мироззрения из «Философской энциклопедии» времен развитого социализма. В 1964 году идеологи марксизма углубили его вот до такой полноты:

«Мироззрение — обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и на свое собственное место в нем, понимание и эмоциональная оценка человеком смысла его деятельности и судеб человечества; совокупность научных, философских, политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей.

Понятие мироззрения употребляется и в узком смысле, например, философское мироззрение, политическое мироззрение, религиозное мироззрение, и т.п.

Отношение человека к миру бесконечно разнообразно. Это и обуславливает различные аспекты осознания человеком себя в мире, различные грани единого мироззрения. Каждый из нас — это «природа, ставшая человеком», и мы так или иначе отдаем себе отчет в том, какое место занимаем в бесконечном круговороте событий».

Отношение человека к миру бесконечно разнообразно просто потому, что у каждого есть своя цель, которой он хочет достичь в этой жизни. Но вот цели эти общи для многих людей, в силу чего никакой бесконечности мироззрений нет. Есть лишь личностные отличия в определенных мироззрениях. Но это не философский уровень разговора, это отличия на уровне психологическом.

Однако, самое важное не в этом, а в том, что сами разнообразные мироззрения возможны лишь в том случае, если природа человеческого сознания позволяет их иметь. И значит, у любого мироззрения есть природа, которая едина для всех мироззрений вообще. Этого марксистские философы не разглядели, и не разглядели просто потому, что были зачарованы модным простонаучным словечком «система».

Мироззрение — это система взглядов. От этого заявления можно было пойти в разные стороны — например, к перечислению все накапливающихся наблюдений над действительностью, что и сделали создатели Энциклопедии. А можно было и к пониманию, как возможна такая «система» и что это такое. Но время для философского понимания мироззрения тогда еще не пришло.

Возможно, не пришло оно и на рубеже следующего тысячелетия. Правда, в 1997 году «Философский энциклопедический словарь» уже уходит от системы, заменяя ее на совокупность. Это значит, что философы начинают задумываться над тем, что это такое, во что собираются взгляды и представления. Но от собственной смелости у них «сносит крышу» и заносит ее в какие-то метафизические дебри...

«Мироззрение — совокупность результатов метафизического мышления и исследований, причем метафизика понимается как наука, которая объединяет в единое целое формы познания мира: во-первых, различные “стесненные” виды мироззрения, связываемые по традиции с эпохой, народом, расой и т.п., во-вторых, философию, стремящуюся к априорному знанию (то есть знанию, не зависящему от количества индуктивных исследований) во всех областях, и, в-третьих, результаты конкретных наук».

Все это странноватое философотворчество в действительности означает, что к концу века философия попробовала осмыслить мироззрение не как таковое, а как философскую категорию. То есть понять для себя, что это такое в философском смысле. Простому человеку это ничего не даст, кроме надежды, что однажды философы...

«Новая философская энциклопедия» в 2001 году продолжила поиск, одновременно вернувшись к заплатам над непонятным.

«Мироззрение — система человеческих знаний о мире и о месте человека в мире, выраженная в аксиологических установках личности и социальной группы, в убеждениях относительно сущности природного и социального мира».

Аксиология — это наука о ценностях. Могут ли быть знания выражены в аксиологических установках? Мне видится здесь некое философское противоречие. Знание, если рассматривать его философски, должно быть чистым как раз от всяческих установок. Но это если рассуждать философски.

А вот если попытаться понять, как устроен действительный мир, то очевидно, что чистые знания не имеют для нас иного значения, кроме как будучи способами достижения желанного. Иначе говоря, плевать нам на философскую чистоту знаний, главное — как с их помощью достигнуть той ценности, ради которой мы пришли.

В 2006 году «Философский энциклопедический словарь» Ивина, ничто же сумняшся, возвращается к «простоте и чеканности» марксистских словарей:

«Мироззрение — система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в нем, на отношение к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации».

Вот такова, примерно, на сегодняшний день картина философских представлений о том, что такое мироззрение. Похоже, пока философия еще не стала той наукой, которая может объяснять. Все, на что она способна — делать наблюдения над действительностью. Порой глубокие и важные...

Глава 4. Мироззрение психологов

В предыдущих главах я постарался показать, что большинство наук, так или иначе говорящих о мироззрении, не считает это понятие своим. Кроме того, когда начинаешь вглядываться в используемые ими слова, становится ясно, что эти слова, вроде «системы», используются не для того, чтобы объяснить, а для того, чтобы скрыть, что исследователь не понимает того, о чем говорит. Но при этом очевидно, что не понимают они вполне определенную вещь, а именно то, что и создает из взглядов и представлений мироззрение. И не понимают не по недостатку ума, а потому что это действительно не предмет их науки.

Похоже, что основа понятия «мироззрение» не языковедческая и не философская, а психологическая. Иначе говоря, взгляды на мир рождаются и объединяются в мироззрение только потому, что это обеспечивает или даже заставляет делать какое-то свойство нашего сознания. И тут уж определенно слово за психологами.

Однако психологи наши ой как не просты. Их можно сразу разделить на академических и тех, которые слегка сомневаются, что принадлежат к настоящей науке. Вторые, по крайней мере, исследуют. Первые... что ж, пусть первые скажут сами за себя.

Если я правильно понимаю историю этой науки, в России долго не было психологических словарей. Затем, в 1983 году появился «Психологический словарь» Зинченко и Мещерякова, а в 1985 году «Краткий психологический словарь» Петровского и Ярошевского. После этого они перерабатывались и переиздавались, долго оставаясь единственными русскими словарями психологии.

Затем, в девяностых годах, резко было выкинуто на рынок множество разнообразнейших словарей, которые, как мне кажется, так и не получили академического признания. Все они в чем-то повторяют советские словари, в чем-то спорны. Какой-то действительно полноценной психологической энциклопедии в России до сих пор нет, и поэтому правящее мнение науки сейчас узнать невозможно.

Не то было в советское время. Там все было просто и понятно. Поэтому начну с самого советского словаря Петровского и Ярошевского. Самый советский он в том смысле, что строго следовал за марксистской философией и своего мнения старался не иметь.

«Мироззрение — система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и само-

му себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации...

Выработка мировоззрения — существенный показатель зрелости не только личности, но и определенной социальной группы, общественного класса и его партии».

Последнее остроумное замечание про классы и партии — существенный показатель полной психологической безграмотности авторов в академическом смысле и столь же существенный показатель прикладного владения ими психологией как наукой о поведении и искусством пристраиваться в жизни.

Мировоззрение явно рождается помимо нашего желания, просто потому, что это данность нашего сознания. Но мы можем иметь много мировоззрений и менять их по своей воле. Это каждый наблюдал в жизни. Возможно, авторы имели в виду именно то, что сначала надо обрести мировоззрение, и уж только после этого менять его на другое, что и назвали выработкой...

В любом случае, утверждения Петровского и Ярошевского противоречивы и спорны. Если мировоззрение — это взгляды на объективный мир и по своей сути являются лишь отражением действительности, то как мировоззрения могут быть столь различны, что обуславливают разные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы?.. Если сознание — не более чем развившееся отражение, даже раздражительность простейших, то как могут быть такие разные способы отражать одну и ту же действительность?

Или действительность эта не одна и та же? И мы видим разные миры? Но если миры эти — объективная действительность, то в каких же мирах мы живем в этой действительности?

Словарь Зинченко и Мещерякова, считающий себя главным психологическим словарем России, переиздавался и к 2003 году сильно изменился, пересмотрев многие взгляды на психологию и мир. В сущности, он отразил смену мировоззрения современного русского психологического сообщества. Однако, что касается понятия мировоззрения, смена эта не столь очевидна.

«Мировоззрение личности (англ. view of world, нем. Weltanschauung) — комплекс обобщенных представлений (взглядов) данной личности об окружающем мире и о себе, о своем месте в мире, своих отношениях к окружающей действительности и к себе. В содержание мировоззрения входят знания, необходимые для самоопределения субъекта и обоснования его отношений к миру.

Самоопределяться приходится во многом: в социокультурных ценностях, в идеалах, в мировоззренческих вопросах (к ним, прежде всего относятся вопросы о смысле существования человека; согласно Г.Рикерту, мировоззрение — истолкование смысла жизни), в собственном самосознании (общечеловеческом, гражданском, этническом, религиозном, историческом, нравственном, профессиональном и т.д.), в своих отношениях к миру».

Как-то болезненно давалось это определение Б. Мещерякову. Иначе, как само через себя или Риккерта, определять не удавалось. Любопытно, что такое

представление о собственных отношениях, с точки зрения маститого психолога? Означает ли это, что наши отношения к действительности не даны нам так же непосредственно, как представления и взгляды, и мы должны иметь о них представление, чтобы знать, как мы относимся к чему-то?

Далее Мещеряков заявляет, что *«мировоззрение развивается не по мере усвоения всевозможных знаний о мире, приведения их в какую-либо систему, а по мере расширения сферы самоопределения данной личности и придания ценности разным областям самоопределения»*. Как вы понимаете, подобное заявление допустимо, только если мы договорились о значении слова «самоопределение». Как ни странно, но главный словарь России этого понятия не знает... а я не понимаю...

Единственное, что я могу извлечь из этих громких слов, что мировоззрение рождается не по мере обретения знаний о мире, а по мере придания ценностей тем или иным... областям самоопределения... Черт его знает, чему, но ценности должны появиться и придаться. Означает это, наверное, то, что нечто в мире вдруг обретает для меня особую, осознаваемую мною ценность. Вот тогда и рождается мировоззрение...

Далее следует еще одна отностальгированная Мещеряковым мысль из марксизма: *«Мировоззрение не транслируется и не усваивается в готовом виде, но формируется личностью с помощью своего теоретического мышления и рефлексии»*. И завершается этот шедевр научной психологии искрометным перлом: *«Этим мировоззрение отличается от “менталитета”, который генетически предшествует мировоззрению, а затем интегрируется с ним в единую систему сознания!»*

Так глубоко в плотные миры научной психологии я идти не готов даже за прославленным мэтром нашей науки...

Остальные психологические словари — и русские, и зарубежные — редко обращаются к понятию мировоззрения. Его нет у Корсини и Ауэрбаха, нет у Майкла Кордуэлла, у Ребера. Можно сказать, что его нет у Немова и Головина, поскольку они просто повторяют старые, скучные мотивы. По-новому звучат только Копорулина с соавторы и сотоварищи:

«Мировоззрение — индивидуальная система концепций, идей или взглядов субъекта на наличную реальность, онтос, бытие, экзистенцию, социум, мир и место самого индивида в социуме, мире, а также интенсионально-ментальное отношение субъекта к самому себе, другим людям, детерминируемое собственными социоэтическими и социоэстетическими принципами, убеждениями и идеалами-эгорефлексивными ориентациями».

Какая песня! Жаль, я не знаю языка, на котором ее исполняют...

К счастью, психология, даже научная, не исчерпывается только академическим уровнем. Иногда психологи творят не для социо-эгорефлексивных идеалов, но и ради себя или истины. И тогда рождаются красивые исследования. К примеру, Российской Ассоциацией искусственного интеллекта был создан коллективный труд «Модели мира», посвященный психологии того, как человек творит картину мира.

Работы эти, возможно, и спорные, но уж точно не пустые. Жаль, они посвящены той основе разума, что может быть названа Образом мира, а не собственно мировоззрению. Поэтому я вернусь к ним лишь в следующей работе. Тем не менее, я уверен, где-то прячутся от глаз не слишком искушенного читателя, вроде меня, и хорошие исследования мировоззрения, сделанные психологами. К сожалению, мне они не попались!..

Поэтому я оставлю психологию и перехожу к тому, как мировоззрение понимал русский народ.

Глава 5. Народное мировоззрение

Наука считает, что народ наш сильно безграмотен в силу того, что не следит за новостями науки. Если оценивать знания кого-то по тому, что он не знает последнего, что придумал ты, то так любого можно сделать ниже себя. Но иногда стоит усомниться в собственном подходе, например, в принципе прогресса.

Оценки науки исходят из того, что самое лучшее — это самое последнее. Ведь последнее в рамках постоянного движения вперед, именуемого прогрессом, просто обязано быть самым лучшим, иначе вся теория неверна! И поэтому наука постоянно отменяет то, что нашла сама же. Что уж говорить про народную мудрость, которая была отменена самим фактом рождения современной науки!

Между тем, сама же наука постоянно показывает, что совершает бесконечное количество ошибок, и все современные ее находки уже завтра оказываются дичью и серостью. Оценивать их как самое лучшее, что есть у человечества, позволяет не действительная ценность научных находок, а лишь все та же теория прогресса: если человечество поступательно развивается от низших стадий к высшим, то все, что придумано позже, было прогрессивней, а значит, лучше предыдущего...

До этого существовали и другие мировоззрения, в частности, такое, что с легкой руки то ли Гримма, то ли Макса Мюллера было названо теорией древнего знания. Когда-то, в самом начале существования, человечество обладало единым знанием о мире и себе, которое постепенно было утеряно и теперь хранится в виде осколков в отдельных очажках, разбросанных по миру.

Теория эта лишь была названа немецкими романтиками, но само понятие о ней жило у человечества и задолго до них. В сущности, оно составляет самую суть христианства. Все первобытные народы исходят из простого правила, известного любому этнографу: так делали предки, так поступаем мы. И наш народ всегда знал, что старики-то помудрей нас были...

Эта мудрость объяснима и понятна: прямо сейчас думаешь и ошибаешься ты — один и не самый умный. Действительных прозрений, которыми можно было бы похвастаться, на долю обычного человека выпадает всего несколько за жизнь. А вот из деяний стариков помнятся как раз только такие

прозрения. И поэтому кажется, что ничего, кроме них, нет. Время как бы сгущается и оказывается составленным лишь из деяний мудрости, поэтому кажется, что старики были мудрей...

Было ли при этом некое Древнее знание, я не знаю и утверждать не берусь. Безусловно, были и древние знания, которые обретались, а потом терялись. Но было ли Изначальное знание, принесенное в самые первые дни человечества, мне неизвестно. Однако, это и не существенно в рамках такого простого исследования, что я делаю. Гораздо существенней, что за тысячи лет общественного существования наши предки, безусловно, накопили огромный опыт выживания в обществе, превратив их в бытовую мудрость и психологические знания. Их стоит понять и не забывать больше, потому что научная психология находится в детском возрасте по сравнению с этой мудростью.

А как найти эту мудрость? Она же невидима для всех, кто заморожен собственной исключительностью и зачарован иностранными словами, которых не понимает никто из старших! Пока психолог не обратит взгляд на собственный народ, он ничего не будет о нем знать, не сможет ничему у него научиться, да и вместо психологии будет знать лишь то, что говорят об этом слове американские психологические калеки... простите, коллеги. В этом тоже есть мудрость, потому что у американцев можно перехватить грант до полочки...

Для русского психолога, ищущего, как выживать лучше и легче в современном мире, это может быть и выходом. Но для того, кто хочет понять психологию русского человека, ходить в русский народ необходимо, и неплохо бы этому обучать психологов в русских университетах. Правда, тогда придется уменьшить количество естественнонаучности и математики и добавить немножко истории, философии и этнографии. Опасно — поменяет лицо сообщества!..

Я не был членом сообщества, поэтому я начинал свое психологическое образование с полевых исследований, как этнограф или, точнее, как этнопсихолог. Лишь проведя семь полевых сезонов в деревнях Ивановской и Владимирской областей, где учился у потомков офеней — мазыков, я пошел в университет получать психологическое образование. В итоге у меня не было предвзятости, когда я общался с простыми русскими людьми, а при учебе я не поддавался уже под очарование силы, которая есть в резании лягушек и поливании слабым кислотным раствором статистических выборок.

Я учился, чтобы понять, что такое наша научная психология относительно того, чем живет русский народ. И могу сказать, что психологи наши подобны декабристам: страшно далеки они от своего народа, и узок их круг... Народ живет по иной психологии, чем изучают и преподают в университетах. И поэтому выбор между академической психологией и психологией культурно-исторической — не выбор между дисциплинами одной и той же науки. Это выбор между совсем разными науками, лишь случайно использующими одно и то же слово в своем названии. И это выбор мировоззрений.

Я не буду сейчас вдаваться в то, что у всего русского народа есть свои понятия о том, что такое психология, которые стоило бы описать и понять. А потом сделать предметом особой науки. Понятия эти по большей части неосознанные и не ставшие каким-то выделенным знанием, хотя в народе встречаются удивительные психологи, способные выживать в таких хищных сообществах, что и не снились нашим научным мудрецам! Но сейчас я расскажу лишь о тех народных знаниях, что мне удалось добыть как этнографу у мазыков. Лишь один пример народного понимания того, что мы называем мировоззрением. Но пример показательный.

Для начала я просто перескажу то, что уже писал в Общей КИ-психологии.

У мазыков, которые обучали меня русской народной психологии, не использовалось собственно слово «мировоззрение», зато было уже упоминавшееся мною выражение Вјдьма или Водма, производное от Водмѣть — водить.

Водма — это то, что ведет тебя по жизни. Но если попытаться это объяснить, то Водма — это набор представлений, позволяющих видеть мир из определенной точки, именуемой Маковкой. Маковки Водм — это вершины мира, которые ты хочешь покорить и потому вырезаешь весь остальной мир из своего восприятия, сохраняя лишь ту его часть, которая ведет к твоей заветной мечте. В силу этого ты видишь эту часть мира, укладывающуюся в своеобразную дорожку или тропу, ярко и отчетливо, а вот остальной мир ты видишь только сквозь нее, то есть сквозь Водму.

В итоге Водма, в сущности являющаяся путем или способом достижения цели, оказывается тем, сквозь что ты видишь мир, мировоззрением. Как вы понимаете, смена цели меняет и мировоззрение, потому что для достижения иной цели надо выстраивать соответствующий ей путь, который проляжет сквозь иную часть мира. И тогда всё непроизвольно будет пересмотрено нашим разумом, чтобы создать способ, каким эта новая задача будет решена...

Как вы видели, психологи говорят о том, что мировоззрение может принадлежать как «социальной группе», так и личности. Это значит, что цель и путь к ней может быть как личным, так и избранным целым племенем или народом. И тогда этот путь-цель превращается в то, что не только ведет народ сквозь этот мир, но и в то, что плодит орудия достижения этой цели, которые и превращаются в культуру.

Водма или мировоззрение отличается от Образа мира, являясь лишь способом, как внутри этого огромного образа собрать все силы сознания в единый пучок для достижения определенной цели. Но при этом оно использует те образы, в которых отразилось восприятие мира, сложившись в его образ. Иными словами, Водмы-мировоззрения — это морщины на полотне Образа мира, по которым мы катимся к своим вершинам как по желобам... или карабкаемся как по горным склонам, если наши мировоззрения противоестественны.

В любом случае, именно мировоззрения являются основой всего того, что мы изучаем как культуру, поскольку любое культурное отличие рождается лишь тогда, когда человек ставит себе задачей получить нечто, выходящее за рамки его естественных потребностей как биологического существа.

А что выходит за рамки естественных потребностей? Человеческие желания. Об этом я тоже уже писал в «Учебнике самопознания»¹. И поэтому тоже воспользуюсь собственным рассказом, чтобы показать, как в основу мировоззрения ложится поток желаний или охота, которая и гонит нашу душу сквозь миры, создавая для выживания в них особые тела, которые мы теперь называем личностями.

Личность вся соткана из желаний и способов их удовлетворения. Даже если мы исключим из рассмотрения телесные потребности и душевные влечения и порывы, желаний этих невероятно много. Мировоззрение — это способ, каким личность удовлетворяет свои желания! Вот чего не рассмотрели психологи. Точнее, чего они не досказали, когда говорили о том, что в основе мировоззрения лежит ценностное отношение. И ценностное и отношение означают одну простую вещь: я хочу то, что ценно. И отношение это всегда одно: отношение хотения.

Как в этом убедиться? Надо понять, какое мировоззрение имеешь лично ты. Как понять свое мировоззрение? Надо просто взять да описать его. Думаю, даже самые умные психологи, которые пишут о мировоззрении в словарях, очень смутно осознают свои собственные мировоззрения. И осознают они их лишь по-бытовому, скажем, в споре, когда надо закричать: мое мировоззрение не принимает того, что ты говоришь! Или: а у меня совсем другое мировоззрение! А еще лучше: как человек естественнонаучного мировоззрения, я должен заявить!..

Что дают нам подобные высказывания, которые в действительности являются чуть ли не единственными орудиями исследования мировоззрения, доступными русскими интеллигенту? То, что внутри мировоззрения есть не только желания, но и понятия о допустимости или недопустимости определенных способов их достижения.

Да, основа мировоззрения — поток желаний, Стремнина, как говорили мазыки. Но если ты живешь в обществе, тебе надо выбирать способы, которыми ты будешь удовлетворять эти желания. И не все способы, которые бы ты хотел применить, будут одобрены окружающими. Поэтому они дадут тебе по рукам или песочной лопаткой по голове, как это и происходит с нами с самого раннего детства. И тогда, когда ты обретаешь опыт боли, ты понимаешь: прямого пути к своим желаниям в мире людей нет. Надо искать тот мир, что тебе наиболее подходит.

¹ Шевцов А.А. Учебник самопознания. — Иваново: Издательское товарищество «Роша Академии», 2007.

И ты однажды уходишь из мира родителей в поисках своего мира, мира, в котором пути к твоим желаниям пролегают не через те допустимости, что и в мире родителей. Там тебе проще, там иной мир...

Так рождаются сообщества, то есть подмиры большого мира. С ними рождаются и способы, как видеть единый мир Земли иначе, чем другие люди, так рождаются мировоззрения.

Я не буду в этой книге рассказывать, как делать описание себя. Это уже написано в «Учебнике самопознания». Скажу только, что полноценным описанием личности является не описание всех желаний, а описание того, как вообще уложены в нас желания. Мазыки называли это мне Целеустройением, но существовали и иные названия. Сам поток желаний, как я уже говорил, назывался Стремнина, а работа с ним — Стремянкой.

Оба эти слова явно связаны с понятием «стремление». Стремянка же означает лестницу с подпорками. Образ лестницы или лествицы вообще часто использовался мазыками для рассказов об устройстве человека и нашей жизни. Очевидно потому, что это иное имя для пути, а самопознание — это путь.

Понятие Стремянки облегчает работу над собой, потому что в этом образе уже содержится понятие об определенных подпорках, а также об устройстве того, что мы изучаем. У стремянки, как и у любой лестницы, есть устремленные вверх, к какой-то цели, столбы или шесты, их называли тетивами. Тетивы указывают направление, в котором ты устремлен, и цель, к которой ты стремишься. Они как образ дороги, уходящей не вдаль, а вверх, к какой-то жизненной вершине, которую ты избрал достичь и покорить.

А поперек этих тетив, чтобы достижение стало возможным, пришиваются ступени. Они назывались грядки или рядкѣ.

Грядами, как вы помните, зовут горные отроги. Это значит, что грядка — это маленькая горка, и каждая из них — маленькая вершина. Иными словами, если смотреть снизу, то каждая из целей-ступеней сама кажется вершиной, к которой ты устремлен. И только достигнув ее, ты понимаешь, что она была нужна тебе лишь затем, чтобы добраться до более высокой цели...

Обычно человек карабкается по ступеням жизненной лестницы, видя только те задачи, что прямо маячат перед его носом. В этом и есть суть мировоззрения или Водмы. Но если задумываешься о самопознании, то задашься рано или поздно и вопросом: ради чего я живу? И вот тогда образ стремянки сильно поможет, потому что покажет, что все те цели, что окружают тебя роем зудящих и погоняющих оводов, в действительности уложены в какую-то последовательность. Жесткую последовательность, если уж быть точным.

Никаких самостоятельных целей, не связанных с тетивами целеустройства, у нас не бывает. У нас, то есть у меня. Мои цели, цели Я жестко увязаны, так что тетивы звенят от напряжения. Но среди них попадают такие, которые вы никак не можете связать с остальными, хотя и достигаете.

Это вполне могут быть в вас чужие цели. Цели из сумасшествий, или западков, как это называли мазыки. Иначе говоря, цели или желания, привнесенные в ваше сознание другими людьми помимо вашей воли.

Как это происходит, я подробно описал в книгах, посвященных очищению. Поэтому сейчас скажу лишь то, что все ваши цели надо проверить на то, ваши ли они. И если вы задумаетесь, то чужие стоит убрать. По крайней мере, если вы живете ради самопознания, то есть познания себя, а не других.

Соответственно, и в мировоззрении нашем могут быть чужеродные вкрапления, которыми нас наградила, к примеру, наука. И мы их используем не для того, чтобы действительно так видеть мир, а чтобы защищаться от тех, кто навязывает нам свое видение. Мы просто в их присутствии произносим правильные слова, и хищники засыпают, переставая видеть в нас чужих.

Эти чужеродные части есть в нашем сознании и мировоззрении, но нельзя самому себя очаровывать ими, допуская, что они есть ваше мировоззрение. Надо дать оценку и осознать собственное отношение к подобным частям того, что считали своим мировоззрением. И вы увидите, что в одной части себя вы вполне определенно сомневаетесь в том, что говорите, но нисколько не сомневаетесь в том, что это надо говорить, когда рядом есть те, на кого это действует.

Это защитная оболочка вашей души, а не мировоззрение.

И есть другая часть мировоззрения, собственно Водма — то, что ведет вас по жизни. Оболочка защищает именно ее, позволяя вам, несмотря на давление общества, достигать именно своих целей. Почему Водму надо защищать и даже скрывать от других? Потому что, узнав про то, что вы действительно хотите, они могут помешать вам, навредить. Так кажется.

В действительности же, мы скрываем Водму от посторонних глаз, потому что в ней выражаются не просто желания, а желания вашей души. Они составляют Сердце Водмы. И удар по ним — это удар по вашей душе. Это больно.

Мы прячем свои Водмы и рассказываем о них только самым сердечным друзьям именно потому, что у Водм тоже есть сердца. И Водма, как это ни странно прозвучит, есть путь с сердцем, как говорил Кастанеда. Думаю, он вкладывал в это совсем иной смысл, но он определенно чувствовал, что в этом выражении есть сила. Вся сила, которая движет нами по жизни, живет в Сердце моей Водмы. Именно поэтому я прячу свое настоящее мировоззрение от других и закрываю его защитным мировоззрением, мировоззрением напоказ.

Для того, чтобы у прикладного психолога появилась хотя бы начальная возможность исследовать такое психологическое понятие как «мировоззрение», он должен разделить этот большой и запутанный предмет на более простые части. Первая из них — защитное мировоззрение, мировоззрение напоказ. Вторая — мое действенное мировоззрение, или Водма. Третье — Сердце Водмы, или желания моей души, ради которых я избираю, а точнее, изыскиваю миры, в которых моя душа сумеет достичь совершенства.

Глава 6. Мое мировоззрение

Я не стал разыскивать, что говорят о мировоззрении социологи и культурологи — для них это понятие еще не стало общепринятым. Тем не менее, сделанное мною описание понятия достаточно обширно, чтобы попробовать взглянуть в то, как оно уложено в моем собственном сознании.

Я произношу слово «мировоззрение», вглядываюсь в себя и понимаю, что за ним нет содержания. Вернее, я вижу, что знаю это слово, но не более того. Первое, что выскакивает из меня: конечно, я знаю, мировоззрение! И тут же приходит приводящее меня в замешательство ощущение, что я знаю слово, но не знаю, что такое мировоззрение. Что-то во мне начинает метаться и предлагает быстро сказать: мировоззрение — это система взглядов и представлений... То есть сдать науке или общественному мнению.

В следующий миг я осознаю, что помехой для понимания как раз является это гнусное протонаучное словечко «система». Именно оно мешает мне, перекрывая, точно пробка, пути понимания. Взгляды и представления могут относиться к чему угодно, мировоззрением их делает именно то, что спрятали за этим языковым сорняком, который охотно предлагает использовать себя во всех тех случаях, когда надо подумать, но не хочется.

В сущности, все эти «системы», «рефлексы» и «психики» — патентованные лекарства от разума, что-то вроде косячков с травкой, которыми ученые дурманят себе мозги. Единственное, что дает использование протонаучья — это ощущение спокойствия. Налетел на провал в неведомое, испугался, судорожно выкурил косячок, пожадал, как говорили мазыки, и вот над пропастью появилась заплатка: здесь нет мин, рыбы и неведомого. Здесь все просто и понятно: система!

Протонаучье — это великая сила... Она способна побеждать неведомое, страх и бесконечность... Священная плесень научного сообщества, взращиваемая огромным числом одурманенных прогрессом религиозных фанатиков, чтобы вводить себя в состояние легкого транса, в котором их может посетить Учитель, а может и Бог...

Я не могу понять, что такое «мировоззрение», иначе как через привычные словосочетания, которые использую в действительной жизни, чтобы управлять либо чужим поведением, либо своими состояниями. А какие словосочетания мне известны? Я всматриваюсь в свое сознание и обнаруживаю, что их совсем немного — очевидно, что слово это еще новое в русском языке и не обросло значениями.

Но я точно использую выражения: мое мировоззрение не позволяет мне... Его мировоззрение допускает... В рамках моего мировоззрения это возможно или невозможно... У него прогрессивное или отсталое мировоззрение. Наверное, вспомнится что-то еще, но и из перечисленного можно сделать кое-какие выводы.

Мировоззрение ограничивает меня и предписывает, что допустимо, а что недопустимо. Это, безусловно, набор взглядов, и допустимы или недо-

пустимы именно они. Значит, мировоззрение — это не просто способ видеть мир. Оно вообще не имеет отношения к миру и его видению.

Мировоззрение, с психологической точки зрения, — это выбор, какими взглядами пользоваться. Но как можно пользоваться взглядами? И что такое взгляды? Безусловно, что взгляды — это образы. В нашем сознании просто не бывает ничего иного, кроме образов. При этом образы, по сути, бывают только трех видов — образы вещей (самая большая из которых — мир), образы действия и образы себя. Но об этом я намерен говорить особо в другой работе.

Разум, обеспечивая выживание в этом мире, создает его образ из образов всего, что его заполняет, и использует их для того, чтобы научить меня выживать в этом мире. Для этого он берет образ меня и учит его действовать в образе мира. А потом применяет лучшие из образов действия в настоящем мире. Что из этих образов оказывается взглядами?

Как мы понимаем, взгляды предписывают, как относиться, то есть действовать, но взгляды не могут быть простыми образами действия, потому что такие образы уже есть, и они просто образы того, как надо действовать в тех или иных условиях. И ты просто действуешь, когда попадаешь в эти условия. Действуешь, и больше ничего.

Взгляды же нужно иметь, а можно высказывать. Более того, взгляды вообще создаются для того, чтобы их высказывать! Мировоззрение иначе может быть названо жизненной позицией, то есть отношением к чему-то. Точнее, мировоззрение состоит из множества таких «позиций», то есть отношений.

Но естественному человеку не нужно иметь отношение. Когда он голоден, он ест, когда его жизни угрожает опасность, он спасается, а не встает в позу и не излагает себя. Мировоззрение возможно лишь в обществе, потому что оно ничего не может изменить в мире-природе. Там его просто сожрут вместе с носителем, поскольку оно ни на что не может воздействовать, кроме своего хозяина, человека, попросту замедляя его. Иметь мировоззрение или отношение к чему-то там, где надо жить мгновенно — увидел-сделал, — вредно, как путы на ногах.

Мировоззрение, отношение и вообще взгляды не действуют на природу, зато действуют на человека. Значит, они рождаются и живут только в мире-обществе. И вот там они неожиданно оказываются действенными, потому что способны менять этот мир. Гуманистическое мировоззрение вкупе с мировоззрением демократическим коренным образом изменили современный мир, то есть общество. И продолжают его менять, управляя множеством людей.

Причем мы говорим: современное демократическое мировоззрение коренным образом изменило наш мир, — понимая, что меняло оно лишь общество, но при этом не в силах избавиться от ощущения, что меняет оно и землю. Просто потому, что земля тоже изменилась за последние века. Конечно, меняли её люди, то самое изменившееся общество. Но меняли они её только потому, что сменилось мировоззрение.

Значит, наше мировоззрение — действенное орудие творения миров. Кто же действует? Не тела.

Телам нет дела до мировоззрений. Им достаточно образов действия. Но нельзя сказать, что действуют и души. Души, безусловно, требуют от нас чего-то — а именно, чтобы мы меняли мир, создавая для них те условия, в которых они будут чувствовать себя хорошо. Мировоззрение — вообще душевный выбор. Иметь его мы можем только по этому выбору и всегда выбираем из множества возможных именно то, что больше нам по душе.

Но души снаружи мировоззрений. Они выше их и используют, как орудия, почему и меняют время от времени.

Действует нечто посередине между телом и душой, нечто внутри мировоззрений. А поскольку мировоззрения — это орудия творения обществ, значит, действуют наши общественные тела — личности. Именно они-то и ведут себя в соответствии с тем или иным мировоззрением. Ведут сквозь миры, которые творят, то есть сквозь общества. Так рождается поведение.

Тут невольно вспоминается мне понятие Водьмы — образа жизни, который я избираю как путь к своей давнишней мечте, образа, который ведет меня сквозь миры.

Что такое Водьма? Как вы помните, это осмысление Стремнины — потока собственных желаний, — приложенное к внешним условиям. Но Стремнина — это не просто поток желаний, это поток душевных устремлений, накладывающихся на телесные потребности. Дикое сочетание противоречивых начал, разрывающих меня на части, будто я привязан к двум бешеным коням.

Усредняющая их усилий называется Стремянкой — это лестница, ведущая к тому, что я хочу достичь в этой жизни. Иное название ей — целеустройство. Водьма — это часть Стремянки, в которой скрыты душевные порывы.

Водьма — это то, что хочет достичь душа, то, к чему она меня ведет. И это путь, которым она хочет, чтобы я шел. Путь душевного выбора. Он почти невозможен, потому что ему мешает с одной стороны, стремнина моих желаний, с другой — общество, которое требует от меня определенного поведения и навязывает мне свои ценности. Поэтому я непроизвольно выстраиваю для себя такие пути, которые возможны с учетом всех условий, помех и сложностей. Стремянка или целеустройство — это наш действительный путь по жизни. Иначе в этом мире не выжить и не прожить к своим целям. И сколько бы мы ни мечтали в Водьмах, на деле имеем одни Стремянки.

Но душа не хочет примириться с требованиями разума, ей не хочется терпеть, торговать собой, применяться, и она создает образ идеального пути, пути мечты. Так, как мечтает душа, в этом мире прожить нельзя, так можно жить только в мире душ, на Небесах. Но очень хочется. И вот мы творим то, что соответствует нашим мечтам, как мечту об образе жизни, который ты хочешь достичь.

Так рождается то, что сейчас принято называть мировоззрениями, а мазыки называли Водьмами. Так рождаются «системы взглядов», которые

нужны, чтобы можно было о них заявлять другим как о своих представлениях о том, каким должен быть мир людей, и за которые можно идти на смерть, потому что жизнь тела ничто по сравнению с мечтой души.

Мое мировоззрение — это сон моей души, в котором она пытается вспомнить, каким должен быть тот единственный и настоящий мир, из которого она провалилась в этот мешок для воплощения...

Глава 7. Мировоззрение и поведение

Я пытаюсь понять, что такое мировоззрение, не вообще, не из праздного научного любопытства, а как прикладной психолог, для работы с людьми. Психолог же может оказывать воздействие либо на состояния сознания, либо на поведение. В действительности, он еще может обращаться к разуму и оказывать прямое понуждающее воздействие, принуждать. Но эти способы я сейчас не обсуждаю. Как и самопознание. Пока я ограничиваюсь задачей понять, как мировоззрение может воздействовать на поведение.

Слово «поведение» скрывает в себе понятие «вести себя». Вести кого-то, хотя бы и самого себя, можно только в том случае, если в этом участвуют двое. Иными словами Я не может вести себя, ибо оно едино. Но при этом я вполне могу сказать, что я веду себя определенным образом. И означает это, что Я отличается от «себя», хотя при этом и не осознает этой двойственности. У нас не хватает культуры самоосознавания.

Для прикладника это очень важно. Если ты не умеешь видеть двойственность или множественность самого себя, тебе почти невозможно разглядеть ее в другом. А значит, ты не видишь самую основу, рождающую поведение. Но человек определенно считает в некоторых случаях собою свое тело, к примеру, когда его щиплют, он говорит: мне больно! В других же случаях он однозначно осознает: мое тело не может быть мной, просто потому, что оно мне принадлежит, оно мое.

Точно так же человек осознает себя личностью, когда говорит: мне обидно! Я возмущен несправедливостью! Но при этом он может создавать и менять свои личности, что значит, что личность осознается как орудие выживания в обществе, подобное физическому телу.

Тем более вся эта наша множественность становится очевидной, если я как психолог принимаю, что есть душа. Душа, кстати, тоже моя, что непроизвольно рождает по отношению к ней те же телесные ощущения. И лишь присутствующее за всеми этими оболочками воплощения Я не несет никаких следов телесности.

Именно осознание себя то одним, то другим из этих тел и дает ощущение изначальной множественности. Оно еще больше усиливается, если вспомнить о том, что личности вообще свойственно размножаться. Однако, когда мы говорим о раздвоении личности, это показательно, но в действительности не имеет отношения к множественности «ведения себя» — сколько бы ни было у человека личностей, в тот миг, когда он осознает себя

ведущим себя, его личность одна. И даже если она сменится уже в следующее мгновение, она опять будет осознаваться одной.

Изначальная множественность поведения связана не с множественностью личностей, а с множественностью тел. Множественность личностей позволяет иметь множественность поведений, но каждое из них все равно узнается как способ вести себя потому, что в основе его ощущение себя разделенным на того, кто ведет, и того, кого ведут. Иначе говоря, сколько бы личностей и различных видов поведения ни было у человека, внутри каждого сохраняется общее устройство сознания, обеспечивающее возможность поведения вообще.

Итак, когда бы и по отношению к чему бы ни происходило осознание, в этом участвует тот, кто осознает, а осознаю Я. И Я осознаю, что веду себя, осознаю с огромной скоростью, даже не думая об этом — просто вдруг понимая, что веду себя правильно или не правильно. Это значит, что я наблюдаю за своими действиями и сличаю их с каким-то образцом. Точное попадание в образец дает ощущение, что он исполнен правильно, что и выражается в словах о «правильном» поведении.

Что же мы узнаем, как ведомое по образцу или в соответствии с правилом? Не тело. Тело послушно и готово выполнить всё, что от него требуется. Спротивляется правилам поведения не оно. И не душа. Душа как-то выше поведения. Язык даже не знает выражений, вроде: душа ведет себя правильно. Они к ней не относятся. И вообще, жизнь по душе считается высшей и желанной, к сожалению, слишком трудной, почти невозможной, почему и рождается поведение. Оно, как привычка, свыше нам дано, замена счастию оно...

Думаю, что поведение — это способ удерживать себя как можно ближе к душевным состояниям в обществе, где все выстроено так, чтобы стаскивать нас в адские состояния. И когда нам хочется взять и нахамить, наскандалить или даже убить, правила поведения удерживают нас от падения вниз. Общественное поведение продумано и выстроено так, чтобы наш мир оставался хоть как-то приемлемым для жизни душ...

Души не ведут себя, они живут выше этого. Тела тоже не ведут себя, они действуют и исполняют свои позывы без оглядки на окружающих. Их приходится одергивать и сдерживать. Всё, что можно сделать с телами — заставить их сдерживаться или двигаться по определенным образам. И кто-то их принуждает к этому, рождая поведение.

Как кажется, мы водим по миру именно тела. И водит их личность, одевая в соответствии с требованиями общества, заставляя совершать узнаваемо правильные движения, произносить нужные слова...

Но это неверно, это снаружи, так сказать, для внешнего наблюдателя. Давайте приглядимся как психологи.

Вот мое тело произносит слова вежливости. Откуда оно их берет? Кто-то во мне придумывает или вспоминает их. Тело — только орудие озвучивания. Но слова не принадлежат ему. У многих бывали такие состояния, когда,

внезапно проснувшись, они обнаруживали себя забывшим, что это за место. Они не помнят, как называются вещи, в комнату входят люди, а человек не узнает их... слова пропали, а тело только мычит.

Тело само по себе не имеет слов, они ему не нужны, как не нужны животным. Свое выживание в природе тело обеспечило бы без речи, слова появились в обществе, и это значит, что они принадлежат не Тели, не физическому телу, а телу общественному, той самой Личности в широком смысле этого слова. В широком — означает то, что есть узкие, частные личностные проявления и есть общая для них исходная основа личности, из которой вырастают множественные личины и облики, показывающие себя в самых разных случаях. Но при этом, как бы ни разнообразны были проявления Личности, сама она, как некая основа для общественного взаимодействия, есть под всеми ее проявлениями.

Мазыки называли ее офенским словом Лох. Лох — это просто человек, в более узком смысле — мужик, крестьянин, в отличие от барина, ховряка, или городского плута, шапа. В еще более узком значении, сохранившемся и поныне, лох — это дурак. Но исходно это слово означало не совсем дурака, а, скорее, простеца.

Простец — это фигура мифологическая. Он присутствует в сказках и мифах всех народов. Из образа простеца рождается также известный в мифологиях всего мира образ хитреца. Современная наука называет его трикстером, в переводе с английского — это тот, кто проделывает трюки, то есть откалывает шутки. В русских сказках его часто зовут шутом. И это совсем не тот шут, что знаком нам из Шекспира. Это не придворный развлекаватель знати, это иное существо, даже обожествлявшееся в ранних мифологиях. У древних германцев его прообразом был бог-шутник Локки, у сибирских народов, а через них и у североамериканских индейцев — Бог-Ворон.

У русских в бытовых сказках хитрец просто зовется Шутом. А предшествовавший ему простец — Дураком.

Но мазыки сохранили их взаимосвязь в именах разных частей личности.

Само Общественное тело, с которым маленький человечек входит в общество, и которое становится основой личности, звалось Лохом. А вырастающие поверх него личины и облики, то есть собственно Личность, — Шапом и Журом, в зависимости от задач, которые решают ее части.

Шап — это городской хитрец, шеголь, пускающий пыль в глаза, чтобы отвести их от собственной уязвимости. Иначе говоря, это защитные оболочки личности. Жур — это вор, плут, обманщик, то есть тот, кто наживается за счет других, извлекая выгоду из общественных отношений.

Вот в самых кратких мазках устройство личности, как его видели мазыки. Что из этого может быть тем, что мы ведем? Как ни странно, ничто. Теперь, когда верхние слои культуры удалены, это очевидно.

Мы водим вообще не личность. Точнее, личность мы водим уже потом, после того, как поведение случилось, точнее, было создано. Вот тогда мы используем личность как второе тело, подобное физическому, и водим их вместе. Еще точнее, поняв, как надо вести себя, мы создаем образ поведе-

ния, выбираем соответствующую ему личину из запасников нашей личности, одеваем ее на тело и запускаем его в мир сразу в двух образах: определенной, подходящей для случая личности, ведущей себя по правильному образу поведения.

Это большой театр, но это уже не творчество, это всего лишь исполнение. Поведение рождается раньше.

Поведение рождается тогда, когда мы осознаем задачу, которую надо решить. Задачу, связанную с какими-то другими людьми. Впрочем, это не верно. Поведение рождается в мифологические времена вместе с рождением человека, его выделением из царства животных. Еще во времена Даля существовала поговорка: по пояс мы все человеки. Что значит, половина человека уже вылупилась из яйца животности, а половина еще звериная. Именно задача вести себя каким-то образом сделала человека человеком. Сами по себе наши тела по народным представлениям вовсе не обязательно есть признак человека.

В таких телах может прятаться дух, бес, а может и бог...

Поэтому вернее было бы сказать, что поведение рождается тогда, когда какую-то задачу нужно решить под взглядами тех, кто тебя оценивает. Это могут быть люди, но могут быть любые другие существа, лишь бы они были способны на оценку, а ты бы эту оценку в их взгляде ощущал. И мы очень предрасположены ощущать такие оценки во взглядах, мы часто завешиваем картины, которые смотрят, оценивая, ругаем животных, которые смотрят, будто что-то про нас думают. Мы даже можем почувствовать, что нас рассматривает машина или лес, и посмеемся над собой, но изменим поведение...

Поведение рождается тогда, когда мы наконец-то узнаем в другом равного себе и понимаем, что от его оценки будет зависеть наше благополучие. Иными словами, когда мы понимаем, что от того, что Другой в нас рассматривает, наша жизнь дальше пойдет немножко вверх или немножко вниз. Попросту, будем мы после этого жить немножко лучше или немножко хуже.

Жизнь, идущая вверх или вниз, что очевидно, это путь, состоящий из выборов или развилок-росстаней. И у каждой ростани стоит привратник, глядящий на нас и решающий, пропустить ли нас к нашей мечте. Почему жизнь, в которой нам не дали того, что мы хотели, оценивается как худшая, а жизнь, где мы получаем то, что хотим, как лучшая, мне кажется, очевидно. Но вот как на это наложились направления вверх и вниз, можно понять, только если принимаешь, что это жизнь души.

Простой человек, человек древности, в которой рождались языки, хочет жить лучше, потому что его душа пытается вернуть утерянный рай. Лучше — значит, в райском блаженстве. Битва за рай превращается в битву за вечное возвращение, хорошо изученную мифологами. Вся жизнь древнего человека, если рассматривать его как общество, посвящена возвращению утерянного изначального блаженства или рая. Весь мир, то есть всё общество и все человеческие сообщества, сражаются за то, чтобы мир не портился, чтобы он очищался, и проводят обряды, возвращающие ему состояние изначальной

чистоты и покоя. Так рождается третье значение русского слова «мир» — покой.

Покой — это исходное состояние человека до появления личности и поведения. Это то блаженство, которое доступно нашим душам, если бы им удалось прорваться сквозь мир, в который они попали, как в ловушку.

Если задуматься, то это очень, очень важная битва! Ее ни в коем случае нельзя проигрывать, от нее слишком много зависит.

Вот поэтому человеку так важно овладеть правильным поведением, и человек готовит победы в каждой схватке этой битвы. Для этого он создает Образ мира и Образ себя. Слова эти современные, мазыки использовали иные, но поскольку у них было много имен для разных возрастных состояний этих образов, я сейчас не буду их называть. Достаточно понять одно: поведение рождается, когда я вожу образ себя внутри той части образа мира, которая соответствует вставшей передо мной задаче.

Именно там, в искусственных условиях, можно сказать, в лаборатории общественных отношений, и вырабатывается каждым из нас образ действия, который называется Поведением.

После того, как он готов, ему подбирается Лицо, и с ним впускается внутрь тело, которое и исполняет этот сложный обрядовый танец, призванный ублажить всех духов и богов, которые созерцают и оценивают нашу готовность вернуться в мир блаженства. И если мы не убедительны, нас отправляют на доучивание туда, где мы будем наказаны болью и плохим отношением.

Поведение — это всеобъемлющий обряд, который призван обмануть богов и отвести им глаза от несовершенств наших душ. Поведение — ложь, как ложь и личность. Это всего лишь способ сбежать из того класса, в котором мы проходим свой урок. Но оно очень показательно, оно говоряще. И говорит оно о том, как устроен настоящий мир.

Глава 8. Ценности мировоззрения

Как это с очевидностью следует из всех определений мировоззрения, что дают ученые, мировоззрение связано с двумя важнейшими понятиями — отношением и ценностями. Думаю, что эти понятия можно увязать в одно: ценностное отношение. Иначе говоря, если верить науке, в основе мировоззрения лежит способность человека относиться ко многим вещам своего окружения как к определенным ценностям, которые заставляют ради себя менять поведение.

Это значит, что прикладной психолог не сможет овладеть мировоззрением как рабочим орудием, если не поймет, как работать с ценностями и отношениями. Однако ценности еще со времен Аристотеля являются предметом особой науки, названной Этикой (она же Мораль или Нравственность).

Этика, если быть точным, то есть просто переводить греческое слово этос, должна бы быть наукой о нравах, но на деле она оказалась наукой о нравственных или моральных ценностях. Особенно ярко это проявилось в ней в Кантовском прочтении, да и вообще у немецких философов, вроде Ницше, Шелера, Виндельбанда, Риккерта, которые как-то уж очень много думали о том, как управлять своим народом с помощью этого орудия.

Впрочем, не обошли этику вниманием и другие нации. Во всяком случае, для крупнейшего англоязычного позитивиста девятнадцатого века Джона Стюарта Милля этика оказалась основой всей его логики и вообще социальной физики. Писал об этике и Кавелин. Но его работа осталась незамеченной, зато шумно гремели со своими этическими откровениями Владимир Соловьев, Николай Лосский, князь Кропоткин.

Я намерен посвятить этике особый раздел этой книги, поэтому не буду пока задерживаться на том, что это за наука, а наука эта вовсе не простая. Мне же сейчас гораздо важнее сказать несколько самых простых вещей, которые очевидны.

Первая: мировоззрения, как миры, в которых живут наши личности, являясь одновременно и путями, которыми душа преодолевает препятствия, стоящие на ее пути, ведут из состояния меня сегодняшнего к некоему иному состоянию. Состоянию предпочтительному и потому привлекательному, точнее, влекущему. Иначе мы бы и не сражались за его достижение.

Вот эта привлекательность того, что ждет нас в конце жизненного пути, соответствующего нашему мировоззрению, и есть Ценность, вложенная прямо в мир, существующая в мире и составляющая вершину целеустремления, с помощью которого я строю свое мировоззрение. Я создаю мировоззрения, исходя из того, что есть нечто, что так ценно для меня, что я ради него отрекаюсь и отказываюсь от всего остального, то есть от всех остальных возможных способов видеть этот мир, и живу так, будто есть только мир, разливающийся от этой избранной мною ценности.

Это значит, что ценность оказывается своего рода вершиной, к которой я стремлюсь. А поскольку я стремлюсь не только дойти до нее, но жить в соответствии с этой задачей, то ценность эта оказывается Вершиной моего мира, или его Маковкой, как говорили мазыки.

Но вершины — это, по сути своей, горы. А горы, как понимал это русский язык, — ступени, ведущие в верхний — горний — мир, значит, ступени возвращения Небес или утраченного Рая...

Вот и вся теоретическая, то есть созерцательная часть ценностного отношения, определяющего мировоззрение любого человека. Если он обретает мировоззрение, значит, он в пути. И воздействовать на его поведение можно лишь в том случае, если ты понимаешь, что он ведет себя так, а не иначе, потому что идет, потому что достигает своей вершины. Или утерял ее...

И ему надо помочь. Помочь либо достигать того, что он избрал, либо найти утерянную цель жизни, а вместе с ней и ее смысл. Либо сменить вершину, а с ней и мировоззрение.

Думаю, в этом суть работы прикладного психолога в части мировоззренческой.

Сама же эта работа всегда сводится к решению простейших разумных задач, которые стоят на пути человека. Их лишь надо вычленивать из путаницы, в которую превращаются наши Стремянки, то есть целеустроения, в быту. Выделить и выстроить в виде задач разума. Но об этом надо рассказывать особо и в прикладной части.

Заключение мировоззрения

Итак, мировоззрение — это отнюдь не система взглядов и представлений. Мировоззрение для души — это способ или путь, каким она преодолевает мир людей, легший помехой на ее пути к мечте. Для личности же это полноценный мир, в котором она живет, пока не будет решена задача, ради которой такой мир творился.

Мировоззрения — это не взгляды, а искусственно создаваемые нами миры внутри мира людей. Если этого не учитывать, то невольно упустишь множество действенных вещей, без которых невозможна прикладная психология. По большому счету, чтобы помочь человеку или воздействовать на его поведение, сначала надо описать мир, в котором он живет. Тогда станет понятной большая часть причин, определяющих его поведение. Они просто станут очевидными.

Поэтому психологу стоило бы начинать знакомство с человеком просто с описания его мира. Как это сделать, я пока подробно рассказать не могу. Думаю, эта тема заслуживает особого исследования. Но в общих чертах это и так понятно любому думающему человеку.

Однако орудия прикладной психологии далеко не исчерпываются мировоззрением. Мировоззрения рождаются не сразу и к тому же меняются нами время от времени. Многие люди совмещают сразу несколько мировоззрений, используя их для прикрытия своего настоящего мира. Строятся все мировоззрения из того, чем заполнено наше сознание.

А оно заполнено образами, полученными с образованием и воспитанием. Ложатся же они все на Образ мира, который творится нашим сознанием с мига рождения. Никакая прикладная психология не возможна, если не учитывать все это.

Поскольку наша задача выйти к самым действенным частям сознания человека, мы идем культурно-историческим способом — от верхних слоев вглубь. Следовательно, следующим шагом, после мировоззрения, должно быть образование, которое, безусловно, приобретается нами после воспитания и обретения Образа мира. Но не время определяет связь образования с мировоззрением, а то, что образование в действительности вовсе не то, что мы привыкли о нем думать.

На деле образование — не способ обрести знания, а орудие обретения мировоззрения. В этом оно сходно с воспитанием, которое есть орудие творения нравственности.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОБРАЗЫ СОЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Наше сознание имеет множество содержаний, как это стало называться с легкой руки психоаналитиков. В этих содержаниях очень легко себя запутать, что часто и случается с прикладниками. Именно поэтому нужны работы по теоретической психологии, и работы переходные от теоретической к прикладной. А что может по поводу этих необозримых и необозримо сложных и непредсказуемых содержаний сказать теоретическая психология?

Много, но главное — какие бы содержания сознания мы ни наблюдали, все они по своей природе есть образы. Ничего, кроме образов, в сознании нет и быть не может. Все сложности — это сложности сочетаний образов разных видов.

И поэтому, какой бы предмет мы ни взяли для своего рассмотрения — мировоззрение ли, воспитание ли, наконец, образование, — первый вопрос: какие образы лежат в основе этих понятий и чем они отличаются от образов других предметов?

А отличаться они могут либо по содержанию, либо по способу сочетаться, либо по сложности этих сочетаний. Но это всё — культура, в которую и складываются образы. Иными словами, все различия подобных образований — культурные. Моя культура определяет отличия того, что правит моим поведением.

Значит, вопрос в том, как я обретал свою культуру.

А обретал я ее постепенно, изучая этот мир, подражая другим, принимая те образы поведения, что насаждало возраставшее меня общество. Постепенно — значит поступательно, шаг за шагом, слой за слоем, и это уже история.

Так рождается предмет культурно-исторической психологии. Он — путь к познанию моей души, путь, впечатавшийся в мое сознание, вынужденное приспособляться к миру, который я обнаружил, воплотившись. Следовательно, он — в помехах моему прямому познанию себя, и это очень важно понять: предмет психологии — не культура и не история, а помехи, которые они создают для наших душ и для нашего познания этих душ.

Помехи эти лежат слоями, в которые их уложила наша культура, а точнее, творящее ее общество, возраставшее, воспитавшее и давшее мне образ. Мировоззрение позволяет понять путь души к своей цели. Путь сквозь мир.

Но как понять мир?

Для психолога он совсем не тот, что для географа. Культурно-исторический психолог ближе к археологу: он должен начать с верхних слоев, с культурной пены, и дойти до материка. Сверху лежит то, что пришло последним...

Глава 1. Образование

Если задать вопрос, что такое образование, человеку неподготовленному, например, академическому психологу, он ответит почти слово в слово со словарем Ожегова:

«Образование. 1. *Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение.* 2. *Совокупность знаний, полученных в результате обучения».*

Это так привычно, что даже не осмысливается, но определенно можно заметить одно, что прикладной психолог ничего не может сделать с образованным человеком, если будет исходить из такого определения. Однако все мы были свидетелями, а то и участниками воздействия на людей, когда психологу бытовому достаточно было сказать: вы же образованный человек, как вы можете... — и человек менял поведение!

Уж что там может, не может или должен человек образованный, сейчас не важно. Важно лишь это вопиющее противоречие: если образование — совокупность знаний или обучение, то его невозможно использовать для воздействия на поведение, но образование прекрасно используется для того, чтобы управлять поведением людей, значит, оно не знания и не обучение.

Что же такое образование?

Образование по-прежнему, как и тогда, когда это понятие было придумано Вильгельмом фон Гумбольдтом на рубеже девятнадцатого века, есть действие по прямому значению положенного в его название понятия Образ. **Образование — это придание образа.** Гумбольдт использовал для этого понятия два слова — латинскую «форму» и немецкое «билд» — оба означают образ. «Формунг» и «билдунг» Гумбольдта — это формование или обобразование человека, попросту — придание человеку определенного, заказанного образа. Заказывают такие образы общества, для которых они способ не впускать чужих, а значит, обеспечение выживания.

И мы с вами прекрасно знаем, что образование не есть обучение. Хотя бы потому, что в русском языке эти действия обозначаются разными словами. Обучение или учение лишь применяются при получении образования. Но образование — это именно получение. Чего? Бумажки, без которой ты букашка в этом новом мире, то есть свидетельства о том, что получил соответствующий образ, отличающий тебя от людей низшего мира, от работяг, — все-таки образование преимущественно используется в устойчивом словосочетании «высшее образование», то есть образование университетское. Все остальное, как школа, — это еще не образование, а просто обучение.

Но бумажка свидетельствует о чем-то настолько существенном, что даже открывает пути и двери в места силы этого мира. Без такой бумажки не занять место среди правящего класса, а работники советского партаппарата еще и старались защитить диссертации, чтобы улучшить свое положение во власти. Образование определенно является допуском к власти, а это значит, что оно придает не просто образ, а тот образ, который соответствует определенному сообществу. Как этикет когда-то соответствовал требованиям к поведению аристократии.

Когда? В эпоху, предшествовавшую образованию, просвещению, науке, во времена власти тех, кого и сбросила с их тронов революционная волна, поднятая французскими просветителями, которые и создали само понятие о том, что должно стать образом человека нового времени. А стать им должно было новое, революционное и прогрессивное мировоззрение, построенное на иной картине мира, на картине, полностью отвергающей гипотезы бога и души. Называлась она естественнонаучной.

Многие наши ученые до сих пор наивно верят, что естественнонаучное мировоззрение — это то же самое, что и научное мировоззрение. Некоторые вообще считают, что это просто одно и то же и нет другой научности, кроме естественнонаучности: мы говорим партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин, подразумеваем партия... Остальные же просто знают, что естественнонаучное мировоззрение — это одна из частей научного мировоззрения...

Сам способ говорить о научном мировоззрении заимствован из мировоззрения естественнонаучного. Только оно говорило о себе, как о мировоззрении. У науки как у таковой нет и не может быть мировоззрения. Она — всего лишь орудие поиска истины. Это большой-большой обман! А вот у естественной науки мировоззрение было изначально, и без него она не может, потому что наукой не является. Естественная наука рождалась как политическая партия, которая хотела захватить власть в мире и потому должна была убедить народы, что надо голосовать за нее. И народы голосовали, убивая и разрушая.

Для того чтобы убедить, нужно разрушить то мировоззрение, которое уже есть у людей, и заменить на иное, революционное. Но что такое мировоззрение? Это образ мира, в котором я мечтаю жить. И буду, если начну видеть мир сквозь него. Как только это свершается, старый мир становится помехой, и я начинаю его сносить, до основанья... строя новый...

Вот это и проделала с миром естественная наука просветителей.

Ко времени Гумбольдта революция уже победила во Франции, а новое мировоззрение разливалось по Европе, как призрак нового мира. Гумбольдт был просветителем, и он хотел, чтобы революция шла дальше. Он был аристократ, но каким-то образом ослеп и не видел, что в итоге просвещения люди идут на революционные перевороты, свергая тех, кто стоял у власти, и возводя к правлению новый класс — буржуазию. Что-то было чрезвычайно привлекательным в этой безграничной революционности, если люди начинали помогать свергать собственное сообщество и освобождать место для грязных и вороватых торгашей, будто пришло время новых богов...

Боюсь, что именно битва с богами и сносила головы таким, как Гумбольдт, — ведь с новым мировоззрением можно было отменять старых богов и становиться богами самим, пусть хоть в отдельно взятом мировоззрении...

Как бы там ни было, но именно с рубежа девятнадцатого века орудие доступа к власти, всю работавшее в Европе и России весь восемнадцатый век, обретает имя. Теперь это не просто академии и университеты, теперь это высшее образование. Для России это особенно прозрачно: Петр, чтобы

сделать страну европейской, вынужден был отодвигать от власти бояр, которые сопротивлялись нововведениям. Для этого он бросает призыв голодному и потому бойкому и подвижному дворянскому сословию: нужно учиться, нужно ехать в Европу и обретать европейские знания. И нужно делать свою Академию, чтобы не ездить далеко.

И вот Академия становится местом, где те, кто хочет действовать, могут получить пропуск во власть. Так происходит первая, петровская революция в России, когда полностью меняется лицо страны и к власти приходит новый класс. Пока еще на основах просто европейской образованности: люди настолько впитывали в себя образ европейца, что были полностью чужими в своей стране и по языку, и по одежде, и по образу поведения.

В середине девятнадцатого века в России вызревает следующая революция, которая завершится реформами шестидесятых-семидесятых годов. Вызревает она не сама по себе, а потому, что появился и обрел силу новый класс — буржуа. И класс этот тут же начинает сражение за лучшее место в обществе, отодвигая от власти дворянство. Идеологами и вождями этой битвы оказываются естественники, вроде Сеченова, революционные демократы и просветители, вроде Чернышевского, и террористы, с которыми Чернышевский был связан.

Наши психологи до сих пор считают, что в своем «великом» труде «О рефлексах головного мозга», вышедшем в начале шестидесятых годов девятнадцатого века, Сеченов заложил основы их науки. Наверное, и в работе «Кому делать психологию», утверждая, что ее должен делать физиолог, он тоже выступал от лица психологов, но это возможно лишь в том случае, если им нет дела до психологии, а есть лишь до того, как примазаться к правящему сообществу, как стать естественниками.

Но в действительности, если вспомнить, что происходило вокруг этих публикаций Сеченова, очевидно, что они были не научными, а политическими. «Современник», где публиковался Сеченов, был журналом общественным, в сущности, просветительским. И он постарался выжать из этой статьи как можно больше. В частности, учинив травлю всех, кто попробовал сказать хоть слово в защиту души, которую Сеченов изгонял из мировоззрения русских людей как понятие.

Это была битва, и битва за мировоззрение, хотя выглядела она как битва за образование. Битва, в которой новое сообщество, рвавшееся к власти, подрывало устои прежнего мировоззрения и насаждало иное. И ему это удалось. Народ принял то, что поразило его воображение, и уже через полвека старый строй был свергнут, а к власти пришли внуки тех, кто тогда шел на баррикады образования... В России утвердилось первое в мире научное общество.

Образование — это мировоззрение, в котором действует вера, как и в отмененной им религии. Вера в то, что естественнонаучная картина мира верна, а ее изначальные гипотезы есть не гипотезы, а аксиомы, которые просто не нуждаются в доказательствах. Мы рождены, чтоб сказку сделать

былью... Естественнонаучность — это мир, в котором нет богов, нет души, но есть тела, и тела эти, срастив себя с машинами, станут богами сами. Стальные руки-крылья и вместо сердца пламенный мотор...

Кстати, главная черта богов — их способность летать, благодаря чему они могут жить на Небесах. Вряд ли кто-то думал, что космические программы Советского Союза и США были попытками построить новые вавилонские башни, чтобы не доползти до Небес по ступеням, а прыгнуть сразу через пространство и простор. Мы так старательно осваивали космос, чтобы занять место Богов своими... телами.

Если образование — это мировоззрение, то оно не может не учитываться в работе прикладного психолога. Нельзя помочь человеку, если не понимаешь, какую задачу он решает. Но нельзя и помочь решить задачу, если не описаны ее условия. Условиями задачи всегда является мир, в котором человек хочет чего-то достичь. Прежде чем вообще хоть что-то говорить человеку, с которым работаешь, надо понять, **ЧТО ОН ХОЧЕТ, и В КАКОМ МИРЕ ОН ЭТОГО ХОЧЕТ.** А после этого можно выяснить, **КАКАЯ ПОМЕХА СТОИТ НА ЕГО ПУТИ.**

Вот, в сущности, и все психологические хитрости. Если не забывать, конечно, что говорить он может о чем-то вполне вещественном, скажем, естественнонаучном и атеистическом, а при этом хочет этого его душа... которой у него нет... Именно она-то и толкает его обретать все эти материальные вещи, потому что при этом она обучается чему-то настолько нематериальному, что становится совершенней. К примеру, непривязанности к вещам, щедрости, заботе, душевности...

Но если душа учится щедрости или непривязанности, значит, пока еще у нее есть влечение к ним, есть жадность, есть соперничество с другими, есть узость видения... и так далее, и тому подобное. Именно от этого она и избавляется, заставляя меня действовать и действовать, накапливая ошибки.

Можно сколько угодно помогать человеку становиться богаче или успешней, но это не работа психолога, это работа экономиста или визажиста. Прикладной психолог занят душой, и поэтому его работа — помочь человеку рассмотреть, а что же хочет его душа в действительности. Только такие прозрения решают узлы сложных жизненных задач окончательно. И только за такими решениями люди будут ходить к психологу.

Глава 2. Как решать образовательные задачи

Как психологу решать задачи, которые приносят ему образованные люди? А большая часть тех, кто обращается к психологам, люди образованные. Не разработать это — значит оставить психологию на том уровне, на котором она и сейчас задает в своих тестах вопрос: образование? Высшее! Все понятно...

Что понятно? Зачем спрашивали? Какие выводы из этого сделал психолог, сделал ли и может ли вообще сделать? Вообще-то сделал и делает обя-

зательно, вот только не осознает, хотя и психолог. Вывод же прост: ну, слава богу, свой! С этим хоть понятно, как разговаривать, он человеческую речь понимает! «Человеческую» в данном случае значит простонаучье, на котором изъясняются наши психологи, чтобы оправдать, что не занимаются общественно полезным трудом. Остальные, которые не говорят по-человечески, говорят по-русски...

Почему же психолог ощущает облегчение, когда к нему приходит образованный человек? Потому что он сразу же понимает: этого можно будет обманывать, можно будет запудрить ему мозги, как это говорится на молодежном наречии, и он это примет, просто потому, что должен — он же свой! А спорить он не сможет, потому что тогда ему придется спорить с самыми основами правящей идеологии, то есть естественнонаучного мировоззрения. Люди и не спорят, они просто не ходят к психологам, чтобы не спорить...

Зато тот же психолог, почувствовав, что к нему пришел свой, образованный, с которым они будут играть в одни и те же игры, сразу после облегчения испытывает жуткое напряжение, потому что игры эти, что палка о двух концах. Хорошо, если образованный окажется человеком воспитанным, то есть будет сдерживать свои позывы, иначе он обязательно сыграет в ритуальную игру научного сообщества — в козла. Попросту, постарается доказать психологу, кто из них двоих умней. И психологу придется доказывать дилетанту, что те пара книг, в которых он запутался, пытаясь понять психологию, не дают полноценной запутанности, какую имеет он сам, как настоящий профессионал. А значит, нечего тут умничать, наука превыше всего, и надо просто подчиняться тому, кому от лица науки поручен этот участок революционного дела!

Поумничать может любой ученый член сообщества, причем в широкой амплитуде — от мышления остроумности до полного уничтожения противника ядовитой научной критикой. Это очень существенная черта собратьев по науке.

Вот, примерно, что понимает психолог, когда узнает, что у входящего высшее образование.

Так как же решить психологическую задачу образованного человека? Поняв ее и устранив все помехи к этому пониманию. Для этого надо отсечь все лишнее. А лишним может быть либо образование, либо все остальное. Иными словами, задача либо коренится в образовании, либо нет. И если она в образовании, надо работать только с этим мировоззрением, а если же она коренится глубже, то образование надо устранить как помеху, которая лишь накладывается на задачу.

К примеру, человек с детства страдает, как это называют психологи, комплексом неполноценности из-за того, что не может потребовать справедливости. Ради того, чтобы преодолеть этот комплекс, он пошел учиться и получил образование, но комплекс только усилился. В чем дело? И какую роль тут сыграло образование?

Конечно, ответ может быть очень личным. То есть во время образования у человека случились такие события, которые усилили его комплекс. И их надо разбирать последовательно. Но если таких отчетливо запомнившихся событий нет, значит, воздействие оказано самим образованием. И тогда нужно понимать, что такое образование, и почему оно может оказывать подобное усиление одних проявлений человека и ослабление других.

Для этого наше понятие образования надо описать. Нет, не развернуть то определение, что дают толковые словари: *Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение*, — а именно описать. Но изначальный толчок дадут и определения. Давайте взглянемся, тут каждое слово значимо.

Во-первых, в научном определении, точнее, в определении, данном самим научным сообществом, заключено противоречие, которое я уже объяснил: обучение и просвещение — разные вещи, они далеко не одно и то же. Обучение существовало задолго до научной революции и было именно обретением знаний или навыков. Просвещение же — это революционная идеология, с помощью которой весь восемнадцатый век готовилась Великая французская революция. Просвещение никогда не было несением света, а было распространением прогресса.

Под прогрессом же понимались самые передовые научные представления, построенные на отказе от гипотезы бога и на естественности. В сущности, естественность естественников — это вовсе не следование естеству, то есть природе, как кажется. Ни один естественник не доказал, что бога нет в природе, но если бог есть, отрицать его как раз противоестественно и строить свои предположения и картины без его учета тоже. Естественность была объявлена как возможность обойтись в своих объяснениях природы без бога. Современная физика уже утверждает, что «гипотеза бога не противоречит ее построениям»...

Прогресс — это не соответствие истине, это — передовое, что значит, последнее по времени, только что испеченное. Что значит, что через пятьдесят лет оно же будет обгаживаться творцами новых идей, как полная чушь, но пока эти творцы не пришли, требует себе поклонения, как божественному откровению. Бог науки — Прогресс, то есть движение вперед, с того места, где тебя могут поймать за язык и заставить отвечать за свои слова. В итоге по планете бежит фронт огня, выжигающий ее дотла...

Просвещение — это идеология, мировоззрение; обучение, ученичество — обретение знаний и навыков. Путать их — очевидное противоречие. Гораздо менее заметно то же самое противоречие, скрытое за выражением *получение систематизированных знаний*. Это так привычно, что кажется неоспоримым. До тех пор, пока не спросишь: что такое систематизированные?

Самый лучший ответ, не имеющий отношения к исходному значению нерусского слова система, — уложенные в определенном порядке и так, что охватывают всю отрасль. Вдумайтесь в это, и вы поймете, что для того чтобы укладывать в определенном порядке, нужно этот порядок иметь как образ заранее. В каком порядке должны укладываться знания в головах учащихся?

Если приглядеться к нашему высшему образованию, то отнюдь не в том, в каком это позволит им овладеть профессией. Они приходят на производство «молодыми специалистами» и несколько лет переучиваются. Значит, годы учебы в университетах были потрачены на что-то иное. На что? А именно на освоение этого порядка и устройства, носителями которых они и должны стать среди массы покоренных нами диких племен...

Особенно ярко это было в советскую эпоху. Она вообще выпучивала все недостатки образования, превращая его в откровенную идеологическую обработку, благодаря непомерной идеологизации самого государства. Собственно профессию давали, часто, меньшее количество часов, чем всяческие идеологические предметы. Про историю КПСС, марксизм-ленинизм, атеизм и прочие политические предметы, которые при этом были обязательными и с которых начиналась учеба, даже говорить нечего.

Но вот распознавали ли психологи, что, отдав годы на партийно-политические предметы, они продолжали заниматься не психологией, а идеологической подготовкой, изучая биологию, математику, психофизику. Это работала скрытая идеологическая часть обработки и насаждения естественнонаучного мировоззрения, обеспечивающая власть научного сообщества. И если с партийно-идеологической обработкой еще можно было как-то бороться, хотя бы не понимая ее, то бороться с естественнонаучной идеологией было почти невозможно, потому что в ней скрывались «объяснения» того, как устроена вся остальная психология. Хочешь быть психологом, должен знать не только факты, но и механизмы психики, приводящие к этим фактам, значит, учи естественные науки, начиная от физики.

Физику, вроде бы, прямо не изучали, но уже одно, всеми принимавшееся выражение: знать и понимать механизмы — есть присутствие физической механики как наилучшего объяснительного подхода, найденного человечеством. Физическая механика Ньютона давно оспорена самими физиками, но при этом она осталась для всего простонаучного мира примером абсолютности, то есть почти божественности мозговитых человеческих тел. Физическая механика скрыто пронизывала все психологические предметы, от чего становилась еще действенной.

Систематизировать знания можно только в соответствии с каким-то образом, а именно с тем, какой и давало образование. Образ же этот — естественнонаучная картина мира, в которой все развивалось из начальной точки Большого взрыва, а далее разлеталось во вселенной, пока не становилось миром, в который мы приходим. Эта точка, после которой все начинается — полный бред даже с точки зрения физики, потому что физика не может себе представить, как возможно возникновение всего из ничего. Это выше физических возможностей объяснять. Именно это дикое противоречие всей нашей физике и лежит исходной аксиомой в основании всей физики.

Как вы понимаете, вопрос о начальной точке всего, отнюдь не физический, раз физика в принципе не в состоянии о нем думать. Это думание разрушительно для физика, потому что решить эту задачу он не может и вынужден прийти к выводу, что вся физика не верна. Но физики, охамев-

шие от своих успехов в глазах необразованной толпы, думали и об этом. Академик Сахаров, отвечая на вопрос нашего ведущего семиота Вяч. Вс. Иванова, говорил, что в годы его пребывания в ссылке в Горьком, то есть в семидесятые-восемидесятые годы прошлого века, по его примерным оценкам, «этим были заняты около 10 тысяч физиков. То есть проблема образования Вселенной являлась одной из главных задач естественных наук второй половины прошлого века» (Иванов Вяч. Вс., с. 9).

Вопрос о том, кто создал Вселенную, всегда был вопросом религиозных прозрений. Наука отменила религию и надеялась с ходу ответить на все вопросы по-своему, только потому, что ее объяснениям хорошо поддавались предметы, до которых можно было дотянуться рукой. Из этого был выведен порядок, который попытались наложить на весь мир. Однако оказалось, что, по мере убегания мира от наблюдателя с яблоком над головой, законы мира меняются и порядок превращается в хаос...

Какой же порядок вносится в головы наших бедных научных зомби вместе с систематизацией знаний, которые им туда вкладываются? Могу ответить за себя. По окончании первого университета, — а я заканчивал совмещенный историко-филологический факультет, — я понял, что единственное, что взял, — это умение находить данные и источники самостоятельно, пользуясь справочниками, архивами и библиотеками. И то же самое является главным взятком у всех, кто не занял места в научном сообществе.

Как вы понимаете, иностранный язык нельзя считать образованием — он не был им и во времена до научной революции, когда им полагалось владеть любому аристократу. Историю, как оказалось, запомнить невозможно, нужно лишь иметь общее представление, в рамках которого и пользоваться справочным аппаратом, как это называлось. Идеологию можно сразу отбросить — историки были идеологическими кадрами, и поэтому либо принимали правящую идеологию осознанно, либо осознанно же отбрасывали. Просто само историческое образование этому учит.

И получается, что то, что я взял в качестве порядка — это устройство справочников и библиотек. Устройство способов хранения знаний. Вот что такое образование с точки зрения систематизации знаний для историка. Устройство же это просто — оно древовидно, то есть разветвляется от общих понятий к частным. И это соответствует устройству разума, — это не отменишь. Куда же влезала новая идеология?

В подмену самих понятий. В подмену языка.

С историками это не так просто сделать. Они по роду своей деятельности все время выкапывают, как назывались вещи раньше. А вот для психолога очень естественно заменить душу на психику, а ту на неврологическую активность... и так дальше, пока и концов не найти. Так естествознание меняло все имена, которые могли повести к прежним источникам знаний, чтобы студент, обучившихся в университете только одному — как самостоятельно вести поиск нужных ему данных, просто не налетал на места входа в предшествующую картину мира.

И этим живут все образованные люди. Это необходимо учитывать: у образованного человека перекрыта способность обучаться, ему не нужны знания об истине и действительном устройстве мира. Иначе он не успокоился бы. Но он знает: физика дала все окончательные ответы, а что не успела, то даст, и сюда лучше не соваться, потому что все равно отстал. Поэтому свои силы надо вложить не в поиск знаний о действительности, а в поиск знаний о том, как стать первым, лучшим, знаменитым, как преуспеть в этом мире или хотя бы в своем сообществе.

А успех в научном сообществе строится на оценке общественного мнения, потому что уважаются не те, кто действительно исследует, а так называемые признанные гении. Успех — вот цель ученого, а значит, и образованного человека. О нем должно заговорить общественное мнение, как о революционном ораторе. Поэтому он использует любой случай, чтобы проявить свое искусство воздействия на других, хотя бы на психолога. И даже свою беду, из-за которой пришел, использует, чтобы произвести впечатление.

И это не личная черточка. Это черта общественного поведения всех членов сообщества, привитая веками образования.

Следующая черта, которую необходимо учитывать, родилась из той же изначальной борьбы науки с религией. Бога надо было отменить, душу отменить, провозгласить, что есть только тела, — тогда можно было рассчитывать занять место религии в обществе и государстве и хорошо жить у общественной кормушки. Это все сделали, теперь кормушку надо удерживать, потому что к ней пытаются пропихиваться голодные. И в России уже сократили финансирование науки.

Вот и попробуйте поговорить с таким человеком, который думает только о выживании, о каких-то душевных проявлениях, если в основе всего его преуспевания заложено то, что надо отрицать душу. От того, насколько научное сообщество крепко удерживает принципы своего исходного мировоззрения, зависит отношение общества ко всему сообществу. Если оно начнет само отказываться от собственных принципов, грош и цена всему, что оно обещало человечеству...

Вольно или невольно, но человек образованный сопротивляется признанию души. И сопротивляется не просто потому, что не верит. А потому, что он хорошо, по крайней мере, *как-то* живет, а признание души перевернет весь его мир. Тут сопротивление уже на уровне некоей физики ангелов — человеку нужен покой, а душа — источник движения и беспокойства. Зачем ее впускать?! Она же вредна!

И еще одна черта научного сообщества. Ученые все сдержанны. Это тоже рождалось исторически. Верую, ибо абсурдно — лучший способ поразить воображение толпы. Если задаешь исходный парадокс, творя идеологию, она не сможет быть понята толпой, а значит, будет жить болью в ее сознании и будет править. Объявить человека не душой, а телом и машиной — это было круто в ту эпоху и поражало воображение и сознание.

Но после этого взять и сохранить абсолютно идеальные понятия, вроде материализма, — это уже забойный прием. Но добавить к этому еще и то, что свергатели царей и кровопускатели, безжалостно вырезавшие врагов вместе с их семьями и детьми, — это белые и пушистые интеллигенты, которые считают недопустимым применять физическую силу... Слов нет, но сила в этом страшном и до крови противоречивом образе ужасающая!

Но мы все знаем: образованный человек не должен бить рукой, не должен ругаться, он интеллигент, сапиенс, носитель разума, он должен доказывать свою правоту только доводами разума или доносить, и потому должен сдерживать все свои душевные порывы...

И вот перед вами такая био-математическая машина, которая воспитана врать и скрывать то, что происходит у нее на душе, воспитана образованием и зашита в образ, который за нее знает, как ей правильно себя вести.

Этот образ поведения образованного человека и есть главная помеха при решении любых психологических задач, которые могут принести психологу образованные люди. Его бы можно было описать, но, с одной стороны, мы все его и так сами знаем, а с другой, этому надо посвящать основательное исследование.

Поэтому я ограничусь этими краткими намеками, по которым думающий человек сам поймет, как убрать помеху в виде образования при решении психологических задач образованных людей. Главное — помнить, что под слоем образов правильного поведения члена сообщества живет мировоззрение, вытекающее из точки начального взрыва научной революции, произошедшей тогда, когда стало ясно, что так можно захватить лучшее место в мире. Именно тогда родители стали отрывать последнее, чтобы только дать ребенку образование и обеспечить ему возможность жить лучше, чем жили они...

Но под этими слоями лежит воспитание и обучение, полученные в детстве и юношестве, которые заставляют образованного человека вести себя порой непредсказуемо, воюя с образом образования. А под ними, где-то в забытой глубине, есть и душа...

Глава 3. Приличия образования

Прикладная КИ-психологическая работа строится на том, что сознание человека состоит из множества культурных слоев, каждый из которых приходит в свое время, так сказать исторически. Слои эти бывают крупными и мелкими. Образование — большой слой, это значит, он содержит в себе множество подслоев. Часть из них я назвал в предыдущей главе. Часть еще ждет своего рассказа и останется не названной и в этой книге. Но основные, без знания которых прикладник работать не сможет, необходимо назвать.

Но еще важнее понять, что причина определенного поведения человека может жить в одном слое его сознания, а проявляться она будет во всех,

и все слои будут как-то искажаться ею. И при этом они сами будут искажать это поведение, так что его причина может совсем пропадать из восприятия.

Так, к примеру, психологи, для которых пишется эта книга, являются до удивления приличными людьми. Настолько приличными, что на это стоило бы обратить внимание им самим, как на родовую черту сообщества. Ради того, чтобы выглядеть приличным, психолог без колебания откажется от исследования того, что управляет поведением, но осуждается общественным мнением или правящей нравственностью.

Так долгое время было, например, с половыми отношениями. И только благодаря психоанализу они хоть как-то стали изучаться отдельными психологами, да и то в рамках дозволенного. Так до сих пор есть с матерной бранью. Я не встречал ни одного психологического исследования брани, ею занимаются только языковеды, хотя брань — вовсе не вид речи.

Психологи, если только есть возможность выбора между приличиями и исследованием действительности, всегда выбирают приличия. Почему?

Каким-то образом, они важнее для психолога, чем поиск истины. Вероятно, потому, что они ведут к его жизненной цели, а действительность и истина — нет.

Как обретаются знания приличий? В сущности — это проявления «хорошего воспитания». И кажется, что воспитание, в значении «хорошего воспитания», есть свойство человека образованного, чуть ли не качество, обретаемое с образованием. Но это как раз пример того, как один слой сознания проявляется в другом.

Воспитание может идти долго, но в общем и целом оно завершается до времени образования, дальше — только редкие вспышки. Этот слой очень ранний. И в нем лишь закладывается понятие о том, что существуют приличия и их можно выбирать. Но выбор, что тебе прилично, а что нет, возможен многократно. И осуществляется он тогда, когда ты меняешь личность, то есть лицо для представления себя обществу.

Вход в научное сообщество, то есть в общество образованных людей, требует очень определенного лица, которое и станет теперь твоим образом жизни до самой отставки. Именно для него ты и выбираешь соответствующие личности.

Что же за приличия должен иметь человек образованный?

Если мы вспомним историю, образование приходит в Россию именно как свет из окна в Европу, прорубленного Петром. В Европе его называли Просвещением, намекая желающим приобщиться, что это свет разума. Поэтому семнадцатый-восемнадцатый века назывались веком Рационализма. Естественная наука той поры без стеснения присвоила себе монополию на владение разумом, отказав в нем врагам — Церкви, которую обвинила в мракобесии, а заодно и всем простым людям, которых поместила, если не в самый адский мрак, то куда-то в Лимбо, в лишенное света чистилище. Простой люд до сих пор считается у людей образованных серым...

Как вы понимаете, картина эта мифологическая, похожая на Дантовскую. Но именно возрожденческие образы и легли в основу мифотворчества

Просвещения и того переворота, который был осуществлен Наукой, захватившей Олимп и сбросившей прежних его хозяев в мрачный Тартар.

Старые боги были порождением тьмы и мрака, новые несли свет и разум. Кого должна была выбрать радостная демократическая толпа? Толпа выбрала свободу, равенство, братство и низвергла доселе правящих аристократов в угоду вора и выжигам. Но у толпы слишком много рук и голов и совсем мало мозгов. Потому, когда ей предлагают на выбор мешок с золотом или мешок с мозгами, она выбирает то, чего ей не хватает...

Воры и пройдохи нового демократического мира выбрали деньги и до сих пор хорошо наживаются. А научная толпа избрала мозги и старательно жуёт их, считая себя самыми умными. Они даже не заметили, что мозги и разум — это очень разные вещи. А уж предположить после такого, что человек думает не мозгом, не под силу ни одному психологу — ведь тогда придется признать, что их развели, как простаков. Им обещали век разума, а подарили век мозгов и высшей нервной деятельности...

Мозги — это такой же первомиф психологического сообщества, как приличия — первомиф всего общества просветителей или образованных людей. Это — священная корова, которую нельзя трогать, ибо на ней держится мир. Точнее, их мир — мировоззрение.

Если психологи усомнятся в мозге, падет их принадлежность к естественнонаучному сообществу, и они станут изгоями, без гроша за душой. И это их не устраивает: с душой, но без грошей и места в обществе.

Если просветители отменяют приличия, они подорвут веру в себя толпы, которая их кормит. А ей они когда-то обещали: не верьте Церкви, не верьте в богов, верьте в нас, верьте в человеческие мозги: мы можем все, что обещали вам церковники, но гораздо лучше. Мы скинем зажавшихся бездельников и займем их места, кухарки будут управлять государствами!..

Они скинули и заняли места тех, кто правил. А кто правил? Аристократы. В переводе с греческого — люди благородные, то есть родовитые, если говорить по-русски. Кто такие родовитые люди, или родовая знать?

Это те, кого знают из рода в род как людей, стоящих у власти. Иначе говоря, это специалисты в управлении, воспитывавшиеся для управления и развивавшие в себе соответствующие качества много поколений подряд. Но это было скрыто от толпы, которой они управляли, от подлого люда, то есть от людей, живших подле замка благородного господина. Как происходит управление, ни подлый люд, ни демократы, рвавшиеся к власти вместе с Наукой, не знали, потому что не видели.

А видели они роскошь и утонченный этикет, то есть правила поведения. Их было проще освоить или присвоить, потому что можно было просто выучить и запомнить. Так делали все нувориши — новые богачи, вроде мешчан во дворянстве. Они шили правильную одежду, покупали правильные кареты, делали правильные движения, говорили правильные слова, ели и пили правильные вещи...

Так и рождались приличия нового правящего сообщества. Их суть — изображать из себя аристократа, человека благородного, а значит, рожденного и избранного для того, чтобы управлять другими.

Управлять другими может и плебей. Но он это будет делать силой. Аристократа слушают потому, что власть исходит от него, будто принадлежит ему по праву рождения и естественна. Вот поэтому просветитель старается сдерживаться и не применять силу. Он должен управлять другими, но делать это как угодно, только не как те, кем он избрал управлять.

Например, разумно доказывая, если не умеет просто повелевать. О! Разумно! Это такая боль! Сообщество образованных людей пролило столько крови, чтобы доказать всем, кого поработило, что его правление разумно, а оно — источник разумности, и при этом никто даже не дал определение разума!.. Они до сих пор исходят из того, что разум — это то, чем обладает образованный человек. В России — интеллигент.

И русское «интеллигент», и американское «интеллектуал» происходят, как это очевидно, от одного корня, который намекает, что этот человек — просто сплошные мозги, и живет он тем, что думает, по преимуществу. Однако если сравнить между собой оба эти слова, то очевидно и то, что американские интеллектуалы — это «самые умные», а русские интеллигенты — это самые доброжелательные, душевные, сердечные, в общем, благородные люди, попросту, аристократы.

Думаю, это не случайно. И рождалось в России это слово именно взамен петровскому аристократизму, которым птенцы гнезда Петрова отодвинули от власти прежнюю русскую родовую знать, которая была напрочь лишена и европейского лоска, и аристократизма. Предполагаю, и слово аристократизм появляется в русском обиходе не раньше восемнадцатого века, именно для решения задачи перехода власти от бояр к дворянам.

Через века же, когда власть уходила к буржуазии, чтобы вытеснить аристократизм, его самые действенные черты приписали интеллигентности. И вот человек образованный, интеллигент, стал «настоящим русским интеллигентом», то есть скрытым демократическим аристократом среди толпы революционного плебса...

И при этом он не знает, как думать, проигрывает в этом и ворам, и рабочим, и всё, что у него есть, — несколько правил поведения, именуемые приличиями. За них он умрет.

Глава 4. Прикладная работа с образованием

Образование — не есть знания или их получение. Образование есть образ, требующий от своего обладателя вполне определенного поведения. Два человека, обладающими одинаковыми знаниями, могут вести себя самым разным образом, потому что знания никак не влияют на поведение. Они вообще к нему не относятся, их можно исключить из рассмотрения. Как некую постоянную величину. А вот от человека образованного всегда ожидается соответствующее его образованию поведение.

Чтобы прикладной психолог смог решать задачи, связанные с образованием, он должен понимать не только то, что оно влияет на поведение, но и то, как и почему оно влияет. Для этого он должен сделать две вещи.

Во-первых, осознать собственную зависимость от образования. Мало того, что в психологе работает всё, что накладывается на любого образованного человека, но через обращение к себе он может вскрыть еще одну обязательную черту этого мировоззрения — договор о свойстве, или договор умолчания.

Мировоззрение просветителей, оно же образование или правила поведения интеллигентов, рождалось и складывалось в среде революционных заговорщиков. Эти ребята играли в революцию всерьез, крови не боясь и не щадя. Поэтому все члены заговорщицких групп приносили клятвы на крови, что будут верны своему делу и своим товарищам. Причем клялись как террористы, так и какие-нибудь физиологи, вроде команды Гельмгольца, у которого учился Сеченов. Клялись до тех пор, пока требование своих не выдавать не стало кодексом чести интеллигента.

Доносительство до сих пор процветает в научной среде и в то же время считается самым позорным делом. Доносчиков презирают все образованные люди. Своих выдавать нельзя.

И вот когда психолог начинает прикладную работу с другим, он непременно обнаруживает, что ему неловко разоблачать в том действительные «мотивы» его поведения. Если ученый говорит, что цель науки — познание действительности, можно сколько угодно хмыкать про себя: болтай, болтай, знаем мы, как вы за гранты продаетесь и товарищей подставляете! — но сказать это нельзя. Надо кивать и играть в то, что вы оба верите, что наука — это не сообщество возле общественной кормушки, а место обретения истины и битвы за знания.

Поддакивать и играть роль в пьесе, написанной идеологами сообщества, — это важнейшая часть поведения образованных людей. Ярче всего это было видно в советские времена, когда все было доведено до гротеска. Гротеск ушел, но потребность подыгрывать своим осталась, потому что она вневременная, она — из самых начал просветительно-революционного мировоззрения.

Это первая вещь, которую надо осознать и побороть в себе прикладнику, он должен стать выше корпоративных интересов своего сообщества и работать либо на заказчика, либо на истину.

Вторая вещь, которую необходимо рассмотреть, это мифологичность образования. Как любое мировоззрение, образование есть мечта о мире, в котором я хочу жить, и одновременно путь к этому миру сквозь помехи, которые надо преодолеть.

Мир этот идеален, а образованный человек всегда идеалист. Самое малое, он мечтает о том, чтобы мир был разумен, а он в нем правил или хотя бы занимал почетное место, поскольку он умней других. Ни один образованный человек не озадачил себя тем, чтобы понять, что такое разум. Основное понимание сообщества: разум — это то, чем я выгодно отличаюсь от остальных. При этом он сам не замечает, как подменяет понятие «разум» на понятие «умность». И живет именно во втором понятии. Это свойственно даже самым выдающимся представителям научного сообщества.

Что это означает для прикладного психолога? То, что мировоззрение по имени Образование творит мир, во всем подобный, скажем, средневековому или первобытному миру, вот только места в нем будут распределяться вокруг великокняжеского трона по особому достоинству: по умности.

Просто такой мир, где грубая сила, родовитость, даже деньги не имеют значения. На троне сидит великий князь Разум — ясное солнышко, а вокруг все богатыри один другого умнее.

Соответственно, и сам мир строится по законам «разума»... Поскольку, что такое разум, никто не понял, то правила устройства мира определяли сами и сделали их не сложнее метода Декарта. Или законов песочницы.

Во-первых, все должны уважать интеллект. Интеллект — это хорошее и непонятное иностранное слово, которое способно вместить в себя любые понимания разума и ума. Поэтому оно удобно. Так вот, главное правило: мозгов в мире мало, все эти, которые без мозгов, должны ценить интеллект, то есть нас. А то обидимся, бросим вас и уйдем, и останетесь мучиться без голов, поскольку вы все серые и безмозглые и без нас вообще погибли бы!

Мысль о том, что в любом деле должен быть хоть один человек, умеющий думать, точнее, обладающий интеллектом, и что без таких все давно погибло бы или не было бы ничего, очень греет образованных людей с жизненным опытом. Они и в действительности не раз видели, как глупы все вокруг и как гибли хорошие дела, когда съедали того, чьей мыслью эти дела держались.

Образованные люди только не замечают при этом, что съедали все те же интеллектуалы, и означает это, что быть интеллектуалом и уметь думать — не одно и то же. Не замечают они и того, что хорошие дела, которые гибли, в основном связаны с цивилизацией, то есть с тем самым искусственным раем для человеко-машины, который мечтает воплотить научное сообщество.

А при этом вокруг остальные люди живут будто и не замечая этих надуманных катастроф. И им вполне хватает разума для долгой, красивой и спокойной жизни, если только наука и образование не вторгаются в нее, чтобы насильно осчастливить...

То, ради чего живет и сражается человек образованный, по сути, все та же мифологическая мечта о рае на земле. Только о своем рае, не о пустотном рае буддистов, не о рае, где можно вволю послать Бога христиан, не о зеленом рае с отзывчивыми гуриями изголодавшихся кочевников, а о рае тех, кто слаб, беден, безроден, но умнее всех остальных.

Каждый из образов рая создавался давно и очень простыми людьми, которые хотели сбежать от действительности в мир мечты. Каждый бежал от своей действительности, но мечты всегда были дополнительны, хотя и противоположны ей. В сущности, мечтали о том, чего не хватало для блаженства. В каждую эпоху и в каждой местности не хватало чего-то своего. Чаще всего это было связано с условиями жизни. В Индии бежали от страданий, в Аравии — от зноя и тоски одиночества в пустыне, но вот в Европе семнадцатого-восемнадцатого веков вдруг родилась мечта о том, чтобы жить по уму...

Это очень, очень странная мечта, если мы задумаемся, потому что она нетелесная. И мечтает об этом не тело! Телу нужно избавление от страданий, сады с плодами, фонтаны, сексуальные ласки... Зачем мечтать о разумном устройстве мира и вообще о том, чтобы научиться думать?

Первая мысль: чтобы уничтожить врага и занять его место. Христианство первым заявило нетелесную мечту: оно потребовало рай для душ, где они будут развлекаться только тем, что исключает телесность. И так захватили чуть не полмира! Если уничтожить христианство, то эти полмира перейдут к победителю.

И вот рождается реакция или контрреволюция, уничтожающая достижения христианства: назад к телу! Наука приходит и объявляет толпам, уставшим от душевных упражнений: души нет! Есть только тела, у них развивается разум, который вы принимали за душу. Вся душевная жизнь — лишь проявления деятельности нервной системы. Сбросьте прежних правителей и приходите поклоняться нам. За это мы научим самых умных из ваших детей, как стать богами самим...

Вот очевидный сценарий научной революции. В основе ее, а значит и всего научного мировоззрения или образования, простое стяжание, простая охота за выгодами или битва за сытые или достойные места в обществе при Власти. И мы все знаем, что, крича про поиск истины, научное сообщество в действительности насквозь прогнило и живет именно этим. В сущности, оно только выглядит сильным, а в действительности стоит на грани такого же краха, какой постиг только что всемогущие Церковь или Коммунистическую партию. Еще чуть-чуть, и мы будем свидетелями гибели очередного колоса на глиняных ногах...

Этого нельзя не учитывать прикладнику при работе с образованными людьми. Ожидание краха живет в каждом, особенно в России, где образование больше не ценится.

Но есть одно «Но». Это та самая странная и романтическая вера ученых в разум. Ни ученые, ни просто образованные люди не знают, что это такое, но верят! Верят слепо и беззаветно, будто ожидают прихода Царствия небесного. Однажды Разум, которому они так первобытно поклонялись все эти темные века, все же придет!..

Они не знали, что это такое, они хранили лишь воспоминание об отзвуке его имени, но когда-то он сверкнул перед глазами восхищенных пещерных людей, отбросив их тени на стену пещеры, и с тех пор они передают весть, что Разум возможен...

Русский интеллигент, образованный человек — это хранитель памяти предков. Он не знает, возможен ли разум вообще, он знает, что разум невозможен в этом диком и темном мире, но он хранит возможность для Разума однажды прийти сюда. Он не узнает и не впустит его в действительности, как иудеи не признали своего долгожданного мессию, но про себя он знает, что разумно его можно убедить на любые действия и что с разумным вождем он смог бы пойти в битву и творить чудеса. Ему только надо показать эту разумность...

И это ожидание и мистическое предчувствие разумности правит поведением образованного человека. Поэтому работа прикладника должна строиться с ним от предложения разумно подумать о том, как решить задачу, с которой он пришел. Именно это предложение оказывается волшебным ключиком, вскрывающим все черные ящики образования, потому что оно подымает человека науки прямо к вершине его мировоззрения, то есть к тому месту, которое правит его жизнью и поведением.

Заключение образования

Образование лишь один из слоев сознания, которые надо видеть и учитывать в работе прикладного психолога. Именно учитывать, потому что в основе образования, как любого мировоззрения, лежат ценности, ради которых и живет человек. А ценности требуют учета.

Именно эти ценности, а точнее, вершинная ценность мировоззрения и ступени ее достижения и определяют поведение человека, поскольку становятся путем, которым человек ведет себя к своей цели на вершине этого придуманного мира.

Причем ведет в обход множества помех, вставших на его пути. Часть из них может быть из внешнего мира. Тогда их убирание просто — это всего лишь задача для разума. Но изряднейшая их часть проявляется из других слоев нашего сознания и путает нам все. Вот эти макушки других мировоззрений и надо принимать в учет при поиске решения задач, которые образованный человек может принести психологу.

Об этих слоях сознания дальнейший рассказ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВСТВЕННОСТЬ

Воплощаясь, мы очень точно подбираем условия для решения тех задач, с которыми приходим. Для этого мы избираем множественные миры, вложенные друг в друга, благодаря чему создаются весьма определенные условия существования.

Думаю, что даже избрание Вселенной или, как говорили в старину на Руси, Поселенной, уже не случайно. Не зря же язык отразил в этом слове понятие о вселении куда-то. Далее следует Земля — это очень определенные условия, в соответствии с которыми задается вид разума, который мы обретаем. Разум — это орудие, обеспечивающее выживание в мире, значит, он не может не зависеть от условий, в которых ему предстоит решать свои задачи.

Даже земные условия, несмотря на единство общих законов, разные, что же говорить о тех различиях, которые существуют в различных обществах?!

Поселенная, Земля, местность или Родина, общество или народ, селение, улица, дом... — все это миры, вложенные один в другой, как жизнь Кашея, вложенная во множество защит, помещенных на Мировое древо...

Мы существа множества миров. Мы умеем их выбирать и использовать для своих задач. Психолог не может этого не учитывать. Часть из этих миров воображаемые, как мировоззрения, хотя от этого они не перестают быть действительными и для личной судьбы и для окружающих миров. Часть — не зависящие от нас, как земля или общество, в которое мы приходим.

Общество звалось по-русски Миром. Но человек плохо осознает это. Мир — это слишком много. Человек осознает своих и чужих и осознает свои обычаи и нравы отличными от чужих. Ткань мира сплетается для нас именно из нравов и обычаев. Они — как это ни странно для человека естественнонаучного мировоззрения — вещи, заполняющие мир нашего воплощения. Вещи, которые не обойти и не объехать... хотя их и нельзя пощупать.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Глава 1. Нравственность, мораль, этика

Все, что связано с нравственностью, чрезвычайно запутано в нашем обществе. Мы хотим сказать о нравственном, а вылетает из нас «неэтично» или «аморально»! И никто не в силах объяснить, в чем разница между этими словами и есть ли она вообще. Поэтому, прежде чем перейти к разговору о том, как нравственность воздействует на наше поведение и как ее использовать в прикладной психологической работе, я хочу разобраться с понятиями. Для этого я обращаюсь ко всем наукам, которые должны ею заниматься.

При этом, начиная разговор о нравственности в книге по прикладной психологии, я, как мне кажется, совершаю предательство корпоративных интересов психологического сообщества, так сказать, поступаю неэтично по отношению к коллегам... Дело в том, что нравственность по негласному соглашению о распределении сфер влияния между науками принадлежит философии, и потому хорошие мальчики и девочки психологического сообщества о нравственности не говорят.

О ней не говорят учебники психологии, о ней не говорят словари Зинченко и Мещерякова, Петровского и Ярошевского, Петровского, Степанова, Немова, Копорулиной, да и какие еще словари о ней не говорят! Только в белорусском словаре Головина дается возбуждающее мои фрейдистские комплексы определение:

«Нравственность — регулирующая функция человеческого поведения. По Фрейду, ее сущность сводится к ограничению влечений».

Это все, что официально знают о нравственности наши психологи... Что они знают о ней в особых изданиях, если таковые имеются, мне неинтересно, потому что пока мне нужно самое общее определение этого понятия.

Поэтому я вначале обращусь к лингвистам. Начну с самого распространенного «Толкового словаря русского языка» Ожегова и Шведовой. Мне нужны определения не только нравственности, но всех тех иностранных слов, которые использует образованный человек, чтобы говорить о ней.

«Нравственность. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами».

Как можно руководствоваться качествами, я не понимаю, тут у лингвистов, думается мне, отказало чувство языка. Качества либо есть, либо их нет. Руководствоваться ими нельзя. Руководствоваться можно правилами, но правила не есть нравственность, даже если это и правила поведения. К примеру, правила поведения на воде имеют задачей обеспечение безопасности, а не нравственности.

«Мораль. Нравственные нормы поведения отношений с людьми, а также сама нравственность. ... Нравоучение, наставление».

Любопытно, нравственные нормы отличаются от этических норм? Или это одно и то же? И каким образом нравоучение стало равно нравственности?

«Этика. Философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Совокупность норм поведения (обычно применительно к какой-нибудь общественной группе)».

Совокупность норм поведения — это те же правила поведения и нравственные нормы? Или же имеется в виду всего лишь запись этих правил?

И на всякий случай:

«Этикет. Установленный, принятый порядок поведения, форм обхождения».

Вот уж это точно всего лишь запись правил, даже если и записаны они не на бумаге, а в памяти людей. Но запись такая есть, по сути, договор о том, как надо себя вести в определенном месте или обществе. Чем это отличается от норм поведения или правил? Ничем. Кроме общества.

Этикет — это договор о правилах поведения в определенном обществе, раньше называвшемся светским. До этого — аристократическим. Попросту, в правящем сообществе. Низами правит нравственность, Властями — этикет...

Какой вывод можно сделать из этих языковедческих определений? Ученые не знают, в чем действительные различия этих понятий и есть ли они, но чувствуют, что должны быть, раз уж используются разные слова. Гораздо важнее то, что все эти понятия прямо относятся к тому, как общество управляет поведением своих членов, но это почему-то не сделало нравственность предметом психологии...

Что ж, посмотрю, что думают о нравственности те, кто обязан заниматься ею по долгу службы. А принадлежит она философам, у которых считается единственной «практической философией». О самопознании философы не помнят...

Философы об этике писали и пишут много. И не лишним будет разделить собственно философские исследования этики и общедоступные учебные пособия. В пособиях царит беспредел, хороших учебников этики почти нет. При этом неизвестно, где удастся найти ответы на вопросы о природе нравственности — в каком-нибудь кратком курсе или пособии для поступающих или в толстой книге под помпезной шапкой «Классический университетский учебник».

Такой «классический учебник» для вузов, написанный заведующим кафедрой этики МГУ Разиным, просто не содержит определений ни этики, ни нравственности. Профессор выше таких мелочей, если не считать определением: «...этики как науки о морали...» (Разин, с. 9). Впрочем, я допускаю, что где-то в глубине сочинения такое определение и дается... вот только как до него дочитать?!

Другие пособия явно пребывают в недоумении, как же обходиться с таким количеством имен для одного и того же. Многие из них просто говорят о том, что нравственность, этика и мораль — это синонимы. Другие же

пытаются каждому из имен приписать собственное значение. Однако, в общем и целом философы склоняются к тому, чтобы этикой называть науку о нравственности, а моралью и нравственностью — само содержание этой науки и те поведенческие требования, которые они означают.

При этом философы еще и не умеют строго рассуждать и разграничивать понятия. С языком у моральных философов как-то уж очень плохо, и я долго не мог понять, почему. Потом пригляделся.

В отношении языка вообще и русского языка в частности у этикологов — или как их еще называть? — правит какое-то детское отношение вседозволенности. Вроде бы русские люди, пишущие на русском языке и для русских людей, они при этом вполне всерьез изучают и обучают именно морали, очевидно, предполагая, что ничего другого у русского человека быть не может, поскольку русский интеллигент любит говорить иностранно. Да и что могло быть у наших диких предков, которые ходили в шкурах и жен себе у кладешей умыкали, пока их не просветили прогрессоры с Запада!.. Не предполагать же, что у нас могла быть нравственность, пока нам не занесли инфекцию этики и вирус морали!

Ощущение, что моралисты понаехали на русскую землю из-за рубежа, сохраняется при чтении почти всех книг под названием «Этика». Они трудолюбиво определяют сущность морали, а в дополнение могут сказать: «*наряду с моралью употребляют слово нравственность*» (Губин, Некрасова, с. 5). Кем употребляется? Какая исходная общность изучается?

Понять такую странность языка философов можно только в том случае, если осознаешь, что им нет дела до тех людей, которых они учат. Они варятся строго в соку своего узкого мирка, где идут споры между профессионалами, запутавшимися между этикой и моралью, а тут еще какая-то дикарская нравственность!..

Между тем, у всех этих взаимозаменяемых сейчас понятий есть своя история бытования в нашей культуре. Знание ее облегчает понимание. К счастью, есть и хорошие книги по этике, из которых можно извлечь и строгие определения, и примеры чистых рассуждений, и исторические объяснения. Поэтому я не буду множить примеры абсурдной путаницы в трех соснах, а прямо расскажу, как складывались все понятия и почему запутались философы.

Само понятие «этика» было создано Аристотелем (384–322 годы до н.э.), очевидно, в первом из своих этических сочинений, в так называемой «Никомаховой этике». Время ее создания исследователи относят к последнему периоду его творчества, то есть к 336–322 годам. Кроме того, Аристотелю приписывают еще две «этики», но сам ли он их написал или это было что-то вроде конспектов его лекций, установить невозможно, да и не важно.

Важно лишь то, что до него это слово не существовало, что не значит, что не существовало соответствующего понятия. Во всяком случае, так кажется философам. Рассуждение выглядит очевидным, но на деле чрезвычайно обманчиво. Когда один из наших лучших философов-этиков А. Гусейнов пишет: «*В платоновской академии сложилась традиция разделять философию*

на логику, физику и этику...» (Гусейнов, *Этика // Словарь философских терминов*, с. 709), — это вполне оправданное словоупотребление.

Оправданное потому, что платоновская академия существовала и после Платона, и к тому же Аристотель был ее слушателем и преподавателем. И даже если это именно он впервые использовал слово этика в своих сочинениях, вполне возможно, что само оно было придумано еще Платоном и использовалось им в устных беседах в рамках Академии.

Но вот когда А. Разин пишет: «*Этика Сократа (469–399 до н.э.)...*» (Разин, с. 113), — это дичь и хамство. И я намеренно сохранил даты жизни Сократа, чтобы было видно, насколько Аристотель моложе. Все, что нам известно о Сократе, записано тремя авторами и современниками: Платоном, Ксенофонтом и Аристофаном. И ни один из них не упоминает использование Сократом слова этика. Даже если Аристотель заимствовал его у Платона, исторически это слово связано с Аристотелем. И даже если он и заимствовал его у своего учителя, он вложил в него свое понятие. А для закрепления различия заявил «Никомаховой этике»: Платон мне друг, но истина дороже. Иными словами, он идет своим путем.

Значит, речь идет не об этике Сократа, а о том, что Разин вложил свое понимание этики, построенное им на том понятии, что заложил в это слово Аристотель, в то, что говорил и делал Сократ. Попросту говоря, он приписал Сократу что-то свое.

Этика — это то, что понимает под этим словом тот, кто его использует. Этику можно понимать так, как понимал ее Аристотель, можно понимать так, как понимал Кант, Гегель или Ницше. Но нельзя приписать этику Сократу или русскому крестьянину. Их можно лишь УЗНАТЬ в их взглядах. Иными словами, читая о Сократе или о русском народном быте, философ может сказать, что какие-то взгляды можно считать этическими в том значении, в каком понимает этику исследователь. Не более!..

В сущности, это есть уничтожение культуры, это такое выравнивание ее под какой-то образец, вроде американского массового ширпотреба, что происходит сейчас. Или вроде того, как наука вырезала народную культуру под предлогом борьбы с суевериями. В мире должна быть только одна культура, и культура эта наша, потому что мы сильнее!

Обеднение культур может оказаться и обеднением путей к истине. И чтобы не грести все под одну гребенку, я хочу уяснить, что вкладывалось в используемые нами понятия этики, морали и нравственности.

Глава 2. История понятий этика, мораль, нравственность

Итак, само слово «этика» было придумано Аристотелем в последней трети четвертого века до нашей эры. Делает он это для того, чтобы дать имя тому предмету, который постоянно обсуждался в платоновской Академии, где Аристотель провел двадцать лет. Но Аристотель никогда не следовал сле-

по за своим учителем, более того, на мой взгляд, он вообще болел страстным желанием сказать обо всем, о чем сказал Платон, по-своему и умней. Поэтому он наверняка вложил в слово «этика» свое, так сказать, революционное понимание.

Для начала воспользуюсь тем, как рассказывают о научной революции, произведенной Аристотелем, философы.

«В IV веке до н.э. Аристотель, один из великих древнегреческих мыслителей, создал первую систему наук, определенным образом связав их между собой. Эта система охватывала весь накопленный к тому времени опыт познания человеком космоса, природы, общества и человека. Сочинение, посвященное проблемам межличностных отношений и воспитанию добродетелей, Аристотель назвал “Этикой”.

*Само слово “этика” происходит от греческого слова *ethos*, что значит “нрав, нравы”. В системе наук Аристотель поместил этику между учением о душе (психология) и учением о государстве (политика). Таким образом он подчеркнул, что, с одной стороны, основанием этики является психология, трактующая устройство души, психические особенности человека, его внутренний мир; с другой стороны, практическая задача этики — воспитание достойного гражданина государства путем формирования его нравственных качеств» (Иванов В.Г., с. 7).*

Этот очерк написан Владимиром Георгиевичем Ивановым для «Краткого курса этики» и потому, конечно, тоже не изобилует подробностями. Однако в нем названо все главное, что нужно понимать об этике Аристотеля. Во-первых, отчетливо видно, что она вырастает из начатого еще Сократом обсуждения понятия о добродетелях и завершает себя тем же, чем завершили и Сократ, и Платон — попыткой взаимодействия с государством. Для обоих неудачной.

Аристотель же прошел такой эксперимент по прикладной этике успешно — он был учителем и наставником Александра Македонского. И, в отличие от своих учителей, не только не был казнен или продан в рабство, но, наоборот, завершил жизнь в почете. Таким образом, у него были основания считать, что он лучше понимает этот предмет.

Предмет же этот — межличностные отношения и воспитание добродетелей, необходимых гражданину, то есть члену общества, чтобы его государство было сильным и процветающим. Вот вкратце, если бросить взгляд самым широким образом на то, что сделал Аристотель, определение предмета аристотелевской этики, как его увидел Иванов. И я с ним согласен. Это самое общее определение той начальной науки, которую создал Аристотель.

Как пишет и Иванов, Аристотель сам не определяет понятие этики, поэтому такой общий взгляд необходим. Без него невозможно понять, от чего начиналась эта наука. Аристотель пишет о правильном поведении и правильном мышлении. Но правильное — это всегда правильное для чего-то. Для государства — вот как решается этот вопрос, начиная с Аристотеля, у философов и мыслителей.

Но это не значит, что так же он решался у народа, который, создавая язык, создал и саму возможность говорить о подобных понятиях. А народное

понимание того предмета, из которого Аристотель построил свою науку, менялось. Для рассказа об этом воспользуюсь другой замечательной книгой по этике — А. Гусейнова и Р. Апресяна.

«Термин “этика” происходит от древнегреческого слова “ethos” (“этос”). Первоначально под этосом понималось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. В последующем оно стало по преимуществу обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так в одном из фрагментов Гераклита говорится, что этос человека есть его божество. Такое изменение смысла поучительно: оно выражает связь между кругом общения человека и его характером.

Отталкиваясь от слова “этос” в значении характера, Аристотель образовал прилагательное “этический” для того, чтобы обозначить особый класс человеческих качеств, названных им этическими добродетелями. Этические добродетели являются свойствами характера, темперамента человека, их также называют душевными качествами» (Гусейнов, Апресян, с. 9).

Аристотель, надо честно признаться, весьма непоследователен в своей этике, и его словно бы мотает на нити маятника из чрезмерной рассудочности в неумеренную зависимость от бытовых представлений. Зависимость эта в каком-то смысле оправданна, но исследователь должен ее хотя бы осознавать, скажем, как собственную культуру, которая снабдила его понятиями. Аристотель же, кажется, еще вовсе не осознает того, что часто вместо действительного понятия использует лишь то, что кажется ему действительным, поскольку таковым считает его общественное мнение.

Об этом, однако, немало писали, и я не буду выискивать примеры у самого Аристотеля, а приведу мнение историка античной философии Дж. Бернета, которое разделяю:

«Я пришел к заключению, что большинство трудностей, которые возникают в связи с “Этикой”, связаны с тем, что, хотя уже давно допускали диалектический характер многих ее пассажей, исследователи никогда не признавали ее насквозь диалектической. Они пытались найти в ней научную и метафизическую основу моральной философии Аристотеля, и, когда вместо этого обнаружили, что основания изложенного здесь учения чрезвычайно шатки, ибо заимствованы как таковые то из обыденных представлений, то из вульгарного платонизма, они готовы были обвинять Аристотеля в непоследовательности или сомневаться в аутентичности сочинения...» (Бернет, цит. по: Н. Брагинская, Никомахова этика //Аристотель, соч. т. 4, с. 691).

Брагинская, приведшая это высказывание Бернета, совершенно оправданно говорит далее о том, что иначе и не могло быть: философу негде взять понятия, которые он обсуждает, иначе как в собственном языке. И если там и нет понятия, вроде «этики», в готовом виде, но там есть «этические понятия», которые знакомы ему и как слова и как понятия языка. Их-то он и разбирает, чтобы вывести понятие научного качества. Повторюсь: вопрос лишь в том, осознает ли он, что использует эти понятия в своей работе, или же оказывается зависим от них и в силу этого слеп...

Что же касается примера чрезмерной рассудочности, или, говоря языком самого Аристотеля, логичности, я приведу пример из «Никомаховой

логики». Пример рассуждения, которое чрезвычайно важно Аристотелю для выведения понятия о нравственном поведении.

Поведение, как мы это понимаем, всегда чем-то управляется. Если нет управления, невозможно и вести себя, а жизнь превращается в простые действия. В обществе людям надо ужиться, лишь тогда возможно то, что может быть высшим благом для них, а именно, счастье. Казалось бы, очевидность и важная очевидность. Но Аристотель не хочет опираться на простые наблюдения над жизнью и людьми, он пытается вывести счастье логически.

В самом начале сочинения Аристотель заявляет нечто, что не могло не понравиться власть предержащим:

«Надо, видимо, признать, что оно, [высшее благо], относится к ведению важнейшей [науки, то есть науки], которая главным образом управляет. А такой представляется наука о государстве, [или политика]. Она ведь устанавливает, какие науки нужны в государстве, и какие науки и в каком объеме должен изучать каждый» (Аристотель, Никомахова этика, 1, 1094a, 25).

В сущности, это как раз пример бытового рассуждения, которое не осознается мыслителем. Нам, в послесоветской России, читать такое и больно и смешно: жизненный опыт показал, что государство очень охотно рвется к тому, чтобы навязывать своим гражданам, что им читать и как им думать. Однако это никак не сводит наши души в ад, если мы не сгибаем их приспособленчеством. Жизнь разнообразней полисного мышления Аристотеля, и в силу этого отменяет множество его рассуждений.

Аристотель, правду сказать, и сам отвергает это свое рассуждение, когда начинает говорить о трех видах счастья — скотского, деятельного и созерцательного. Созерцательное благо и счастье для него выше блага политика, не говоря уж о простом народе. Но выглядят эти его рассуждения так же подозрительно, как заигрывания с Властью: он будто бы пытается логическими доводами убедить тех же власть предержащих, что они должны создавать условия мыслителям. Очень похоже на ту болезнь, которой болеют интеллектуалы в современном обществе...

Но нелогичность, непоследовательность и противоречивость, или, как писал Бернет, диалектичность Аристотеля настолько высока, что он и рассуждения о созерцательном счастье отменяет, чтобы всего через несколько строк заявить:

«Исследуемый вопрос проясняется также из нашего определения счастья, ибо сказано, что счастье — это определенного качества деятельность души сообразно добродетели. Что же касается прочих [благ], то одни из них даны как необходимое [условие счастья], а другие по своей природе являются подсобными и полезными орудиями.

Это, видимо, согласуется со сказанным вначале: мы полагали целью науки о государстве наивысшее благо, потому что именно эта наука больше всего уделяет внимания тому, чтобы создать гражданам определенного качества, то есть добродетельных и совершающих прекрасные поступки.

Мы, стало быть, разумно не называем счастливым ни быка, ни коня и никакое другое животное, ведь ни одно из них не может оказаться причастным такой деятельности. По той же причине и ребенок не является счастливым» (Там же, 1099b, 25-30).

И вообще, нельзя считать счастливым никого, кто не прожил всю жизнь до смерти счастливо...

Мы вполне можем видеть, что ребенок счастлив. И не называем животных счастливыми лишь потому, что не понимаем, осознают ли они это свое состояние. Впрочем, кто видел, как собака после долгой разлуки радуется своему хозяину и, напрыгавшись и нализавшись, засыпает у его ног, вряд ли усомнится, что животные могут быть счастливы. По нашим понятиям...

Вопрос только в том, что такое счастье. Ведь никто не дал определения этому понятию. И я говорю о том, что мы видим счастье, пользуясь лишь своим бытовым понятием о счастье, а оно — лишь узнавание того, что мой народ называет счастьем. Однако слово «счастье» создано народом и предназначено обозначать именно то, что народ понимает под счастьем. В этом смысле мое понимание счастья совершенно, если оно совпадает с народным.

Как бы там ни было, Аристотель выводит понятие нравственного поведения именно из задачи совершать поступки по достижению счастья, а счастье понимает как некую вписанность в государство. Возможно, для государства с очень узким слоем тех, кто мог считаться его гражданами, каким и были Афины, это соответствует действительности. Но если под народом считать не только свободных, то есть полноправных граждан, а всех, кто живет в этом сообществе, то понятие и о счастье и о нравственности резко изменится.

Во всяком случае, это так для России, где несколько веков государство и народ были чужды друг другу, поскольку нами правили иностранцы. Впрочем, началось это еще с варяжского призвания.

Русский народ вовсе не отождествляет себя с государством и живет по своим нравственным законам, оставляя властям их этикет, а интеллигенции ее мораль.

Но продолжу историю. Так возникло понятие «этика».

Понятие «мораль», возникает несколькими веками позже в Риме.

«Для точного перевода аристотелевского понятия этического с греческого языка на латинский Цицерон сконструировал термин “moralis” (моральный). Он образовал его от слова “mos” (mores — множественное число) — латинского аналога греческого “эмос”, означавшего характер, темперамент, моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель называл этикой. В IV веке н.э. в латинском языке появляется термин “moralitas” (мораль), являющийся прямым аналогом греческого термина “этика”» (Гусейнов, Апресян, с. 9-10).

В Европу слово мораль проникает только в эпоху Возрождения, а попытки понять, что оно означает, начинаются лишь в Новое время, то есть не раньше семнадцатого века.

Как вы понимаете, искать в сознании европейцев какое-то отличное от слова «этика» значение для слова «мораль» бессмысленно, хотя и возможно. Но это будет лишь искусственное различие.

Вполне естественно, что эти слова, поскольку их использовали очень крупные мыслители в сочинениях, оказавших огромное влияние на умственное развитие западного человечества, использовались в речи как заимствования. Просто потому, что не было иных слов для обозначения этих предметов. Однако так было не всегда.

Французский, правда, так до сих пор и пользуется латинской «моралью», оправдывая свою принадлежность к романским языкам, то есть языкам, основывающимся на культуре Рима. Зато германский и славянский языки предпочли быть независимыми. Поэтому в немецком и русском есть свои слова для передачи этого понятия. *«Это в русском языке “нравственность”, в немецком языке “Sittlichkeit”. Они, насколько можно судить, повторяют историю возникновения терминов “этика” и “мораль”: от слова “нрав” (Sitte) образуется прилагательное “нравственный” (Sittlich) и от него уже — новое существительное “нравственность”»* (Там же, с. 10).

Это «насколько можно судить» в устах лучших русских знатоков этики очень показательно. Русская наука об этике, похоже, не озадачилась тем, чтобы выяснить для себя, как и когда появляется в русском языке слово «нравственность». Этимологические словари русского языка такого слова не знают. Нет его и в «Словаре древнерусского языка» Срезневского, а вот для Даля оно уже привычно, будто знакомо с детства и само собой разумеется. Это значит, что оно возникает не позже начала девятнадцатого века. В действительности оно уже есть в «Словаре Академии Российской» 1793 года. Точней сказать не могу.

Но тогда же к русским мозгам прививается французскими гувернантками и цирюльниками и словечко «мораль». Прививается в несколько неожиданном значении:

«Значительно сложнее с понятиями “мораль” и “нравственность”. До сих пор считается, что в русском языке это просто синонимы. Собственно говоря, так оно и было... Научная литература настаивает на их тождестве, и во всех словарях эти два слова пишутся как синонимы. Но самый живой, обыденный, разговорный язык тут же опровергает это. В общеизвестном выражении “Ну вот! Нам опять прочитали мораль” невозможно заменить это слово на “нравственность”. Почему?»

Объяснение опять-таки дает история. Слово «мораль» пришло из французского языка. Гувернеры-французы своим воспитанникам в буквальном смысле слова «читали мораль» — то есть наставления, назидания, касающиеся правильного поведения. «Нрав» не имел ничего общего с книжной ученостью. Произведенное от «нрав» понятие «нравственность» касалось реального поведения, практического действия, поступка.

То есть понятие «мораль» относится к сфере сознания (моральный кодекс, моральные нормы, моральный выбор), тогда как понятие «нравственность» характеризует реальное поведение (нравственный поступок, нравственный конф-

ликт). Отсюда — удачное выражение, предложенное Н.Н. Крутовым: «Нравственность — мораль в действии» (Иванов В.Г., с.8-9).

Прекрасное историческое объяснение профессора Иванова, хотя я и не соглашусь с итоговым выводом. Возможно, сейчас, глядя на то, что мы имеем, и можно увидеть взаимоотношения морали и нравственности как созерцания и праксиса, говоря языком Аристотеля. Но в действительности различия объяснены все той же историей, которую рассказал Иванов. Мораль — это правила поведения, которые читались детям того сословия, которое могло позволить себе нанять французского гувернанта. В сущности, французская мораль — это этикет, правила поведения правящего сообщества.

А русские нрав, норы и нравственность — это не этикет, это то, что определяет поведение простого русского человека. Различия в понимании русских «морали» и «нравственности» — классовые или сословные. А широта распространения у нас «этики», «морали» и «этикета» объясняется, в первую очередь, страстным желанием сначала русского дворянства, а потом интеллигенции приобщиться к власти через европейское образование и европейский облик.

В 1920 году в России прекратили преподавать этику как предмет. С тех пор в нравственной философии происходил упадок, а в языке — беспредел и путаница.

Поэтому я завершу эту главу определением из учебника этики А. Гусейнова и Р. Апресяна, которое считаю наиболее приемлемым. Оно хорошо еще и тем, что четко разграничивает сферы использования каждого из понятий, что почти несвойственно нашим ученым.

«В рамках учебной дисциплины “этикой” мы будем называть науку, область знания, интеллектуальную традицию, а “моралью” или “нравственностью”, употребляя эти слова как синонимы — то, что изучается этикой, ее предмет» (Гусейнов, Апресян, с. 11).

Это лучшее определение нашей науки, хотя, как вы уже поняли, и оно не совсем точно. Но это данность, в которой существует наука о нравственности. Данность и ограничение, потому что, несмотря на заветы Аристотеля, философы не изучают нравственность психологически, как деятельность души. Они только поминают о душевных проявлениях, но затем одергивают себя. Все-таки этика — это наука самоограничения.

Как писал Кант, вслед за Аристотелем очень ратовавший за «этическое государство», в одном из своих сочинений:

«...ведь здесь ставится также вопрос о месте души как в аспекте ее способности воспринимать чувственные данные, так и в аспекте ее способности сообщать движущую силу».

Тем самым искомый ответ может вызвать спор двух факультетов по вопросу о границах их компетенции — медицинского, к ведению которого относится анатомия и физиология, и философского, к ведению которого относится психология...

...и здесь легко могут возникнуть неприятности, связанные со спором факультетов о том, кому из них надлежит вынести решение по вопросу, предложенному в том или ином случае университету (как учреждению, являющему собой сосредоточие всей мудрости)» (Кант, Об органе души, с. 620).

Глава 3. Что же такое нравственность философов?

Итак, философы считают, что этика — это наука о нравственности и морали. Мораль я разбирать не хочу, потому что для русского человека это не более, чем занесенный на нашу землю европейский этикет прошлых веков. Он, безусловно, способ управления поведением, но только определенного класса людей. Когда-то аристократов, сейчас — тех, кто считает себя повыше, пообразованней других.

Неплохо бы теперь было понять, что же понимают философы под русским словом «нравственность».

Дело это непростое. Философы чрезмерно отягощены делами своего сообщества и трудно пишут для простых людей. Самым показательным является пример первого русского философского словаря Эрнеста Радлова.

Радлов настолько занят нерусскими делами философов, что попросту отказывается нравственности в праве на существование и пишет в статье «*Нравственность: смотри этика*».

А этике дает определение как «*учению о нравственности и человеческой деятельности*», естественно, не дав определения ни одному из этих составляющих для него этику понятий. А затем сам постоянно сбивается на использование по-бытовому понятного ему слова нравственность. Но при этом так ничего и не говорит о ней, а целых две с половиной страницы очень мелкого шрифта излагает, что говорили об этике самые разные учения и школы. Иначе говоря, затаскивает читателя в жизнь сообщества, подменив этим действительную задачу словаря.

Брать понятие нравственности из старых работ европейских мыслителей тоже бессмысленно. Во-первых, они все-таки писали не о нравственности, во-вторых, у тех, кто считается главными творцами этического учения, как на подбор есть одна помеха пониманию действительной природы нравственности. Помеха эта психологическая. Объясню на трех примерах — Аристотеля, Канта и Милля.

Вот Аристотель заявляет мысль, которая ощущается бесспорной не только мной, но и всеми философами: в основе нравственности — душевные движения. Поэтому этика должна выводиться из психологии и вести к той цели, ради которой творит ее создатель. Если это государственный, то к этическому государству, то есть к государству, где люди нравственны в том смысле, в каком они удобны для государственного управления. Удобны, поскольку их делают управляемыми не только принуждения и законы, но и внутреннее чувство.

Глава 3. Что же такое нравственность философов?

Для этого этика или искусственно создаваемая государством нравственность должны доходить до людских сердец или душ. Пример подобного творения мы видели и даже пробовали на себе, когда были частью новой общности людей — Советского народа. Творцы коммунизма хорошо понимали, как важно заложить в сознание управляемой толпы новые мировоззрение и нравственность, и творили их вполне осознанно и даже успешно... до какой-то черты.

Нравственность должна доходить до души...

То есть до куда?

Не хочу разворачивать длинное исследование, воспользуюсь словами издававшего этические сочинения Аристотеля Ф. Кессиди, опиравшегося на крупного немецкого филолога Вернера Йегера:

«Исследователи (В. Йегер) полагают, что “Никомахова этика”, а также некоторые части “Метафизики” и “Политики” были написаны Аристотелем в последний период (то есть с 336 по 322 годы) его жизни и деятельности. В это время он подвергает критике теорию идей Платона и развивает учение о форме и материи, изложенное в ранних частях “Метафизики”, а также формулирует идею о единстве души и тела. Он выдвигает концепцию, согласно которой взаимоотношение души и тела аналогично отношению формы и материи; душа является энтелехией (“осуществлением” цели) тела, то есть органического существа, предназначенного для жизни; душа придает смысл и цель жизни» (Кессиди, Этические, с. 6).

Это высказывание точно передает суть Аристотелева трактата «О душе», и означает это то, что для Аристотеля души нет, а есть психика... то есть нечто присущее телу, несамостоятельное, и пусть еще не деятельность нервной системы, но без тела и невозможное. А я выходил из тела! И для меня это значит очень простую вещь: Аристотель не знает действительности. А более сложная вещь такова: от этой точки по имени «понятие о душе», за которой начинаются его Этика и Политика, он движется неверным путем, он расстался с истиной.

Другой великий творец научной нравственности — Иммануил Кант — вообще чрезмерно стремился вписать себя в естественнонаучное сообщество. В прошлой главе я приводил его ужимки по поводу того, как не навлечь на себя неудовольствие ученых братьев. Вот его определение души из сноски к уже приводившемуся мною сочинению для книги Земмеринга «Об органе души»:

«Под душой следует понимать лишь способность суммировать данные представления и создавать единство эмпирической апперцепции (animus), а не субстанцию (anima) в ее полностью различенной от материи природе...» (Кант, Об органе души, с. 621).

Так и тянет процитировать Булгаковского Воланда, который говорил «старичку Иммануилу» что-то о том, что мудро завернул, не поймут-с... Мудрено значит, далеко от того, что человек видит в действительности и просто узнает, как соответствие ей.

Что же касается создателя утилитарной этики Джона Стюарта Милля, то он как ловкий политический оратор завершает свою огромную «Систему

логики» большим этическим трактатом в духе Аристотеля, приводя всё изложение на последней его странице не к выводу, а к мнению, которое хоть и не логично, зато эмоционально и потому действенно:

«... я просто выскажу свое убеждение, что тот общий принцип, с которым должны соотносываться все практические правила, и тот признак, которым надо пользоваться для их испытания, есть содействие счастью человечества или, скорее, всех чувствующих существ; иначе говоря, конечный принцип телеологии есть увеличение счастья» (Милль, с. 867).

Аристотель тоже начинает свою «Никомахову этику» с телеологии, то есть с целеустроения, а потом путается в том, как определить счастье. И не может не путаться, потому что счастье каждый понимает по-своему, как свое счастье. И если для Аристотеля счастьем было прожить жизнь, ощущая себя выше и умнее великих мира сего, то для друга и соратника Милля — Александра Бэна — получить уважение естественнонаучного сообщества.

Бэн был очень уважаем Миллем, потому что, как считалось, он продолжал дело его отца — Джеймса Милля, а дело это было — создание ассоциативной психологии как английского или, точнее, шотландского варианта психологии сознания. Так вот завершил Бэн это дело тем, что выпустил сочинение «Чувство и интеллект», выпустил тогда, когда «Система логики» была уже в печати, и потому Милль младший смог лишь вставить в нее небольшую сноску, в которой оценивает труд Бэна.

Сноска эта ценна тем, что она косвенно показывает, что понимал Милль под душой. У него есть большой раздел, посвященный духу и психологии, но явственного определения души он там не дает. Зато ссылка позволяет понять, что он согласен с тем, как видит душу Бэн:

«Когда была написана эта глава, профессор Бэн не выпускал еще и 1 части (Чувство и интеллект) своего глубокомысленного трактата о духе. В этом сочинении законы ассоциации изложены более обстоятельно и более обильно пояснены примерами, чем у кого бы то ни было из прежних писателей. Вообще на книгу Бэна... можно указать теперь как на несравненно более полное аналитическое изложение психических явлений на основе правильной индукции, чем какое мы находим во всех других появившихся до сих пор произведениях подобного рода» (Там же, с. 776).

В действительности же эта книга Бэна была полным предательством психологии сознания и на большую часть была попыткой вывести ассоциацию из работы нервной системы. Если кто-то листал этот увесистый том, то мог заметить: слово душа не поминается в его подробнейшем оглавлении, как нет его и в «Системе логики» Милля...

Счастье счастьем, но мы достигнем очень разных состояний, если отправимся из разных исходных точек. Особенно трудно достичь взаимопонимания, если мы будем говорить, что выводим нравственность из души без души.

Вот этим и болеют философские определения. Они пытаются описывать, как нравственность правит поведением людей, обращаясь не к их страху за жизнь тел и не к их стремлению удовлетворять телесные потребности, но

не говоря, что же вызывает желательные изменения поведения. Выглядят такие определения подлинной эквилибристикой ума, пытающегося сказать о том, о чем нельзя сказать, не назвав имени, но очень нужно...

«Философский энциклопедический словарь» Губского, Россия, 1997:

«Нравственность — один из самых важных и существенных факторов общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса; мораль. Заключается в добровольном самодетельном согласовании чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересом и достоинством, с интересом и достоинством общества в целом.

Добровольность и самодетельность согласования отличают всякое явление нравственности. Нравственное чувство является, по Канту, “некоторой ощущаемой зависимостью частной воли от общей”».

Приводить определение нравственности из советской «Философской энциклопедии» я не хочу, тем более, что она отсылает к морали. А «Новая философская энциклопедия» 2001 года в лице Р.Г. Апресяна хитро сбегает от определения, кратенько рассказывая, что понимал под этим термином Гегель.

То же самое повторяет А. Разин в «Словаре философских терминов» в 2004 году. Вот такая беда!

Нравственности у философов, похоже, и нет... Я в растерянности...

И мне остается лишь вернуться к уже приводившемуся мною определению Гусейнова и Апресяна, которое можно считать вершиной современной этической философской мысли:

«В рамках учебной дисциплины “этикой” мы будем называть науку, область знания, интеллектуальную традицию, а “моралью” или “нравственностью”, употребляя эти слова как синонимы — то, что изучается этикой, ее предмет» (Гусейнов, Апресян, с. 11).

Это точное по рассуждению и точное с точки зрения задач, которые ставят перед собой философы, определение. По-своему оно верно и одновременно неверно. Оно верно в рамках задач философского сообщества.

Но этики никогда не создавались философами. Во все века их писали люди, которые с их помощью хотели переделать общество. В сущности, творение этик и соответствующих им нравственностей дело революционеров. Поэтому, если вы не забыли, сами творцы этик и некоторые из философов называют этики практическими философиями.

В действительности этика — это наука о том, как управлять поведением людей с помощью нравственности и морали. Нравственность же и мораль — почти одно и то же, то есть некие писанные или неписанные своды правил поведения, только для разных слоев общества или для разных сообществ. При этом нравственность — это управление поведением на бытовом уровне с помощью народного обычая, а мораль — с помощью искусственно разработанного этикета.

Так было не всегда, но так сложилось к последним векам.

Глава 4. Этика Кавелина. Исходные предпосылки

Этика может быть философской дисциплиной, изучающей даже не столько мораль и нравственность, сколько историю учений о них, как это сейчас сложилось в философском сообществе. Действительная этика все же не совсем наука, как и психология. Это искусство, говоря на языке Аристотеля, скорее технэ, чем эпистеме, то есть знание как делать, как достигать желаемого. А желаемое — это перестройка общества через изменение поведения его граждан путем обращения к тому, что меняет их поведение изнутри. То есть к душе.

Это значит, что действительными Этиками могут считаться лишь те, что писались психологами, и не по званию или образованию, а по сути. То есть людьми, которые исходили из того, что этика есть прикладная психология, а психология — это наука о душе.

Последним, кто признавал душу предметом психологии и писал этику, был Константин Дмитриевич Кавелин. Из известных мне, конечно. Вот его этику я и перескажу по возможности подробно.

Нужно сказать, что восемнадцатый и девятнадцатый века вообще были богаты на Этимики. Вызвано это было несомненно теми революционными преобразованиями, что происходили вместе с научной революцией. Наука несла смену мировоззрения, а значит, и смену мира, в котором мы живем. Это бесспорно. И это свершилось, когда победила Великая французская революция. Революция победила, новый мир наступил, в нем стало возможно жить, в нем стало необходимо жить, но как в нем жить, никто не научил.

И вот множество европейских мыслителей предлагают свои способы существования в мире победившей Науки. Способы эти на поверку оказывались нравственностями, или этиками и моральями, как это звучало на тех языках, на которых их писали. Некоторые из этих этик, как «Этика» Спинозы, были не более чем философскими попытками создать язык для разговора о науке, как о некоей нравственности. Поэтому его этика больше похожа на математику, — на каком еще языке говорить о жизни в научном сообществе, если математика его главный язык?!

Другие, вроде Канта, Конта, Милля или Спенсера, избирали главной физику и производные из нее науки, поэтому позитивизм больше походил на социальную физику, но при этом был не чем иным, как этическим учением, приучающим образованную часть человечества к жизни в научном мировоззрении.

Марксизм тоже по сути своей был нравственным учением, лишь прикрывающимся экономической естественнаучностью. Его даже можно назвать нравственным идеализмом, хотя он и воевал с идеализмом немецкого и платонического толка. Он был идеализмом в том смысле, что прекрасно осознавал важность идеалов для нравственной перестройки мировоззрения народа. Как писал о нем один современный исследователь:

«Успех Ленина заключался в том, что он открыл существование нравственного идеала, позволяющего объединить массовое сознание и нравственность,

организовать победоносную борьбу за превращение его в господствующий в условиях раскола идеал» (Ахиезер, с. 344).

Прикладники от этики не писали Этик, они писали Позитивные психологии, романы и статьи, вроде «Что делать?» Чернышевского и Ленина. Поэтому в России почти не родилось своих нравственных учений, облеченных в оболочку этик, в России рождались прямые нравственные обращения к народу, подвигавшие его на действия и революции. Я плохо знаю русскую философию, поэтому, кроме анархиста Кропоткина, я не смог вспомнить ни одного из наших мыслителей, кто бы создал в девятнадцатом веке свою Этику. А наши учебники Этики, даже содержащие исторические обзоры, почти ничего не знают о русских этических философах.

Они рассказывают об этических взглядах тех или иных из наших мыслителей — Чаадаева, Чернышевского, Достоевского, Толстого, Козлова, — но нет ни одного упоминания сочинения с названием «Этика», написанного в России. И поэтому особенно странно, что чуть ли не единственный человек, создавший не просто русский учебник Этики, но и полностью оригинальное этическое сочинение, независимое от европейской мысли, остался настолько незамеченным. Я не встретил ни одного упоминания о Кавелине в трудах наших современных знатоков этики...

Даже Гусейнов и Апресян, рассказывая об этических взглядах Чернышевского, не упоминают Кавелина. Но Этика Кавелина создавалась как итог долгой битвы, в первую очередь, именно с Чернышевским как главой шайки «бесов», вытравливавших Душу из России.

Нам долгие годы, целый век прививали уважение к Чернышевскому и той своре террористов и прихвостней Запада, что его окружала, поэтому мы считаем, что он был одним из спасителей России. Но Чернышевский, кроме травли лучших людей старой России и вытравливания духовности, сделал только одну вещь — он написал посредственный роман «Что делать?». Роман, которым пытался привить русской интеллигенции новую нравственность. Нравственность эта была полностью экспортирована им из Европы, а еще точнее, это было механическое переложение на диалоги полуживых персонажей утилитаристской этики Милля, которого я поминал чуть раньше.

Утилитаризм создается в начале девятнадцатого века Иеремией Бентамом (1748–1832). Создается именно как нравственное учение, построенное на понятии количества пользы и счастья. Сначала Бентам очень расстарался для французской революции, за что был награжден новыми властями тем, что они даровали ему французское гражданство. Потом, пожив в России под Могилевом, пытался продать Екатерине Второй проект тюрьмы... Конец жизни посвятил изменению Англии, которую приучал к новой жизни, став законодателем.

Этика его пишется государственным и исключительно от лица государства. Суть ее в очень простой и близкой торгашескому сердцу великобританца мысли: законодатель при устройении общества должен исходить из принципа наибольшей суммы счастья для наибольшего числа людей. Просто и математично, точнее, арифметично и даже бухгалтерно...

Именно эта простота определения пути к благополучному государству купила сначала Милля младшего, который, как помните, завершает свои Логику и Этику призывом множить количество счастья. Затем на нее купились духовные дети англичан — американцы, создав свой прагматизм. И именно эту простоту в том, как создавать государственность и править народом, и прививал России Чернышевский. Как вы помните, его учение восторжествовало в Советском Союзе, где человек перестал цениться, ценились лишь массы и общественные движения...

Именно на подобный количественный подход к счастью Достоевский ответит своими словами про слезы одного ребенка, которые дороже, чем весь мир счастливых торгашей. С ним же сражается в своей Этике и Кавелин, почему его и стерли из памяти потомков.

Чтобы обрисовать исходную среду, которая зарождается в России усилиями врагов души и всего русского, с которой и спорит Кавелин, приведу рассказ Гусейнова и Апресяна об этике Чернышевского.

«Но утилитаризм — это теория, направленная против эгоизма, против такой точки зрения, согласно которой добро заключается в удовлетворении человеком личного интереса. Приемлемость или неприемлемость получаемого в каждом конкретном случае удовольствия или выгоды определяется тем, содействуют ли они достижению высшей цели, а именно общему счастью. На этом же основываются определения (оценки) явлений и событий как хороших или дурных. <...>

Знаменитый русский последователь Милля Н.Г. Чернышевский выразил эти идеи таким образом: человек всегда стремится к наслаждению; но наслаждения бывают мимолетные и устойчивые. Редкий погожий день в Петербурге — источник бесчисленных облегчений в жизни, бесчисленных приятных ощущений для жителей города, но эта хорошая погода — явление мимолетное. Наслаждения устойчивые представляют собой пользу. Иногда хорошая погода в Петербурге стоит несколько дольше, и в это время некоторые горожане могут поправить свое здоровье; хорошая погода для них полезна. Устойчивая и продолжительная польза является добром» (Гусейнов, Апресян, с. 150).

Это суть главного этического произведения Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Вполне естественно она и переключалась в его роман:

«Новые люди в романе Н.Г. Чернышевского “Что делать?” не признавали самопожертвования, даже ради друга. Они жили по Миллю. Однако утилитаризм не то чтобы отрицает самопожертвование; он не приемлет самопожертвование как цель саму по себе.

“Сознательная способность жить без счастья составляет самое надежное орудие для достижения всей той полноты счастья, какая только теперь достижима”» (Там же, с. 161).

Как вы помните, и Милль и Чернышевский не признавали души. Для них человек — это биоэлектрическая машина, как его рисует физиология. Поэтому Чернышевский яростно насаждал в умах русской интеллигенции

идеи Конта и Сеченова о том, что души нет, а психологию нужно изгнать из жизни общества, ну уж если не изгнать, то передать физиологам. А физиологи, если вы помните, в то время были крутыми парнями и, как учитель Сеченова Гельмгольц со товарищи, приносили клятвы на крови, что создадут объяснения человеческого существа, основываясь только на законах телесной физики...

Чернышевский не обладал даром, чтобы самому творить какие-то идеи, поэтому он отдал себя продвижению чужих идей и с такой силой травил всех защитников души, объявляя их мракобесами, что искалеченное той травлей поколение русских интеллигентов передало свой страх и ужас детям и внукам как нравственный завет о единственно правильном поведении, позволяющем выжить в этой стране... Поражением сознания наших интеллигентов, более сильным, чем эпоха «Современника», через который и велось просвещение и травля России, был только сталинский Гулаг...

Травил Чернышевский и Кавелина. Травил страшно. Травил вместе с Антоновичем и Сеченовым.

Кавелин ответил на эту травлю совершенно спокойно, написав ответ не Чернышевскому, а сторонникам Сеченова. Ответ этот писался десять лет и вышел в 1872 году под названием «Задачи психологии». Кавелин не сводит в нем никаких личных счетов, он действительно размышляет о том, какой должна быть подлинная наука о душе. Но именно о душе! И поэтому новое сообщество образованных людей, родившееся в России, предало эту работу забвению. Это вполне обоснованно, потому что Кавелин говорил не о физиологическом, а о культурно-историческом подходе к психологии, а это не только отменяло моду, но и обгоняло свое время на век...

В 1876 году Кавелин делает следующий шаг и издает вытекающую из «Задач психологии» свою первую этическую работу «Идеалы и принципы», а к 1884 году, за два года до смерти, разрабатывает «Задачи этики». В сущности, это был выход на прикладную культурно-историческую психологию.

И эти работы были замолчены и забыты нашим научным сообществом, будто проклятье Чернышевского до сих пор действенно и правит учеными. Но даже по названию первой этической работы ясно, что Кавелин понимает, на чем будут строиться самые действенные нравственные учения будущего, он предугадывает значение идеалов для уничтожения России и пытается их исследовать в обеих работах с психологической точки зрения.

Этика Кавелина — это не учебник истории европейских этических учений, это, кажется мне, единственное настоящее научное исследование нравственности, сделанное в России. Именно научное, потому что Кавелин, как и европейские мыслители, думает о том, как человеку жить в новом мире, захваченном наукой.

Главная задача Этики Кавелина — как душе выжить в научном обществе, точнее, как выжить в нем русской душе.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЭТИКА — ПСИХОЛОГИЯ

В самом начале этой части, определяя понятие «этика», я уже приводил рассуждение, написанное А. Гусейновым:

«Термин “этика” происходит от древнегреческого слова “ethos” (“этос”). Первоначально под этосом понималось привычное место совместного проживания, дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо. В последующем оно стало по преимуществу обозначать устойчивую природу какого-либо явления, обычай, нрав, характер; так в одном из фрагментов Гераклита говорится, что этос человека есть его божество. Такое изменение смысла поучительно: оно выражает связь между кругом общения человека и его характером.

Отталкиваясь от слова “этос” в значении характера, Аристотель образовал прилагательное “этический” для того, чтобы обозначить особый класс человеческих качеств, названных им этическими добродетелями. Этические добродетели являются свойствами характера, темперамента человека, их также называют душевными качествами» (Гусейнов, Апресян, с. 9).

Греческий этос, когда-то обозначавший место совместного проживания, со временем обрел значение характера и даже личности. Если мы взглядем в значения, которыми обладает это греческое слово, то заметим поразительное сходство с русским словом мир: место обитания, общество, сосуществование. Греческое слово «характер» лучше всего переводится русским словом «нрав», поэтому и становится ясным, как этика равна нравственности.

Но что значат слова Гераклита Темного о том, что этос есть божество человека? Гераклита называли Темным именно потому, что его было непросто понять. Но именно в это выражение стоит взглянуть психологу, потому что оно объясняет значение нравственности для поведения людей. Попросту говоря, без понимания смысла этого изречения прикладная психология невозможна. Даже если не знать Гераклита, все же суть сказанного им должна пониматься и использоваться психологом. И ее придется либо изобретать и открывать заново самому, либо отказаться от надежды на успех своего дела...

Итак, о чем тут Гераклит?

От Гераклита осталось совсем немного — около сотни отрывков, сохранных другими греческими мыслителями. Его собственные сочинения до нас не дошли. Приведенное высказывание упоминают девять древнегреческих авторов. Так что сомневаться в том, что Гераклит его произнес, не приходится. Сомневаться надо в переводах, поскольку переводить Гераклита всегда было сложно, что даже вошло в поговорку: сколько филологов, столько Гераклитов.

В 1914 году Александр Осипович Маковельский, готовя свою докторскую диссертацию, переводит это высказывание Гераклита, использованное античным педагогом пятого века нашей эры Иоанном Стобеем:

«119. Гераклит говорил, что **характер человека есть его демон**.

Примечание. *Смысл: характер определяет судьбу человека. По мнению одних, здесь выражена мысль, что счастье человека зависит от него самого; другие же полагают, что здесь говорится о роковой природе характера. Совершенно произвольно Я. Мор ставит “демонион” Сократа в связь с этим изречением Гераклита»* (Маковельский, с. 309).

Как видите, эти переводы звучат по-разному. Но уже одно то, что и у Маковельского и у Гусейнова появляется слово «характер», относит это высказывание к психологическим.

«Характер» слово греческое, однако я подозреваю, что его использование здесь неоправданно. И не только потому, что им переведено слово «этос», которое использовал Гераклит, но и потому, что наши переводчики переводят этим «научным» словечком все сходные греческие понятия. Так в публикации досократической философии, сделанной в 1989 году А.Лебедевым и И.Рожанским, есть такой перевод Псевдо-Эпихарма, передающего те же слова Гераклита:

«Характер (tropos) для одних людей добрый гений, для других — злой» (Фрагменты, с. 243).

Тропос переводится с греческого как «образ, способ, свойство, характер, нрав, обычай, образ жизни, образ мыслей, поведение, обращение». Но у нас под именем «троп» привилось, в основном, другое его значение: оборот речи.

В сущности же, тропос чрезвычайно близок к понятию логоса, поскольку включает в себе значения слова и разума. Очевидно, это близко и к значению этоса, раз Псевдо-Эпихарм заменил его на тропос.

Но логос — это главное понятие философии Гераклита, это его высшее божество.

Маковельский не советует сближать даймониона Сократа с демоном-божеством Гераклита. Судя по всему, он прав: даймонион Сократа, если вспомнить описания, ощущается неким существом или голосом, в беседе с которым Сократ иногда впадал на долгое время, замирая столбом. Про него Сократ говорил, что даймонион советует ему, что делать... Демон Гераклита ощущается гораздо более философским понятием.

Возможно, это сближение важно лишь тем, что мы теперь точно знаем, что и в том, и в другом случае речь идет о некоем даймонионе, а не о божестве в собственном смысле слова. Божество, похоже, тоже надуманный перевод, имеющий смыслом сгладить то неприятное впечатление, что производит слово демон на людей христианской культуры. Но не будем забывать, что христианство приписало этому слову отрицательное значение, чтобы уничтожить язычество древних греков. Для них же даймон вовсе не был бесом. Он был духом, судя по Сократу, — мудрым и добрым. Его можно было бы назвать гением человека...

Рожанский приводит в своем собрании все упоминания этого изречения Гераклита. Я возьму из них еще три, как самые показательные.

«Стобей, IV, 40, 23; Гераклит сказал, что “личность — божество человека” [собственно “эмос человека — его даймон”].

<...>

Калкидий. Комментарий к “Тимею”, гл. 168: Должно быть, достаточно хороших наставников и тех задатков [= эмос], которые достались каждому из нас в качестве его [личного] божества (*nuten* = *daimon*).

Демокрит: Счастье [эвдемония — собственно “обладание добрым демоном”] не в стадах и не в золоте: душа — обиталище божества [счастья]» (Фрагменты, с. 243-244).

Гераклит до Сократа говорил о самопознании, о том, что в юности знал лишь то, что ничего не знал, и о том, что учился у самого себя, то есть извлекал знания из того, что обнаруживал в себе.

Гераклит — сын базилевса, царя-жреца — был мистиком, хотя этого толком не рассмотрели философы, но он, как и Сократ, исходил из того, что философ в ответе за свою философию и должен жить ею. Темно он говорил затем, чтобы скрыть свои знания от толпы непосвященных...

Когда Гераклит говорит о том, что эмос является божеством человека, он говорит о том, что место обитания определенного общества проникает в наше сознание, становясь нашим нравом, то есть способом поведения. Но если мы войдем в познание себя, как нрава, мы пройдем сквозь все те слои, что наложила наша культура, и за ними обнаружим бога, который окажется Логосом.

Тем самым Логосом, который стал впоследствии сутью христианства...

Но сначала придется понять, что бог един, и тот, что вверху, тот же, что и внизу, во мне, и сознание у всех единое, как писал Плотин, пытаюсь понять Гераклита. А для того, чтобы охватить это своим умом, придется понять, как оно стало моим.

Я не хочу сейчас подробно вдаваться в философию Гераклита, хотя она и очень интересна для психолога. Приведу лишь один кусок из Плотина, пытающегося понять то, о чем написано выше:

«Плотин, IV, 8-6, 1, 8 (“О нисхождении души в тело”): Я недоумеваю, каким образом некогда и сейчас я нисхожу и каким образом некогда душа моя оказалась внутри тела, оставаясь тем же, чем являлась сама по себе, хотя и находясь в теле. Гераклит, который побуждает нас искать ответа на этот вопрос, полагая “роковые чередования” противоположностей, сказав о “пути вверх-вниз”, а также “[все?] сменяясь, отдыхает” и “утомительно одним и тем же [бегунам?] изнемогать и начинать сначала”, предоставил нам догадываться самим, не потрудившись разъяснить смысл своих слов, вероятно, намекая на то, что следует искать [спрашивать] у самих себя, подобно тому как и сам он искал и нашел» (Фрагменты, с. 223).

Разве это не основания действительной и, может быть, единственной настоящей психологии? И разве Гераклит, при всей своей темноте и таинственности, не указал путь: загляните в себя через эмос... там божественность, и там ответы...

Стоит ли еще объяснять, что путь в психологию через нравственность отнюдь не был искусственно придуман Кавелиным — это древнейший вход, которым только и может идти человек, избравший не говорить, но действовать и познавать!

Глава 1. Кавелин. Задачи этики

Главная задача, которая не называется Кавелиным, но стоит перед ним после всей той травли, которой подвергли его столичные шелкоперы, — как душе выживать в новом, научном мире. Задача, как вы понимаете, вся насквозь психологическая и прикладная. В сущности, в рамках Этики он пишет прикладную культурно-историческую психологию. Так сказать, роман в романе.

Поэтому его Этика — сложное и многоуровневое произведение. В нем прикладная психология объясняется общей и культурно-исторической, которые Кавелин разрабатывал в «Задачах психологии», а те увязываются с нравственностью. Этическая же часть сочинения заключена в рамку из его размышлений о действительных условиях жизни, то есть о том, как жить в мире просвещения и науки. Этим завершается последняя глава, с этого начинается Введение. Всей своей Этикой Кавелин дает классический пример того, как психологу ставить себе задачу:

«И в самом деле, кто же из поборников науки не был, лет тридцать тому назад, непоколебимо убежден, что знание, просвещение, хорошие общественные порядки сами собою воспитают нравственность и добродетель в сознании и сердцах людей? Кому из них не думалось, что культура, основанная на знании, должна навсегда упразднить и предания, и этику, делая их ненужными?»

В сознании торжествующей силы европейской цивилизации, которая захватывает все больший и больший круг людей и распространяется чуть ли не на весь мир, мы привыкли смотреть на учение о нравственности как на рассказы старых нянек, удел детского возраста и невежественного простонародья» (Кавелин, Задачи этики, с. 900).

Об этой болезни поколения пятидесятих-шестидесятых годов девятнадцатого века писали тогда многие. Писал Розанов, Самарин рассказывал, как травили столичные просветители славянофилов и всё русское... Им казалось, что новое мировоззрение само по себе несет не просто нравственность, но именно ту нравственность, которая сделает всех счастливыми. Однако, прошло всего несколько десятилетий, и...

«Пришлось с грустью сознаться, что в науке и ее выводах есть какой-то пробел, что-то недоговоренное, недосказанное, — нечто такое, что путает наши соображения и мешает идти вперед с прежнею уверенностью и твердостью» (Там же).

А сказать попросту, так вдруг стало видно, что научное мировоззрение бездушно и бесчеловечно...

И это не история, не боль Кавелина и России позапрошлого века. Это исходная предпосылка любой современной русской прикладной психологии. Если этого не понимать, то и не иметь возможности для психологической работы с современным человеком, потому что он находится в мировоззренческой ловушке, которая является одновременно ловушкой нравственной.

Я не в состоянии дать оценку тому, что лучшие сыны и дочери русского народа стремятся уехать из деревни в город, отрекшись от прежней культуры, а из города за рубеж, чтобы перестать быть русскими. Но меня удивляет, как еще может существовать народ, который не хочет быть, потому что хочет быть другим народом. Но это вопрос не для психолога, а для публициста.

Что же касается психолога, то он не сможет никак помочь людям, которые либо хотят стать иностранцами, либо мечтают, чтобы ими стали их дети. А таких — вся русская интеллигенция и большая часть остального народа, которая завидует тому, что образованные знают языки и умеют устраниваться за границей.

В этом, безусловно, проявляются мечты и цели русского человека, причем очень важные и действенные мечты, живущие в наших душах с тех времен, как Петр «прорубил окно в Европу». Это значит, что Кавелин сделал постановку задачи этики на основании, которое можно назвать «загадочной русской душой». По крайней мере, это изрядная часть ее загадочности. И вырастает она из того, что русскому человеку искусственно привили мировоззрение Просвещения, создав искусственную нравственность, которая оценивает как достойное поведение презрение к родному, русскому и ценит способность человека осознавать себя иностранцем в родной стране.

Кавелин, до него Лермонтов, после него Розанов, пишут о тоске, которую испытывает «потерянное поколение» русских. Тоска, ведущая к самоубийству, если вспомнить «Героя нашего времени». Это тоска человека, оторванного от родины и живущего среди дикарей... Именно так ощущало себя русское дворянство в начале девятнадцатого века, а русская интеллигенция — начиная с его середины. Этика Кавелина имела целью рассеять «миражи и туман» этой мировоззренческой ловушки и вернуть русским людям чувство действительности. В этом подвиг Кавелина...

Но у меня это удивительное состояние русского интеллигента вызывает свои вопросы. Кавелин верил в душу, но ни разу у него не прозвучало, что он бывал вне тела. А это значит, что он не шел мыслью за ту черту. Он бился по эту сторону воплощения за хорошую жизнь, для которой была нужна хорошая нравственность.

Но стоит только взглянуть из-за черты воплощения, как многое меняется, нравственные оценки теряют свою определенность, и ты задумываешься о том, что все неслучайно. Вот и состояние, которое уже три столетия проходят самые думающие русские люди, кажется мне неслучайным. Как можно при жизни, родившись в русском городе или деревне и ни разу не выехав за рубеж, вдруг осознать, что ты родом не отсюда, что ты здесь чужой... и затосковать?

Мне это напоминает ту тоску, которую испытывают особенно чувствительные люди, глядя на звездное небо. К ним приходит вопрос: как я здесь оказался? Что я делаю в этой чужбине?

Это тоскуют не люди, это тоскуют души.

И русская душа душами всех своих интеллигентов тоскует о том, что мы не отсюда, нас занесло в чужбину, которую надо как-то пережить. Для этого всего лишь надо понять, зачем мы живем?.. Зачем пришли в этот суровый мир?

России будто бы дано душой целого народа прожить тоску пробуждения к осознанию себя не телом, а душой, поселенной в эту плотную оболочку огромной страны...

При этом интеллигенты наши подличают, склочничают, дерутся из-за кормушек, врут и спиваются, и нравственность их, как и писал Кавелин, низка и пошла... Душам это не важно, им важно лишь то, зачем они пришли, а пришли они не затем, чтобы жить хорошо и счастливо, а за уроком. И урок этот как раз в том, чтобы пережить вселенскую тоску русской души. И не меньше, иначе не понять, почему это тянется так долго...

Можно ли помочь русскому человеку со вселенской тоской в душе лучшей нравственностью, которая позволит нам жить не хуже европейцев? Конечно, если законы наши и наши правила поведения подтянутся под их требования, мы будем жить похоже на них. Наверное, от этого жизнь станет сытей и спокойней, но вряд ли... Ведь это всего лишь улучшит жизнь тел, а тоска от их сытости не уменьшается. Наоборот, она наваливается на человека как раз тогда, когда он всего достиг и ему больше нечем отвлекать себя от главного.

А главное — пробуждение души, осознающей ловушку, в которой она запуталась...

Глава 2. Кавелин. Прикладная психология

Может быть, у Кавелина и был свой мистический опыт, но даже если он всего лишь верил в душу, — этику, как науку о нравственности, он отчетливо видит продолжением психологии, в сущности, прикладной психологией. Я просто перескажу ход его мыслей.

Собственно Этика Кавелина начинается с вопроса, «*что такое нравственность, нравственное чувство, нравственная личность?*» (Кавелин, Задачи этики, с. 904).

Поскольку вопрос этот был сильно запутан философами, то на поверку оказывается, что понятие это крайне неопределенное и туманное. Как же вывести чистое понятие?

Кавелин идет путем культурно-исторической психологии, очищая его. Для этого он последовательно описывает слои общих представлений о том, за что в нашей культуре обычно осуждают человека, а затем отбрасывает их, оставляя лишь то, что хочет исследовать:

«Безнравственным мы называем, сплошь и рядом, человека, который своими внешними поступками нарушает принятые в обществе правила, приличия и благопристойности, обнаруживает порочные наклонности или нагло и дерзко попирает божеские человеческие законы.

В том же смысле мы говорим и об общественной нравственности, означая этим способ и характер внешних действий, если не всех, то значительного большинства людей в данном обществе.

В этих и подобных им выражениях внешняя, объективная сторона поступков — та, которою человек соприкасается с другими людьми или вступает в отношения с обществом и представителями общественной или государственной власти, — ставится на одну доску с внутренней, душевной и подразумевается, что понятие нравственности слагается из обеих сторон вместе. Но правилен ли такой взгляд?

Мы думаем, что нет. В нашем понятии поступком, действием может быть результат душевной деятельности, ничем не заявивший себя во внешнем мире, точно так же, как есть множество внешних действий, вовсе не вменяемых с нравственной точки зрения» (Там же).

Что мы видим в этом рассуждении? Кавелин не задается целью дать описание или определение нравственности как таковой. Он выводит свое понятие о нравственности как о том, что способно спасти его мир. Это определение, как и определяемое им понятие, узко. Это видно из того, что он сам говорит о том, что в общем мнении существует и общественная нравственность, а я бы сказал, что существует нравственность обычая и нравственность, которую ты избираешь себе осмысленно и независимо от нравственности своего общества.

Но и подход Кавелина возможен, потому что нравственность личная не только безусловно существует, но и движет людьми. С психологической точки зрения, она очень важна, и ее надо изучать как одну из двух граней общего понятия нравственности. Более того, никто из нравственных философов, создававших этики, и не занимался нравственностью в широком смысле. Все они, начиная с Аристотеля, думали лишь о создании нового действенного орудия переделки общества ради улучшения или усиления государства. Идти эта переделка должна была изнутри человека, как смена его поведения. В этом смысле Кавелин строго выдерживает требования к созданию Этики как науки о нравственности в узком смысле.

Отличие Этики Кавелина от европейских Этик восемнадцатого-девятнадцатого столетий в том, что он не только вслед за Аристотелем заявляет, что нравственный поступок вытекает из душевной деятельности, но и пытается это понять.

«Внутренние, душевные поступки суть явления или события в психической жизни отдельного лица, а внешние, объективные поступки производят перемены в мире внешних явлений, представляют факты объективного характера и свойства» (Там же, с. 905).

Далее Кавелин снова возвращается к культурно-историческому подходу и отделяет предмет своего исследования еще от одного понятийного слоя,

а именно от смешения нравственности в узком смысле с нравственностью, как нравами и обычаями. Его интересует только то, что движет человеком, избравшим жить независимо от общественного мнения, в сущности, человеком образованным, просвещенным, то есть отторгнувшим «предание» или заветы родной культуры.

«Как нравственные явления перепутаны в наших понятиях с правовыми, так и наоборот, правовые с нравственными. Под неопределенным и туманным выражением: “общественная нравственность” мы разумеем собственно сложившиеся в обществе нравы, обычаи, привычки; но они, очевидно, относятся не к внутренним душевным движениям, а к их внешним проявлениям, а потому, как объективные нормы внешних поступков, имеют правовой характер; мерило нравственности к ним неприменимо, и называть их нравственными или безнравственными нельзя.

Нравы, обычаи, привычки обусловлены сожителем людей в обществе и государстве, имеют своим источником потребности организованного быта людей и следовательно относятся к области права...» (Там же, с. 906).

Кавелин здесь и прав и не прав. Проще говоря, его точка зрения имеет право на существование, и уж тем более нравственность общественную можно рассматривать через право, поскольку она — всего лишь неписанный закон поведения, а не внутренний душевный позыв к добру. При этом он не прав в том, что именно ее язык называет нравственностью. И к тому же, это только нравственные философы решили, что настоящая нравственность должна вести к добру. Вот захотелось им, чтобы было так. И это признак лишь одного общества, а именно христианского. Ислам, буддизм или конфуцианство исходят совсем из других ценностей.

Тем не менее, для нас это означает лишь еще одно сужение темы исследования. Кавелин хочет понять личную нравственность человека в узком смысле, то есть не как проявление в нем нравственности его сообщества, а как его личный душевный порыв к определенному поведению. Сумеет ли подобный человек действительно вырваться из мировоззрения, которое навязывает ему общество, в котором он хотел бы жить, вместе с определенными ценностями, вроде добра и зла, Кавелина здесь не интересует. Этика — это не созерцательный трактат, это прикладная психология, призванная поменять определенное сообщество, которому она адресована.

Он хочет, чтобы русские люди, даже если они избрали быть членами сообщества образованных людей, жили по душе.

«Мерка для внешних поступков одна, для нравственных, душевных, внутренних — другая. Как же мерить те и другие на один аршин?»

Внешнее действие взвешивается и оценивается по тому значению, какое оно имеет для общества, государства, или других людей; душевные движения, помыслы, намерения — по их отношению к сознанию, пониманию и внутреннему убеждению того, в ком они зреют и совершаются.

Отсюда — различный характер правил для нравственных поступков и для внешних действий» (Там же, с. 906-907).

Это очень важное наблюдение для прикладной работы: мы все обладаем двумя нравственностями и двумя сводами правил поведения. Мы можем не задумываться о душе, но есть что-то, что является только нашим убеждением и что мы не предадим, потому что будем ощущать, что сломались. А есть знания о том, как себя вести, чтобы не осуждали окружающие. Это очень ярко видно, когда мы входим в иные сообщества. К примеру, чрезвычайно образованный человек, для которого нет никаких авторитетов и он способен критиковать и президента и генпрокуратуру, входя в дом к будущей теще знакомиться с родителями будущей жены, снимает шапку и старательно вытирает подошвы, а за столом что есть силы старается не обидеть стариков, оспаривая их заимствованные из сериалов и телесудов мнения.

Он ведет себя в соответствии с требованиями общественной нравственности или с правилами поведения в обществе. И это «нравственное» или правильное поведение при этом нравственно и с его внутренней точки зрения, потому что он не хочет обижать, то есть причинять зла другим людям, которые, конечно, отстали от него в прогрессивности, но никак не виноваты в этом.

Однако Кавелин здесь упускает именно то, что мы можем иметь и душевную нравственность, и внешнюю исполнять не потому, что она имеет силу некоего негласного закона, вроде права, а по тому же самому душевному выбору, скажем, не причинять зла. Иными словами, внешняя нравственность — тоже нравственность, только перешедшая в обычай или привычку.

А вот переход в привычку — это как раз то, что необходимо было бы исследовать, чтобы понять, как же внутренняя, живая нравственность вдруг умирает и становится обычаем. Привычка, как сказал Пушкин, будто бы объясняя суть утилитаризма, свыше нам дана, замена счастью она... Иными словами, привычка — что-то вроде кожи живой душевной нравственности, кожи, которая изнутри еще живая, а снаружи иссыхает и отслаивается пластами отживших тканей, становясь нравственностью обычая.

Однако это не к Кавелину, он четко определил предмет своего исследования, оставив все остальные для других исследователей. Его занимает только одно:

«Наша внутренняя, душевная деятельность есть наше личное дело, в которое никто вступаться не может и не должен; напротив, наши внешние поступки, касаясь других, подпадают под объективное мерило, которое совершенно не зависит от нашего личного убеждения и совести...»

«Кто судья тому, что я в самом деле злоумышленник, если мой злой умысел ни в чем не обнаружился? Кроме меня самого, никто из людей! Точно так же, не я сам и никто из думающих одинаково со мною не судьи тому, что порядок дел, который я ношу в своем уме и сердце, в самом деле лучше того, который существует» (Там же, с. 908).

Нравственность все же очень близка с правом. Она дает право судить меня другим, пусть по законам внешней нравственности. И она требует от

меня самого судить себя, по законам суда совести или по законам духа, но судить я вынужден. Конечно, это не тот же суд, это как суд разума, который судит не затем, чтобы наказывать. Хотя совесть может и наказывать, как наказывали эринии древних греков. Совесть грызет, а угрызения совести — страшное наказание. Но внутренний суд может быть и иным, для разума — это рассуждения рассудка.

Означает это то, что в нравственных пределах моей души идет постоянный суд моих собственных поведения и возможных поступков. В сущности, я постоянно соотношу желаемое с окружающей действительностью и собственной мечтой или мировоззрением и принимаю решения о том, как поступать. Иногда это холодный расчет, иногда яростная битва совести, но важно пока лишь то, что нравственность действенна, она обучает и воспитывает меня, заставляя меняться и менять свое поведение, и битва ее идет в моей душе.

«Этика имеет предметом одни отношения поступка к действующему лицу, к его душевному строю, ощущениям, убеждениям и помыслам. Она исследует условия, при которых действие зарождается в душе, и законы душевной деятельности, определяет ее нормы и указывает способы, помощью которых душевная деятельность может стать нормальной.

По этому своему содержанию этика имеет ближайшую связь с психологией» (Там же).

Думаю, это очевидно, что такая психология является прикладной. А если этику считать наукой не психологической, а философской, то это действительная «практическая философия».

Кавелин завершает эту часть рассуждения полным отрицанием позитивизма Конта, который, как вы помните, отказал психологии в праве на существование в мире победившей науки.

«Но именно близость психологии и этики к непосредственным источникам психической жизни и деятельности людей делает обе эти науки венцом и последним заключительным словом всего знания» (Там же, с. 909).

Я бы, пожалуй, поправил здесь Константина Дмитриевича. Высказывание это вытекает из его «Задач психологии», где он показывает, как всё научное познание рождается из чисто душевной деятельности получения впечатлений, которыми мы и отделены от знания настоящего мира. Это Начало с большой буквы.

И в этом смысле этика действительно может считаться Заключением наук, их последним шагом, поскольку ведет к прикладному использованию того, с чего все начинается в познании, то есть в деятельности воплощенной души.

Но в целом, конечно, венец, охватывающий все науки о человеке от самого исходного действия до прикладного воплощения, меняющего и человека и его мир.

Глава 3. Кавелин. Теоретическая психология

Вторая глава «Задач этики» была посвящена Кавелиным теоретическому обоснованию этики как прикладной психологии. В сущности, эта глава гораздо больше, потому что в ней Кавелин использует то, что разработал в предшествовавших работах — «Задачах психологии» и «Идеалах и принципах». Но пока я постараюсь просто показать ход его рассуждения, лишь называя ключевые понятия его психологической теории.

«Мы сказали, что этика рассматривает и определяет отношения психической деятельности к душевному строю самого действующего лица.

Чтобы понять, в чем состоят эти отношения, читателю необходимо наперед ознакомиться с тем, что должно разуметь под душевным строем и психической деятельностью человека. То и другое определяет предмет психологии, учение которой далеко еще не установилось» (Кавелин, Задачи этики, с. 909).

Наша психология деятельности, конечно же, ни разу не помянула, что первым в истории мировой психологии понятие деятельности начал разрабатывать Кавелин...

Я вынужден опускать большую часть его рассуждений, поэтому кратко скажу лишь о том, что его мысль идет от самых зачатков любой деятельности в природе через появление «самодеятельности», важнейшим этапом которой становится «способность принимать впечатления». Отсюда он движется к тому, что определяет превосходство человека над всеми другими видами живых существ, — к сознанию.

Как пишет о нем Кавелин: эта способность *«еще очень мало исследована, хотя давно подмечена, подробно описана германскими учеными и даже подведена ими под логическую схему, которая послужила для Шеллинга и Гегеля исходною точкою их философских систем» (Там же, с. 911).*

В отношении сознания Кавелина, как и в отношении нравственности, интересует лишь то проявление, которое необходимо ему для его задач. Поэтому его понимание сознания, как и его понимание нравственности, я бы назвал пониманием в узком смысле. Это значит, что он берет лишь одну грань явления, необходимую ему для работы, и исключает те слои понимания, которые прямо не используются.

«Сознанием мы называем особый вид знания, различный от непосредственного, и который составляет, сравнительно с последним, его, если можно так выразиться, вторую, высшую ступень.

Животные несомненно знают, но непосредственно, с незначительными и редкими проблесками сознательности. Благодаря ей человек не только способен обратить то, что он уже знает, в предмет познания, но он, в то же время способен понимать, что знает или вновь познает предмет.

Таким образом, сознательность дает человеку как бы двойное знание одного и того же предмета, кроме того, вследствие сознательности, человек не только может вдвойне обнимать предмет, но, вместе с тем, и давать себе в этом отчет» (Там же, с. 911-912).

Кавелина в этой работе не интересует сознание как то, что может иметь содержания, хотя он знает о такой его способности, что видно в «Задачах психологии». Допускает ли он некий вид вещественности сознания, я не знаю, хотя его культурная психология исходит из того, что образы сознания материализуются, то есть становятся вещественными, когда превращаются в произведения культуры. И это рассуждение о «двойственности знания» выведет его на разговор о «материале сознания».

Для прикладной психологической работы важнее всего способность сознания сознавать или осознавать происходящее. В сущности, сознавать — значит, усваивать сознанием. А сознание усваивает нечто лишь одним способом: оно творит его образ.

Познавая, мы творим образы того, что познаем. По своей сути, это — внешние вещи для нашего сознания, которые мы делаем его содержанием, познав. Но вот когда мы пытаемся осознать то, что уже знаем, мы творим образы этих самых содержаний или, что более по-русски, содержащихся в нашем сознании образов. Так рождается «двойное знание одного и того же», которое ощущается нами как способность давать самому себе отчет о собственных знаниях.

Что причина этой двойственности? Кавелин делает предположение, что это следствие *«дифференциации органа, в котором сосредоточивается психическая жизнь»* (Там же, с. 913).

Тут он вступил на поле битвы за умы современников, увлеченных физиологией и просвещением с его простонаучным языком. Далее он даже будет пытаться говорить так, чтобы исключить вопрос выбора: есть душа или ее нет, — он согласен использовать только общепризнанное новыми людьми понятие психики. И будет строить свои доказательства так, чтобы они работали независимо от того, во что верит читающий. Поэтому он старается говорить на языке тех, за чьи души сражается. Отсюда эта не очень понятная «дифференциация», которую он толком не объясняет, поскольку современникам это и так понятно.

В сущности же, важно лишь то, что под «органом» он вовсе не имеет в виду нечто телесное. Органом мысли для философа является не мозг, а ум, так и органом сознания для психолога будет не нервная система, а то, что осознает себя, то есть Я. Телесные органы — лишь субстрат, носители даже для физиологов.

Думаю, что под «дифференциацией» органа нашей психической жизни он имеет в виду его развитие и усложнение, достигнутое человеком.

«Это видно из того, что знание и сознание имеют дело с одним и тем же материалом, только в различных его видах, и что законы деятельности обоих одни и те же; вся разница между ними ограничивается лишь тем, что сознание не имеет непосредственного дела с непосредственной действительностью, а исключительно только с тем, что из нее выработано непосредственным знанием» (Там же).

Иначе говоря, Кавелин использует для психологического обоснования этики ту часть понятия сознания, что имеет дело с плодами познания —

знаниями или образами. То сознание, которое мы, к примеру, теряем, он не рассматривает. К сожалению, не углубляется он и в понятие «материала» знания и сознания. Что, впрочем, вполне обоснованно, поскольку для прикладника совершенно неважно, идет ли воздействие на поведение человека через энграмму, вещественный отпечаток в мозге или через находящийся в тонкоматериальном сознании образ. Этот вопрос действительно лежит вне рассмотрения прикладным психологом.

Для Кавелина гораздо важнее, что именно осознание имеющихся у нас знаний ведет к изменению поведения. Мы можем знать наизусть «Катехизис», «Юности честное зерцало» или «Домострой», но это никак не поведет к тому, что мы и жить будем по ним. Для того чтобы наша жизнь изменилась, нам надо осознать что-то из сказанного в этих книгах. И осознать именно так, чтобы принять это руководством к действию...

«С общей, отвлеченной точки зрения, сознание не производит ни в чем никакой перемены; в действительности же оно создает множество новых разнообразных комбинаций, недоступных непосредственному знанию, которое может натолкнуться на них лишь случайно и не в состоянии ими воспользоваться для произведения дальнейших, более сложных и тонких сочетаний» (Там же).

Теорию осознания мировая прикладная психология будет развивать только в середине двадцатого века, и то благодаря сильному воздействию восточной медитативной культуры, которой болеют европейцы времен всеобщего изобилия. Кавелин не только сильно обгоняет в этом свое время, но и вполне осознает, что современная ему психология еще не доросла до этого. Между делом у него выскакивает:

«Практическая способность такой громадной важности и значения, далеко еще не оцененная по достоинству и в Германии, совершенно опущена из виду английскими и французскими психологами» (Там же, с. 912).

Но Кавелин не хочет уходить в исследования именно самоосознания, которые уведут от прикладной науки в метафизику. Он говорит:

«Камнем преткновения для научной психологии является загадочное, таинственное я — выражение и единичности, индивидуальности, и вместе единства каждого человека. <...>

В восходящем ряде организмов, мы замечаем постепенное усиление самочувствия. Став в человеке предметом сознания, оно выражается словом — я, обозначающим сознание собственного органического единства. Заключается ли затем органическое единство всех наших психических отправлений в единой живой душе, или она есть равнодействующая всех психических отправлений — это вопрос, который, для нашей цели, не представляет никакого интереса и не имеет для нее никакого значения» (Там же, с. 914).

И тут же переходит к обоснованию прикладной психологии и этики:

«Только явления, представляющие результат отправления второй или высшей деятельности, которая называется сознательной, входят в область психологии и этики.

Ставя эту границу, мы, разумеется, и не помышляем отделять обе эти науки китайской стеной от остальных и не думаем разрывать их связи с есте-

ственными и другими науками. Предметами высшей способности души становятся факты, подготовленные и выработанные низшею психической жизнью и деятельностью; этика имеет задачу регулировать последние, подчинить их известным нормам» (Там же).

Если пересказать это своими словами, знания могут иметь и животные. Но психология начинается только там, где появляется способность эти знания осознавать. Это и есть присутствие души.

Но вдумаясь: как вообще возможна двойственность в отношении знаний, если я один? И один ли? Не означает ли внезапно рождающаяся на каком-то этапе развития живых существ или, если хотите, организмов, дифференциация не просто усложнением их психической деятельности, а действительным разделением, то есть обретением не просто органа, но и деятеля?

Еще проще: не есть ли обретение осознания признак появления души? И не она ли способна создавать себе представления не только о внешнем мире, но и о знаниях, что накапливаются нами? Ведь для души знания тела — внешняя вещь, она вполне может составить себе о них представление и дать отчет. Что и есть суть осознания.

Не берусь пока это утверждать. Лишь ставлю тех, кого еще не покинула любознательность, перед вопросом: как объяснить двойственность нашего сознания? Как вообще объяснять множественность моих самоощущений? Можно сделать это сложно, как пытается современная наука. А можно и просто, как делали древние: просто осознав, что я помещен во множество разных тел, и у всех их есть то или иное сознание, что значит, что они выжили бы и без меня, но вот мне без них в их мирах не жить...

Глава 4. Кавелин. Идеалы

Итак, исходная посылка, позволяющая создать прикладную психологию, такова:

«Только явления, представляющие результат отправления второй или высшей деятельности, которая называется сознательною, входят в область психологии и этики. <...>

Предметами высшей способности души становятся факты, подготовленные и выработанные низшею психической жизнью и деятельностью; этика имеет задачу регулировать последние, подчинить их известным нормам» (Кавелин, Задачи этики, с. 914).

Если вдуматься в это положение, то станет очевиден его смысл: наше поведение управляется теми образами действия, что мы имеем в своем сознании. Но образы эти, как и любые другие знания, бессмысленны без того, кто их использует, без «деятеля», как будет говорить Кавелин. Они — в низшей способности нашего сознания, душа же находится выше их, рассматривая не действительную жизнь, а те образы, что создало тело, получая впечатления о действительной жизни с помощью своих органов чувств.

Соответственно, здесь, в мире души, и решается, как использовать эти образы, а значит, как управлять нашим поведением. Этика как способ внутреннего управления поведением в действительности есть лишь постоянное осознание того, что мне по душе, а что нет. Это и есть нравственность в узком или высоком смысле, как жизнь по душе, по душевному зову. В этом смысле действительная прикладная психология может быть только наукой о душе.

Однако жить по душе всегда вовсе не просто, а точнее, просто невозможно. Души наши несовершенны, и в силу своего несовершенства часто хотят того, за что убивают, потому что наше желание наносит вред другим людям и другим душам. Погибнуть по душе просто, а вот прожить по душе еще надо суметь, а для этого ее надо понять и очистить до такого состояния, чтобы твои душевные порывы не причиняли боли другим душам и не лишали их возможностей для решения их задач.

Древние греки придумали для обозначения этого состояния души «золотое правило нравственности»: делай другим так, как ты бы хотел, чтобы делали тебе. Кант вывел «Основной закон чистого практического разума»: поступай так, чтобы максима, то есть пожелание или правило, твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства...

Как это сделать? Нужно какое-то горнило, которое выявит все то, что несовершенно и должно быть убрано, и выжжет его. Где его взять?

Похоже, что горнилом этим является человеческое общество. Если представить себе, как дух Божий из Библии парил над пустой планетой во времена творения, то ощущаешь, что он мог позволить себе все, что захочет. В сравнении с этой волей мы живем в тесной банке или инкубаторе, где происходят постоянные бесчисленные столкновения с другими душами. Зачем это? Если исходить из того, что мы имеем то, что и должно быть, поскольку такова природа этого мира, то мы здесь ради этих столкновений и рождающихся из них осознаний.

Наша жизнь — постоянная учеба. Ударяясь в своих душевных порывах о желания других людей, мы получаем боль и опыт и задумываемся о том, что неправы. Убирая неправоту, мы создаем свой правый путь и правим себя, и так рождаются правила поведения, а мы обретаем мудрость. Движение к ней непросто. Сначала мы учимся самому простому: как обхитрить, но добиться своего. Обхитрить, значит, получить свое за счет других, но не причиняя им боли, потому что сделали свое дело незаметно. И очень нравимся себе, когда хитрость начинает получаться.

Однако сколь веревочке ни виться, но однажды нас бьют за хитрость, а потом еще и еще... Некоторые приходят к выводу, что надо быть еще хитрей, и пользоваться людьми все тоньше, другие вдруг осознают, что задачу надо решать иначе — выходя в более широкие слои сознания.

Это означает, что мы осознаем, что хитрость ведет к получению того, что кроме нас хотят и другие люди. Значит, это движение вширь, в ту часть мира, которая занята такими же, как и мы... Пока мир малонаселен, такое движение кажется расширением и рождает походы Александра Македон-

ского, набеги викингов, нашествия татар, войны Цезарей и Наполеонов... Но вот мир стал перенаселен, и завоевание другой страны лишь увеличит население твоей. Расширения больше не происходит. И не происходит его и в общежитии. В какой-то миг ты понимаешь, что вширь больше разворачиваться нельзя, давление снаружи слишком велико, оно превышает твои силы...

И тогда ты вдруг поднимаешь голову и замечаешь высь и небо над собой. Тогда ты вспоминаешь про крылья, про охоту летать и понимаешь, что расширяться надо вверх. И вот то, что мешало — давление общества, начинает тебе помогать, выдавливая тебя в желанном для тебя направлении. Что ты для этого делаешь? Отказываешься от многих целей, из-за которых воевал с другими, даришь им эти победы и получаешь в ответ благодарность и помощь. Теперь твои бывшие соперники тебя не боятся, а уважают, потому что вам нечего делить. Но ты открыл Путь. А Путь этот оказался образом жизни, о котором мечтают те, кто утомился от бесконечных битв и суеты...

Так рождается жизнь по душе, и так происходит совершенствование души — она очищается от того, что привязывает ее к земному, и начинает думать о том, что ей естественно. У нее рождается устремление в тот мир, к которому она принадлежит по своей природе. Инкубатор выполнил свое предназначение, он выжиг исходные нечистоту и несовершенство души...

Кавелин создает свой очерк психологической теории внутри Этики именно для того, чтобы показать, что это устремление души, всегда в ней присутствующее, является главным рычагом воздействия на поведение людей. Для того, чтобы понять, что же движет человечеством, нужно увидеть это разделение так называемой «психической жизни» на низшую и высшую, доступную только душе.

«Тот же взгляд проливает яркий свет на происхождение и значение идеальных стремлений людей. Отрицать их нельзя; вычеркнуть их из человеческой природы невозможно...»

От идеализма люди никак не могут отделаться, потому что он лежит в их природе. Надо эту способность понять и извлечь из нее для человечества возможную пользу, направляя ее и парализуя приносимый ею вред» (Кавелин, Задачи этики, с. 915).

Из понятия об идеалах Кавелин выведет понятие о движущих силах человеческого поведения — мотивах. Это даже звучит современно, поскольку психология до сих пор использует слово «мотив». Но и идеалы, и мотивы — все же иностранные слова. Поэтому я бы хотел сначала сделать отступление и понять, что такое идеал.

НЕБОЛЬШОЕ ПОНЯТИЙНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. ИДЕАЛ

Глава 1. Идеал языковедов и марксистов

Начну с самых простых определений из общедоступных словарей.

«Современный словарь иностранных слов» предельно краток:

*«Идеал [французское *ideal* от греческого *idea* идея, понятие, представление] — совершенство; совершенный образец чего-либо; высшая цель стремлений, деятельности».*

Что предельно важно в этом определении — это путь, которым это слово шло в русский язык. Поэтому поглядим, как определяет слово *ideal* Французско-русский словарь:

Ide//al, -ale 1. 1) идеальный, воображаемый; 2) идеальный, совершенный; 3) идеал.

Да... любопытно. Идеал во французском — это то, что русские понимают под словом «идеал». Наверное, лучшее понятие о том, что это такое, дает русское выражение: мой идеал! Хотя русское ли оно?!

Но как бы там ни было, продолжим. Я попробую двигаться от современности в прошлое, чтобы увидеть, как менялось понимание этого слова в русском языке, и благодаря этому лучше понять, что оно значило в описываемую Кавелиным эпоху середины девятнадцатого века.

Итак, Ожегов и Шведова в 1992-2006 годах:

Идеал. 1. То, что составляет высшую цель деятельности, стремлений. Высокие гуманистические идеалы. 2. Совершенное воплощение чего-нибудь. Идеал доброты. Этот человек — мой идеал. 3. Наилучший вид, элитный образец чего-нибудь.

Что с очевидностью бросается в глаза? То, что современное общественное сознание однозначно связывает идеал с деятельностью, в сущности, делая его движителем наших устремлений. Надеюсь, психологи это не просмотрели. А из выражения: этот человек — мой идеал, — на бытовом уровне просвечивает: я о таком мечтала! Что значит, что он вовсе не идеален, он лишь соответствует чьим-то мечтам или представлениям. Но опять же очевидно, что ради такого идеала женщина или мужчина свернут горы и пойдут на смерть. Иными словами, этот неидеальный идеал нашего быта чрезвычайно действителен и управляет нашим поведением.

Академический «Словарь русского языка» в 1985 году:

Идеал. 1. Высшая цель, к которой стремятся люди и которая руководит их деятельностью. Возвышенные идеалы. Какие идеалы могут волновать души этих людей? Салтыков-Щедрин. Мы знаем, что есть в буржуазном мире прогрессивные силы, которые служат светлым идеалам человечества. Михалков.

2. *Совершенное воплощение, лучший образец чего-либо. Каждый народ имеет свой особенный идеал человека. Ушинский.*

И здесь важнейшие подсказки. Салтыков-Щедрин и Ушинский пишут как раз в ту эпоху, когда об идеалах думал Кавелин. И думают о них именно как о том, что волнует души. Ушинский вообще создает науку воспитания. И создает ее Ушинский, выводя из психологии. Поэтому его слова о том, что каждый народ имеет свой идеал человека, важны и не случайны. Кстати и Кавелин завершает свою Этику понятием о воспитании, без которого нравственность не принимается.

И ясно, что речь идет именно о поведении, о свойствах, которыми обладает такой «идеальный человек». Как и человек-мечта влюбленной девушки, так и идеал человека в народных представлениях, этот идеал не идеален, но страстно ожидаем. Он соответствует представлениям, тому, что хотелось бы видеть в качестве своего ближнего, соседа, просто любого русского человека. Иными словами, с идеальным человеком хотелось бы жить рядом...

Сделаю небольшое отступление от языковедческих словарей, чтобы показать, как определяли идеал другие словари.

В том же 1985 году в психологическом словаре Петровского и Ярошевского нет понятия идеал, только идеальное. И нет его до сих пор в словаре Зинченко и Мещерякова. Психологи все-таки проморгали. Или это опять не по их ведомству — все-таки слишком явно относится к управлению поведением, а не к физиологии!..

Слава богу, философы не подвели. Для них это работающее понятие. Философский энциклопедический словарь в 1997:

Идеал (франц. *Ideal*) — образец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений.

Идеал — прообраз, это явно движение в сторону Платоновских идей, то есть к Небесам, где и предполагается быть миру душ.

Новая философская энциклопедия в 2001 году вообще посвящает идеалу большую статью Р. Г. Апресяна. Суть:

«*Идеал* (фр. *Ideal*, лат. *Idealis*, от греч. *Idea* — вид, образ, идея) — 1) в общеупотребительном смысле а) высшая степень ценного или наилучшее, завершенное состояние какого-либо явления, б) индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец) чего-либо, касающийся, как правило, личных качеств или способностей; 2) в гносеологическом смысле — истина; 3) в эстетическом — прекрасное; 4) в этическом смысле: в теоретическом плане — а) наиболее общее, универсальное и, как правило, абсолютное нравственное представление (о благом и должном), в нормативном плане — б) совершенство в отношениях между людьми или — в форме общественного идеала — такое устройство общества, которое обеспечивает это совершенство, в) высший образец нравственной личности».

Прекрасная работа, показывающая и путь понятия в русский язык, и отчетливо перекликающаяся с поисками Кавелина. Понятно, если философы так разрабатывают эту тему, психологам тут делать нечего, а Кавелин считался психологом. Поэтому его и забыли...

Идеал каким-то образом стал в представлениях философа-этика устройством общества, обеспечивающим возможность для нравственно образцовых личностей. Это выглядит несколько странно с точки зрения строгого рассуждения, но не будем забывать, что тут не чистое рассуждение, а культурно-исторические напластования. Этик просто продолжает говорить о том, с чего начинали Платон и Аристотель, об идеальном государстве. О том же говорит и Кавелин.

Если продолжать археологию понятия, то далее мы опускаемся в следующий круг — в советские понятия идеала. Это время не теоретиков, а этиков-практиков. Поэтому читать идеологов марксизма надо с уважением — они знали, что говорили.

Даже в совершенно не идеологическом, как казалось бы, издании — в «Толковом словаре русского языка» Ушакова в 1935 году сквозит тонкая проработка сознания читателей:

«Идеал. Высшая, трудно достижимая степень совершенства в чем-нибудь, мыслимый предел стремлений, желаний. Идеал красоты. Идеал человека. ... Нельзя себе представить идеал будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения. Ленин. // Высшая, руководящая всей деятельностью цель, то, к чему человек стремится. Политические идеалы. Жить без идеалов. Мой идеал теперь — хозяйка да щей горшок. Пушкин».

Такое привычное выражение как «политические идеалы» просто стерлось из нашего сознания, и мы его забыли. Но стоит вдуматься, и станет понятен дикий парадокс советской власти и коммунистической идеологии: до озверения отрицать идеализм и с озверением воплощать политические идеалы!

Политические словари марксистов всегда содержали рядом две статьи: ругательную и погромную «Идеализм», и иезуитски-утонченную, так и проползающую в сознание «Идеал».

В сталинском «Кратком философском словаре» 1940 года издания с Идеала начинается буква «И». Я приведу эту статью целиком, потому что она должна быть хрестоматийной для любого прикладника. На этом месте развернулась одна из важнейших битв Науки за те высоты, которые она отбирала у Религии. Наука, с одной стороны, присвоила себе полюс материализма, но поскольку идеализм тоже был действителен, в целом воюя с ним, она десантировала свой философский спецназ, егерские части горных стрелков на захват «сияющей вершины Идеала»:

«Идеал — высшая цель, к осуществлению которой направляют свою деятельность общественные классы, группы, политические партии, отдельные люди. Всякий идеал имеет исторический характер, будучи обусловлен всем строем общественной жизни».

Для идеалистов идеал нечто отрешенное от реальной действительности, вневременное и внепространственное. Взгляд Канта на идеал как на то, что находится по ту сторону действительности, служит примером идеалистического извращения понятия идеала. История человеческого общества знала и сей-

час знает немало нежизненных — утопических или реакционных — идеалов. Причина для возникновения такого рода идеалов лежит в экономическом и политическом положении определенных классов.

Например, идеалом русских народников был «социализм», который они думали создать без пролетариата, на основе крестьянской общины, путем борьбы интеллигентов-одиночек. Народники считали, что социалистами могут быть только крестьяне, прикованные к общинной земле, а не рабочие, лишенные какой бы то ни было собственности. Отсталая Россия 70-80-х годов и неправильная общественная теория породили реакционные идеалы народников.

Идеалом рабочего класса является коммунизм, общественный строй, в основе которого лежит крупная обобществленная промышленность и обобществленное сельское хозяйство, в котором нет частной собственности на орудия и средства производства, ликвидированы противоположности между умственным и физическим трудом, городом и деревней.

Идеал пролетариата полностью обусловлен всем ходом исторического развития человеческого общества. Он базируется на глубоком понимании законов общественного развития и той роли, которую должен играть пролетариат в деле коренного преобразования социального строя».

Как показала жизнь, коммунистическая теория была неверна, значит, неверным было и понимание природы идеалов, как лежащих по эту сторону душевной границы. Единственное, что было верно в марксизме, — это то, что он оценил значение идеалов и не упустил этого рычага управления поведением людей. И все же Кавелин был прав: идеалы лежат в высшей части наших психических способностей, они не в том, что отражается нашим сознанием, как действительность этого мира. Именно потому они и действительны.

Идеал же пролетариата и сознательного крестьянства был не в обобществлении промышленности и сельского хозяйства и не в отсутствии частной собственности, а в том, чтобы жить в блаженстве. Как? Зависит от задач, которые должна решить душа. Кому-то блаженство — вечный бой. Кому-то, обеспеченное завтра, а кому-то — отсутствие противоположности между умственным и физическим трудом...

Очевидно, что битва за идеальные высоты была очень важна для Советской власти, да и совесть нечистая покоя не давала. Поэтому советские философы все накручивали и накручивали слова по поводу того, что идеализм неверно понимает идеал, и только теоретикам марксизма и материализма удалось понять его природу.

В начале шестидесятых Философская энциклопедия разражается просто огромными статьями об идеале и идеализме. Идеал рассматривается и в общем, и как Нравственный идеал. В общем, это, как и прежде:

«Идеал — образец, норма, идеальный образ, определенный способ и характер поведения человека или общественного класса».

Я опушу остальное, отмечу только, насколько хорошо прикладники коммунистической нравственности, в отличие от психологов, осознавали

значение идеала для управления поведением. Перейду к нравственному идеалу, о котором написана большая статья С. Иконникова.

«Идеал нравственный — представление о всеобщей норме, образце человеческого поведения и отношений между людьми, выражающее исторически определенное понимание цели жизни. По словам Ленина, нравственный идеал представляет собой “морально высшее”».

Нравственный идеал тесно связан с общественными, политическими и эстетическими идеалами, отражает исторически определенные интересы того или иного класса или общества. Объективную основу содержания нравственного идеала в классовом обществе составляют классовые интересы. Передовой нравственный идеал служит целям борьбы за достижение высокого общественного устройства, за воспитание нового человека».

Битва за «зияющие высоты» заставила марксистов высветить то, что было непонятно чистым философам. Они рассмотрели, как сквозь те или иные личности проявляется Битва Богов. И, к примеру, тот же Аристотель вовсе не был всего лишь учеником и продолжателем Платона, он был тем, кто дал врагам идеализма точку опоры для свержения прежнего строя, а значит, для захвата Олимпа:

«Для Сократа и Платона высшее благо заключается в божественной мудрости; человек может лишь приобщиться к идее добра, ибо достичь блага значит “уподобиться божеству”».

Напротив, материалисты выводили идеал из конкретных потребностей и интересов жизни людей, искали пути осуществления идеала в действительности. Так, в Древней Индии чарваки видели высшую цель в наслаждении земными благами. Аристотель, выступая против идеализма Платона, писал: “...Люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут”».

Почти за век до этого Константин Дмитриевич Кавелин, будто бы прозревая будущее, сидит и пишет опровержение марксистского подхода к нравственности... Жизнь показала, что его противники, начиная с Чернышевского и Сеченова, были неправы. Это еще не доказательство того, что прав он, но это заставляет отнести к его мыслям с большим доверием.

Я не буду приводить определения идеала, делавшиеся до революции, к примеру, Философским словарем Радлова, Словарем иностранных слов Ефремова или Далем. Определения эти, в общем-то, верные, но после марксистов — беззубые и невнятные. Единственное, что они подтверждают — это исходную мысль Кавелина, что понятие идеала у нас весьма запутано и смутно.

Но я продолжу исследование понятия «идеал», которое очень важно для Кавелина как способ перехода к поведению человека. Это понятие нашей культуры, оно неясно, но заслуживает особого внимания прикладного психолога, поскольку чрезвычайно действенно.

Глава 2. Идеал психологов. Выготский и Рубинштейн

В действительности, советские психологи все же думали об идеале. Немного и редкие, но либо нужды прикладной работы, либо искренняя приверженность марксизму заставляли их иногда обращаться к этому предмету. Обращения эти редки и смутны, и я наверняка упустил многие из них, потому что тема эта как-то особо нашими психологами не выделялась. Искать в их работах что-то об идеалах почти невозможно. Поэтому я ограничусь лишь двумя авторами.

Что касается Льва **Выготского**, то собственно «идеал» я в его работах не нашел. Но в лекции, посвященной прикладной теме — педологии, за которую Выготского и откритиковали насмерть, он говорит о «высшей форме» человека. Сами эти лекции «Основы педологии» были мне недоступны, поэтому я вынужден привести целиком всю цитату из работы Б. Д. Эльконина, надеясь, что она будет достаточно показательна. Главное — нужда в понятии «идеал», даже если не используется само это слово, возникает у психологов лишь тогда, когда они переходят к прикладной работе, в частности, к воспитанию людей. Воспитание без идеалов не идет...

«Можно ли себе представить... что, когда самый первобытный человек только-только появился на Земле, одновременно с этой начальной формой существовала высшая конечная форма — человек будущего, и чтобы та идеальная форма как-то непосредственно влияла на первые шаги, которые делал первобытный человек? Невозможно это себе представить...»

«Ни в одном из известных нам типов развития никогда дело не происходит так, чтобы в момент, когда складывается начальная форма... уже имела место высшая, идеальная, появляющаяся в конце развития и чтобы она непосредственно взаимодействовала с первыми шагами, которые делает ребенок по пути развития этой начальной, или первичной, формы. В этом заключается высочайшее своеобразие детского развития в отличие от других типов развития, среди которых мы никогда такого положения вещей не можем обнаружить и не находим» (Цит. по: Б.Д. Эльконин, с. 7).

Понятия не имею, о чем тут Выготский, но под идеальной формой человека он явно понимает то совершенство, которого достигает человек ко времени существования самого Выготского. В сущности, это выражение мировоззрения прогрессорства, воюющего с идеализмом и первобытным мировоззрением, считавшим, что в начале времен были созданы и заложены Первообразы или Начала, к которым и надо время от времени возвращаться, очищая мир, чтобы не утратить совершенства и изначальных возможностей...

Кто прав, судить не берусь.

Что касается Сергея Леонидовича **Рубинштейна**, то он писал об идеалах гораздо больше, как, кстати, писал и об этике, в отличие от большинства советских психологов. Итогом его размышлений стали весьма невнятные и

вполне марксистские высказывания, сделанные в предсмертной книге «Человек и мир» (около 1973 года).

В ней он с откровенной ненавистью говорит о сталинском социализме: *«Особо выделяю отношение к Сталину, начиная с ежовщины и до конца. Мерзость и позор! (В глазах многих людей кошмар социалистического общества вообще). Потрясающее доказательство возможности при определенных условиях искажения человеческого облика. На высоком уровне развития человеческого общества у его ведущего представителя возможность такой моральной деградации, такого попрания всякой морали. Какой урок.»* (Рубинштейн, Человек и мир, с. 392).

Заврался старый идеолог психологии. Никакого урока он не извлек. Уроком могло бы стать хотя бы сомнение в теории прогресса, которая раз за разом у него на глазах показывала: слова Выготского о «высшей, идеальной форме человека», которая возникает только с прогрессом, неверно отражают действительность, как и вся марксистская этика. Нет, он на той же странице упорно повторяет те догмы, которые вложил в его любящее и открытое лоно Отец народов с предшественниками:

«Но коммунизм — это конечный этап — туда, вдалеке времен, в будущую жизнь перенесенный идеал, тот жизненный порядок, ради которого должен быть пройден весь этот путь. Этот порядок жизни и облик людей, этой жизнью живущих, — его надо раскрыть и приступить к обратному движению — вместо отодвигания его вдалеке времен — продвижение этого идеала мыслимое и практическое в настоящее» (Там же).

Это в семидесятых-то годах, во времена уже отчетливо разворачивающегося брежневского застоя! Надо было очень ослепить себя, чтобы настолько утратить все психологическое чутье, ведь это происходит после того, как уничтожена «хрущевская оттепель» и снова началась холодная война и повешен «железный занавес»...

Но это не оговорка, чуть ниже еще одна цитата из марксистско-сталинской идеологии:

«Рассмотрение социализма как идеала, то есть как отрицания всех неправд капиталистического общества, точно так же как в свое время буржуазное общество выступало как идеал, то есть отрицание всех неправд феодального общества. И совсем иное — рассмотрение социализма как определенного жизненного уклада, анализ его как действительности “в себе”, и здесь обнаруживаются все его пороки и недостатки. И наконец, социализму противостоит идеал коммунистического общества как отрицание всех пороков и недостатков социалистического общества» (Там же).

Вот итог большой творческой жизни...

А начиналось все в сороковом году выпуском «Основ общей психологии», которые принесли Рубинштейну Госпремию и множество лавров и чинов, а потом их же и отобрали, поскольку они подверглись всеобщей критике, скорее, травле. Сам Рубинштейн был обвинен в космополитизме,

лишен званий, а второй его большой труд — «Философские корни психологии», был в 1947 году рассыпан, когда верстался в типографии...

Там, в «Основах общей психологии» идеалам была посвящена подглавка в главе «Направленность личности». Глава эта говорит об идеалах как о мотивах поведения человека. Верно ли это — вопрос особый. Но если понимать под мотивами то, что движет нашим поведением, заставляет совершать поступки, то возможно.

«Идеалы. Какое значение ни придавать потребностям и интересам, очевидно, что они не исчерпывают мотивов человеческого поведения; направленность личности не сводится только к ним. Мы делаем не только то, в чем испытываем непосредственную потребность, и занимаемся не только тем, что нас интересует. У нас есть моральные представления о долге, о лежащих на нас обязанностях, которые регулируют наше поведение. Определяясь мировоззрением, они находят себе обобщенное абстрактное выражение в нормах поведения, свое наглядное выражение они получают в идеалах» (Рубинштейн, Основы, с. 530).

Рубинштейн, безусловно, обладал и здравым смыслом и психологическим чутьем. Хотя, конечно же, он многое просто берет из теории марксизма как общеобязательные места. Без этого госпремию в Советском Союзе не получали и не давали...

«Идеал может выступать в качестве совокупности норм поведения; иногда это образ, воплощающий наиболее ценные и в этом смысле привлекательные человеческие черты, — образ, который служит образцом» (Там же).

Я не совсем понимаю здесь Рубинштейна: а что не иногда? Что в остальных случаях? Может ли идеал не быть образом?

В очень важной для него, в сущности, спасшей его после погромов, работе 1957 года «Бытие и сознание», где он заявил свой символ веры, Рубинштейн искренне и достаточно глубоко описывает свое понятие идеального:

«В гносеологическом отношении к объективной реальности психические явления выступают как ее образ. Именно с этим отношением образа к предмету, идеи к вещи связана характеристика психических явлений как идеальных...»

«Характеристика психического как идеального относится, собственно, к продукту или результату психической деятельности — к образу или идее в их отношении к предмету или вещи» (Рубинштейн, Бытие и сознание, с. 72).

Нет, Рубинштейн не мог понимать идеал не как образ. Очевидно, он говорит о том, что иногда — это образ какого-то человека, с которого мы делаем жизнь, а иногда — набор образцов поведения. И это по своей сути одно и то же, но должно быть разделено и изучаемо прикладным психологом как составляющие одного и того же предмета — основы управления поведением человека. Применимо ли и к образцам и к образу, которому я подражаю, имя идеал?

Думаю, в обоих случаях с уточнениями: вот идеальное поведение и вот мой идеал! Да и дополнение их этим «вот» не случайно. Указательная частица «вот» выдает присутствие педагога или идеолога, своим пальцем управля-

ющего сознанием слушателей и зрителей. Она показывает, что таким образом подобные «идеалы» насаждаются в умы воспитуемых, так их показывают другим, просто увидите того, кто говорит: «Вот идеал...»

Это уточнение значит, что это определение Рубинштейна еще неточно, оно лишь описывает какие-то черты понятия «идеал», но не его исту, не его исходный и чистый образ. Это определение идеолога, а не философа. Но Рубинштейн тогда, в сороковых, еще ищет:

«Идеал человека далеко не всегда представляет собой его идеализированное отображение; идеал иногда может находиться даже в компенсаторно-антагонистическом отношении к реальному облику человека: в нем может быть особенно подчеркнуто то, что человек особенно ценит и чего ему как раз недостает. Идеал представляет собой не то, чем человек на самом деле является, а то, чем он хотел бы быть, не то, каков он в действительности, а то, каким он желал бы быть.»

Но было бы, очевидно, неправильно чисто внешне противопоставлять должное и существующее, то, что человек есть, и то, что он желает: то, что человек желает, тоже показательно для того, что он есть, его идеал — для него самого. Идеал человека — это, таким образом, и то и не то, что он есть. Это предвосхищенное воплощение того, чем он может стать. Это лучшие тенденции его развития, которые, воплотившись в образе-образце, становятся стимулом и регулятором этого развития» (Рубинштейн, Основы, с. 530).

В этом смутном рассуждении есть предчувствие большого психологического открытия. Откуда вдруг взялись мысли о том, что идеал человека — это и то, и не то, что он есть? Казалось бы, идеал никогда не может быть тем, что я есть всегда, просто потому, что я к нему стремлюсь. Как Рубинштейн мог такое ляпнуть, да еще и походя, между делом, больше никогда не возвращаясь к этому? Думаю, это было мимолетное озарение...

Но для прикладника оно должно стать частью его науки, просто потому, что человек лишь другим говорит о том, каким хочет стать, а сам скрыто считает, что в изрядной мере соответствует своему идеалу, просто потому, что очень старается на него походить и совершил немало усилий, чтобы воплотить его в себе. Каждый человек — это воплощение собственного идеала. Это нельзя не учитывать при работе с ним.

И поэтому начинать работу надо с выявления, какой же идеал он воплощал всей своей жизнью. В этом проявится сильнейшее противоречие идеализма: человек не равен самому себе, он самому себе не соответствует, его вообще нет, потому что он — постоянное движение от того, что считал собой когда-то, к тому, чем хочет быть. Но идеалом он еще не стал, а собой быть уже перестал, он как электрон, который невозможно найти на его орбите...

И поэтому он неуправляем, и одновременно потрясающе легко и просто управляем, если видеть не эти омертвелые точки, в которых он бывал, а само движение, в сущности, мечту...

Рубинштейн, очевидно, сделал свое замечание походя и случайно, потому что дальше его выкидывает из психологии снова в марксистскую идеологию. Для него идеал превращается в то, чем он и закончит жизнь — в общественный строй без человека и его души. Впрочем, именно эти рассуждения Рубинштейна стоит знать, потому что за ними крушение идеалов, которое так и не было им понято, принято и осознанно. Дальше идет учебник того, как надо насаждать идеалы, чтобы делать управляемыми целые народы:

«Идеалы формируются под особенно большим и непосредственным общественным влиянием. Они в значительной мере определяются идеологией, мирозерцанием. Каждая историческая эпоха имеет свои идеалы — свой идеальный образ человека, в котором время и среда, дух эпохи воплощают наиболее значимые черты...»

Наша эпоха в нашей стране создала свой идеал, выдвинув в идеальном человеческом образе черты и свойства, выковывающиеся в борьбе за социалистическое общество в творческом труде по его построению.

Иногда идеалом служит обобщенный образ, образ как синтез основных, особенно значимых и ценимых черт. Часто в качестве идеала выступает определенная конкретная историческая личность, в которой эти черты особенно полно и ярко воплотились.

Так, Сталин выдвигает Ленина в качестве идеала, который должен направлять поведение советских людей, служить им мерилom и образцом, и точно также образ самого Сталина тоже служит сейчас для трудящихся всего мира таким же идеалом-образцом» (Там же, с. 530-531).

Стоит ли еще раз приводить рубинштейновские строки 1973 года, в которых он брызжет ядовитой слюной на свой идеал сороковых? И стоит ли еще раз говорить о том, как Сталин ненавидел Ленина и как презирал и издевался над старым, сошедшим с ума сифилитиком, приходя к нему в Горки? Единственный урок, который извлекли наши психологи из этой трагедии, — это не писать про идеалы совсем...

Но в том, как их использовали марксисты и революционеры всех мастей, был и настоящий урок.

Глава 3. Немецкий классический идеал. Кант

Для прикладника идеал — это то, что позволяет понимать или менять поведение людей, поскольку их поведение оценивается именно относительно их идеалов. Вполне естественно было бы посчитать идеалы некими основаниями нравственности. И тогда Кант должен был бы говорить об идеале в тех работах, которые и были им посвящены нравственности или этике.

На деле же, если он и поминает в этических работах, начиная с «Критики практического разума», само понятие идеала, это случается между делом. А вот в работе посвященной, казалось бы, совсем отвлеченным предметам — в «Критике чистого разума», он отводит идеалу отдельную главу —

«Об идеалах вообще». Она крошечная, поэтому есть возможность целно пересказать мысли Канта.

Начать надо с того, что Кант не столько говорит о том, что существует в культуре, сколько пытается создать язык, на котором можно описать работу разума. Чтобы это сделать понятным, приведу слова французского философа Дидье Жулиа, многое объясняющие в творчестве Канта:

«Гениальность его критического метода — в открытии, что целью философии является не расширение наших познаний о мире, но углубление наших познаний о человеке. И только путем анализа глубинных возможностей ума мы действительно сможем узнать, на что способен человек: что он может знать, что он должен делать и на что он может надеяться. “Критика” анализирует прежде всего наши познавательные способности, из которых Кант неизменно выводил формы математического знания и важнейшие принципы физики Ньютона» (Жулиа, *Философский словарь*, Кант).

Все это очень точно. В «Метафизике нравов» Кант действительно пытается строить учение о нравах, постоянно сравнивая его с физикой Ньютона. «Критику практического разума», подобно Спинозе, пишет как теоремы, доказательства и задачи... Но там же, говоря своим математическо-логическим языком о бессмертии души, вдруг признается, что, в сущности, как философ не занят ничем, кроме самопознания...

Итак, сначала определиться с понятиями:

«Но по-видимому, еще более, чем идея, далеко от объективной реальности то, что я называю идеалом и под чем я разумею идею не только in concreto, но и in individuo, то есть как единичную вещь, определяемую или даже определенную только идеей» (Кант, *Критика чистого разума*, с. 346).

Это первое упоминание Кантом идеала. Я его привожу, хотя понимаю, что понять что-то из этого определения невозможно. Но все остальное вытекает из него:

«Человечество, взятое в своем совершенстве, содержит в себе не только расширение всех присущих такой природе и входящих в наше понятие о нем существенных свойств вплоть до полного совпадения их с их целями, что было бы нашей идеей совершенного человечества, но и включает в себе все, что кроме этого понятия необходимо для полного определения идеи; в самом деле, из всех противоположных предикатов только один подходит к идее наиболее совершенного человека.

То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рассудка, единичный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении» (Там же).

Мудреное изложение Канта, однако, можно слегка упростить, если разделить на понятийные слои. Первый из них — это слой культуры, содержащий все проявления или черты того, что мы называем идеалом человека. Существует некий платонический идеал или нет, но путей его познания только два: либо мы его помним врожденно, либо собираем из черт, наблюдая за тем, что есть в жизни. А в жизни есть все, что мы знаем и что нам необходимо, чтобы создать понятие об идеале. В жизни или в культуре.

При этом, как прикладник, я могу задать себе вопрос, с которого началась главная битва европейской философии: помню ли я что-то из предшествовавшей воплощению жизни души? Иначе: помню ли я что-то до опыта? И ответ будет очень Локковский: осознанно я ничего не помню. Так ощущает себя обычный человек.

Я выходил из тела, поэтому я знаю: такие воспоминания есть, даже если мы не можем их осознать. Этому надо учиться. Но это мое знание ничего не значит для тех, кто знает себя только телом. Поэтому они должны будут либо поверить мне на слово, либо исследовать себя, исходя из данных своего опыта. И даже если они знали, что такое идеал, еще до воплощения, в этой жизни они создавали себе это понятие, наполняя его чертами, взятыми из наблюдений. И убеждены, что именно так и рождалось их понятие идеала.

При этом, осознаем мы это или нет, но душа наша стремится к идеалу, заставляя нас совершать определенные поступки, которые и воплощаются в те самые проявления, что мы наблюдаем в жизни. Иначе говоря, верю я в доопытное знание или нет, но то, что я собираю свое понятие об идеале по наблюдениям, вовсе не доказывает, что так это понятие и рождается. Так оно лишь проявляется, наполняясь образами из жизни. И поэтому кажется подобным тем понятиям, что мы познаем впервые.

Вот эту разницу надо понять: душе дано что-то познавать только на земле, а что-то она знает из доземного существования. И значит это то, что у нас есть понятия двух видов: одни — рожденные здесь, созданные душой по мере обретения опыта, а вторые — древние, принесенные из мира душ, лишь заполненные земным содержанием, как плотью.

При этом мы осознаем их сначала лишь по самым грубым их проявлениям, — так проще! И поэтому мы видим вначале лишь, условно говоря, «плоть» таких понятий, то есть то, что набрали в земной жизни как их черты. И очень плохо осознаем присутствие за этой «плотью» тех тончайших образов, которые, после Платона, называют идеями или эйдосами. Для того чтобы их видеть, нужна немалая работа, обучающая наш ум этому тонкому видению. Весь подвиг Канта как раз в том и состоит, что он работал над своей способностью видеть сквозь плоть земных образов.

И вот когда он задумывается о том, почему же мы не видим то, что принесла душа как воспоминание о Том мире, он вынужден отсекал слой за слоем земные образы, заполняющие тонкие тела идей, и обнаруживает, что их невероятно много. Почти все, что мы могли бы посчитать божественным или небесным, на деле оказывается лишь людскими представлениями о божественном и небесном... Почти все, из чего мы состоим, душа обрела уже здесь...

Поэтому Кант задается вопросом: а что она не могла обрести здесь? И приходит к выводу, что это даже не воспоминания, а, скорей, состояния, которые ей присущи, в частности, состояние чистого разума. Вот поэтому появляется при определении идеала упоминание Платоновской «идеи божественного рассудка», Логоса или Нуса:

«То, что мы называем идеалом, у Платона есть идея божественного рас-судка, единственный предмет в его чистом созерцании, самый совершенный из всех видов возможных сущностей и первооснова всех копий в явлении».

Разум Божества, который созерцает миры и все вещи мира, тем самым творя их...

Является ли это действительностью, или же это лишь еще одно пред-ставление, даже предположение о том, как возможен мир? Кант не случай-но ссылается на Платона, оставляя тому отвечать за этот образ. Сам же он говорит о том, что у нас достаточно средств, чтобы судить об этом, не убегая от той действительности, что мы имеем:

«Не забываясь так далеко, мы должны, однако, признать, что человеческий разум содержит в себе не только идеи, но и идеалы, которые, правда, не имеют в отличие от платоновских творческой силы, но все же обладают практичес-кой силой (как регулятивные принципы) и лежат в основе возможности совер-шенства определенных поступков.

Моральные понятия — это не вполне чистые понятия разума, так как в основе их лежит нечто эмпирическое (удовольствие или неудовольствие)» (Там же).

Не вполне чистые понятия разума означает в данном случае то, что это не чистые воспоминания из того мира, где живут идеи. Моральные понятия всегда связаны с представлениями людей об этом мире, о теле и телесной жизни, о жизни общества. И это очень точное наблюдение, которое невоз-можно оспорить, в отличие от всей остальной философии Канта. Да, дей-ствительность такова: некие наши представления воздействуют на наши поступки и определяют поведение. И зовутся они идеалами.

Поэтому очень важно будет внести уточнение в определение идеала. Идеал, безусловно, как слово, произведен от идеи. Идея или эйдос — древ-негреческие слова, означавшие всего лишь вид или образ, но в осмыслении Сократа и Платона, обретшие значение Первообразов, образов, в которых Божественный Разум, Нус созерцает мироздание. В силу этого идеи — очень чистые образы, еще не имеющие никаких следов воплощенности.

Идеалы — это идеи, погрузившиеся в плотность нашего мира, это идеи, которые уже отягощены вещественностью или телесностью. Они не могут существовать, не имея черт, заимствованных от тел или вещей, но при этом они не могут существовать и без той части, что идеальна, то есть делает их идеями. Поэтому идеалы — это всегда пути или ворота в тот мир, из которо-го пришли наши души, пути на Небеса.

И они как раз то, что мы помним, не осознавая... Помним до опыта и без опыта. Именно поэтому они и втягивают нас в себя...

Глава 5. Идеалы Кавелина.

Итак, основная мысль «Задач этики» в отношении идеалов была следующей:

«Тот же взгляд проливает яркий свет на происхождение и значение идеальных стремлений людей. Отрицать их нельзя; вычеркнуть их из человеческой природы невозможно...»

От идеализма люди никак не могут отделаться, потому что он лежит в их природе. Надо эту способность понять и извлечь из нее для человечества возможную пользу, направляя ее и парализуя приносимый ею вред» (Кавелин, Задачи этики, с. 915).

Благодаря ей мы смогли обратиться к Канту и понять, что слово «идеалы», хоть и является иностранным — французским — по происхождению, но несет в себе какое-то вполне доступное нам понятие, которое происходит от греческого, точнее, платонического понятия идеи. И даже если мы не принимаем платонизм, считая его не соответствующим действительности, это никак не отменяет того, что многие его понятия живут и тысячелетиями правят умами и поведением людей. Поэтому мы не можем от них отмахиваться.

Платоническое же понимание идей и эйдосов относится к тому, что мы называем Миром души, а Платон называл Небесами. Существуют ли Небеса, или это всего лишь допущение, что есть Место, Первоисточник всех образов, в которых эти образы находятся в первозданной чистоте и совершенстве, с точки зрения прикладника не важно. Важно лишь то, что люди действуют в соответствии с их понятиями о совершенстве, а понятие это рождается из ощущения, что мы знаем, что такое совершенство, хотя его и нет в жизни.

Это значит, у нас есть некое представление о том, какой ДОЛЖНА быть любая вещь. Мы глядим на нее и видим несовершенства, а это возможно лишь в том случае, если мы сличаем ее с совершенным образом, даже если никогда его и не видели. Для теоретика важно понять, как рождаются подобные наши представления, для прикладника достаточно видеть их и уметь использовать. Я же не в состоянии затевать спор и доказывать, что верно: идеализм или опытная наука. Идеализм живет, и живет он потому, что не опровергнут и является прекрасным языком для разговора о том, что правит нашими душами.

Идеализм говорит, что существует Место, где живут Первообразы, и называет их Идеями. Мир идей — это идеальный мир, что значит, что это мир образов, но одновременно это мир совершенства, поскольку мы можем себе представить совершенные вещи, но не можем их исполнить такими. Поэтому исполненное не из вещества или взаимодействий, а из идей, стало зваться сначала идеальным, а потом Идеалом. Слово это, очевидно, не сразу обрело значение существительного, а было сначала просто прилагательным. Во французском *idéale* — это идеальный.

Что значит, что Идеал — это нечто идеальное, как я его себе представляю. Но поскольку я представляю что-то вполне определенное — человека, мир, себя — то идеал тоже становится чем-то определенным и обретает самостоятельное существование как понятие, существующее само по себе, а не прилагающееся определением к чему-то иному.

В силу этого, слова Кавелина о том, что идеализм лежит в нашей природе, обретают простой и понятный смысл: мы мечтаем о совершенстве, которое доступно нам лишь в воображении, и это неизменно. Почему?

Потому что у нас два способа творить вещи, миры, людей или себя: мы можем делать это телами, и, кстати, дети оказываются лучшими творениями наших тел, поскольку, как говорится в анекдоте, мы их не руками делали. Что значит, что их делали, в сущности, не мы... Другой доступный нам способ творчества — в воображении. И это делают определенно не тела, это творчество души. А творит она образы.

Лишить себя душевного творчества значит лишить совершенства и, возможно, самой жизни, поскольку душа без этого не сможет. Вот почему Кавелин говорит, что идеализм — в самой нашей природе. В этом случае под «идеализмом» надо понимать способность нашей души мечтать о чем-то совершенном и творить образы достижения этого, создавая цели и строя задачи. Как вы помните, Кавелин говорит об этом, как о «высшей душевной способности», разделяя душу и «психику», которая стала модной в его время, благодаря трудам физиологов и рефлексологов.

«Источник и причина идеальных стремлений человека есть та же высшая способность, которая, повторяем, участвует не в одних операциях мышления, но и во всех других его психических отправлениях. Эта способность есть источник и причина идеализма уже потому, что имеет дело не с реальными фактами и явлениями непосредственно, а с нашими внутренними психическими состояниями, безразлично, чем бы они ни были произведены — внешними ли впечатлениями, или органическими потребностями человеческой природы» (Кавелин, Задачи этики, с. 915).

Кавелин тут между делом объясняет и то, что такое «мотивы» поведения человека. Но я пока это не буду трогать, потому что о «мотивах» надо говорить особо. Мне важнее переход к тому миру, который рождается в нашем сознании, благодаря деятельности души. В сущности, это психологическое объяснение нравственности:

«Ощущения, сделавшись предметами сознания, превращаются в идеальные предметы, непохожие на реальные явления и факты, какими они были до того. Кроме того, благодаря той же высшей способности, эти факты подвергаются переработке по законам мышления: сопоставляются, сравниваются, разлагаются на составные части, которые потом группируются и обобщаются отдельно от самих предметов.

Так предметы преобразуются и становятся совсем непохожими на свой первоначальный вид; образуется идеальный мир, отрешенный от той деятельности, из которой он выработан природою и присущею человеку способнос-

тью особого рода. В идеальности его уже заключается условие его совершенства сравнительно с действительностью. Разбросанное в последней — в нем сгруппировано вместе и обобщено; изменчивое, колеблющееся, преходящее в действительности — в нем представляется постоянным, прочным и неизменным.

Идеальный мир выводит таким образом индивидуального человека из тесного круга его личного существования, подымает его до всеобщего, тянет неудержимо к совершенствованию, которое состоит в стремлении к идеалу, в усилиях осуществить его в действительности» (Там же, с. 915-916).

Именно подобные утверждения идеалистов, что только идеальный мир является действительным, прочным и постоянным, вызывали борьбу и сопротивление материалистов всех мастей. Однако этот старый вопрос есть основа для работы любого психолога прикладника просто потому, что он психолог. И он не может исходить из того же, из чего исходит экономист или производственник. У него должен быть свой предмет и свои основания. А основание прикладной психологии прочно: в конце жизни, лежа на смертном одре, ты обязательно почувствуешь, что не можешь унести с собой за ту черту ничего, за чем охотилось твое тело. И лишь то, что извлекла из этой твоей охоты душа, оказывается действительно живым и прочным...

Вот от этой печки, от этой точки опоры и должна начинаться прикладная психологическая работа, поскольку именно благодаря ей возможно перевернуть мир человека. Иными словами, лишь обращенный к этой точке перехода человек в состоянии задуматься о том, что является настоящими ценностями его жизни. И тогда он может поменять себя, свое поведение и саму жизнь.

На этом можно было бы и завершить разговор об идеале как основе прикладной культурно-исторической психологии, однако Кавелин разработал это понятие гораздо глубже. Сделал он это в другой работе, которая выросла из «Задач психологии» и предшествовала «Задачам этики». Поэтому я намерен извлечь из нее все полезное.

Глава 6. Идеалы и принципы

Работа, в которой Кавелин исследовал самые действенные части нашего душевного мира, называлась «Идеалы и принципы» и вышла через четыре года после «Задач психологии» в 1876 году.

Время это было бурным: после реформы 1861 года, а точнее, после реформ шестидесятых-семидесятых, стало ясно, что отмены крепостного права мало. Нужно перестраивать всю Россию. Особо кровожадным интеллигентам казалось даже, что реформы — вообще не тот путь, которым надо идти. Хотелось крови и революции. Интеллигенция пошла в народ, готова резню. В России завелись первые в мире террористы и стали убивать людей, оправдывая себя тем, что эти люди при власти, управляют Россией, и если их убить, то в России сразу станет лучше...

Ленин потом даст имя этому русскому развлечению лишать себя профессионалов управления: и кухарки будут управлять страной...

Россия, усилиями своих лучших умов, начала поход за обезглавливание самой себя. Делалось это под страшную и вносящую душевную смуту журнальную шумиху. Все кричали о том, что нужны новые идеалы, поскольку старые опорочили себя... Что такое идеалы, не знал никто, но кричали, потому что это странное слово, как ни странно, было действенным. Жить без идеалов было немодно и как-то уж слишком по-русски, что само по себе стыдно для русского интеллигента.

Вот с этого и начинает свою работу Константин Дмитриевич Кавелин.

«Требование и искание идеалов все более и более выдвигается вперед в нашей литературе. Журнальная и газетная полемика едва успела коснуться этого предмета, как на него отозвались со всех сторон. Нет идеалов, а без них жить нельзя, — вот что слышится отовсюду» (Кавелин, Идеалы, с. 887).

Журналисты и литераторы именно в то время стали властителями дум русского народа. Как им удалось захватить такое положение? Наверное, в силу своей поверхностности и недалекости. Чем посредственнее написанное тобою, тем большее число людей в состоянии тебя понять, не напрягая мозгов. И важно лишь одно: писать так, чтобы все понимали: кто не с нами, тот против нас. Иначе говоря, писать надо с угрозой, страшно, тогда никто не обратит внимания на пустоту твоих сочинений, поскольку будут думать лишь о той опасности, которую ты накликаешь.

Никто не задался целью понять и дать определение этим странным идеалам, кричали о них, незаметно намекая: если ты не за идеалы, ты отсталый, кондовый, вообще мракобес, и мы будем тебя травить, общественное мнение будет против тебя. Никто в России не хочет идти против молвы, то бишь общественного мнения, поэтому люди быстро понимали главное: не важно и не нужно знать, что такое идеалы, важно и нужно кричать о их необходимости и сражаться против тех, кто этого не признает.

Романтик и идеалист Кавелин этого не понимал и хотел знать, о чем же речь. Он был психологом и потому пытался понять, что такое идеалы. Поэтому его исследование не заметили. Свора, травившая и стервенящая Россию, и без него знала: идеал — это орудие управления общественным мнением! Что нового он мог им добавить? Только разрушить то, что так хорошо складывалось?

Идеал — это действительно орудие управления и молвой и поведением людей. Но что это за орудие?

«Если под идеалом понимать более или менее ясное представление о том, что должно быть взамен того, что есть, какую-нибудь определенную цель, в которой намечены общими чертами будущие действия, формулированную программу поступков или фактов, то в отсутствии или недостатке идеалов грех упрекнуть наше время: оно ими, пожалуй, богаче, чем прежде» (Там же).

Именно так! Кавелин своим исследованием попросту разоблачал революционных авантюристов, заполонивших Россию. Он показывал, что слово «идеалы» используется ими для прикрытия своих планов свержения имею-

щегося строя, а должно бы совсем для другого, должно бы как раз для того, что мы хотим иметь...

«Идеал, в приведенном значении, и не может удовлетворить всех. Цель, программа действий, формула будущих фактов сосредоточивают на себе силы, интерес только до тех пор, пока желанное или задуманное достигнуто, а затем мы становимся к ним равнодушны, очень часто не узнавая даже в совершившемся то, чего желали.

Вспомните также, что цель рождается, программа действий, комбинация фактов обдумываются почти всегда под давлением настоятельных нужд, а они совсем не то, что идеал» (Там же, с. 888).

Русский народ подымали на революцию, подсовывая программы, цели, комбинируя факты... Кавелин психолог, он видит, что это подмена и ложь, используемая в угоду общественным силам. Но ему нужна истина. Поэтому он слой за слоем отмечает культурные напластования, искажающие наше понятие об идеале:

«Всякая цель, программа или формула будущих поступков или сочетаний фактов должны быть выработаны согласно с условиями, посреди которых будут производиться, и в своем применении вполне подчиняются законам той среды, которую должны изменять. Весь этот тяжкий и скучный труд соображения, выработки, прилаживания, приспособления мы различаем от идеалов.

Идеал может нас вызвать на такой труд; но в нашем представлении идеал и дело, которое мы из-за него предпринимаем, совсем не одно и то же» (Там же, с. 889).

Цели ставятся и меняются, программы создаются по мере надобности, а вот идеалы неизменны или, по крайней мере, гораздо устойчивее в нашем сознании, чем все виды средств и способов их достижения. Это очевидно. И это один слой нашего сознания, который надо осознать.

Другой слой:

«Догматики и доктринеры глубоко заблуждаются, смешивая идеалы с принципами или общими началами, за которыми признают неотразимую силу...» (Там же).

Идеалы надо отличать как от целей и программ, так и от принципов. Но что такое принципы? То, что это нечто действенное и управляющее нашим поведением, бесспорно. Но так же непонятно, как и идеалы, поскольку заимствовано из чужого языка. Поэтому сразу после идеалов придется прояснить наше понятие о принципах.

Но сейчас главное — что такое идеал?

Кавелин выводит это понятие как раз из отрицания тех культурных слоев, которые перечислил выше. Эти слои, использовавшиеся в предреволюционную эпоху, были действенны, они подымали народ на разрушение существующего строя, они обещали ему лучшую жизнь просто и прямо сейчас... поэтому Кавелин пишет:

«Из сказанного следует, что идеалов нельзя искать там, где человек приходит в соприкосновение с окружающим миром, другими словами — в сфере его внешней деятельности, на что бы она ни была обращена...»

Поэтому идеал не может заключаться в желаниях, целях, программах, формулах или принципах» (Там же, с. 890).

Кавелин, казалось бы, повторил здесь то, что уже говорил раньше. Но это не так. До этого он говорил о культуре, о том, что происходило в России семидесятых. А теперь он говорит как психолог, отчего и появляются в списке слоев, которые надо отбросить, желания. Но для нас, как для прикладников, этот список чрезвычайно важен, потому что в нем перечислено все то, что правит нашим поведением. Поэтому всё перечисленное надо учитывать в прикладной работе, поскольку именно в нем ответ на вопрос, почему человек ведет себя так, а не иначе. Там же и ответ на вопрос, почему у него не складывается жизнь.

Но сначала идеал, а идеал, как мы помним еще из Канта и Платона, принадлежит наполовину этому миру, а наполовину Небесам, или миру души:

«Если идеал вообще возможен, если он нужен человеку, то искать его можно только в собственном психическом строе или складе.

Сознание или, точнее, живое чувство этого строя или склада всегда предшествует сознательной и свободной внешней деятельности и создает, при помощи положительного знания, те цели, формулы, программы, принципы, которые предназначены видоизменить существующие во внешней среде комбинации условий и фактов.

События нашей внутренней душевной жизни содержат в себе то, чего мы напрасно отыскиваем в наших отношениях к окружающему миру, в борьбе с ним, в нашей внешней творческой деятельности» (Там же).

А что, собственно, содержат в себе события нашей душевной жизни?

Причины! Причины наших поступков, причины того, что влечет нас и заставляет действовать. Нам все кажется, что причины эти где-то вовне. Вот мы охотимся за властью, за богатством, за вещами, телами, в общем, предметами, находящимися снаружи... но почему-то, обретя их, не обретаем успокоения. Разве что понимаем, что это все не то, что было нам нужно...

Причины действий лежат в душевном мире и всегда предшествуют сознательной и свободной внешней деятельности. Именно это и есть основа и оправдание прикладной психологии. Кавелин осознает это, быть может, как единственный психолог той поры и всего последующего времени упадка психологии, и отчетливо показывает, что у действительной психологии и психологии научной разные предметы:

«Мир мыслей, знание цели, намерение, планы и программы будущих действий и явлений суть результат наших отношений к окружающей среде и к самим себе, насколько мы сами принадлежим к ней, составляем для самих себя, нечто внешнее, предмет нашей деятельности. Но такими внешними отношениями к окружающему и к самим себе наша жизнь далеко не исчерпывается» (Там же).

В сущности, это приговор всей научной психологии. Так сказать, заявление факта: научная психология, изучающая меня, как внешний предмет, не есть психология! Это наука о психических, то есть душевных проявлениях, но отнюдь не о душе. Таков факт и предел использования этого орудия — научной психологии.

Психология начинается за этим пределом:

«За ними и рядом с ними, в тесной с ними связи, совершается внутренняя психическая жизнь, где мы живем сами с собою, относимся к себе непосредственно, помимо окружающего. Это мир чувств, ощущений, стремлений, настроений, неуловимых для расчлененной сознательной мысли, но которые мы непосредственно знаем, различаем и анализируем особым чутьем или смыслом.

Здесь зарождаются, при соприкосновении с внешней действительностью, мысли, намерения, цели, планы и программы деятельности. Они слагаются под влиянием внешней обстановки, ее условий и законов; но их характер и направление определяются душевным строем, который есть результат внутренней жизни и сознательно или бессознательно вносятся в нашу внешнюю деятельность» (Там же, с. 890-891).

Душа приходит в этот мир, чтобы решить свои задачи именно в нем. Поэтому она познает и учитывает его. Это естественно и очевидно. Но решает она все же свои задачи, которые просто надо решить именно на этом материале. Поэтому способ решения всегда земной, но вот задачи... задачи те, что принесла душа. Поэтому земные условия собираются нами в условия небесной задачи, и именно она и только она определяет, как же их собрать и что с ними делать...

Душа живет в теле, тело — в этом мире. Но душа лишь воплощена в тело, чтобы можно было использовать земные условия. Живет же она в той среде, что создает себе для жизни. Среда эта — сознание и его образы. Именно их устройство и управляет нашим внешним поведением. Душе надо решить свою задачу, поэтому она собирает те образы, которые позволят ее решить. Задач у души может быть много, часть из них очень велики, настолько велики, что мы не в силах осознать их воплощенным умом. Для этого нам не хватает свободного сознания.

Поэтому мы строим для их решения особые орудия — наборы сложно сочетающихся образов, которые помнят и задачу и способы ее решения за нас. Они назывались у мазыков Водьями, я переводил это слово как мировоззрения. Но это не точный перевод. Водья — это то, что ведет нас по этому миру в соответствии с устройством мира души. В сущности, это часть мира души, часть его устройства, предназначенная решать душевную задачу на земном материале и земных условиях. Хотя задача вовсе не земная...

Не знаю, видел ли это Кавелин, но говорит он именно об этом:

«Наш идеал — это чувствуемый нами наш душевный строй, который не укладывается вполне ни в одну формулу, но выражается в разнообразнейших схемах и формулах, меняющихся, смотря по обстоятельствам, иногда по-видимому противоречащих друг другу.

Душевный строй не рождается готовым, развитым, определенным; он образуется и складывается из внешних впечатлений и внутренней психической работы и борьбы, но раз сложившись и окрепнув, он определяет нашу личную жизнь, наши помыслы, стремления, наши цели, задачи, личную сторону наших отношений к окружающей действительности.

Он-то и отражается в нашем чувстве как идеал» (Там же, с. 891).

ПОНЯТИЙНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ

Кавелин однозначно показывает важность принципов для психолога, желающего понять действительное устройство нашего сознания. Мы и сами прекрасно знаем, что принципы чрезвычайно важны для управления поведением. Достаточно вдуматься в то, что звучит в разговорных выражениях, вроде: я человек принципиальный! Или: мои принципы не позволяют мне. Принципы явно психологическое понятие, без которого прикладному психологу работать невозможно.

Однако было бы напрасным трудом искать объяснение этого понятия у психологов. Их почему-то подобные действенные вещи не интересовали. Во всех доступных мне психологических словарях я нашел только два случая, когда психологи говорят не о «каких-то принципах», вроде принципа удовольствия или принципа Премака, а о том, что такое принципы сами по себе. О том, что такое принципы с психологической точки зрения, не говорит, по-моему, вообще ни один психолог.

Артур Ребер включил статью «Принцип» в свой словарь, но, кажется мне, сам не понимал, к чему это делает. А если и понимал, то, значит, цель его была не психологической:

«Принцип. 1. Общая, основная максима, фундаментальная правда.

2. Общепринятое правило проведения процедуры, особенно научной. Имеется несколько тонких различий между принципами, канонами, правилами и законами. Наиболее распространенное представление о том, что термин закон должен предназначаться для случаев, когда универсальность и валидность вне сомнения, в то время как другие термины служат для обозначения более проблематичных случаев. В фактическом использовании коннотации этих терминов так накладываются друг на друга, что различия часто становятся академическими».

Похоже, что Ребер пытался здесь поработать наукотворцем, а не психологом, и описал одну из частей научного метода, которым должно пользоваться психологическое сообщество. Но его «принцип» — не психологическое понятие. Правда, остается вопрос: а есть ли у англоязычных такие же принципы, как у нас? Не является ли это словечко, как и слово «интеллигент» только русским?

Как бы там ни было, Ребер показал два культурных слоя в понятии «принцип». Первый — зануочно-философский. Я даже не хочу переводить, что такое максима, и уж тем более — «фундаментальная правда». Так мог сказать только человек, который о-очень хочет, чтобы его считали настоящим философом. Второй слой — наукоучение, или наука о том, как делать науку. Но меня интересует, что такое принцип как орудие управления поведением.

Среди русских словарей, похоже, только Немов включил статью «Принцип». Он, очевидно, тоже не слишком понимал, зачем это психологу:

«**Принцип** — термин, имеющий следующие частные значения: 1. Одно из основных, исходных, главных положений какого-либо учения, научной теории, системы взглядов. 2. Основное правило, руководящая идея. 3. Глубокое убеждение, устойчивый взгляд на вещи. 4. Основа устройства, действия или работы чего-либо».

Как видите, Немов поминает психологические значения слова «принцип». Но психолог не мог спрятать их среди прочего, он обязан был их выделить и прямо указать: в психологии. Или: для психолога особенно важно. Он этого не делает, и у меня складывается подозрение, что он просто переписал эту статью из какого-то толкового словаря. Что ж, по крайней мере, ему не откажешь в психологическом чутье... в отличие от всех остальных.

Всё, больше психологи о принципах как таковых в общедоступных сочинениях не пишут. Писали ли они о них в учебниках и особых исследованиях, я не знаю, но мое психологическое образование сопротивляется подобному допущению. Оно просто вопиет: нечего и искать! Это не психологическая тема! И я ему доверяю просто потому, что не знаю, где искать, даже предположить не могу...

Разве что у философов.

Вот философы о принципах писали. Это я знаю. Я не знаю только, даст ли это нам хоть что-нибудь, и сможет ли прикладной психолог воспользоваться их определениями. Впрочем, это, безусловно, позволит отсечь несколько культурных слоев и взглянуть в историю понятия.

Однако начать я предпочту с языковедов, потому что у них точно есть те значения этого понятия, которые нужны психологу.

Глава 1. Принципы языковедов

Для затравки начну с простенького Толкового словаря Ожегова и Шведовой. Он шпарит почти по Немову... или наоборот?

«**Принцип**. 1. Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, мировоззрения, теоретической программы. 2. Убеждение, взгляд на вещи. Держаться твёрдых принципов. Отказаться от чего-нибудь из принципа. 3. Основная особенность в устройстве чего-нибудь».

Судя по всему, психологическим является значение номер два: **принцип — это убеждение, взгляд на вещи.**

Это уже здорово и очень важно. Тем более, что Словарь честно приводит дополнительные значения: принципиальный и принципиальничать, что уж совсем психологично.

«**Принципиальный**. 1. Касающийся принципов. 2. Придерживающийся твёрдых принципов».

«**Принципиальничать**. Проявлять излишнюю принципиальность по незначительному поводу».

Попросту: принципиальный — это верный избранным взглядам. А принципиальничать — это, в каком-то смысле, вредничать, то есть мешать другим людям, не позволяя им достичь желаемого, ссылаясь, к примеру, на букву закона или какого-нибудь правила. Что значит, на договор. Договорились? Буду придерживаться, чего бы это мне, то есть вам, ни стоило! Как говорили мазыки: это мышление договоров.

Но это не важно, важно лишь то, что **принцип оказывается договором и решением, которые и определяют поступки человека.**

Академический «Словарь русского языка» несколько обильнее.

«Принцип. 1. Основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки и тому подобного. // Руководящее положение, основное правило, установка для какой-либо деятельности. // Основная особенность устройства, действия механизма, прибора, сооружения.

2. Убежденность в чем-либо, точка зрения на что-либо, норма или правило поведения. Вы требуете, чтобы я хвалил то, что нахожу дурным, это противно моим принципам! И. Гончаров.

В принципе — в основном, в общем. Из принципа — строго придерживаясь каких-либо убеждений; принципиально. По принципу чего — в соответствии с основными особенностями устройства чего-либо.

Принципиальность. 2. Последовательное проведение в теории и на практике определенных принципов. Сознательным рабочим дорога прежде всего и больше всего в каждом органе печати его принципиальность. Ленин. Либеральное развращение рабочих.

Принципиальный. 1. Связанный с принципами, вытекающий из принципов. Принципиальный вопрос. Принципиальные противоречия. Принципиальные соображения. В предыдущей статье мы остановились на принципиальном значении вопроса о союзе сельских рабочих России. Ленин. //

Имеющий существенных характер, касающийся основного, общего. Принципиальное отличие социалистического общества с точки зрения проблемы управления заключается прежде всего в том, что здесь впервые в истории возникает возможность управления всем общественным производством как единым целым.

2. Строго придерживающийся принципов, руководствующийся ими. Принципиальная критика. Принципиальная политика. Принципиальный человек».

Я так и не могу понять, знакомо ли подобное психологическое использование слова «принцип» другим народам, но для русских оно определенно очень важно. И важность эта такова, что самые действенные прикладные психологи России — марксисты — использовали это понятие сплошь и рядом, как и понятие идеала. В отличие от психологов научных, которые так и не рассмотрели его.

Однако я не хочу множить примеры, теперь мне бы хотелось посмотреть, когда это модное и действенное словцо вошло в наш язык. То, что его используют Гончаров и Кавелин, говорит, что оно появляется давно и, похоже, как раз тогда, когда русскому человеку прививали любовь к про-

стонаучному языку. Однако Даль в середине девятнадцатого века еще не знает всего того соцветия значений, которые появляются в семидесятых-восемидесятых годах того же века. Он даже ударение ставит на старинный манер на последний слог:

«**Принцип** [прѣнцип] [нем. *Prinzip*, фрн. *principe*, лат. *principium*] научное или нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают».

Черных в «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» пишет об этом слове:

«В русском языке известно с Петровской эпохи, причем сначала не только в форме принцип, но также в форме принципиум и со значением “преимущество”... (“Архив” Кукарина, 1706 года: “Я мнения был того уже и принципиум имел в руках”).

В “Архиве” Кукарина (1705 г.) встречается и прилагательное принципиальный, но с другим значением, чем в современном русском языке: “все святости принципиальные из собора вынесли” (главные?).

Современное значение слова принцип и позже принципиальный получили в XIX веке. Сравни уже у Белинского в статье 1844 года: “отстаивают старое... по привязанности... к принципам, в которых воспитались”.

Но из этого не следует, что в русском языке сразу установилась и фонетическая форма слова. Если полагаться на свидетельство И.С. Тургенева в “Отцах и детях”, 1862 г., то и произношение и ударение этого слова установилось (в общерусском языке) не сразу и, во всяком случае, в начале 60-х годов устойчивости еще не существовало.

В русский язык слово принцип попало, скорее всего... из немецкого».

Последнее только естественно, если учесть, что слово заимствовалось в Петровские времена. Как естественно и то, что слово это стало одним из орудий революционной пропаганды и агитации в устах Ленина — ведь его использовал еще вождь революционных демократов Белинский, и использовал как раз для борьбы со старым и с прежним воспитанием.

Да и использование его героями Тургенева очень показательно. В сущности, оно делает очевидным, что принцип — это либо рычаг, либо та точка опоры, которыми переворачивали русский мир вверх ногами... Вскрывали, как консервную банку ножом, сознание наших пращуров, внедряя туда поражения сознания от ужасов физиологической жестокости, как делал это Сеченов в «Рефлексах головного мозга».

Вот почему Кавелин попытался определить, что же такое принципы. Он был как раз человеком старого воспитания, и с ним более всего боролись деятели русского прогресса.

Однако для Кавелина слово «принципы» было еще очень новым, он только чуял, что оно важно, но почти не мог рассуждать о нем. Идеалы были для него понятней, поскольку бытовали в русском языке ярче и дольше.

Для нас же принципы — не только не новое слово, скорее, это слово уже почти отжившее. Оно не то чтобы ушло из русского языка, но точно утеряло ту болезненную важность, которую имело во времена коммунисти-

ческой пропаганды. Его попросту выжгли советские идеологи, тем самым сделав непопулярным у новых поколений русских людей.

Слово стало нелюбимым, немодным, его трудно использовать. Но это не значит, что утерялось то понятие, которое скрывалось под этим именем, а понятие было действенным и продолжает действовать и править нами. Поэтому его есть смысл понять.

Этимологический словарь Фасмера дает подсказку: слово принцип пришло к нам из немецкого, куда пришло из французского, а туда из латыни.

Похоже, это путь философских заимствований. Ранние немецкие философы, вроде Лейбница, писали либо на латыни, либо на французском, поскольку в их время Париж считался столицей мира. А какой-то мелкий французский философ Бейль мог себе позволить высокомерно отвечать на письма великого немецкого философа как на «письма провинциала».

Философская Германия до Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля была провинцией Франции и Англии. Вероятно, именно многовековой спор Франции и Англии за владычество над миром и создал те принципы, которые нами правят.

Глава 2. Философские принципы

Но прежде чем обращаться к истории возникновения понятия «принцип», я хочу составить себе самое общее представление о том, что под принципами понимают философы. Поэтому воспользуюсь в этой главе лишь философскими словарями.

«Философский энциклопедический словарь» Губского в 1997 году:

«**Принцип** (от лат. *Principium* — основа, начало) — 1. В субъективном смысле основное положение, предпосылка (принцип мышления); смотри Максима (принцип действия); в объективном смысле исходный пункт, первооснова, самое первое (реальный принцип, принцип бытия).

Аристотель понимает принцип в объективном смысле как первую причину: то, исходя из чего нечто существует или будет существовать».

Последним высказыванием автор этой статьи подорвал доверие к самому себе: он не выдерживает принципов строго рассуждения, — если уж ты задал, что принцип слово латинское, то никак не можешь сказать, что Аристотель понимает под ним то-то и то-то. Аристотель не использовал латыни. Скорее всего, это последующие авторы так поняли высказывания Аристотеля о первой причине, дав ей латинское имя принципа...

Новая философская энциклопедия в 2001 году говорит о принципе гораздо меньше ФЭС. Краткую статью О. Суворова можно охватить одним взглядом:

«**Принцип** (лат. *Principium* — первоначало, основа) — 1) исходное, не требующее доказательств положение теории (то же, что аксиома или постулат); 2) внутреннее убеждение, неизменная позиция или правило поведения (то же, что максима или заповедь).

В изначальном смысле слова — некая субстанция (вода, воздух, огонь или земля в античной философии) или закон (дао в древнекитайской философии), которые лежат в основе мироздания и из которых можно объяснять все существующее.

Первым подобное представление о принципе (назвав его “архэ”) ввел Анаксимандр, увидевший подобное начало в “беспредельном, безграничном, бесконечном” апейроне. Для Аристотеля принцип — это первопричина, для Декарта — самоочевидная основа всякого мышления и познания (“мыслю, следовательно, существую”), для Канта — конститутивные и регулятивные правила “чистого разума”, для Д. Мура (“Принципы этики”) — методология этических исследований».

Не буду повторяться, что Суворов просто не смог выдержать строгое рассуждение — возможно, было слишком мало места, чтобы говорить точно. Но скорей, это признак не его, а общей для философов слабинки: они играют во внутренние игры сообщества. Эта болезнь началась с попытки Аристотеля создать под именем логики науку не о том, что есть, а о том, как надо правильно думать, чтобы в замкнутом мирке и ограниченных условиях суметь строить строгие, почти математические рассуждения.

Вот с тех пор философы и строят способы рассуждать, присваивая обычным словам свои значения, чтобы однажды создать строгий язык рассуждений. В итоге же это повело к тому, что мы и видим: к распушенности в отношении значений тех слов, что используются, в произвольном навязывании словам обычного языка собственных значений и потере строгости и точности рассуждения.

Если уж Анаксимандр говорил об архэ, так он говорил об архэ, а не о принципе. И это лишь последующие философы «так поняли» Анаксимандра, а заодно и Дао, что там речь идет о принципах. А значит, должны были постоянно добавлять: как мы сейчас понимаем, архэ Анаксимандра можно перевести словом «принцип». Перевести-то можно, вот только на какой язык?

И если этот вопрос появится, то станет ясно, что переводят философы на некий философский эсперанто — урезанный и усредненный язык европейского философского сообщества, который не передает действительных смыслов исходных языков, зато позволяет философам хоть как-то общаться между собой... Философам, не нам!

Тем не менее, статья Суворова очень показательна. По ней видно, как в том сообществе, что правило умами европейцев последние четыре века, развивалось понятие о принципе: от древних греков, особенно Аристотеля, к Декарту, от него к немцам, а потом американцам. Вот кто правил умами в разные эпохи. К сожалению, пропущен Джон Локк, то есть англичане. Он немало внес в развитие этого понятия.

Чтобы опуститься в то время, когда философское сообщество вырабатывало свои понятия о принципах, приведу определение Радлова из его словаря вековой давности. Он звучит уже не так, как современные философы, хотя многое будет узнаваемо и узнаваемо именно в археологическом смысле.

«**Принцип** (*principium*, архэ — начало, или н а ч а л о — обозначает основание какого-либо реального или мыслительного процесса (*principia essendi* и *principia cognoscendi*). В первом значении принцип есть первопричина, во втором — первооснова. Так для мистика Бог есть принцип бытия, для материалиста — материя или атомы, для идеалиста — идеи или монады.

В познавательном отношении принципом называется первая посылка, из которой проистекают выводы, и основание, на котором они покоятся. Так законы логики суть формальные принципы рассуждения, а законы бытия — материальные принципы.

Законы этические суть практические принципы, в отличие от теоретических. Уже в греческой философии понятие принципа (архэ) имело это двойное значение, ибо им пользовались в значении первоначала во времени (откуда все произошло) и начала бытия (из чего все произошло)».

Как видите, у культуры философского произвола существует длительная традиция: принято считать архэ принципом, и что об этом распинаться! Архэ же начало начал, потому что те, кто использовал это слово, были философами. А вот то, что первобытная культура вся исходила из понятия Первоначал или Первообразов, этого философы знать не хотят, потому что тогда придется признать, что тот же Анаксимандр не придумал ничего философического, а просто использовал народное понятие...

Ну, да бог с ней, с узостью мышления сообщества. Сообщества — парни простые, они пекутся только о своем выживании и потому грубы и прямолинейны. Им проще, как детям, присваивать то, что понравилось, и бить тех, кто этому сопротивляется.

Тем не менее, в статье Радлова еще ярче проступила история понятия: в ней видно не только картезианство, но появляется и Лейбниц с его монадами. Видно и все то же наивное хамство дитяти, который закрывает глаза ладошкой и говорит: если я тебя не вижу, значит, тебя нет! Каким образом первая посылка, из которой проистекают выводы, стала не способом рассуждать, а способом познания?

Только одним: так считал Декарт и все его последователи. Им казалось, что они вершина прогресса, и то, как они рассуждают о чем-то, что им казалось действительностью, и есть познание действительности. Это льстило самолюбию и льстит ему во всех последующих коленах философского семейства. Отсюда и психологи относят к познанию множество действий, вроде мышления и памяти.

Но разве способность рассуждать является познавательной? Разве ребенок, который в раннем детстве обладает наивысшей способностью к познанию и действительно познает мир так, как и не снилось нашим мудрецам, рассуждает?

Рассуждение обретается философом как знак качества и преодоления именно детства. Иными словами, обретение способности философского рассуждения — это знак того, что человек разучился познавать...

Но в сторону! Пока важно лишь то, как мы обретали наше понятие о принципах.

Глава 3. Принципы Декарта

Выражения «мои принципы», «принципиальность» и им подобные, как и выражение «идеал», значительно ослабло в последние десятилетия. Им меньше пользуются, быть принципиальным стало не модно. Новое поколение русских людей вообще не признает идеалов и не слишком зависит от принципов. Это ответ на излишнюю идеологизацию общества в советскую эпоху, когда идеалы и принципы правили нашим поведением.

Однако ослабление каких-то разговорных выражений, потеря ими силы и действенности вовсе не значит, что ушли и понятия, скрывающиеся под этими именами. Мы просто их не умеем видеть. Даже проведя понятийное исследование, я так и не смог еще определенно показать, что же имелось в виду под словом «идеал». Точно так же психологические, языковедческие и философские определения слова «принцип» не раскрывают скрывающегося за ним понятия и устройства сознания, которое обеспечивает его работу.

Чтобы действительно понять, что это и как оно действует, надо бы от простонаучного «принципа» идти к латинскому «*principium*», от него к греческому «архэ», а от архэ — к первобытному мифу о Вечном возвращении. Но это если я хочу понять себя. А я пока хочу понять, что же скрывается под именем «принцип» в той культуре, которая захватила Россию с середины девятнадцатого века. Иными словами, о чем кричит Кавелин, когда пишет, что революционно-демократическая свора использует слово «принципы» неверно.

Поэтому я вынужден ограничить себя рамками той эпохи, которая создала это имя для древнего понятия. А эпоху эту можно назвать Новым временем, а можно Научной революцией. И начинается она с той поры, когда Рене Декарт пишет основания для нового способа рассуждать, которые и становятся принципами нового европейского мышления. Пишет он их, отнюдь не продолжая Аристотелевский способ говорить об архэ, а как раз наоборот, воюя с профессорами-аристотеликами.

В сущности, это была та самая война детей против отцов, что описал Тургенев. Декарта отдавали учиться в иезуитский колледж, и он, как Володя Ульянов, обиделся и решил идти другим путем. В итоге он перевернул мир. Значит, ему удалось найти очень действенную точку опоры.

С нравственной стороны суть его метода заключалась в том, что он не хотел говорить так, как предписывали отцы-иезуиты и вся прежняя профессура, сжигавшая, пытавшая и унижавшая любое свободомыслие. Декарт сбежал в Амстердам, который, благодаря протестантской реформации, был только рад любым нападкам на католичество, и оттуда предложил новую моду говорить о мире. Декарт еще верил в бога, но очень скоро его способ привел к «отказу от этой гипотезы», как и от «гипотезы души», и свержению власти Церкви. Завершается он Великой французской революцией 1789 года и Великой Октябрьской революцией 1917 года.

Вторая важнейшая — нравственная — составляющая метода Декарта заключалась в его безнравственности. Объявив задачей Науки чистый поиск

истины, молодые приверженцы Науки тем самым заявляют: нас не интересует нравственная сторона собственных поступков, мы — объективны! Что значит, если вдуматься: мы не субъективны, то есть мы целиком воплощенный метод, у которого нет души и который не более чем рассуждающий автомат, и поэтому нам нечем чувствовать и стыдиться. И не смейте предъявлять к нам человеческие требования, как было во времена господства души.

Так рождаются «горные стрелки» — егерские части Науки, отстреливающие то, что летает выше, чем могут наши тела, в первую очередь, — души.

Вот это и было воплощено в Декартовом методе и, следовательно, и было главным в его понимании принципов. По крайней мере, его сочинения повели к этому, и значит, подобный итог был заложен в исходных посылах. Поэтому я и предупреждаю о том, что его надо помнить, когда читаешь такие невинные на вид строки Декарта о том, как надо искать истину...

Итак, Декарт написал два главных сочинения, в которых излагает и свой метод и рассуждает о принципах. Это «Правила для руководства ума» и «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках». «Рассуждение о методе» было издано Декартом в 1637 году. «Правила для руководства ума» он так и не издал при жизни, хотя писать начал, возможно, еще раньше «Рассуждения о методе».

Именно в «Правилах» Декарт и излагает свое понятие о принципе, которое будет так или иначе заимствовано и переосмыслено последующими европейскими философами. Чтобы понять это «понятие», нужно посмотреть, зачем Декарт его дает. Это становится ясно из Первого правила, которое гласит:

«Целью научных занятий должно быть направление ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются» (Декарт, Правила., с. 78).

Вот предыстория определения принципа. У этой предыстории ощущается своя предыстория, звучит она примерно так: я больше не хочу ничему верить! Старый способ жить по вере больше не пригоден, его нужно заменить на новый. В новом править будет наука, а ценностью будет истина, добытая моим умом, значит, моим рассуждением. Для этого придется обучить ум выносить суждения таким образом, чтобы они не вызывали сомнения за счет очевидности, а способ их вынесения был бы весь доступен проверке разума.

Последнее вытекает из Первого правила и будет сказано Декартом чуть позже. К примеру, в «Правиле втором» он делает движение к очевидности как главному мерилу научной истины:

«Нужно заниматься только теми предметами, о которых наши умы очевидно способны достичь достоверного и несомнительного знания» (Там же, с. 79).

Последующие философы много говорили о несомненности и достоверности научного знания, почему-то упуская, что такое очевидность. Не могу говорить совершенно уверенно, но в рамках моего образования я не в силах

вспомнить исследования, посвященного очевидности. Хуже того, я помню слишком много борьбы философов с психологизмом, которая отсекает саму возможность исследовать очевидность, поскольку этот способ проверки достоверности исключительно психологический.

Между тем, в самой ткани рассуждений Декарта постоянно сквозит зависимость от того, что неистинность надо «видеть глазами»:

«А всякий раз, когда суждения двух людей об одной и той же вещи оказываются противоположными, ясно, что по крайней мере один из них заблуждается или даже не один из них...» (Там же, с. 80).

Это «ясно» — всего лишь условность, из которой Декарт и последующие логики будут исходить, создавая свои способы «непротиворечивого» рассуждения. В нем сквозит механичность, которая в действительности является приверженностью все к тем же математике и логике Платона и Аристотеля. Как испокон веку кажется философам, математика — единственная точная наука, а в логике можно достичь условий, в которых хоть что-то будет точным и определенным, когда мы говорим...

В итоге оба спорщика оказываются для Декарта ошибающимися, а для психолога оказались бы оба правыми... Психолог смотрит на то, в чем образы говорящего соответствуют действительности, а в чем нет, поскольку наши знания о мире никогда не полны, но постоянно уточняются. А для Декарта и философов, живущих в черно-белом мире математических и логических абстракций: если высказывание нельзя приравнять к математической формуле, вроде дважды два четыре, то оно и неверно. А поскольку почти во всех высказываниях людей есть доля неточности, то для Декарта скорее все ошибаются, чем кто-то прав...

Вся эта научная революция описана Гете в одном знаменитом высказывании: *поверить алгеброй гармонию...* Все научные Фаустусы до сих пор пытаются вскрыть природу, как консервную банку, не замечая, что вокруг того места, в которое они уперлись, раскрыто бесконечное число приглашающих нас дверей...

Но, как бы там ни было, Декарт болеет оттого, что люди заблуждаются. Ему надо найти способ, каким можно будет собирать верные суждения. И он уже в объяснениях Второго правила приходит к важности того, что будет названо дальше принципом — к важности основания, из которого разворачивается рассуждение:

«Действительно, любое заблуждение, в которое могут впасть люди (я говорю о них, а не о животных), никогда не проистекает из неверного вывода, но только из того, что они полагаются на некоторые малопонятные данные опыта или выносят суждения опрометчиво и безосновательно.»

Из этого очевидным образом выводится, почему арифметика и геометрия пребывают гораздо более достоверными, чем другие дисциплины, а именно поскольку лишь они одни занимаются предметом столь чистым и простым, что не предполагают совершенно ничего из того, что опыт привнес бы недостоверного, но целиком состоит в разумно выводимых заключениях» (Там же, с. 81-82).

Что называется, приплыли!

Чтобы навязать всему человечеству зависимость от математического языка, Декарт идет на явную подтасовку, утверждая, что заблуждения наши никогда не могут происходить от неверных выводов. В бытовом смысле мы бесконечно часто делаем неверные выводы, и даже животные их делают. К примеру, если хозяин начинает странно плясать перед своей собакой, она лает на него, делая вывод, что это кто-то чужой, поскольку хозяин так себя вести не может... При этом глаза собачьи видят хозяина, данные опыта верны...

Но Декарт говорит не о том, что есть в жизни и действительности. Он уже внутри своей математичности, а там вывод делается так, как предписано правилами, и значит, в выводе там ошибиться невозможно. Не в том смысле, что вывод не может быть неверным, а в том, что нельзя неверно производить само выводящее действие — в шутку сказать, нельзя ошибиться, произнося слова: из этого следует вывод!

Из этого рассуждения Декарта были два пути: можно было изучить, как люди ошибаются и в рассуждениях и в выводах, а можно было уйти в логичность и навязать: чтобы не ошибаться, всегда будем действовать так, как договоримся. Для чего и создадим всеобщий договор ученых по имени Научный метод.

Последнее оказалось проще и заманчивей, чем изучение действительности. И это звучит в Правиле третьем:

«Касательно обсуждаемых предметов следует отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмотреть или достоверным образом вывести, ибо знание не приобретается иначе» (Там же, с. 82).

С одной стороны, это очень верное предложение: не брать на веру то, что сказал какой-то авторитет, а проверять все на соответствие действительности. Но при этом это и отказ изучать, почему другие и я сам думаем так, а вместо этого предписание, что надо сделать, ибо знание не обретается иначе! Обретается, еще как обретается! Особенно если не дать определения тому, что понимаешь под знанием. Поэтому стоило бы уточнить: ибо то, что мне нужно для моих целей под именем знания, обретается только путем логического вывода и его проверки на очевидность.

Как бы там ни было, именно это требование и ведет к определению принципов. Помянув Платона и Аристотеля, а за ними всех их плодящих неясности последователей, Декарт говорит:

«Но чтобы далее нам не впасть в то же самое заблуждение, рассмотрим здесь все действия нашего разума, посредством которых мы можем прийти к познанию вещей без всякой боязни обмана, и допустим только два, а именно интуицию и дедуцию» (Там же, с. 84).

Диковато звучащее для меня допущение, будто бы взятое с потолка или высосанное из пальца Декарта. Но если принять, что кроме всего остального бурного цветения окружающего мира есть и дедуция с интуицией, которые сильно испортили мозги думающей части человечества, рассуждение это очень важное. Дать определения этим понятиям просто необходимо. И Декарт

это делает, — делает, правда, не описывая то, что есть, а опять навязывая то, что ему удобно и необходимо для его задач, как это повелось с Аристотеля:

«Под интуицией я подразумеваю не зыбкое свидетельство чувств и не обманчивое суждение неправильно слагающего воображения, а понимание (conceptum) ясного и внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается совершенно никакого сомнения относительно того, что мы разумеем, или, что то же самое, несомненное понимание ясного и внимательного ума, которое порождается одним лишь светом разума и является более простым, а значит, и более достоверным, чем сама дедукция, хотя она и не может быть проведена человеком неправильно, как мы отмечали ранее» (Там же, с. 84).

Итак, интуиция для Декарта — это понимание ясного и внимательного ума, в сущности, та самая очевидность.

По большому счету, сколько бы ни издевались над Декартом последующие мыслители, от этого нам никуда не уйти. Если речь идет о человеческом познании, то иного способа, кроме понимания нашим же человеческим умом, у нас нет. Ну, может быть, это чуточку сложнее в действительности, и мы можем говорить о восприятии, осмыслении, понимании и чем-то еще, но, по сути, Декарт совершенно прав, и другого просто не дано.

Не прав он в том, что, назвав бесспорную посылку, далее пристраивает к ней неверное рассуждение и делает вывод, который верен только в рамках его рассуждения, но совершенно неверен относительно жизни. Иными словами: дедукция, конечно, не ошибается, она и не может. Ошибается тот, кто в нее играет.

И ошибается, потому что считает, что знает, что такое ясный ум и свет разума. А знает он это, потому что считает лично себя самым умным и думает, что уж его-то ум ясен. Иными словами, и для Декарта и для всех последующих поколений его последователей камнем преткновения была именно ясность или чистота рассуждений, которые они вели. Как ее достичь?

Способов было два: либо построить некую «логику», то есть науку, жестко увязывающую все действия разума правилами, либо его очистить и позволить естественно раскрыть свою способность к интуиции, то есть к простому и однозначному созерцанию явлений действительности.

Декарт избрал загаживать и загрязнять ум правилами... Отсюда родились принципы, которые правят Наукой до сих пор:

«Впрочем, может возникнуть сомнение, почему к интуиции мы добавили здесь другой способ познания, заключающийся в дедукции, посредством которой мы постигаем все то, что с необходимостью выводится из некоторых других достоверно известных вещей.

Но это нужно было сделать именно так, поскольку очень многие вещи, хотя сами по себе они не являются очевидными, познаются достоверно, если только они выводятся из истинных и известных принципов посредством постоянного и нигде не прерывающегося движения мысли, ясно усматривающей каждую отдельную вещь; точно так же мы узнаем, что последнее звено какой-либо цепи соединено с первым, хотя мы не можем обозреть одним взором глаз всех промежуточных звеньев, от которых зависит это соединение, — узнаем, если только

мы просмотрели их последовательно и помнили, что каждое из них, от первого до последнего, соединено с соседними» (Там же, с. 85).

Как видите, это еще не определение, это лишь требование положить в основу всех рассуждений истинные и известные принципы. Теперь было бы важно понять, что это такое.

Глава 4. Принципы Декарта. Продолжение

Итак, Декарт не дает определения принципа, он лишь требует выводить свои суждения *из истинных и известных принципов*.

Это он делает в правиле третьем. А в правиле VII он, похоже, по привычке к неточности высказываний, говорит о принципах иначе. Он называет их *«первыми и самоочевидными»*. Впрочем, возможно, это было описание того же понятия с другой грани. Плохо только, что мыслитель нигде не оговаривает, что истинные и известные принципы равны принципам первым и самоочевидным, поскольку в действительности это вовсе не очевидно. И я даже не знаю, как приравнять одно к другому.

Вглядитесь в оба эти выражения, это будет полезное упражнение. Вглядитесь в общем, и вы поймете, что, когда прочитали их первый раз, поняли, что речь идет об одном и том же. А теперь взгляните пословно и попробуйте понять, что чему здесь равно. Первые принципы — это истинные принципы? Или это известные принципы? А самоочевидные — это то же, что известные? Или истина самоочевидна? Тогда зачем ее выводить дедукцией?

Как только это несоответствие в словах станет заметным, очевидным станет и следующее: мы приравнивали одно определение к другому не потому, что они тождественны, а потому что у нас есть понятие о принципах, и мы по нему узнали, что оба определения относятся к одному и тому же предмету. Могут относиться...

Мы просто узнали это нашим, что ни на есть, самым бытовым умом. И Декарт, и все последующие философствующие логики и враги психологизма узнавали точно так же! Но при этом само рассуждение Декарта — не точно и не строго. Оно — не более, чем намек, чем перст, указывающий на луну. Декарт не знает, что такое принципы, и боится давать им определения. Он крутится возле этого понятия, но не может в него войти. Возможно, это и не удастся никому из философов, но мы хотя бы можем почувствовать это сопротивление понятий нашему познанию, проследив за ходом мыслей Декарта.

Поэтому я продолжу рассказ о том, как развивалось его понятие о принципе.

Декарт выводит его из своего понятия о математике. Выведенное в конце рассуждения о четвертом правиле, оно звучит так:

«Но сознавая свою слабость, я решил в поисках знания о вещах твердо придерживаться такого порядка, чтобы, всегда начиная с самых простых и лег-

ких вещей, никогда не переходить к другим до тех пор, пока мне не покажется, что в самих этих вещах не осталось более ничего из того, к чему следует стремиться» (Декарт, Правила..., с. 91).

Это положение, если использовать Декартовский образ цепи, является звеном, соединяющий понимание принципа как чего-то *истинного и известного* с пониманием его как чего-то *первого и самоочевидного*. Поэтому, если Декарт сам себя не обманул, *самые простые и легкие вещи*, — это тоже одна из черт принципов. Но это рассуждение, в действительности, относится Декартом к математике, примеры которой он постоянно называет самыми простыми для понимания философии.

Мысль его развивается так. В Правиле третьем, говоря об интуиции как способе достигать очевидности, он объясняет ее на примере геометрии. Начало этого рассуждения я уже приводил, но повторю, поскольку именно оно вызовет философское возмущение Локка и породит материалистическую контрреволюцию и все социальные революции, перевернувшие весь мир:

«Под интуицией я подразумеваю не зыбкое свидетельство чувств и не обманчивое суждение неправильно слагающегося воображения, а понимание (сопсертит) ясного и внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается совершенно никакого сомнения относительно того, что мы разумеем, или, что то же самое, несомненное понимание ясного и внимательного ума, которое порождается одним лишь светом разума и является более простым, а значит, и более достоверным, чем сама дедуция...»

Таким образом, каждый может усмотреть умом, что он существует, что мыслит, что треугольник ограничен только тремя линиями, а шар — единственной поверхностью и тому подобные вещи, которые гораздо более многочисленны, чем замечает большинство людей, так как они считают недостойным обращать ум на столь легкие вещи» (Там же, с. 84).

Итак, Декарт вначале усомнился в свидетельствах чувств, что, по сути, означает сомнение в опыте. Я бы сказал: в телесном опыте нашей воплощенной жизни. Это именно то, с чем будет спорить Локк, построив на опыте, добытом с помощью телесных органов чувств, всю новую философию Европы.

А затем он называет то, что считает очевидным и бесспорным. И, как видите, первым стоит именно главная мысль всего картезианства: достоверно то, что я мыслю. Стоит она в этой работе как-то невнятно и неприметно, зато очень ярко, так что бросается в глаза, показано, что геометрические понятия очевидны и бесспорны.

Это как раз натяжка. К тому же, это разные примеры, примеры разного качества. То, что я мыслю, — итог работы некоего чувства, итог восприятия, близкого к телесным чувствам, хотя и иного. А вот то, что треугольник — это фигура, ограниченная тремя линиями, — не более, чем договор людей, образ. Его мы, правду сказать, тоже воспринимаем или созерцаем в своем сознании с помощью некоего чувства, но Декарт как раз об этом и не говорит. Для него самоочевидно именно то, о чем договорились. И это ловушка для всей последующей философии.

Геометрические, математические или логические понятия — полнейшие условности, вообще не существующие в действительном мире. Они таковы только потому, что мы договорились говорить определенным образом, дав этим образам определения, которые каждый раз и подразумеваем, называя имена понятий. Никакого иного существования, кроме договорного, у этих понятий и правил нет. Как нет сейчас тех понятий и правил, которыми жили древние общества, вроде инкского, вавилонского или неандертальского. Хотя способность видеть эти понятия была тогда и есть сейчас, поскольку она — действительность.

Однако договоры проще действительности, они же крошечные, их хоть как-то можно удержать в памяти, которой, кстати сказать, Декарт уделяет немало внимания в своих трактатах. Поэтому это основание его философии победило и его и его последователей. Впрочем, Декарт не так уж прост и однозначен в отношении математики. В Четвертом правиле он объясняет свое отношение к ней. Делает он это, изложив свой метод:

«Под методом же я разумею достоверные и легкие правила, строго соблюдая которые, человек никогда не примет ничего ложного за истинное и, не затрачивая напрасно никакого усилия ума, но постоянно шаг за шагом приумножая знание, придет к истинному познанию всего того, что он будет способен познать» (Там же, с. 86).

Сказав, что метод этот чрезвычайно прост, он заявляет дальше, что допускает, что этот метод «был некоторым образом постигнут уже прежде более сильными умами, хотя бы под руководством одной лишь природы», поскольку познавать таким образом, добавил бы я, естественно для нас. Почему?

Ответ Декарта — неожиданный для современного человека, окончательно пораженного естественнаучностью. Кстати, и это утверждение Декарта вызвало возмущение Локка:

«Ведь человеческий ум заключает в себе нечто божественное, в чем были посеяны первые семена полезных мыслей...»

Это мы замечаем в самых легких из наук — арифметике и геометрии...

«Однако эти две науки являются не чем иным, как появившимися сами собой плодами, взревшими из врожденных начал данного метода...» (Там же, с. 87).

Так у Декарта рождается иное имя для принципа — Начало. И даже Врожденное начало. Именно для рассказа о них Декарт и использует математические понятия. Но и они для него лишь способ говорить о чем-то более сущностном:

«И хотя здесь я буду много говорить о фигурах и числах, поскольку ни в каких других дисциплинах не могут быть почерпнуты примеры столь же очевидные и столь же достоверные, тем не менее всякий, кто будет внимательно следить за моей мыслью, легко заметит, что ни о чем я не думаю здесь так мало, как об общепринятой математике, но излагаю некую другую дисциплину, такую, что упомянутые науки являются скорее ее покровом, нежели частями.»

«Ведь эта наука должна содержать в себе первые начала человеческого рассудка и достигать того, чтобы извлекать истины из какого угодно предмета...» (Там же, с. 87-88).

Математика нужна Декарту затем, чтобы выявить Первые начала. Чего? Нашего рассудка или разума.

Принцип — это не что-то сущее в природе, это что-то сущее в нашем разуме. Но разум думает, значит, это всего лишь основания для работы разума, основания, на которых строится наше думание и мышление...

Но если принять, что мы ведем себя так, как уложено в нашем сознании образами, мы строим себя, как личности, образами, то есть тем, что придумали, то получается, что в каком-то смысле принципы — это основы, из которых я строю себя как общественное существо, как существо культуры, отличное от существа природного.

Принципы — это самая основа, корни того, что мы зовем Человеком, хотя оно и могло бы быть животным или Богом.

Именно их пытается понять Декарт сквозь математику, что, кажется, не рассмотрели многие из его последователей:

«И действительно, нет ничего более бессмысленного, чем заниматься голыми числами и воображаемыми фигурами...», ибо они *«относятся больше к зрению и воображению, чем к разуму»...*

Древние же, похоже, знали некую иную математику, за которой скрывались *«первые семена истин»* и которая позволяла им познавать *«истинные идеи философии»...*

И ведь верно, пифагорейцы, от которых брал математику Платон, жили еще в той среде, где числа не были обозначениями единиц счета и меры, а были именами богов, как гласит мифология... Впрочем, это уже совсем иная тема.

Пока мне важно лишь то, что, по сути, Декарт говорит про математику, уже поразившую умы его современников, затем, чтобы обратить их к тому, чего они не замечают, поскольку *считают недостойным обращать ум на столь легкие вещи*, а именно, к первой и неприметной части своего утверждения: достоверно то, что *он существует, что мыслит...* Им проделан огромный путь, если взглядеться!

Вот это Начало или Основание, а значит, Принцип рассуждения он и будет развивать во всех своих философских трудах, начиная с «Рассуждения о методе». Там он звучит так:

«Таким образом, поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии ..., то я, считая и себя способным ошибаться не менее других, отбросил как ложные все доводы, которые прежде принимал за доказательства».

Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решил представить себе, что всё когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов».

Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы

я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии» (Декарт, Рассуждение, с. 268-269).

Так родился Первый принцип всей Европейской философии Нового времени.

От этого корня или точки отсчета можно было пойти либо к тому, что действительного мира нет, поскольку есть лишь мои представления, а я живу отделенным от действительности пленкой впечатлений. Либо к тому, что мы — это отклик на эту действительность, набор впечатлений, полученных из опыта... Беркли пошел в сторону «идеализма», Локк — в сторону «материализма»...

Но все философы воевали с «психологизмом», из которого исходил Декарт:

«Из этого я узнал, что я — субстанция, вся сущность, или природа, которой состоит в мышлении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое я, душа, которая делает меня тем, что я есть, совершенно отлична от тела, и ее легче познать, чем тело; если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть» (Там же, с. 269).

Как последовательно, как кажется, выводится: если то, что мыслю, достоверно, то я есть субстанция, природа которой состоит в мышлении...

И как непоследовательно навязать всем мнение, что Я и есть душа!

Но не важно. Психологизм Декарта — это то, что и привело к полному изгнанию души из нашего мира. Поэтому взглянемся в то, как сложилась ловушка философизма.

Декарт еще не обладает знанием того, о чем говорит, он лишь создает это знание, пробиваясь сквозь сложности самопознания. Поэтому многое высказанное им должно бы было переосмыслиться по мере обретения опыта и тех самых знаний. Сам он не нашел на это сил, отдав остаток жизни продвижению своих революционных воззрений. Последователи, похоже, спорили, но не шли дальше. Возможно ли с высоты наших сегодняшних знаний, если она, конечно, действительно высота, оценить сделанное Декартом наблюдение? Попробуем.

Поскольку Декарт ищет Первооснову или Начало, он сомневается во всем, будто Дант, бродящий во мраке в чаще леса. Он сомневается даже в самом себе и во многих других очевидных вещах. Это болезнь самопознания. В итоге он впадает в крайности. И говорит об очевидных и естественных вещах, будто закликает мир вокруг себя замереть на мгновение и стать твердым и плотным, чтобы можно было на него опереться.

Однако, человеку просто живущему нет смысла сомневаться ни в том, что мир есть, ни в том, что он сам живет в этом мире, ни в том, что этот мир ставит перед ним множество задач. Даже если когда-то, когда он дос-

тигнет просветления, он поймет, что весь этот мир был сном, все же этот сон был его действительным миром, а задачи, которые он ставил, все равно приходилось решать. И пока он не познает себя до этой глубины, сомнения неуместны.

Я есть, я думаю, я воспринимаю мир, и для этого у меня есть возможности. Какие? Можно сказать кратко: психологические. Точнее: я получаю впечатления о мире с помощью органов моих чувств — не только телесных, но это сейчас не важно. Из них я делаю образы, которые становятся моими представлениями о мире и действительности. Именно об этом говорит Декарт, когда сомневается в том, что есть вещи такие, как они ему представляются. В чем же он сомневается? В вещах?

Нет, конечно. Он попросту сомневается в образах. Он как раз пришел от восхищения математической и геометрической очевидностью к пониманию того, что их знаки — не более, чем договоры, а значит, образы, которые не могут существовать без меня. И сомневаться надо не в вещах, а в том, что я их знаю.

Но это неуместное сомнение, потому что исходно ясно: мы не можем схватить суть вещей сразу, мы познаем их постепенно, увеличивая свое знание. Значит, мы никогда не знаем вещь до конца, мы лишь в движении к этому знанию. Но мы знаем ее достаточно для нашего выживания. И это важно!

Важно и для людей, которые живут. Важно и для прикладного психолога, который им помогает решать их задачи. Действительный мир — это не тот мир, который прозревается с силой божественного ума, а тот мир, в котором мы действуем. Действительная задача — это не задача просветления, а задача, позволяющая пройти очередное препятствие к просветлению. Иными словами, действительными задачами являются не Окончательные задачи, а задачи Действия. И поэтому мы действуем, исходя из того, что знаем своим миром, а не исходя из Начал.

Начала нужны для решения Окончательных задач. Нам же нужно знание себя, извлекаемое из того заблуждения, в которое мы попадаем сейчас.

Заблуждение, до которого смог поднять человечество Декарт, заключалось в приравнивании Я к душе, а души — к способности мыслить. Именно это и стало Основанием, на котором строилась вся последующая философия Европы. Строительство это началось с попытки разрушить. Сделал ее Джон Локк.

Глава 5. Принципы Локка

Через полвека после того, как Декарт выпустил «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках», в 1686 году английский медик, политик и чиновник **Джон Локк (1632–1704)** издает сочинение, которое призвано было разгромить философию Декарта. Называлось оно «**Опыт о человеческом разумении**».

То, что сочинение это было антиплатоническим и антикартезианским, доказывать не буду, просто приведу выдержку из работы советского философа И. Нарского, издавшего его в Советском Союзе:

«Но Локк атакует также гносеологический нативизм сторонников Декарта, и антикартезианская направленность его критики видна во второй книге “Опыта...”»

«Конечно и у Декарта, и у Лейбница врожденные идеи были не только реликтом средневекового мирозерцания, но и проявлением их великой веры в мощь человеческого разума, однако это не дезориентировало материалиста Локка в определении направленности его критического пафоса. Во всех случаях это была критика в адрес идеализма» (Нарский, с. 24).

Как пишет Нарский, Ленин считал Локка одним из наших, извините за шутку... Но шутка эта весьма условная, поскольку и французские просветители благоговели перед Локком, считая, что он очень помог им пустить кровь любимой Отчизне. Так что революционеры должны считать его «Опыт» фундаментальной теорией своего жестокого дела. По крайней мере в той его части, что относится к уничтожению души...

Но меня интересует, как Локк понимал принципы, и как это сказалось на нашем сегодняшнем использовании этого понятия.

В сущности, весь «Опыт» начинается с главы, названной «В душе нет врожденных принципов». Глава эта, правда, считается у него второй. Но первая называется «Введение». Поэтому начну с Введения, чтобы было понятно, из чего он исходит в рассуждении о принципах. А исходит он сразу из тех положений, что заложил Декарт. К примеру, в «Разыскании истины путем естественного света», он устами Евдокса «указывает порядок, которого следует придерживаться» в философии:

«Следует начать с разумной души, ибо именно в ней пребывает все наше знание...» (Декарт, Разыскание, с. 160).

Локк начинает в пункте первом с того, что делает предметом своего исследования «разумение»:

«Разумение, подобно глазу давая нам возможность видеть и воспринимать все остальные вещи, не воспринимает само себя; необходимы искусство и труд, чтобы поставить его на некотором отдалении и сделать его собственным объектом» (Локк, с. 91).

А в пункте втором объявляет свою «Цель»:

«Так как моей целью является исследование происхождения, достоверности и объема человеческого познания вместе с основаниями и степенями веры, мнения и согласия, то я не буду теперь заниматься физическим изучением души...

Для моей настоящей цели достаточно изучить познавательные способности человека, как они применяются к объектам, с которыми имеют дело. И мысли, которые я выскажу при этом случае, я буду считать не совсем бесполезными, если при таком историческом, ясном методе сумею дать некоторые сведения о путях, какими наш разум приходит к имевшимся у нас понятиям о вещах...» (Там же, с. 91-92).

А в пункте третьем «Метод» добавляет:

«Во-первых, я исследую происхождение тех идей, или понятий (или как вам будет угодно назвать их), которые человек замечает и сознает наличествующими в своей душе, а затем те пути, через которые разум получает их» (Там же).

Вот из стремления понять, как «идеи» приходят в душу, и рождается первая глава «Опыта» «В душе нет врожденных принципов». Она тоже разбита на пронумерованные отрывки, подобные звеньям той цепи рассуждений, что описывал Декарт.

И начинается все это с сомнения в Декарте, в котором и появляется слово «принцип»:

«Указать путь, каким мы приходим ко всякому знанию, достаточно для доказательства того, что оно неврождено».

Некоторые считают установленным взгляд, будто в разуме есть некие врожденные принципы, некие первичные понятия... так сказать, запечатленные в сознании знаки, которые душа получает при самом начале своего бытия и приносит с собою в мир» (Там же, с. 96).

Это нападение не только на Декарта, но и на Платона, на его мысли, высказанные в «Федоне», «Федре» и «Меноне», суть которых примерно такова: души способны припоминать то, что знали до воплощения, потому что «до того, как им довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом».

Способ опровержения, как вы видите, совершенно «платонический» надо припомнить, откуда у тебя это припоминание, и станет ясно, что оно земное... Похоже, мысли, что случайно припомнишь что-нибудь из иных миров, Локк исходно не допускал просто потому, что отгонял как наваждение. Что ж, при такой исходной убежденности никакое исследование, как вы понимаете, невозможно... Мы присутствуем на несправедном судилище над человеческой душой!

Но это к слову. Главное, что в этом высказывании Локк, в сущности, дал определение своему пониманию **принципа**. Это — **некое первичное понятие, запечатленный в душе знак, который душа приносит с собою в телесное воплощение с Небес, то есть из мира душ...**

Прекрасное определение, поскольку оно позволяет объяснить, почему же принципы так действенны, когда речь заходит о человеческом поведении. Мы, вероятно, неосознанно ощущаем их тем, что спасет наши души, как меты пути домой, и потому боимся предавать, ибо это будет предательством души.

Если это так, то принципы — очень психологическое понятие! И непонятно, как психология могла существовать без него.

Далее Локк не делает больше попыток дать определение самому понятию о принципах. Он занят лишь одним: доказательством того, что их нет, и делает это посредством логики, то есть не наблюдая за тем, что есть, а доказывая путем выстраивания непротиворечивых доводов. Примерно так:

«...мне кажется чуть ли не противоречием утверждение, будто есть запечатленные в душе истины, которых душа не осознает или не понимает...

Если, стало быть, у детей и идиотов есть разум, есть душа с отпечатками на ней, они неизбежно должны осознавать эти отпечатки и необходимо знать и признавать эти истины. Но так как они этого не делают, то очевидно, что таких отпечатков нет.

Ибо если они не есть понятия, запечатленные от природы, то как они могут быть врожденными? И если они есть понятия запечатленные, то как могут они быть неизвестными? Утверждать, что понятие запечатлено в душе, и в то же самое время утверждать, что душа не знает о нем и еще никогда не обращала на него внимания, — значит превращать этот отпечаток в ничто» (Там же, с. 97-98).

Логик! Так и хочется сказать: умный мальчик! И добавить: есть много на земле, мой друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам!... Попросту, болтун. Из тех, что двигали толпы на убийства и разрушения, оболванивая умы «логичным и очевидным».

С точки зрения сегодняшнего понимания бессознательного, Локк просто недоумок, а весь его «Опыт» — бред, поскольку вырастает из ложного исходного посыла.

Но вот ведь фокус и чудо: вся последующая философия, не только революционная, вырастает из его иллюзорной логичности. Очевидно: то, на что замахнулся Локк, нельзя опровергать логикой, это надо бы было наблюдать, то есть брать из опыта, как он и требовал. Но требовал он одного, а делал — другое!

Он требовал отказаться от понятия о врожденных знаниях души, потому что может из опыта доказать, что все знания нашей души имеют земное, то есть опытное происхождение. Но не делает этого! А делает одно: строит логистические, а порой софистические словосочетания, громоздя их одно на другое. И это покоряет умы последователей... Почему?

Не знаю настоящей причины, но для себя считаю: потому что так удавалось доказать, что Знаков пути, по которым душа может вернуться из этого ада к себе домой, не существует. И их и дорогу не стоит искать...

Глава 6. Принципы Лейбница

Готфрид-Вильгельм Лейбниц (1646–1716) был, как о нем говорили, чрезвычайно разносторонним гением или ходячей академией. Он писал и о математике, к примеру, создал понятие о бесконечно малых величинах, и об истории, и о праве, но запомнился все же как философ. Хотя философы той поры, когда еще шла война за отказ от души, были в той же мере и психологами. Петр Первый предлагал Лейбницу переезжать в Россию, чтобы создавать Российскую академию наук...

В начале двадцатого века Эрнест Радлов писал о главной заслуге Лейбница перед философией:

«Исходною точкою философии Лейбница был рационалистический дуализм Декарта, строго разграничивающий протяженную материю от мыслящего субъекта. Чтобы уничтожить дуализм, нужно было найти сближение между мыслью и протяжением. Идея бесконечно малого послужила Лейбницу для этой цели.

С одной стороны он критикою идеи материи показал, что сущность ее не может заключаться в протяжении, а состоит в силе, энергии; протяжение же есть лишь распорядок вещей (ordo rerum) результат деятельности силы; с другой стороны, введя понятие бессознательного в объяснение душевной жизни, показав, что сознание имеет бесконечное множество степеней, Лейбниц этим самым подвел явления сознания под те же самые понятия силы, деятельности, энергии.

Эта идея и составляет центральную точку философии Лейбница» (Радлов, Философский словарь).

Лейбниц создал понятие о бессознательном. Это его важнейшая заслуга перед психологией. Сделал он это в ответ как раз на те утверждения Локка, которыми тот опровергал Декарта, утверждая, что врожденных идей в душе быть не может именно потому, что мы осознаем все, что в ней есть.

Лейбниц, живя на развалинах некогда Великой римской империи германского народа, ощущал себя провинциалом, вроде современных русских интеллигентов, и потому внимательнейше следил за всем светом, что изливался с Запада, то есть из Франции и Англии. Там его презирали, но он не унывал и старательно переписывался со всеми знаменитостями, какие только согласны были ему отвечать. Ни Гоббс, ни Локк, кажется, не снизошли до него, несмотря на все его попытки.

Локк начал работать над «Опытом о человеческом разумении» около 1671 года и к 1686 году его завершил. Издать удалось только в 1690. Тем не менее, Лейбниц познакомился с основными идеями «Опыта» уже в 1688 году, сразу после издания его в сжатом изложении во Франции в восьмом томе «Всеобщей библиотеки». Естественно, в 1690 году он тщательно изучил полное издание и, судя по всему, основные рассуждения знал на память. Писал об «Опыте» Локку, но тот ему не ответил...

Тогда Лейбниц решил ответить заочно, и в 1703–1704 годах написал «Новые опыты о человеческом разумении», которым придал литературную форму диалога, вроде Платонического или Декартовского, в котором себя вывел под именем Теофила, а Локка — под именем Филалета. Лейбниц опровергает Локка и опровергает умно и доказательно, что тем легче, чем слабее были сами исходные положения, а точнее, убеждения Локка. Но в 1706 году Локк умирает, и Лейбниц отказывается публиковать свое опровержение Локка посмертно...

Лейбниц был благородным человеком, но это его личные качества, никак не уменьшающие силы воздействия его философии на нашу жизнь и поведение. Поэтому я считаю для себя вполне возможным разбирать взгляды философов и после их смерти.

Итак, «Новые опыты» начинаются прямо с того, что для Локка оказалось разговором о принципах. Первая книга «Новых опытов» называется «О врожденных понятиях», и начинается она в особом мире, где сошлись Декарт, Локк и Лейбниц:

«Живя некогда в Амстердаме рядом друг с другом, мы оба очень охотно исследовали принципы и способы проникновения в сущность вещей...» (Лейбниц, Новые, с. 70).

Тут же он описывает исходное состояние философии Локка:

*«В общем он придерживался системы Гассенди, по существу тождественной с системой Демокрита. Он стоит за пустоту и атомы; он думает, что материя могла бы мыслить; что не существует врожденных идей; что наш дух есть *tabula rasa* и что мы не всегда мыслим; и он, кажется, склонен признать большую часть возражений Гассенди Декарту»* (Там же, с. 71).

О французском философе, вначале стороннике, а потом противнике Декарта, Гассенди, мне рассказывать не хочется. Что же касается Локка, то он не просто философски, но и из личного тщеславия гордился знакомствами как с властью имущими, так и с французскими философами. Коммунистически настроенный И. Нарский, естественно враждебный всему духовному, и даже картезианству, признающему душу, пишет:

«Локк познакомился с картезианцами и окончательно утвердился в мысли, что схоластическая философия отжила свой век. Важным стимулом к продолжению работы над “Опытом...” стали встречи Локка с Жилем де Лонэ и Франсуа Бернье — приверженцами материалиста-сенсуалиста Пьера Гассенди, умершего в 1655 году, когда Локк был в Оксфорде. Еще тогда от Роберта Бойля Локку были хорошо известны идеи Гассенди, теперь же он встретился с непосредственными учениками французского материалиста» (Нарский, с. 7-8).

Лейбниц противопоставляет Локку свою «систему», в которой попытался всех примирить: *«Система эта соединяет, по-видимому, Платона с Демокритом, Аристотеля с Декартом, схоластиков с современными мыслителями»* (Лейбниц, Новые, с. 72). Но идет дальше их, лишь предполагая, что истина не может лежать ни в одной из крайних точек зрения. «Система» эта, как мы понимаем, была его «Монадологией», в которой, как он считал, ему удалось объяснить в рамках «предустановленной гармонии» *«...каким образом законы природы ... вытекают из сверхматериальных принципов, хотя все в материи происходит механическим образом»* (Там же).

Это значит, что весь последующий спор пойдет о принципах. И хотя Лейбниц не дает прямого определения самому понятию принципа, но уже из сказанного ясно, что спор о принципах — это спор о душе и ее бессмертии, а значит, — это важнейший спор Нового времени, потому что Наука совершала все свои революции именно на этой точке опоры, точнее, выбивая ее из под ног и тех, кто правил миром, и тех, кто шел на баррикады...

Быть принципиальным — это не предавать своей души. И плевать, что такое принципы, для психолога важнее понять, что такое **принципиальный человек**, потому что это человек, который не предаст себя, а значит, обладает

очень определенным поведением, в отличие от человека *беспринципного*, который, условно, по Локку, живет в ответ на внешние раздражители...

Далее повествование строится как обсуждение Теофилом и Филалетом «Опыта» Локка. Я выбираю из него только то, что относится собственно к принципам. Итак, Филалет, представляющий Локка, заявляет исходное положение философского спора. Но поскольку за ним стоит все-таки не Локк, а Лейбниц, то звучит он так, чтобы сразу стало видно, насколько уязвима и даже смешна позиция Локка:

«Что касается происхождения идей, то я вместе с этим автором и многими учеными людьми полагаю, что не существует врожденных идей, равно как и врожденных принципов.

Для опровержения заблуждений тех, кто допускает существование врожденных идей и принципов, достаточно показать — как это будет сделано в дальнейшем, — что в них нет никакой нужды, и что люди могут приобрести все свои знания без помощи каких бы то ни было врожденных впечатлений» (Там же, с. 74-75).

Лучше всего это детское хамство высмеял Чехов в «Письме ученому соседу»: *и вообще, зачем на солнце пятны, когда и без них можно обойтись!?*

Какое принципам дело до того, нужны ли они прыщавому английскому мальчишке, чтобы пробраться на государственную должность? Но вот другим людям, которые хотели пробраться на подобные должности и захватить власть во Франции, а потом и России, оказалось очень важно, чтобы принципов не было. Почему-то, если разрушить принципы как понятие, легче разрушать и мир и общество... Не потому ли, что на них стоит человеческая нравственность?

На это нагловатое заявление Лейбниц отвечает устами Теофила:

«Вы знаете, Филалет, что я с давних пор придерживаюсь другого взгляда, что я всегда был и остаюсь теперь сторонником учения о врожденной идее Бога, защищаемой Декартом, а следовательно, и других врожденных идей, которых мы не могли получить от чувств. Теперь под влиянием новой системы я иду еще дальше и думаю даже, что все мысли и действия нашей души вытекают из ее собственной сущности и не могут ей быть сообщены, как Вы это увидите в дальнейшем, чувствами» (Там же, с. 75).

И далее Лейбниц начинает последовательно разрушать очарование Локковского сочинения. В сущности, возражения его при всей их разносторонности, всегда подразумевают, что Локк, подобно незрелому юнцу, попался на крючок исключительности и ради красного словца, так сказать, не пожалел ни мать, ни отца. Или, как говорят французы, вместе с водой выплеснул и ребенка. Попросту, он не провел достаточного исследования того, что так яростно защищал в своем трактате. Это, если помните, видно в первых же строках «Опыта», которые Локк начинает не как исследователь, то есть от наблюдений за действительностью, а как политический оратор — с убежденности, равной вере, от которой ни за что не откажется и даже постарается ослепить себя.

«Но очень похвальное само по себе рвение завлекло, кажется, нашего автора слишком далеко в другую сторону. Он, по-моему, не провел достаточно различия

между происхождением необходимых истин, источник которых находится в разуме, и происхождением фактических истин, которые мы получаем из чувственного опыта...» (Там же, с. 76).

Это очень важное для нас положение, высказанное Лейбницем, будет иметь свое развитие у Канта и, в сущности, является основанием для любой этики. Чуть дальше Лейбниц разовьет его до узнаваемого вида.

«Филалет. ... Признаюсь, ... что нет более распространенного мнения, чем положение, согласно которому существуют известные принципы, принятые всеми людьми за истины; вот почему они называются общепринятыми понятиями...; отсюда заключают, что эти принципы должны основываться на впечатлениях, получаемых нашими душами вместе с существованием.

Но если бы даже был установлен факт, что существуют принципы, относительно которых согласен весь человеческий род, то это всеобщее согласие не доказывало бы все же, что они врождены...

Но гораздо хуже то, что этого всеобщего согласия вовсе не существует, его нет даже по вопросу о двух знаменитых умозрительных принципах (о практических принципах мы будем говорить впоследствии)» (Там же).

Как это очевидно, речь идет о том, что Кант будет развивать как критику Чистого и Практического разумов. То есть как исходные принципы разума и как правила, которые руководят нашим поведением в жизни.

Но еще важней для утверждения научного подхода к действительности опровержение веры, которое скрыто звучит в этих строках. И Теофил, что переводится с греческого как Любящий Бога, согласен не принимать веру в качестве признака или доказательства божественности:

«Я не основываю достоверности врожденных принципов на всеобщем согласии» (Там же), — заявляет он и дальше произносит слова, которые многое подсказывают психологу:

«...легкость, с какой люди принимали это учение, объясняется естественной склонностью их души» (Там же, с. 77).

Имеется в виду учение о боге. Но это лишь пример, дальше идет наблюдение, которое нельзя не учитывать, поскольку он разъясняет, что такое естественная склонность наших душ и как ее наблюдать:

«Но мы покажем в дальнейшем, что полученное извне наставление только возбуждает то, что заключается в нас. Словом, я прихожу к выводу, что наличие довольно общего согласия между людьми есть признак, но не доказательство существования врожденного принципа; точное же окончательное обоснование этих принципов заключается в доказательстве того, что их достоверность основана лишь на том, что заключается в нас.

А в ответ на Ваше возражение против общепринятости двух великих, наилучше установленных умозрительных принципов я скажу Вам, что если бы они даже не были известны, то все же они не перестали бы быть врожденными, ибо их признают, едва лишь только о них услышат» (Там же).

Принципы, о которых распорились мудрецы, в действительности, можно назвать логическими: «все, что есть, есть» и «невозможно, чтобы

одна и та же вещь в одно и то же время была и не была». Но логика в данном случае оказывается не тем, что написал Аристотель как правила для мышления, а тем, что подразумевает древнегреческое слово «логос» — описанием работы или устройства разума. И если разум приносит с собой душа, то мы определенно можем наблюдать, как само ее устройство принимает что-то, а чему-то сопротивляется:

«Но я прибавлю еще к этому, что по существу все знают их и что ежеминутно пользуются, например, принципом противоречия, не имея его в виду отчетливым образом. Не найдется такого невежды, который в серьезном для него деле не был бы возмущен поведением противоречащего себе леуна. Таким образом, этими принципами пользуются, не отдавая себе в этом отчета» (Там же).

Я не знаю, прав ли Лейбниц, считая принцип непротиворечия врожденным. Возможно, он есть лишь естественное отражение действительного мира в нашем сознании и тоже обретается нами из опыта. Важно другое: во-первых, для того, чтобы утверждать, что врожденных принципов нет, надо исследовать не свои мысли, вычитанные из книг, а уйти на такую глубину собственного сознания, где книжности не остается и следа. А для этого над собой надо поработать!

Во-вторых, Лейбниц однозначно опровергает этим возражением утверждение Локка, что мы должны осознавать все, что запечатлено в нашей душе. Но дальше это опровержение продолжается, и опять Локк скрыто высмеивается Лейбницем за мальчишескую поспешность и недалекость:

«Филалет. То, что Вы говорите об этих потенциальных знаниях и этих внутренних пропусках, меня удивляет, так как утверждение, что в душе имеются запечатленные истины, которых она совершенно не осознает, кажется мне настоящим противоречием.

Теофил. Если вы держитесь этого предрассудка, то я не удивляюсь тому, что Вы отвергаете врожденные знания. Но меня поражает, как Вам не пришло в голову, что мы обладаем бесконечным множеством знаний, которые мы не всегда осознаем, даже когда нуждаемся в них; память хранит их, а воспоминание часто, но не всегда предоставляет их нам в случае нужды.

Это имеет удачное название “вспоминать”, так как воспоминание требует некоторой помощи. И действительно, если учесть все огромное количество наших знаний, то должно быть нечто побуждающее нас извлечь из них одно какое-нибудь предпочтительно перед другими, потому что невозможно думать отчетливым образом одновременно обо всем том, что мы знаем» (Там же, с. 78).

В сущности, это великое возражение. По крайней мере, для психолога и тем более прикладника. Почему?

Да потому что в нем сказано, что лишь содержания нашего сознания не дают нам помнить или видеть то, что хранится в наших душах. Включая и то, что они помнят из прежней своей жизни. И содержаний этих так много, что от них стоит шум и смрад, как в грязном кабаке, сквозь которые почти невозможно пробиться к тому, что поет на возвышении нездешним голосом маленькая девочка в белой одежде... Девочка по имени душа...

Спор Лейбница с Локком занимает целый том, но главное сказано в этой первой главе. И главное это: желающий вернуть свою душу однажды услышит ее голос... и тогда, это уж я добавлю от себя, он будет потрясен сначала тем, как мог его не слышать, а потом тем, что слышал его всегда!..

Глава 7. Принципы Канта

Если Лейбниц лишь заявляет различие между умозрительными и «практическими», то есть жизненными, нравственными принципами, то Кант посвящает обоим видам принципов два своих главных исследования в рамках критической философии.

В «Критике чистого разума» он дает общие определения как умозрительных принципов, то есть принципов чистого разума, так и принципов практических. А потом начинает с исследования «основоположений» или принципов «Критику практического разума», превращая ее в философскую основу любой этики, как прикладной науки.

Чем это важно для нас как прикладных психологов? В сущности, как раз тем, что заставило Кавелина считать Канта основателем современной психологии, наряду с Локком. Локк дал основания для сенсуализма, а в сущности, для физиологической психологии. Кант — для этической психологии, то есть для психологии поведения.

Правда, работы Канта еще не объясняют, как из понятия «принцип», в значении первоосновы или чего-то главного, родилось русское слово «принципиальный», целиком относящееся к определенному поведению. Этот понятийный скачок происходит чуть позже. Думаю, благодаря тому возмущению духа и умов, что происходит в Европе после Наполеоновских войн. А значит, во времена Шеллинга и Канта, если не забывать, что уже в 1844 году Белинский вовсю порицает русских людей за приверженность «принципам, в к которых воспитывались».

Русские люди пушкинской поры были, как Ленский, томными и геттингенскими, либо, как Онегин — аглицкими дэнди, как Байрон. И пока не ушло поколение тех, кто воевал, общественной нравственностью высшего сословия заправляли бретеры — жрецы смерти, устраивающие дела чести через дуэль. Запад же вливался в Россию через две двери: университет и трактир.

Думаю, именно в этой среде — полурусской, полузападной — и рождается принципиальность, о которой говорит Кант. Принципиальность не в том старом значении, в каком она появилась у нас в петровско-лейбницеvские времена, а в значении новом, в значении поведенческом, что начинается для нас с Канта.

Итак, 1781 год, Вторая книга «Критики чистого разума», Раздел второй — Трансцендентальная диалектика, О чистом разуме как источнике трансцендентальной видимости... Чарующие строки! Я ничего в них не понимаю, но понимаю, что они должны были зачаровывать даже их создателя!

К счастью, сам раздел начинается простой главой: **О разуме вообще.**

Простой по названию. Читать Канта в этой части не просто, но зато потом можно будет самим собой гордиться! Так не Москва ль за нами! Тем более, что мне надо выбрать лишь то, что относится к принципам.

«В первой части своей трансцендентальной логики мы определили рассудок как способность давать правила; здесь мы отличаем разум от рассудка тем, что называем разум способностью давать принципы» (Кант, Критика чистого разума, с. 218).

Разум от рассудка в русском языке отличается однозначно, и поэтому кажется, что утверждение Канта очевидно. Это не так. Так это лишь в переводе на русский. Что в действительности Кант говорит на немецком, я не знаю и не рискну с моим знанием немецкого разбираться. К тому же Кант не слишком страдает скромностью и не идет вслед за родным языком, а сам сообщает, что он будет называть разумом не разум, а то, что посчитает разумом. Поэтому все это заявление надо читать наоборот: не разум есть способность давать принципы, а способность давать принципы Кант называет разумом, и этот канто-разум не надо путать с разумом.

Вопрос еще, что значит «давать принципы»?

Скорей всего это означает, что, рассматривая себя внутренним взором, мы обнаруживаем некое место, где хранятся принципы, и это место мы можем назвать разумом. Или же иное: что мы можем избрать нечто основой для своего поведения или мышления и присвоить этому значение принципа. И это делается канто-разумом.

Сам Кант пишет дальше о том, что понимает под «принципом». Но вытащить из этого определение будет стоить немалого труда понимания.

«Термин принцип имеет двоякий смысл и обычно обозначает лишь такое знание, которое можно применять как принцип, хотя само по себе и по своему происхождению оно вовсе не принцип» (Там же).

Правда, вам нравится эта поэзия? Думаю, что он хотел сказать, что слово принцип часто используют не по назначению, называя так совсем иные вещи. И все же связь принципа со знанием для Канта очевидна, потому что «знание можно применять как принцип»... Пока только на заметку.

Далее Кант это объясняет:

«Всякое общее положение, хотя бы оно было заимствовано даже из опыта (путем индукции), может служить большей посылкой в умозаключении; но это еще не означает, что оно само есть принцип» (Там же, с. 218-219).

Действительно! Впрочем, черт его знает! И вообще, о чем это он?

Если исходить из того, что Знание можно применять как принцип, а Общее положение может служить большей посылкой в умозаключении, то Общее положение есть Знание, а Большая посылка в умозаключении должна бы быть принципом, но может и не быть... Нет, вру, Знание есть Большая посылка в умозаключении, но она же есть Общее положение, и есть принцип... Логика! Наука! Уважаю!

А вот дай исходные определения, и ведь очарование пропадает и будет все слишком просто, и уважать будет не за что...

Как бы там ни было, слово «принцип» имеет двоякий смысл. Обычно им обозначают нечто вроде общих посылок или положений, из которых можно выводить умозаключения. Поскольку из принципов тоже выводят умозаключения, то появляется соблазн посчитать по этому внешнему сходству, что все, из чего выводят умозаключения, есть принципы. А если добавить, что умозаключения ведут к определенным действиям или поведению, то личность или обычный человек может посчитать за свои принципы то, что всего лишь является содержанием его мышления. Но что он решил принять за принципы!

Но Кант, хоть и личность, но человек не обычный. Поэтому он просто и прямо ничего не говорит. Пообещав раскрыть двоякий смысл термина принцип, он об этом забывает и противопоставляет бытовому пониманию принципа не свое понимание принципа же, а понимание «познания из принципов»!

«Поэтому я назову познанием из принципов лишь такое знание, в котором познаю частное в общем посредством понятий» (Там же, с. 219).

Кант вообще плохо писал и постоянно переписывал свои сочинения, чтобы сделать их понятными возмущающимся читателям. Думаю, странность этого определения можно списать как раз на невнятность автора. Если бы кто-нибудь вовремя ткнул его в это место, он воскликнул бы: ну, конечно, я хотел сказать, что второй смысл термина принцип раскрывается через то, как идет познание с помощью принципов. А значит... а что, собственно говоря, значит?

Значит ли, что принцип все же есть для Канта знание? Оговорка: познание из принципов есть знание, — приводит его рассуждение к здоровому состоянию, но зато отменяет исходное утверждение, что принцип есть знание, которое можно применить как принцип.

Впрочем, насчет здорового состояния этого утверждения Канта я тоже поспешил. Оно лишь ближе к естественности, хотя его могли испортить и переводчики. Судите сами: разве познание есть знание? Познание дает знание, но... Да и завершение мысли тоже, скорей, плодит недоумение, чем понимание: Познание есть знание, в котором я познаю частное в общем...

В чем познаю? В знании? Это значит, что я изучаю собственное или чужое знание, когда познаю его? Делаю его таким предметом познания и изучаю. Или же в этом знании уже имеется для меня то, что называется знанием, и я им просто обладаю, поскольку знание у меня уже есть?

Могу ли я перевести Канта таким образом: познавая, я обретаю знания. Когда ко мне приходят знания, я ощущаю, что познал нечто. К примеру, познал посредством понятий частное в общем. Такое познание я называю познанием из принципов, что означает, что общим, в котором я рассмотрел частное, был принцип.

И поэтому я могу дать понятию «принцип» следующее определение: принцип — это такое общее понятие моего сознания, в рамках которого содержатся частные понятия.

Я не уверен, что Кант имел в виду то же самое, но оно, как мне кажется, вытекает из сказанного им. Но и сомнения у меня есть, потому что я не

очень понимаю, чем это определение или второй смысл «принципа» отличается от первого, где всякое общее положение может служить большей посылкой в умозаключении. Очевидно, качественность различий заключается именно в наличии понятий...

Но понятия определенно присутствуют и в рассуждении простого человека. Просто у него свои понятия, отличные от кантовых. И тогда появляется искушение понять, что Кант понимает под понятиями. И это ловушка и обман. Просто потому, что Кант приписал всему свои значения, а надо было сначала проделать самую простую психологическую работу и описать то, что есть в нашем сознании, в сознании всех и любого, а не сочинять, как правильно надо мыслить.

Поэтому я просто продолжу пересказ кантовского определения принципа, отметив для себя, что это неверное определение, определение, навязываемое силой, но определение навязанное и существовавшее в умах философов долгие годы. А философы — это те, кто учил современное человечество думать и прививал ему и способ мышления и принципиальность. Поэтому понять надо именно Канта, потому что в основе нашего мышления лежит не верное понимание действительности, а искажения, внесенные модными мыслителями. А Кант был моден, и ох! как моден!

«Таким образом, всякое умозаключение есть форма вывода знания из принципа, так как большая посылка дает всегда понятие, благодаря которому все, что подводится под его условие, познается из него согласно принципу. Так как всякое общее знание может служить большей посылкой в умозаключении и так как рассудок a priori (то есть до опыта — АШ) доставляет подобные общие положения, то они, если иметь в виду их возможное применение, также могут называться принципами» (Там же, с. 219).

Тут уж я совсем теряю, чем отличается первый смысл от второго, но понимаю: иногда то, что мы считаем принципами своего существования, не является принципами на взгляд философов. Понять же философов нельзя, потому что они никогда не задерживаются на том месте, где только что были, и никогда не приходят туда, где их ожидаешь. И принципы для них могут называться как угодно. Поэтому, читая о знаниях, вы можете читать о знаниях, а можете о принципах, также и об основоположениях. Настоящий философ никогда не должен предупреждать, что, начиная говорить об основоположениях, он в действительности продолжает говорить о принципах. Иначе его будет слишком просто понять:

«Однако если рассматривать эти основоположения чистого рассудка сами по себе по их происхождению, то они оказываются вовсе не познаниями из понятий» (Там же).

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А я-то доверчивый!..

Но если бы на этом философские радости завершались:

«Итак, рассудок вовсе не может доставить синтетические знания из понятий, но именно такие знания я называю принципами в абсолютном смысле слова, тогда как общие положения вообще можно назвать относительными принципами» (Там же).

Кант очень плохо излагал свои мысли. Но понять его можно. Он хочет сказать, что существует целая лестница или иерархия того, что мы узнаем как принципы. Жаль только, он не дает определения самому этому понятию «принцип», хотя его можно понять из замены на «основоположение».

Принцип — это некая основа разума и рассудка. А я бы добавил: и мышления. И мы произвольно узнаем как эти основы то, на чем основываем свои суждения. И это верно!

Вот только верно это в быту, но когда философ начинает думать о том, как устроена сама наша познавательная способность и, в частности, разум, он налетает на то, что у многих основ есть свои Основы, а у тех еще и некие Начала, из которых и выводятся Основы основ...

В быту, в поведении мы имеем право принять за основания своих поступков любые исходные понятия и назвать их принципами. Но ведь мы вступили в мир самопознания, который простирается далеко за границы нашего воплощения, а значит, и нашего телесного опыта. И тут философ вынужден говорить о том, чему нет земного языка. И ему просто трудно выразить то, что он видит... К тому же он сам часто путает физику с психологией, действительный мир с тем, как мы его отражаем:

«Однако требование объяснить, каким образом предметы сами по себе, природа вещей подчиняются принципу и должны определяться одними лишь понятиями, представляется если не невозможным, то, по крайней мере, очень нелепым» (Там же, с. 219-220).

Конечно, нелепым, потому что предметы сами по себе и природа вещей никак не подчиняются принципам, а понятиями они определяются, лишь когда мы пытаемся их описывать при познании. Принципам подчиняется лишь наше описание законов действительности, и вообще, принципы — это лишь способ говорить о действительном мире, точнее, способ о нем думать. Принципы — это основоположения разума!

«Если рассудок есть способность создавать единство явлений посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам. Следовательно, разум никогда не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, чтобы с помощью понятий a priori придать многообразным его знаниям единство, которое можно назвать единством разума и которое совершенно иного рода, чем то единство, которое может быть осуществлено рассудком» (Там же).

С точки зрения обычного русского языка, это совершенный бред. Рассудок — это то, что рассуждает, то есть судит, выносит суждения. Разум — это то, что понимает, то есть применяет ум, думает. Но не надо забывать, что это двойной перевод. Во-первых, наши переводчики исказили Канта, поскольку в русском языке просто нет средств передать его иначе. Во-вторых, Кант исказил немецкий, чтобы впихнуть в его прокрустово ложе свои прозрения.

В действительности, в этом высказывании важно лишь то, что Кант видит различия в работе разума, а точнее, в том, как я созерцаю свой внутренний мир и думаю. Это качественные различия. Одна часть моего ума направлена на то, чтобы действовать и мыслить. Она и создает поведение.

Другая выводит различные правила, по которым я и правлю и веду себя.

А третья находит основания, откуда и можно выводить правила. И это разные, очень разные части и способности нашего ума. По крайней мере, так ощущает Кант. И эту же мысль он повторит, начиная «Критику практического разума», то есть обосновывая этику. Он выскажет ее, как это и должно быть, предельно непонятно, но читайте:

«Практические основоположения суть положения, содержащие в себе общее определение воли, которому подчинено много практических правил. Они бывают субъективными, или максимами, если условие рассматривается субъектом как значимое только для его воли; но они будут объективными, или практическими, законами, если они признаются объективными, то есть имеющими силу для воли каждого разумного существа» (Кант, Критика практического разума, с. 135).

Принципы в жизни могут быть либо максимами, то есть личными правилами поведения, либо законами, которым послушны все. И все они «рукотворны», то есть созданы разумом людей. Созданы и создаются по мере нужды:

«Практическое правило есть всегда продукт разума, потому что оно предписывает поступок в качестве средства для [достижения] результата как цели.

Но для существа, у которого разум не единственное определяющее основание воли, это правило есть императив, то есть правило, которое характеризуется долженствованием, выражающим объективное принуждение к поступку, и которое означает, что, если бы разум полностью определял волю, поступок должен был бы неизбежно быть совершен по этому правилу» (Там же, с. 136).

Какая шутка! Как старый философ поддел интеллектуалов, которые кичатся своей исключительностью, но при этом обладают «принципами».

Существо, для которого разум — не единственное определяющее основание воли, — это человек, который живет по правилам, предписываемым обществом и избранными им сообществами. Человек, который не волен не подчиняться правилам поведения. А значит, человек, который будет вести себя, как все, если создать моду на поведение.

Именно это исследование и проделала Европа, начиная с Просвещения и Великой французской революции. В него поиграла и Россия, осваивая понятие принципиальности. Те, кто ощущал себя независимым от правил поведения и нравственности, творили новые правила и предлагали людям примерить их к себе. И толпа примеряла и ломилась в те места, где эти новые правила раздавали... Еще и опоздать к раздаче боялась...

Это было жуткое время кровавых потрясений, но это была и битва за свободу человеческого духа. Битва за порабощение всегда может быть битвой за свободу. Ведь в ней есть две стороны — одна порабощает, вторая отстаивает свободу. Но чаще вторая стремится быть порабощенной... Это как раз те существа, у которых разум не единственное определяющее основание воли.

Глава 8. Принципы Фихте и Шеллинга

Победа Науки в 1789 году перевернула не только Францию, но затопила кровью и всю Европу, включая Россию. Но певцы наукоучения не видели, что Наука жестока, бездушна и бесчеловечна. Последнее очень важно, поскольку именно победа научной революции родила понятие, которое будет долго занимать умы лучших людей и отвлекать их от того ужаса, что несло в себе за этим фасадом новое, научное мировоззрение.

Через несколько десятилетий русский революционер Чернышевский даст этому понятию имя «антропологический принцип в философии». Но изобретен он будет гораздо раньше, и одним из его создателей был яркий берлинский философ **Иоганн-Готлиб Фихте (1762–1814)**.

Суть его обращения к человеку, как к тому принципу, что определяет цели всей деятельности человечества, Эрнест Радлов передает следующим образом:

«Исходит из философии Канта, в которой старается устранить идею предметов самих по себе и диалектически вывести все содержание знания, то есть теорию и практику, из деятельности нашего “я”» (Радлов, Филос. словарь).

Ленин не упустил этого нападения Фихте на Канта и отметил как противоречия внутри враждебного стана идеалистов. Это значит, что за замечаниями Фихте была сила прикладной психологии, попросту говоря, Фихте зацепил какой-то важный принцип, определяющий поступки людей. У Ильича на это был нюх. Однако понять самого Фихте, когда он пишет о принципах, непросто. К примеру, в «Фактах сознания» он обосновывает то, что правит нашим поведением, как нравственный принцип:

«Природа есть образ нашей реальной силы, и поэтому абсолютно целесообразна; мы можем делать в ней и с ней то, что мы должны. Ее начало есть безусловно нравственное начало, а никак не естественное (ибо тогда она была бы абсолютна). Она обладает гетерономией, а никак не автономией. Ее можно объяснить частью целями, частью видимостью цели: и тем, и другим, как мы выше доказали для силы, которой природа есть отражение. Если это забыть, то придешь, конечно к несообразности.

Поэтому здесь нравственность является абсолютным принципом бытия и определения природы, и это не должно нас удивлять, так как она является принципом жизни, которая сама есть принцип природы» (Фихте, с. 515-516).

Честно признаюсь, совсем не понимаю здесь Фихте, и поступлю с ним просто: позволю рассказать о его антропологии тому, кто понял его лучше, — пришедшему ему на смену властителю дум — **Фридриху Вильгельму Шеллингу (1775–1854)**.

На первом этапе своей философии Шеллинг исходил из философии Фихте и его учения о «я». Во втором периоде он добавил к этому учению историю, а в третьем — религию. Как пишет о нем Радлов:

«Однако его натурфилософия... и была главной виновницей того, что философия в XIX веке и потеряла значение» (Радлов, Филос. словарь).

Эти горькие слова Радлова относятся к тому, что в девятнадцатом веке философия уступает свое место естествознанию, как более модному мировоззрению. И означают они именно сожаление философа о том времени, когда философ был властителем душ, подобно чародею, каковым и был Шеллинг.

Надо отдать ему должное, он был кумиром толпы и в Германии, и в России, где большинство философов духовных Академий были шеллингианцами, а многие наши аристократы ездили слушать его лекции и гордились знакомством с ним. Шеллинг очень сильно воздействовал на нравы России первой половины девятнадцатого века. Как рассказывают современники, воздействие это было не случайным и вполне поддерживалось мэтром, как сценическим иллюзионистом. Люди съезжались слушать Шеллинга, как через полвека Москва сбегалась слушать нового молодого гения Володю Соловьева...

Читать свои лекции он начал в 1832 году, назвав «Системой позитивной философии». Удивительная параллель с Огюстом Конттом, который в то же самое время создает свою Позитивную философию во Франции. С той лишь разницей, что «позитивная философия» Конта вела в естествознание, а «позитивная философия» Шеллинга — в мифологию, религию и идеализм... Топор можно использовать, чтобы рубить храмы или процентщиц... Орудие — не более чем орудие. И это наш выбор, как его использовать.

Третья лекция «**Философии откровения или обоснования позитивной философии**» была посвящена Шеллингом Канту. В ней он говорит как раз о принципах, на которых строилась европейская философия, начиная с Декарта:

«Декарт был первым, кто высказал решительное сомнение относительно внешнего, чувственного опыта и тем самым упразднил его как принцип познания, так как последний сам теперь превратился в предмет» (Шеллинг, с. 71).

Но против этого выступили Бэкон и его последователи Локк и Юм, сделав опыт единственным источником наших знаний о мире и себе:

*«Все повернулись к этому непосредственному источнику познания и отвернулись от того, который для метафизики еще считался особым и независимым, от чистого рассудка, *intellectus purus*, пока благодаря Джону Локку и позднее Давиду Юму этот второй источник совершенно не утратил свои независимые от опыта вес и значение, ведь Локк, как известно, черпал те всеобщие понятия и принципы при помощи относящейся к опыту рефлексии в конечном-то счете только из опыта, следовательно, по сути дела, всего лишь субъективно наделял их характером всеобщности и необходимости.*

Но как только власть и не зависящий ни от какого опыта авторитет этих априорных понятий и принципов были подорваны, был порван нерв собственной метафизики.

Лейбниц почувствовал это в полной мере, и с этих пор вопрос о том, существуют ли независимые от опыта, врожденные нам понятия, именно потому стал основным вопросом философии» (Шеллинг, с. 72-73).

«Миссия Канта», как говорит Шеллинг, заключалась в том, чтобы возбудить против уже поверженной метафизики судебный процесс. Суть же этого процесса, то есть главного вопроса классической философии на рубеже девятнадцатого века, на поверку оказывалась психологической!

«Принцип субстанциальности позволял заключить, что в основе явлений и движений нашего внутреннего мира лежит некая субстанция, называемая душой (сами предметы вообще брались из опыта или общей веры, как, например, как раз человеческая душа; предметы были даны, и дело заключалось лишь в том, чтобы подыскать для них верные предикаты); знание в отношении человеческой души состояло лишь в том, что ее трактовали как субстанцию, которая затем посредством новых заключений должна была определяться как нетелесная, имматериальная и именно поэтому нерасторжимая и неразрушимая сущность» (Там же, с. 74).

Проще говоря, основным вопросом философии к началу девятнадцатого века стала именно душа. А точнее, как ее изучать. Метафизика пыталась это делать логически, попросту говоря, выводя понятие о душе от обратного. От обратного телу, конечно. Поэтому метафизики, начиная с Декарта, делали физико-геометрическое описание тела, а душе приписывали противоположные качества... Очевидно, что это «познание» познанием не является. Это лишь искусственно заданное условие для ведения рассуждения. Поскольку условий можно задать сколько угодно, то и говорить о душе можно как угодно. К познанию души это не приблизит.

При этом, если вспомнить предыдущую главу, Кант как раз и показывал, что мы можем посчитать за принципы то, что всего лишь позволяет нам вести рассуждения. Но это не есть действительные принципы. Это просто заблуждение, на котором как на основоположении построили целое здание науки. В данном случае, метафизики. Вот к этому и ведет Шеллинг.

Но сначала он объясняет, почему девятнадцатый век оказался временем выделения психологии из философии в самостоятельную науку. В сущности, это произошло как раз потому, что к девятнадцатому веку вопрос о душе стал основным вопросом философии:

«Великий переворот последующей эпохи состоял именно в том, что перестали заниматься одними предикатами (то есть определениями — АШ), что пожелали овладеть самими предметами. Еще и сейчас кое-кто приступает к философии, полагая, что в ней дело заключается в определенных положениях или высказываниях, которыми можно завладеть как бы в качестве некоей добычи.

Но более этому нет места. Современная философия состоит в выведении самих предметов, которые в прежней метафизике попросту предполагались известными из опыта или всеобщего сознания» (Там же, с. 75).

С этого начал Кант, и это продолжил Фихте. И тот и другой лишь начали это дело, заплутавшись в поисках первоначал или принципов, на которых можно было бы строить познание мира:

«...но что же в конце концов есть в вещах независимо от определений нашей способности познания? На это у Канта нет ответа.

А поэтому следующим неизбежным шагом было осознание того, что, если вообще имеется познание вещей *a priori*, само существующее также может быть понято *a priori* (то есть понято до опыта и без опыта — АШ), что материя и форма вещей должны выводиться вместе из одного и того же источника.

Этой мыслью преисполнился Фихте...

...он оставил великое завещание, а именно понятие абсолютной, беспредпосылочной философии, то есть такой, в которой ничто не должно предполагаться в качестве откуда-то данного, но все должно в рассудочной последовательности выводиться из единого всеобщего *prius* (предшествующего или первичного — АШ) — единственного непосредственно полагаемого. ...

Фихте обнаружил это единое всеобщее *prius*, что было совершенно естественно, следуя данному направлению, в Я, а именно в Я человеческого сознания» (Там же, с. 85).

Из этого принципа Фихте и его последователям предстояло «вывести из природы Я такую систему необходимых представлений, которая соответствовала объективному, наличествующему в опыте миру» (Там же, с. 86).

Очень любопытное заявление, которое, тем не менее, соответствовало философской действительности Европы, поскольку, как говорит Шеллинг, философия Фихте во многом определила всю последующую философию. В частности, его собственную, потому что следующим шагом в философии Шеллинг считал переход от Я как принципа или того, из чего истекает все познание, к Богу. Как писал издавший его в России А. Пестов:

«Принципом негативной философии, по Шеллингу, выступает обращающийся на себя самого разум. “Как только разум обращается на самого себя, становится для самого себя предметом, он находит в себе *prius*, или субъект, всякого бытия и в нем также обладает средством или, скорее, принципом априорного познания всего сущего”» (Пестов, с. 7).

Позитивная же философия Шеллинга идет дальше, и ее Началом становится Бог. Правда, как это все объясняется, я повторять не хочу, у меня на это сил не хватит...

Добавлю только, что именно благодаря этому принципу шеллингианство правило в русских Духовных Академиях, а философия проиграла естествознанию и утратила свое значение, как пишет Радлов. Естествознание, подрывавшее веру в Церковь, снесло всю религиозную философию походя, поскольку сумело внести в сомнение в умы и души как раз в отношении самых исходных принципов религии. Соответственно, и религиозной философии.

Более того, шеллингианство помогало Науке уничтожать веру. Сам Шеллинг писал, что тот, кто хочет и может верить, не философствует, а тот, кто философствует, именно этим извещает, что ему одной лишь веры недостаточно...

Шеллингианство стало в начале девятнадцатого века философской модой России. И этим лучшие русские люди извещали, что не хотят больше верить и ждут то, что займет освободившееся свято место...

Глава 9. Принципы пушкинских времен

Деятнадцатый век начался в России с убийства царя. Кучка офицеров задушила подушкой императора Павла и возвела на престол его старшего сына Александра Первого. В этом была смелость и наглость, вторящая тому, что англичане и французы сделали со своими королями, казня и свергая их. Простые смертные должны чувствовать себя полубогами, если им удастся убивать королей...

Александр Первый вначале ввел различные либеральные реформы, возможно, чтобы сгладить ужас свершенного им... Даже если он прямо не участвовал в отцеубийстве, без его согласия это произойти не могло. Заигрывал перед самым нападением на Россию с Францией, сближаясь с ней, подобно тому, как впоследствии Сталин заигрывал с Германией...

Затем, выиграв Отечественную войну 1812 года силами народного восстания, возглавил антифранцузскую коалицию, медленно, но жестоко отошел от своих либеральных взглядов и принялся душить свободомыслие в России... Умер он в 1825 году, передав трон третьему сыну Павла Николаю Первому, который правил до 1855 года.

Николай подавил в самом начале своего правления следующую попытку обнаглевших офицеров повторить в России Французскую революцию — восстание декабристов, и после этого последовательно душил любое свободомыслие. Ввел Третье отделение — тайную политическую полицию, которая преследовала любые революционные взгляды, установил жесточайшую, многоуровневую цензуру, а под конец правления вообще запретил философию в России...

Его преемник Александр Второй начал с отмены крепостного права и освобождения крестьян в 1861 году. В действительности же это была бескровная революция, проведенная с помощью реформ, поскольку сутью ее был приход к власти в стране нового класса.

Первая революция произошла в России при Петре Первом, когда мелкое служилое дворянство замещает у власти старую «пузатую» русскую аристократию — бояр. Именно дворянство ввело новое требование для входа во Власть — образование. И Пушкин пишет о российском обществе: мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть...

В сущности, так из прежнего дворянства родилась русская интеллигенция, тогда еще дворянская.

Русское дворянство не просто училось, чтобы занять власть, а именно чему-нибудь и как-нибудь училось. Главным были не действительные знания, а приверженность новым ценностям — образованность западного толка, явно показывающая презрение к исконному русскому, потому что исконное русское — это либо бояре, от которых надо защищаться, либо народ простой, червяк земной, чернь, которой следует опасаться всегда...

Вот это презрение к родовой аристократии и собственному народу и должно было быть показано как входной билет в русскую власть, потому

что доверить ее можно было только тем, кому доверяешь не по договору, а по естеству, иначе — по классовой сущности. Для того чтобы Россия стала другой, править ею должны были совсем иные существа, которые воплощали бы себя, свою суть в эту новую Россию.

Этими новыми существами и были искусственно выведенные новые аристократы — бывшее дворянство, то есть когда-то дворня князей и царей, безродные люди, которые выслужились, но бедны, голодны и ради места готовы убивать... Их скрестили с европейскими университетами, и они стали тем, что смело старый строй России.

Ко времени, которое мы называем пушкинской порой, этот новый класс вошел в пору своего расцвета, именно тогда были заложены основы многих понятий, которыми мы живем до сих пор. Тогда, что общеизвестно, именно усилиями Пушкина и других дворянских писателей, родился современный русский язык, а значит, были либо созданы основные понятия, которыми мы пользуемся сейчас, либо была заложена возможность для их появления.

Понятие «принцип» существовало на Руси, как вы помните, уже с петровской поры. Но в том значении, в котором оно до сих пор бытует, к примеру, в английском языке — нечто главное, первоначало. Существовало ли в ту пору понятие «принципиальный» в отношении не философском, а нравственном? Могли ли тогда сказать «принципиальный человек»?

Моих знаний эпохи недостаточно, чтобы утверждать что-то определенно, но мне кажется, что такое словосочетание тогда еще не использовалось. Друг Пушкина, один из тех писателей, что творили новый русский язык, Петр Чаадаев, восхищенный Шеллингом, в 1836 году пишет французскому индологу барону д'Экштейну, издавшему «Катха-упанишаду», востороженно-шеллингианское письмо, которое бы ни за что не пропустила царская цензура:

«Всемогущий принцип единства, сформировавший мир, в котором вы живете, развил в нем также симпатические способности сердца человеческого. Вы знаете, что мы были лишены этого принципа; так что вполне естественно, что мы не испытали на себе его последствия» (Чаадаев, Экштейну, с. 103).

Дальше Чаадаев говорит, что в Катха-упанишаде кратко сказано о том, что развивала европейская философия, и что источник знаний — един. И он для русского человека — в католичестве и вообще на Западе, даже если для Запада свет с Востока. До этого он уже написал свои «Философические письма», в которых сказал о России столько плохих слов, что был объявлен сумасшедшим, заключен под домашний арест, лишен права публиковаться, а чтобы окончательно унижить и наказать, было велено доктору еженедельно ездить к нему домой и проверять его психическое здоровье...

Болеет ли при этом Чаадаев за родину, как он сам утверждал, или же родиной его был тот духовный источник, что Петр сделал основанием для выведения этой новой породы русских людей, то есть Западное просвещение, судить не берусь. Но понятие принципа в данном случае используется по видимости еще философски. Но не совсем!

Вглядитесь: про принцип единства нельзя сказать, что это тот же принцип, что делает человека принципиальным. Но это принцип, который лежит в основе французской революции: все люди братья, все едины, все равны и имеют равные права. Поэтому и можно заявить, скорбя о мракобесии России, что мы были лишены этого принципа!

Иначе говоря, «принцип единства» — это совсем не принцип философии — это принцип нравственной философии, то есть этики. Значит, это нравственный принцип, который уже предписывает определенное поведение, потому что требует от человека определенным образом видеть мир и соответственно ценить то, что в нем есть. А как ценить?

Так, как оценили друзья Чаадаева декабристы — путем осуждения одного царя и строя на смерть и заменой их на другой строй — с царем или без него. Во имя чего? Во имя той самой черни, которую презирали... и которая никогда не оценила их подвиг, хотя и использовала его для идеологической перестройки мировоззрения.

На следующий год, год убийства Пушкина, Чаадаев пишет «Апологию сумасшедшего», пишет не по-русски, на французском языке, поэтому мы не найдем в нем слова «принципиальный», но зато в нем есть несколько принципиальных мыслей. Первую можно назвать «идеей» или «принципом» дворянской интеллигенции России, вытекающим из философии единства. В нем ярко видна смена мировоззрений, требующая смены человека. Дворянская интеллигенция подготовила мир для нового хозяина и готова ему служить даже тем, что уйдет, поскольку она не обладает нужными качествами:

«Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и подчас одеваает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству.

«Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо» (Чаадаев, Апология, с. 523-524).

Как этого достичь героям Бородине? Как завещал Великий Петр, у нас и нет иного пути:

«Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим; он склонился перед Западом и поднялся нашим господином и законодателем. Он ввел в наш язык западные речения; свою новую столицу он назвал западным именем; он отбросил свой наследственный титул и принял титул западный; наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои державные решения западным именем.

«С того времени мы только и делали, что, не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими...» (Там же, с. 525).

В этих словах Чаадаева сквозит и горечь, но при этом Чаадаев все же не видит иного пути, кроме как расслабиться и получить свое удовольствие от изнасилования, которого все равно нельзя избежать:

«Надо сознаться — оно было прекрасно, это создание Петра Великого, эта могучая мысль, овладевшая нами и толкнувшая нас на этот путь...» (Там же).

Путь на небо вел русское дворянство в середину века и к исчезновению дворянского сословия. Путь исчезновения. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, как в том же году ушел внук мавра, убитый западным прощельгой, чужаком, прохвостом, и так и не отомщенный ни одним из русских людей...

На что он руку подымал? Лермонтов был не прав, что убийца этого не ведал. Это было такое же хладнокровное убийство именно русской души, как и деяния Петра или крымская война, начатая в 1855 году Западным миром, чтобы убить Россию.

Об этом писал Данилевский, чья книга «Россия и Европа» стала манифестом славянофильства, то есть того духовно-политического течения, которое противостояло западникам, начиная от Чаадаева и кончая Владимиром Соловьевым. В 1864 году, возмущался Данилевский, Пруссия и Австрия порвали на куски Данию, и никто в Европе не опечалился этим, хотя это было нарушение именно европейского решения.

А в 1855 году Турция, только что душившая христиан и вообще исторический враг Европы, вдруг стала для нее символом борьбы за свободу, и Европа топтала на стороне Турции Россию. Кстати, как совсем недавно она топтала и жгла Югославию...

Страна, в которой лучшие умы призывают к исчезновению, не может не исчезнуть. Дворянская Россия пушкинской поры не могла не исчезнуть, уступив место России буржуазной, мешанской и в еще большей мере прозападной. Это было обосновано и возведено в принцип национального поведения все тем же Чаадаевым:

«Есть великие народы, — как и великие исторические личности, которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно объясняет верховная логика Провидения: таковы и мы; но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести.»

История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда.

Эту историю создает не историк, а сила вещей» (Там же, с. 527).

Нет, это касалось нашей национальной чести, и еще так ли касалось! Принцип, который провел борозду в умах и запечатлелся в наших сердцах, став силой вещей, определяющих нашу жизнь, был как раз отказом от чести!..

Отказом от чести и заменой его на принципиальность.

Самой сутью пушкинской поры, а значит, всей дворянской интеллигентности, были две вещи: дендизм и дуэль! Западничество и честь!

Знаменитое пушкинское про Онегина: «как денди лондонский одет», как вы помните, ведет к двум дуэлям и двум смертям — Ленского, то есть философствующего гегельянца-шеллингианца, и самого Пушкина.

Лотман, хорошо чувствующий то время, писал, что дендизм, прежде всего — именно поведение, а не теория или идеология. И поведение вполне определенное, направленное на разрушение имеющегося быта. Современный русский историк Нонна Марченко прекрасно описала и передала суть дендизма в книге, посвященной пушкинскому времени.

Эта мода была введена властителями дум европейской молодежи начала девятнадцатого века, как особая поза, требующая отказа от души и душевности:

«...одно из следствий дендизма и одна из его существенных черт, лучше сказать, его главная черта, состоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически» (Марченко, с. 79).

В дендизм поиграли и Пушкин и Лермонтов, создавая, — что самое страшное! — литературную моду на подобное поведение, в сущности, создавая идеалы для подражания молодых самцов, сражающихся за восхищенные самочки, если использовать язык зоопсихологии:

«Характерный признак бытового дендизма — элегантная поза разочарования и пресыщенности. Таков Печорин у Лермонтова, с его безукоризненным белым, аристократическими манерами и равнодушием, быть может напускным; таков и герой пушкинской повести “Барышня-крестьянка”: “Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы”.

В Россию разочарованность пришла с увлечением Байроном. Пушкин называет это английским сплином или русскою хандрой» (Там же).

Пушкин сильно виноват перед Россией. Он немало сделал для привития ей вкуса к английскому поведению. Но он лишь писатель, он лишь трепетное сердце, которое отзывается на происходящее. Объяснять — не его задача. Поэтому он зарисовывает действительность и не дает ответов, что такое и откуда она — эта хандра...

«Впрочем, денди не может всерьез увлекаться: Онегин в ответ на признание Татьяны говорит о своем разочарованном сердце и неспособности любить; Печорин ужасает доброго Максима Максимыча, рассмеявшись ему в лицо, когда старик стал утешать его после гибели Бэлы...

Это не бесчувственность, это дендизм. Денди помнит правило Макиавелли: “Мир принадлежит холодным умам”. Главная задача денди — производить впечатление, его главная и единственная страсть — тщеславие, власть над окружающими. И настоящей денди добивается этой власти всеми возможными средствами» (Там же, с. 80).

К примеру, одеваясь, как никто другой, и создавая философские сочинения, в которых тонко издеваешься над читателями и своей родиной...

«Одевался он [П.Я. Чаадаев], можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога (хотя разным портным, сапожникам, изящных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно меняя платье, а иногда и просто по привычке без всякого толка тратить деньги)...

Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью.

...заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения» (Там же, с. 83).

Как писал тот же Лотман:

«Между поведением денди и разными оттенками либерализма 1820-х годов были пересечения. В отдельных случаях, как это имело место, например, с Чаадаевым или с кн. П. А. Вяземским, эти формы общественного поведения могли сливаться» (Цит. по: Марченко, с. 82).

Философические письма Чаадаева запрещали, но они гуляли в списках и читались в модных салонах, как гуляли в ту пору в списках труды Канта, Шеллинга и Гегеля. С Чаадаевым страстно спорили славянофилы, Чаадаев определенно стал властителем дум своего поколения, а значит, обрел своей ядовито-утонченной издевкой ту власть, которая одна и является смыслом жизни денди...

Чаадаев разрушал Россию, поэтому его никто не вызвал на дуэль. Пушкин ее создавал и был убит сыном французского посла... С ним была убита честь России, но не была раскрыта тайна русской хандры, приведшая его на роковой барьер. Что погнало Пушкина стреляться?

Честь? Ерунда! Он просто был денди и нагло издевался над всеми, над кем мог. Тщеславие, вот что его вело. Этим и воспользовались. Честь лишь не дала отказаться от дуэли.

Но почему честь вдруг стала иметь такое значение для России пушкинского времени? Декабристы даже рассматривали дуэль в качестве средства политической борьбы. В сущности, их восстание было наглым, как говорили в то время, бретерским. Парадно выйдя на сенатскую площадь, они попросту хамски бросали вызов на дуэль императору...

Алексей Востриков в книге о дуэли нашел, мне думается, объяснение этого психологического явления:

«...жестокость — это феномен культурный. Знаменитые военные походы, особенно начала XIX века, в значительной степени изменили в массовом сознании отношение к убийству.

Многие люди с неустоявшимся или деформированным сословным сознанием теперь силой своего оружия выслуживали право на место в жизни; катаклизмы европейской политики воспринимались многими или как мировая катастрофа, или как рождение нового мира, свободного от старой морали, от старых условностей.

О знаменитом партизане Александре Самойловиче Фигнере, прославившемся своей храбростью и самоотверженностью, рассказывали: “Его лучшей и частою

забавою было, внушив ласковым разговором с пленными офицерами веселость и доверие к себе, убивать их неожиданно из пистолета и смотреть на предсмертные их мучения. Это делалось вдали от армии, куда доходили о том только темные слухи, которым не верили или забывали в шуме военном» (Востриков, с. 295-296).

Конечно, битва за честь была наследием прежней, феодальной поры, но в начале девятнадцатого века она обретает новые качества. Бретерство — это дендизм с пистолетом в руке. И оно правило обществом:

«Жизнь не являлась абсолютно доминирующей ценностью. Культ достойной гибели на поле боя с оружием в руках, лицом к лицу с врагом отчасти распространялся и на поединки. Вообще отношение к жизни и смерти тогда было иным.

Ю. Н. Тынянов говорил, что “во времена Пушкина и декабристов смерти не боялись и совсем не уважали ее. ... Страх смерти... в России придумали позже — Тургенев, Толстой”.

Кроме того, эстетизация жестокого и отвратительного — это явление, закономерно, периодически возникающее в культуре. Название трактата Томаса де Квинси “Об убийстве как одном из изящных искусств” для романтического сознания было шокирующим, но не случайным. Так и бретер мог видеть красоту в убийстве, в жестокости, в оскорблении.

Дуэль — это ритуал, и бретеры — своеобразные жрецы этого ритуала» (Там же, с. 296).

Дуэль была обрядом, ведущим к смерти. Якобы за честь. Это бесспорно. Но смыслом дендизма для русского человека было умереть... А бретер ему в этом помогал. Этим русским человеком был русский денди — последователь денди английского, играющий в это из моды. Кто он был?

Дворянский интеллигент первой половины девятнадцатого века. К середине столетия бретерство сделало свое дело и ушло, вместе с дендизмом. На смену бретерам и денди пришли иные люди. Какие?

Все уже сказано. Бретеры были жрецами того культа, который исповедовали утонченные светские наглецы, вроде Пушкина или Чаадаева, культа самоубийства.

Но кто такие Пушкин и Чаадаев? Они же писатели, — думающий тростник, который всего лишь указывает направление ветра истории. Они всего лишь воспели в своих произведениях героев их времени.

Героев следующего времени воспели Тургенев, Толстой, Достоевский, Чернышевский. Это не они придумали страх смерти, они всего лишь пели о тех, в ком этот страх жил и кто за счет этого страха выживал лучше.

Русская дворянская интеллигенция, если рассматривать ее не просто как сословие, а как одно большое существо, подготовила мир для идущей за ней буржуазии в лице Мещанина — подлого и жадного труса, который хотел плодиться, жрать и обогащаться. Мещанин во дворянстве — был переходным типом от дворянского интеллигента к интеллигенту рабоче-крестьянскому.

И дворянин чувствовал это как необходимость уходить, как призыв к смерти. Ненужные люди — звали это поколение литераторы. Ненужность и внушенная потребность совершить самоубийство и рождали хандру...

Но еще они рождали крик и стон. Этот стон у нас песней зовется, и выше той песни не было ничего в русской литературе. Именно благодаря той боли, той роковой безысходности, что звучала в сочинениях писателей пушкинской поры, и родился золотой век русской литературы. Именно тогда русский писатель стал выразителем душевной боли русского человека и обрел значение духовного вождя.

Этим и воспользовались проходимцы сороковых и пятидесятих годов девятнадцатого века, чтобы захватить и поработить души русских людей.

Глава 10. Принципы отцов

30-40-е годы XIX века были для России тем культурным котлом, в котором рождался и новый русский язык, и новый русский народ, соответствующий этому языку. Географически Россия осталась прежней, но в ней после того времени будут жить новые люди, как они сами себя и называли. Эти люди больше не знают принципов в философском смысле, зато будут знать принципиальность в смысле нравственном и психологическом.

Пора эта, как я уже писал, была очень сложной для философии. Философию то душили, то слегка ослабляли хватку на горле и давали вздохнуть. А она все никак не соглашалась умереть. К тридцатому году намечилось небольшое потепление, но к 1848-му — к году революций в Европе — давление стало неимоверным. При этом надо отметить, что философия Духовных Академий не имела на русское общество никакого влияния — батюшки наши в ту пору, как и сейчас, — лишней заботой о своем народе себя не обременяли и жили за своими монастырскими стенами вполне таинственно.

Философию же светскую довели до такого состояния всевозможными затравливаниями, что профессора бежали с кафедр и из университетов. Частично это было сделано Властью, но не в меньшей мере и усилиями добротехотов, вроде мерзавца Магницкого. Про таких хорошо было сказано в том же девятнадцатом столетии: нам, русским, хлеба не надо, мы друг друга едим и одним тем уже сыты бываем...

Философия, которая господствовала в России 30-х и 40-х, была идеалистической — Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. Из них постепенно рождается собственно русская философия западников, в ответ на которую появляется славянофильство. За проповедь шеллингианства кое-кого из профессоров выгнали даже из страны. И тем не менее, после тридцатого года философия стала распространяться все шире. И тут особенно важно то, что появился новый путь, которым она шла к русским людям.

Этот путь был и спасением и ловушкой:

«Но в Москве в 30-х и 40-х годах идеалистическая философия распространялась еще другим путем, который обскуранты никак не могли предусмотреть,

а уже во всяком случае никоим образом не могли загородить его перед ней. Это — посредством литературных кружков, возникших в Москве под влиянием оживления университетской жизни, наступившего в 20-х годах вследствие появления там целого ряда талантливых преподавателей.

Следить за происхождением и дальнейшими судьбами этих кружков, с которыми связан целый ряд славных и общеизвестных имен: Вл. Одоевский, Веневитиновы, Киреевские, Аксаковы, Хомяков, Станкевич, Белинский, Герцен и множество других, было бы слишком долго. Да в этом и нет никакой нужды. Эти кружки всем памяты.

Памятно также и то, что их члены больше всего увлекались философией и выработывали все свои воззрения под ее руководством. Их страсть к философии доходила до такой степени, что по целым неделям они проводили все вечера в бесконечных спорах о каком-либо отвлеченнейшем философском положении» (Введенский, с. 48-9).

В сущности, именно эти люди стали прообразом тех «отцов», которых через двадцать лет выведет в «Отцах и детях» Тургенев. Именно их будет отрицать поколение шестидесятых.

Другой вход в наше общество философия нашла через так называемые «толстые» журналы. В 1836 году, за год до смерти, Пушкин основал один из таких журналов, назвав его «Современник». После смерти Пушкина журнал издавали его друзья, во главе с Жуковским. В сороковых годах он оказался в руках Панаева и Некрасова. До своей смерти в 1848 году его идейным вдохновителем был Виссарион Белинский. В «Современнике» публиковался и Кавелин, пока в нем не стал заправлять Чернышевский...

Как литературный путь философии в народное сознание стал спасением для философии в России, я думаю, понятно. А ловушкой он стал после запрета в 1850 году преподавания философии вообще. Министр народного просвещения Ширинский-Шихматов убедил императора, что «польза философии не доказана, а вред от нее возможен», и в итоге философия не преподавалась в России до 1863 года.

Как вы понимаете, свято место пусто не бывает, и его тут же постарались занять те, кто хотел властвовать умами. Поэтому, начиная с пятидесятого года, в России неимоверно поднялось значение литературы, а писатели стали властителями дум и душ. Именно у них русский народ учился говорить по-новому, в том числе и философски. Естественно, что философии новые вожди по-настоящему не знали, но зато судили о ней столь же решительно, как новые люди в романах Тургенева. И это нравилось молодежи, потому что давало возможность чувствовать себя выше и сильнее отцов...

Но о Тургеневе разговор будет особо. Пока о том, с чего все начиналось.

Неистовый Виссарион очень много сделал для того, чтобы уничтожить прежнюю Россию и привить к ней ростки нового, на деле, чуждого. Поэтому я вначале покажу, как бытует выражение «принцип» в его сочинениях. Белинский писал много, но поскольку в середине девятнадцатого века роль философии в России играют литературные журналы, литераторы и лите-

ратурные критики, я начну с его обозрения «Русская литература в 1843 году». Здесь слово «принцип» встречается только один раз, но в значении, похожем, болезненно важном для Белинского:

*«Фамусов в “Горе от ума” говорит Скалозубу:
Нет! я перед родней, где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском!
При мне служащие чужие очень редки:
Все больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку иль к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку?»*

Черта глубоко комическая! В Петербурге, слава богу, эта черта не слишком бросается в глаза, но в провинциальной глуши принцип родства так силен, что там скорее решатся десять лет сряду не играть в преферанс, чем показать холодность к родственнику в семьдесят седьмом колене».

«Принцип родства»...

Это уже явно не философское, а нравственное использование понятия. И это так же определено именно то использование, которое Кант относит не к настоящим принципам. Белинский уже забыл, если вообще знал, действительное значение слова «принцип» и использует его для обозначения повторяющегося бытового явления, так сказать, некой поведенческой установки, правила...

В том же 1844 году, разбирая поэму Пушкина «Руслан и Людмила», Белинский писал:

«Мы не говорим здесь о тех приверженцах старины, которые отстаивают старое против нового по привязанности к школе, к принципам, в которых воспитывались. В людях этого разряда много смешного и жалкого, но много и достойного любви и уважения. Это не дети привычки, о которых мы говорили выше; это — дети известной доктрины, известного учения, известной мысли».

Принципы, в которых воспитывались. Это уже совершенно определено именно то понимание принципов, из которого рождается «принципиальный человек». И оно совершенно соответствует пониманию принципов «отцами» Тургеневских «Отцов и детей».

В этом романе есть две части. Он написан в 1863 году и вышел в свет вместе с первой публикацией «Рефлексов головного мозга» Сеченова. Сеченов был сделан литературным персонажем и героем своего времени, с кого молодежь должна была делать свою жизнь. Чернышевский вывел его в романе «Что делать?» под именем доктора Кирсанова. Вышел этот роман в том же 1863 году, в год возрождения философии в России, когда сам Чернышевский уже был на каторге...

Совершенно очевидно, что все эти произведения отражают свою среду, а их авторы жили в единой культуре. Даже персонажи Чернышевского и

Тургенева носят одну и ту же фамилию — Кирсановы. Вот только Кирсанов Чернышевского ведет себя как Базаров. А Кирсанов Тургенева стоит по другую сторону барьера — он тот, кого отрицает Базаров и должен сменить на посту духовного вождя русского общества.

А кто был духовным вождем во времена отцов? Мы рассматривали это в предыдущей главе: дуэлянт, бретер, денди, светский лев, дворянский интеллигент. В сущности, самым ярким выразителем «отцовства» был Пушкин. В нем воплотились лучшие черты той эпохи. Базаров, пришедший, чтобы победить и вышвырнуть этих людей из жизни, описан высоким, сухопарым, яростным. Он — сын полкового лекаря, и сам бы мог стать уездным лекарем, но подавал задатки прославиться и стать великим... Да вот помер рано...

Думаю, у него тоже был прототип. Частично — тот же доктор Сеченов. Но не в меньшей мере и сын уездного лекаря Белинский, умерший слишком рано — в 37 лет. Ведь в сороковые годы именно он занял место духовного вождя в Пушкинском журнале и умах русских людей... Рисуя эту дуэль поколений, Тургенев описал, как, собственно, шло убийство старой России с ее идеалами и принципами философского аристократизма.

Как вы помните, спор начинается сразу по приезде «детей» — Базарова и Аркадия в имение Кирсановых. Идет он между старым «светским львом» и молодым «нигилистом». Перед тем, как ему начаться, Аркадий, племянник «льва» и прежнего денди Павла Петровича, объясняет ему значение нового слова:

«Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?»

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

...

— ... Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип» (Тургенев, с. 168).

Что очевидно, нигилизм — это точно такой же принцип, как и *принципы, в которых воспитывались*. В сущности, это правило, которому его хозяин следует неуклонно. Только это правило не привнесенное извне, а выработанное самим человеком, как ему кажется. В действительности это, конечно, не так. Тот же Аркадий стал нигилистом только потому, что повстречался со своим учителем Базаровым. Базаров, надо полагать, тоже обязан своей философией добрым людям. Но при этом разница с «принципами воспитания» у «принципов» лично и осознано принятых, безусловно, есть.

Далее Павел Петрович раздражается в защиту принципов, естественно, своих принципов, тех принципов, что приобрел как раз в тридцатые-сороковые годы:

«Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произно-

сил “принцип”, налегая на первый слог), без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить,дохнуть нельзя» (Там же, с. 169).

Спор на этом не заканчивается и за чаем разгорается уже между денди и самим нигилистом Базаровым. Базаров выказывает неуважение Павлу Петровичу, и тот бросается в бой:

«Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сиюю сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди...

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны» (Там же, с. 192).

Базаров тут схамил. И даже не в том, что грубо отвечает старшему, в том, что, когда ему выгодно, может сказать что угодно. Чтобы усть противника, он вдруг начинает вещать от лица русского народа, которого, в действительности, совсем не знает. Это Тургенев очень жестко показал в конце романа. И вдруг ему становятся не нужны иностранные слова, хотя при этом себя он называет нигилистом и однозначно насаждает те слова, которые нужны ему для его целей. Его нападение на аристократизм есть лишь продолжение его мировоззрения, другая грань которого выражена им в словах:

«— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров».

Именно перебил, и именно полезнее. Тут Тургенев показывает самую суть философии Чернышевского и его среды — утилитаризм Бентама и Милля.

Утилитаризм, или философия пользы, — это действительно беспринципность, которой страдали все революционеры, могущие во имя своих идей использовать все, что угодно, без нравственных ограничений. Нет, в действительности Базаров не считает, что русскому человеку не нужны иностранные слова. Он потом высокомерно поучает собственно отца — уездного лекаря, какие иностранные слова надо использовать. Да и «химик» этот для него естественен и важен.

Нет, он считает, что русскому человеку не нужны те принципы, которые олицетворяет Павел Петрович.

А что это за принципы? Принципы пушкинской поры.

И тут все очень символично в романе. Сначала Базаров высмеивает отца Аркадия за то, что тот читает Пушкина:

«— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать».

И сынок проделывает над отцом операцию. Об этом рассказывает сам Николай Петрович:

«— ...они говорят, что песенка моя спета. Да что брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, “Цыгане” мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания» (Там же, с. 189-191).

А затем Павел Петрович, как и Пушкин, проигрывает дуэль, и это приговор ему и целой эпохе, которая будет убита новыми людьми, если не захочет тихо сойти со сцены сама... Дворянская интеллигенция с ее искусственным аристократизмом, всего за полтора века до этого зарезавшая боярскую Россию, теперь бессильно умирает... на хирургическом столе под ножом безродного уездного лекаря... Остатки ее дорежут внуки лекарей самыми обычными сапожными ножами и бандитскими финками в Гражданскую...

Чести принципиально не было места в Новой России! Готовилось пришествие грядущего Хама.

Глава 11. Принципы врачей и натуралистов

В 1898 году, открывая первое заседание Философского общества при Петербургском университете, ученик и преемник одного из основоположников современной русской философии Владиславлева Александр Иванович Введенский прочитал речь, посвященную истории философии в России. В ней он немало уделил внимания и тому времени, о котором идет речь в романе Тургенева. Этому времени он дал яркое имя времени господства врачей и натуралистов в философии.

Введенским было сделано несколько потрясающих наблюдений над тем, как же было подготовлено уничтожение великой Белой Империи. Отрывки эти довольно большие, но читать их интересно и нужно, поэтому я приведу их целиком, чтобы русские люди не забывали своей истории. Первое свидетельство относится как раз ко времени отцов. Это — первая ласточка, сделавшая возможным, чтобы естественники признавались русским обществом за философов.

«А известно, что если философия выступает открыто, то судить о ней охотно берется всякий неуч. В России даже чем невежественнее человек, тем с большей уверенностью судит он и о философии вообще, и о любом философском учении. На это сильно жаловался еще Герцен, указавший на то, что у нас для суждения о сапогах и сапожном товаре считают нужным приобрести специ-

альные знания, но, чтобы судить о философии, считают излишним учиться философии.

Иное дело, когда философия проводится в виде естествознания. Надо обладать довольно большими и в то же время специально философскими знаниями, чтобы разобраться, где в таком случае кончается философия и выступает действительно естествознание. И вот, в то время, когда преследовали профессоров философии за пропаганду новой философии, ее свободно распространяли натуралисты.

Ведь при разгроме Петербургского университета хотели было напасть и на Велланского. От его учеников отобрали тетради, чтобы уличить его в распространении богопротивного учения, но не сумели в них разобраться. И когда Галичу не позволяли читать даже и частные лекции, Велланский замолчал только на время из осторожности, а потом снова принялся за свою пропаганду.

Сходное же явление повторилось и в Москве. В 1826 году Давыдову были запрещены лекции философии. Но в том же самом году, наряду с Павловым, начал читать общий курс естественной истории подпавший под влияние Павлова, а через него и Шеллинга, профессор ботаники Максимович, известный собиратель малороссийских песен, лектор, по достоинствам своим ни в чем не уступавший ни Давыдову, ни Павлову.

А по его собственным словам, “в естествознании его неотлучной спутницей и верной помощницей была философия”. И Максимович беспрепятственно вел свою пропаганду и в Москве и в печати, и с кафедры до 1834 года...» (Введенский, с. 47-48).

Введенский переживет революцию и до 1925 года будет вести диспуты против материалистов... Слова о пропаганде звучат в его устах для меня также неслучайно, я узнаю их как слова о революционной пропаганде. Не знаю, в этом ли значении использовал их Введенский, но накануне 1825 года, когда по всей России действовали тайные общества заговорщиков, подобное слово было уместно. И тем более уместно оно в пятидесятых-шестидесятых годах, когда создаются уже не просто тайные общества, а общества террористические.

Князь Кропоткин, который был старше Введенского почти на полтора десятка лет, рассказывая об одной из самых жутких женщин России Софье Перовской, использует в «Записках революционера» слово «пропаганда» вполне в революционном смысле. Перовская, будучи аристократкой по происхождению, избрала защищать свой народ, входила в несколько тайных организаций, начиная с «Земли и воли», и как член исполкома «Народной воли» готовила и осуществляла покушение на Александра Второго. Но Кропоткин очень любил ее:

«Перовская была “народницей” до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне: “Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо”.

Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы перед смертью на эшафоте. Каждая из них взглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то же время в этой стадии пропаганды никто об этом еще не думал» (Кропоткин, с. 408).

Бомбометательницу Перовскую повесили в 1881 году...

За участие в создании общества «Земля и воля» в 1862 году был публично лишен чести и отправлен в ссылку Чернышевский — преемник Белинского на посту главного редактора «Современника» и основной вдохновитель революционеров всех мастей, начиная от бомбометателей и кончая истребителями души...

Ильич же, который и возглавит следующее поколение революционеров, скажет, что народники были врагами социал-демократов, как отцы были врагами детей...

Введенский пишет и о том времени, когда в пустоту, образовавшуюся после запрета читать философию в университетах, быстро заполнили бойкие шарлатаны, быстро оценившие пропагандистские возможности этой государственной ошибки.

«Возобновление по уставу 1863 года преподавания философии в наших университетах, прежде чем оказать заметное влияние на русское общество, еще должно было сперва организовать и упрочиться. Поэтому естественно, что, начиная с 1850 года, довольно долго, даже и после 1863 года, пока новые профессора еще приобрели только влияние, философские воззрения возникали и распространялись в нашем обществе как бы сами собой, почти независимо от воздействия со стороны университетский представителей философии, вроде того, как это было и в Екатерининские времена.

Естественно также, что прежде всего у нас распространились такие воззрения, которые не только нам были наиболее по плечу, наиболее доступны в зависимости от упадка философского мышления, но еще в то же время распространялись и там, откуда мы до той поры заимствовали свою философию и всю свою науку. В Германии же в 50-х годах сильно распространился материализм, сначала среди врачей и натуралистов, а вслед за тем и в значительной части немецкого общества.

Немецкие историки философии прекрасно объясняют этот факт тем, что, неудовлетворенные шеллинговской и гегелевской философией и в то же время едва успевающая следить за успехами быстро развивающегося естествознания, врачи и натуралисты захотели совершенно обособить его от философии, бросили всякие занятия ею и сосредоточили все свое внимание исключительно на внешнем материальном мире, так что философское мышление пришло среди них в полный упадок» (Введенский, с. 56-57).

Все сказанное Введенским совершенно совпадает с тем образом «врача и натуралиста», который создал в лице Базарова Тургенев. Он не только отказывается от поэзии и философии, но и прямо говорит, что учителя у них, нигилистов, в Германии. Не во всем, конечно, а в вопросах медицины, естествознания и, я бы добавил, физиологии. То, что он советует насаждать

всюду Бюхнера и вульгарный материализм, — лучший способ показать глубину философского мышления новых вождей России.

Бюхнеровская «Сила и материя» — это пример научного хамства. Хамства Науки как сообщества. Именно в середине девятнадцатого века, когда естественная наука почувствовала силу, чтобы захватить власть в мире, она утратила осторожность и начала насаждать свое мировоззрение самыми грязными способами. Так рождалась «научно-популярная литература». В сущности — ложь, выдаваемая за действительность лишь с той целью, чтобы люди шли за учеными.

Очень скоро «пресловутость» этой книги станет очевидна не только действительным ученым, но и восторженной толпе, и тогда сама Наука осудит ее как пример «вульгарного материализма» и даст Бюхнеру пинка за излишнюю ретивость. Но он еще долго будет разъезжать по городам и весям Европы и пропагандировать свою пошлятину, собирая толпы Эллочек Людоедок, которым очень хотелось, чтобы их обманули и подсунули шиншиллу под видом облезлого кролика...

Бюхнер будет использован и вышвырнут за ненадобностью. На его смену встанут более утонченные бойцы, которые сами будут кричать, что Бюхнер — издевка над наукой, и надо обрабатывать сознание людей тоньше... Одним из них будет Сеченов, другими — свора Чернышевского. Сначала они будут насаждать в России вульгарный материализм, распространяя работы Бюхнера, Мошотта и других, потом будут писать свои вульгарно-материалистические сочинения и травить и запугивать тех, кто посмеет высказаться против них.

Затем придут «настоящие ученые», которые будут кричать, что вульгарный материализм — это пошло... но дело уже сделано, люди запуганы. Бюхнера можно выкинуть, зато в мировоззрении останется скрытая и неявно связанная с его агитацией мысль о том, что новое мировоззрение — это сила, и сила, которая пришла ломать и крушить:

«— Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?»

— Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? Вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?»

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать... — продолжал он. — Но как же это ломать, не зная даже почему?»

— Мы ломаем, потому что мы сила, — заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился» (Тургенев, с. 195).

Скоро прогремят взрывы, и куски окровавленного вещества, потерявшего способность думать, полетят по мостовым России. Террористов будут

бояться и слушаться, как духовных вождей революции, не потому, что они — ум, а потому, что они сила. И если вспомнить «Что делать?» Чернышевского, вспомнить его героя, который вместе с бурлаками таскает корабль, чтобы поражать воображение людей своей силой, станет очевидно, что Тургенев не преувеличил: врачи и террористы — сила, потому что они чужой крови не боятся.

И это не мои домыслы. Тот же Кропоткин пишет про нигилизм и образ Базарова, как про свой идеал. Идеал, прикрывающийся множеством красивых слов, как и презираемые им болтливые позеры-отцы, но при этом проговаривающийся, что главным для него была битва «за индивидуальность», то есть, говоря по-русски, за возможность показать себя:

«И в России это движение — борьба за индивидуальность — приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было. Тургенев в своей замечательной повести “Отцы и дети” назвал его нигилизмом.

Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам — и требовал, чтобы сделали другие, — от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет — разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован.

Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист» (Кропоткин, с. 404).

И еще утилитарист в духе Бентама и Милля. Иначе говоря, охотник за пользой, которую и положит сам Кропоткин в основание своей Этики. Но это не важно, хотя и правило нами целый век. Сейчас мне важнее тот разум, о котором говорит нигилист: он признает только авторитет разума. И с его помощью изгоняет суеверия и привычки, а именно становится атеистом. Но чей разум он признает?

Ведь кажется, что свой. Да вот где его взять? И как им познать истину? Как им заявить назло старикам: а я не верю в вашего бога и что угодно еще, — я понимаю. Но как им достичь не веры, а знания? Как им действительно уйти от суеверий? Нигилисты и революционеры этими вопросами не смущались. Они читали Бюхнера, и им было достаточно для того, чтобы избрать свой лагерь, одного ощущения силы, которая чувствовалась за материализмом. Они читали Чернышевского и избирали:

«В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе “Что делать?”, мы уже видели лучшие портреты самих себя» (Там же, с. 407).

Что же было главным доказательством истинности новой веры для разума детей? Соответствие действительности? Нет, все та же сила...

«То же было и со словом “нигилисты”, которое так интриговало когда-то журналистов и столько раз давало повод к удачной и неудачной игре слов, пока

наконец не поняли, что речь идет не о какой-то странной, чуть ли не религиозной секте, а о настоящей революционной силе» (Там же).

Настоящая сила! Вот что пьянило кровь молодежи, туманило их мозги и заставляло совершать наглые поступки, вроде публикации «Рефлексов головного мозга» в пушкинском «Современнике».

Эту работу Сеченова современные наши натуралисты считают даже началом психологии и до сих пор подают как классику научной психологии. Но работа публиковалась в журнале литературном и, значит, имела задачей — поразить и запугать толпу «дилетантов».

Поэтому начинается она как зажигательная речь с баррикады перед рьяной толпой, обгаживающая и высмеивающая всех возможных врагов. А затем переходит к обработке сознания восхищенных простодушных дурачков, сбежавшихся всей деревней послушать ученого нигилиста:

«Чистые рефлексы, или отраженные движения, всего лучше наблюдать на обезглавленных животных и преимущественно на лягушке, потому что у этого животного спинной мозг, нервы и мышцы живут очень долго после обезглавливания.

Отрежьте лягушке голову и бросьте ее на стол...» (Сеченов, Рефлексы, с. 8).

Зачем это? Может быть, чтобы, как объяснял Базаров деревенским мальчикам, понять человека?

«— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается» (Тургенев, с. 165).

Где внутри? Там, где физиология? Или там, где скрывается способность возбуждать к себе доверие в людях низших? Зачем Сеченов запугивает простодушных русских обывателей этими сценами кровавого натурализма? Зачем простым читателям совершенно литературного журнала «Современник» предлагать отрезать голову лягушке? Щипать ее обезглавленной, поливать кислотой? Чтобы наблюдать, как у нее подергивается кожа? Это русским-то людям, жившим веками во христианской нравственности?!

У меня только один ответ: чтобы вытравить из России ее душу...

Вот как рассказывает об этом марксистский историк психологии Ярошевский:

«В накаленной атмосфере споров о душе И.М.Сеченов приступает к экспериментам над мозгом, в ходе которых открывает так называемые тормозные центры, то есть локализованные в таламической области нервные центры, раздражение которых задерживает двигательную активность. Это было великое открытие...

Для Сеченова в тот момент самым важным было доказать на опыте, что воля, веками считавшаяся исходящей от души силой, производится маленьким кусочком мозгового вещества. Ведь самый верный признак волевого поведения —

умение противостоять раздражителям, задерживать нежелательные импульсы. И все эти признаки, как свидетельствует эксперимент, зависят от деятельности центров в головном мозгу. Используя это открытие, Сеченов пишет для “Современника” свой первый психофизиологический трактат “Рефлексы головного мозга” (1863).

Идеи сеченовской статьи разошлись далеко по земле русской: какая-то купчиха в Красноярске говорила ссыльному Пантелееву о петербургском профессоре Сеченове, который доказывает, что души нет, а существуют одни только рефлексы.

Слово “рефлекс” имело в ту пору единственный смысл: механическая реакция, подобная движению ножки лягушки при раздражении ее кислотой. Приравнять человека с его душой и свободной волей к этой лягушке (а именно на ней ставил Сеченов свои опыты) казалось кощунством» (Ярошевский, История, с. 230-231).

Чтобы кощунствовать, нужна сила богоборца... Богами себя и видели... или вместо богов. Шла давняя битва за Олимп...

Естественнику той поры нужен не разум, а сила, потому что он хочет не познать, а подчинить материю. А для этого ее надо запугать, потому что материей этой оказывается для русских революционеров и демократов не просто вещество, а человеческое вещество, думающая материя.

Именно эта мысль, вызревшая в головах немецких врачей и натуралистов, начиная с учителя Сеченова Гельмгольца, и вела в их поиске русских революционных мыслителей. Мысль, в сущности своей, чрезвычайно простая: если удастся доказать, что человек — это не душа и не дух, а мыслящее вещество, то к нему окажутся применимы законы ньютоновской физической механики, в крайнем случае, химии, как предполагал Джон Стюарт Милль. И тогда человеческим веществом — массами — можно будет управлять, как веществом химико-физическим... просто и восхитительно! К примеру, таблетками, продающимися в любой аптеке.

Надо было только философски доказать тождество человека со всем остальным веществом вселенной. Это взял на себя Чернышевский.

Глава 12. Антропологический принцип Чернышевского

В 1927 году «Политический словарь» под общей редакцией Б. Эльцина однозначно высказал отношение победивших детей к Чернышевскому.

«Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — выдающийся русский писатель и политический деятель прошлого столетия, “великий ученый и критик” (слова Маркса), социал-утопист. В 1862 году был арестован и приговорен сенатом к 14 годам каторжных работ и затем к вечному поселению в Сибири. Автор утопического романа “Что делать?”, критических замечаний к “Политической экономии” Дж. Милля и других крупных литературных произведений.

Он был настоящим революционером мысли, подвергавшим меткой и уничтожающей критике как все старые понятия, так и новейшее пустословие либеральных говорунов. Его статьи в “Современнике” (который он редактировал вместе с Некрасовым и Добролюбовым) были “евангелием” революционной молодежи. Его жестоко и свирепо преследовало царское самодержавие, запрещая упоминать его имя в русской печати».

Как видите, для Маркса и революционеров Чернышевский был великим ученым и критиком... Другое мнение о Чернышевском высказал русский человек — Памфил Данилович Юркевич. В том же 1860-м году, когда Чернышевский тайно, без подписи опубликует в «Современнике» свою главную философскую работу — «Антропологический принцип в философии», — Юркевич, тогда еще доктор философии в Киевской Духовной Академии, напишет ответ «Из науки о человеческом духе».

Благодаря этому ответу и разгорятся те споры шестидесятых, из которых родится терроризм и будет выкинуто из нашей научной жизни последнее понятие о душе, а психология для психолога навсегда станет разделом физиологии... Именно тогда и определяются все те принципы, на которых строился революционный переворот общества, уничтожение инакомыслящих, лагеря, репрессии, психушки... тупое скотство рабочего класса и подловатое молчание интеллигенции...

При этом Юркевич был настолько хорошо образован как философ, что в 1863 году, когда снова разрешили преподавать философию, он смог без дополнительной подготовки занять эту кафедру в Московском университете и был, в сущности, учителем всех тех философов девятнадцатого века, которые составили нашу гордость. Поэтому к его мнению стоит прислушаться. Итак, предложив строгий путь разработки психологии, как опытной науки, учитывающей и методологию естественных наук, но применяющей ее к собственному предмету, то есть, в отличие от естествознания, применяя ее к предмету внутреннему, Юркевич говорит о том, что «не все современные ученые понимают задачу эмпирической психологии в том простом виде»:

«Неизвестный сочинитель дал форму этим статьям несколько свободную; он счел за лучшее говорить о душевных явлениях не в строгом систематическом порядке, а в связи с различными посторонними предметами, которые часто пересекают нить его анализов и для читателя, не привыкшего сводить к единству разнородные воззрения, могут затруднять самое понимание идей, в них изложенных» (Юркевич, с. 109).

Попросту говоря, Чернышевский был плох не только как писатель, но и как ученый. Он был хорош лишь как революционер и возмутитель спокойствия, за что и ценили его те, кто воспользовался плодами его деятельности. И это очевидно, когда читаешь и «Что делать?», и «Антропологический принцип», — читать их трудно и скучно... Но принцип, который там проводился, до сих пор живет в нашем сознании, и его надо рассмотреть. Поэтому читать все-таки придется.

Однако я не случайно начинаю рассказ об антропологическом принципе не с Чернышевского, а с Юркевича. У меня нет задачи познакомиться с Чернышевским, он мне вообще не нравится ни как писатель, ни как философ. Моя задача — показать, как стало пониматься в России понятие «принцип» в ту эпоху, когда из философских «принципов» и «принсипов» рождалась наша принципиальность. И поэтому мне важнее не сами мысли Чернышевского, а их отражение в общественном сознании.

Профессор Духовной Академии Юркевич откликнулся на эту статью чисто философски, на что Чернышевский просто схамил. А.Абрамова, переиздававшая Юркевича в 1990 году, привела этот ответ Чернышевского, который очень точно отражает, как вела себя нигилистская редакция Чернышевского по отношению к тем, кто защищал в то время душу:

«О характере критики, направленной на Юркевича, можно судить, например, по замечанию Чернышевского о том, что он не читал статьи своего оппонента, но знает, что в ней написано, помня свои семинарские тетрадки. “Я чувствую себя настолько выше мыслителей школы типа Юркевича, что решительно нелюбопытно мне знать их мнение обо мне”» (Абрамова // Юркевич, с. 644).

И тут же свора различных Антоновичей принялась поливать Юркевича грязью, показывая, что они сила и их трогать нельзя; на их стороне оказалась изрядная часть общественного мнения той самой молодежи, для которой Чернышевский писал свои «евангелия».

Юркевич знал, и сам говорил, что взгляды Чернышевского, изложенные в «Антропологическом принципе» разделяет часть общества: *«...другие находят в них правильное применение методы естествознания к решению вопросов философии и сочувствуют началам и идеям, в них раскрытым»* (Юркевич, с. 109).

Каким началам и идеям сочувствовали тогда, в начале шестидесятых, когда только зарождалось то мировоззрение, что сметет прежнюю Россию и утвердится в ней на целый век, скрыто определяя наше поведение и до сих пор?

Философ Юркевич понял антропологический принцип так:

«На основании общеизвестного опыта, что душевные явления происходят в телесном организме, и особенно на основании научного физиологического факта, что условия для изменения этих явлений даны первее всего в различных движениях и изменениях частей живого тела, некоторые ученые видят в душевных деятельностях и состояниях явления жизни органической, только более тонкие и более развитые.

Представители этой теории, которая рассматривает душевную жизнь как непосредственное произведение телесного организма, сделали в последнее время замечательные попытки, чтобы оправдать свое начало...» (Юркевич, с. 108).

Юркевич был философ в чистом виде. Это давало ему силу, но и сужало его. Он совершенно верно видит, что принцип или начало, из которого исходит философская часть сочинения Чернышевского, — это естественнонаучное суеверие, утверждающее, что душевные явления производны от

деятельности телесного организма. И это старое использование понятия «принцип» — это именно то начало, из которого исходит рассуждение мыслителя, или то основание, на котором работает разум.

Но Юркевич не видит, что Чернышевский лишь использует философское слово «принцип» в старом звучании, как до него говорили принципы или принсипы, но вкладывает в него уже совсем иное содержание, а именно не излагает начала, а требует принципиальности от своих последователей!

Для того чтобы понять это, надо было не отбрасывать те «различные посторонние предметы», по которым бессистемно скакала, как казалось Юркевичу, мысль анонимного сочинителя, а понять их психологически. Юркевич пишет о психологии, но он еще не психолог, он не понял того, кого читал. А ведь тот очень старался сделать себя понятным, несмотря на необходимость революционной конспирации. Достаточно взглянуть на самое начало его сочинения:

«Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политической стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или неревolutionный, смотря по надобности...» (Чернышевский, с. 8-9).

Чернышевский не называет своего имени в этом ряду, но русским людям, привыкшим жить в условиях озверелой цензуры, и так все было ясно: автор заявил о том, что он видит себя одним из политических писателей, а занимается философией именно потому, что хочет воздействовать на самые основы мышления своих читателей.

«Говорить, будто бы не было и прежде всегда того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, — это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выразить такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки» (Там же, с. 9).

Иными словами, Чернышевский не собирался заниматься философией, он сразу и откровенно заявил, что будет заниматься ее «политическим отделом». Дикое выражение, в сущности, являющееся совершенно бессмысленным с точки зрения философии как науки. Но если вспомнить, что философия — это не наука, а любовь к мудрости, то и Маркс, и Ленин, и Чернышевский могут считаться философами не в академическом смысле. Их задача — перемудрить тех, у кого они хотя бы отобрать власть.

Но для этого им нужна сила, а сила эта, если вспомнить битву за Олимп, находится в руках Гекатонхейров — сторуких. Попросту говоря, сила у народа, его надо поднять на возмущение, и его руками разгромить врагов, и посадить себя на их место. Как можно поднять народ на такое дело?

Народ — это биологическая масса, которая живет по своим биологическим и химическим законам, описанным в социологиях Конта и Милля. Точнее, не описанным, но мудрый человек видит эти законы то ли третьим глазом, то ли шестым чувством: народ стремится к точке покоя. Точкой покоя, если верить механике Ньютона, является самая нижняя точка, а если верить мифологии — то самая высшая — Небеса. Мифологии утверждают, что боги находятся в покое и созерцании, а обыденный взгляд видит, что народ, чернь, подлый люд — всегда внизу, подле, униженный... И спокоен он, только пока не знает, что внизу и унижен.

Утилитарист и материалист верит своим глазам, но если он одарен, то не теряет и видения внутреннего, и для него верх и низ оказываются странно перепутаны, но действительны. Особенно это важно, если он понимает, что точно так же они перепутаны и для обычного человека. А если это так, то что надо сделать, чтобы заставить биомассу возмутиться?

Надо перевернуть в голове сторукого образ мира и убедить его, что он живет не у вершины, а внизу мира. И тогда масса поползет к новой вершине, чтобы упокоиться в новом унижении.

Тысячу лет народ убеждали, что царь — наместник бога на земле и отец народу. Разве что плохие бояре от него правду скрывают... И народ был хоть как-то спокоен. Но вот нашлись люди, которые захотели отобрать власть у царя-батюшки и вместо дуэли или бунта принялись готовить революцию, меняя мировоззрение народа. А для этого внедряя в сознание людей простую, но поражающую воображение мысль: нас обманули! Мы внизу! А можем быть вверху!

И биомасса зашевелилась, рождая в себе возмущение...

Что же пытался поменять местами Чернышевский? Да он просто и без затей отказал в надобности всем тем духовным учреждениям, которые говорили от лица Бога, духа и души! И сделал это, превратив душу в нечто вроде отрыжки нажравшейся биомассы. Это называлось у него целостностью:

«Основанием для той части философии, которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека.

Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей природы, другую природу, то эта другая природа непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его природе, то другой природы в нем нет» (Там же, с. 31).

Всё, революция свершилась, ответ на вопрос: а судьи кто? — найден. Судьи — молодые врачи и натуралисты, которые человеческие трупы не раз

вскрывали, а души в ней не находили... стало быть, ее и не надо! На все про все хватит нам одной химии...

А как же быть с тем, что люди привыкли называть душевными движениями? Для начала подменим имена, а попросту исключим слово «душевное» и заменим его на «нравственное», что, наверное, будет близко к поведенческому:

«Но при единстве природы мы замечаем в человеке два различных ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два порядка явлений? Не противоречит ли их различие единству природы человека, показываемому естественными науками?» (Там же, с. 33).

Нет, нисколько! Даже наоборот, поверьте на слово, современная наука уже все доказала и открыла:

«Итак, естественные науки видят в существовании органического тела, каково, например, растение или насекомое, химический процесс» (Там же, с. 37).

«Словом сказать, разница между царством неорганической природы и растительным царством подобна различию между маленькою травкою и огромным деревом: это разница по количеству, по интенсивности, по многосложности, а не по основным свойствам явления: былинка состоит из тех же частиц и живет по тем же законам, как дуб; только дуб гораздо многосложнее былинки: на нем десятки тысяч листьев, а на былинке всего два или три...» (Там же, с. 42).

«Таким образом, существенный характер нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключаяющей всякую шаткость убеждений. Из этого легко заключить, какая судьба ждет человечество Западной Европы» (Там же, с. 50).

Судьба, прямо скажем, сытая... биомассу кормят химией, и она ее прекрасно усваивает, все больше превращаясь в новый вид сложно организованного вещества с большим количеством неорганических вкраплений.

И вообще, химия — самая революционная из наук, потому что с ней не поспоришь! Химическая революция однажды принесет нам химический рай, как убеждали человечество американские последователи Чернышевского ровно через сто лет — когда приучали шестидесятников прошлого века к наркотикам.

«Свойство каждого нового учения состоит в том, что нужно ему довольно много времени на распространение в массах, на то, чтобы стать господствующим убеждением. Новое и в идеях, как в жизни, распространяется довольно медленно; но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется, постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения, начиная, конечно, с более развитых. Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям...» (Там же).

Вот сила! Она в том, что против общественного мнения не погрешь, значит, нужно всего лишь убедить толпу, что вся Европа уже давно так думает, а потом толпа сама уберет всех несогласных. А еще лучше соблазнить и напугать их всех той силой, что растет за океаном и однажды сделает всех своими провинциями, а тех, кто не подчинится, вырежет или загонит в резервации, как индейцев. Ведь научное сообщество — это то же государство, и поступать с людьми оно будет как любая империя, начиная с Рима или Ассирии:

«Когда они вдвоем (математика и астрономия — АШ) придали человеческий вид многочисленным особам семейства физики, пресмыкавшимся прежде в жалчайшей нищете и погрязавшим в гнуснейших научных пороках, математика уже имела в своем распоряжении целое племя, стала президентшией довольно большого и благоденствующего государства.

В конце прошлого века это умственное государство было в таком же состоянии, как Соединенные штаты в политическом мире около того же времени. Оба общества растут с той поры одинаково быстро. Чуть не каждый год прибавляется какая-нибудь новая область к молодому Северо-американскому государству, становится из дикой пустыни цветущим штатом, и всё дальше и дальше оттесняются просвещенным и деятельным народом жалкие племена, не желающие принимать цивилизации...

Так и союз точных наук под управлением математики, то есть счёта, меры и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми пришельцами. После химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии; теперь входят в него нравственные науки...» (Там же, с. 55).

Откровенно и откровенно беспринципно нам объяснена судьба России, захваченной научным сообществом. Теперь им будут владеть научные мальчики, дети... а остальным уготована роль тех самых жалких племен, от которых американцы не оставили подчас и воспоминаний. В сущности, здесь нарисована судьба русской культуры под скальпелем всех тех сеченовых, что шли в народ, чтобы просвещать его, а в действительности, завоевывать...

«Мы хотели сказать, что разработка нравственных знаний точным научным образом только еще начинается; что поэтому еще не найдено точного теоретического решения очень многих чрезвычайно важных нравственных вопросов; но что эти вопросы, теоретическое решение которых еще не найдено, имеют характер чисто технический, так что интересны только для специалистов, и что, наоборот, те психологические и нравственные вопросы, которые представляются очень интересными и кажутся чрезвычайно трудными для неспециалистов, уже с точностью разрешены и притом разрешены чрезвычайно легко и просто, самыми первыми приложениями точного научного анализа, так что теоретический ответ на них уже найден...» (Там же, с. 68).

Шарлатан! Грязный плут и лжец! Просто беспринципный подонок, обрабатывающий умы простолудинов, которых сам же презирает и ненавидит. Юркевич возмутился как раз против этого бессовестного шулерства «вели-

кого ученого». Откуда взялась такая уверенность, что психология середины девятнадцатого века разрешила уже все нравственные вопросы? Где эта психология?

Юркевич, наивный профессор философии, понимал под психологией именно то, что изучали психологи. И справедливо возмущался. Но Чернышевский не знает психологии, он говорит о том, что на эти вопросы ответил утилитаризм, попросту, Бентам и Милль! И ответ этот прост и нравственен: если толпе предложить выгоду или пользу, попадетсЯ ли она на это? Конечно! Как попадались наши люди на множество пирамид и прочих кидаловок. Лишь бы их поманили выгодой.

А раз так, значит, и не нужно никакой другой психологии, кроме той, что учит, как вовлекать народные массы в движение и возмущение.

Чернышевский говорит о прикладной психологии, о психологии, которой пользовались революционеры, а наивный профессор пытается с ним спорить философски:

«Физиология, — говорит сочинитель, — разделяет многосложный процесс, происходящий в живом человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные: дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение...» Кто никогда не был в анатомическом театре, тот на основании этих слов может вообразить, что там профессор анатомии показывает простому или вооруженному глазу слушателей систему пищеварительных органов, кишок, нервов и систему ощущений, следовательно, систему представлений и мыслей, страданий и радостей, мечтаний и надежд.

В приведенных словах сочинитель, кажется, ясно говорит, что ощущение есть предмет так же данный для внешнего физиологического опыта, как сжатие и растяжение мускулов, движение крови, химическая переработка пищи в желудке и т.д.

Таким образом, он разделяет основное заблуждение или обольщение всех физиологов, которые в последнее время думали заменить физиологией так называемую прежде психологию» (Юркевич, с. 111-112).

Чернышевский совсем не впадает в заблуждение и вовсе не разделяет его. Он в него вводит! Он вполне осознанно обманывает читателей, потому что ему совершенно безразлично, что говорить. Как это безразлично остальной науке, которая сначала творит Бюхнеров, а потом отбрасывает их, когда они сделали свое дело. Так же было и с Чернышевским: пока интересы классовой борьбы того требовали, его объявляли великим ученым, а как только революция победила, отодвинули в тень, сказав, что он еще не понял, не дорос, не раскрыл...

Чернышевскому плевать на то, что такое психология, физиология, химия и, вообще, наука. Ему плевать и на действительное устройство мира как природы. Ему есть дело только до мира, который общество. И тут он прекрасно знает, как воздействовать на умы:

«Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью.

Процесс этот так многосложен, а предмет его так важен для нас, что отрасль химии, занимающаяся его исследованием, удостоена за свою важность титула особенной науки и названа физиологией...

Так и физиология — только видоизменение химии, а предмет ее — только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии» (Чернышевский, с. 70).

А что такое химия?

Вы думаете, что наука?

Какая наивность! Химия — это то, с чем не поспоришь! И это принципиально! А главный принцип убеждения своих и превращения чужих в своих: кто не с нами, тот против нас... Хороший противник — мертвый противник! Но чтобы эту мысль пропустила цензура, мы объясним ее особо тупым интеллигентно:

«Но мы едва не забыли, что до сих пор остается не объяснено слово “антропологический” в заглавии наших статей; что это за вещь “антропологический принцип в нравственных науках”?»

Что за вещь этот принцип, читатель видел из характера самых статей: принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или, если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом» (Там же, с. 103).

Правда, это звучит современно и до сих пор является основанием для психологического образования в наших университетах?

Но образование — это слишком важно для распространения принципов, поэтому о нем надо поговорить особо.

Глава 13. Принципы педагогов. Ушинский

К середине девятнадцатого века естествознание из науки как поиска истины или, точнее, как способа познать действительность, превратилось в политическую силу. Для этого оно стало сообществом людей, многие из которых были откровенными проходимцами, плохо понимавшими и сами принципы научного поиска и смысл научной деятельности, зато прекрасно видевшими, как использовать научные достижения для воздействия на общество.

Продимцы в основном становились популяризаторами науки, то есть людьми, несущими некое воздействие в «популя», в народные массы. На примере таких пройдох, как Бюхнер или Сеченов, истинные цели популяризаторов не были видны столь очевидно, как на примере откровенных революционеров и политических философов, вроде Чернышевского, Маркса,

Ульянова-Ленина. Читая Сеченова, все время испытываешь соблазн посчитать его статьи физиологическими, только недоумеваешь, почему он пишет их на трибуне оратора и почему так много воздействует на сознание читателя, поражая его ужасами и кровавостью...

Но вот работников политического отдела философии, начиная с Чернышевского и кончая Сталиным, раскусывать и разгадывать не нужно. Они предельно откровенны: их цель — научное общество научного коммунизма, а попросту — переворот и захват власти. И главное — не бояться крови, ведь физиологи объяснили, что мы — не более, чем лягушки, поскольку души нет, а природа едина. Попросту объяснить, так мы всего лишь думающее вещество, и потому над нами можно строить любые эксперименты...

В ответе ли настоящие ученые за то, что с нами проделали от имени науки? Не берусь судить, но знаю лишь то, что они не имеют отношения к Науке. Их держат при ней, чтобы оправдывать вывеску, а сами они заняты своими исследованиями и плохо понимают не только политическую силу научного сообщества, но даже и то, как распределяются средства в их институте, а то и в лаборатории...

И это верно, потому что для шага за границу изведенного необходимо собрать все свои силы, а для этого их надо высвободить от всего, что отвлекает. А политика, власть, сила — это такие игрушки, которые поглощают человека целиком и надолго...

Но это настоящие исследователи, которым и ученые степени-то нужны разве что для того, чтобы не мешали, да жена была хоть как-то довольна зарплатой. А вот остальная «масса» научных работников бурно вовлечена в игру, вроде компьютерной стратегии, где нужно набирать экспу, хиты, звания, места, публикации, связи... и усиливаться, усиливаться, усиливаться... Научный рост для члена сообщества — это не рост исследовательский, это набор силы, как ее представляет себе мышление силы. В общем, обман... но такой увлекательный!

Внешне эта игра выглядит как обретение образования. Сюда входит и обретение неких знаний, но главное — обретение образа. А точнее — образов, их последовательная смена со студента, через аспиранта и до действительного академика или министра.

Образование — это не воспитание. Воспитание и образование — очень разные вещи. Я писал об этом в другой книге и не хочу повторяться. Но воспитание — это возвращение человека в определенной культуре до возраста, после которого он готов к самостоятельной жизни. Оно исконно известно любому народу. Образование же изобретено именно наукой и совсем недавно. Даже слово это придумано лишь на рубеже девятнадцатого века.

Образование — это обретение образа члена научного сообщества. Оно может быть, а может и не быть. Знания мы можем иметь и без образования, но вот считаться ученым без научной степени нельзя, потому что в современном обществе ученый — это не оценка знаний, а общественное место. И его нельзя обрести, если его не присвоит тебе соответствующее сообщество.

К середине девятнадцатого века образование уже повсюду привилось в России, но было делом добровольным. Молодой человек мог получить воспитание дома, мог в церковно-приходской школе или частном пансионе. Сейчас это звучит странно, но это стоит осознать: все эти виды воспитания не имели никакого отношения к науке! Детей, конечно, учили грамоте, но ничего, что мы проходили по программе в советской или современной русской школе, в тех учебных заведениях не было!

Училище старой России не давало образования, поскольку не принадлежало Научному сообществу. Оно было больше занято воспитанием, чем образованием, оно учило быть человеком, а не членом научного общества.

Конечно, у этих училищ были многочисленные недостатки, и главный — они постоянно отставали от своего времени. Судите сами: если мир изменился, и в нем торопливо делится тело еще живого государства, от которого каждый суетливо стремится отрезать себе кусок побольше, то смыслом жизни всех сообразительных людей становится эта гонка: успеть, успеть урвать!

А школа этому не учит! Она выпускает, к примеру, хороших, душевных людей, которые обучены думать, мечтать и познавать себя... глупо! Пошло! Романтизм!

Ребенка надо не научить, не зажечь, его надо заполнить, как химическую реторту, ядерной взрывной смесью, чтобы ему хватило заряда долететь до самой верхушки общественного устройства. Поэтому ему и надо дать все те знания, что позволят ворваться во взрослую свару как можно лучше подготовленным. Если до этого вход в высший свет определялся Церковью, следовательно, заполнять ребенка нужно было религиозными знаниями. Если теперь этот вход во Власть у Церкви отобрала Наука, значит, надо сделать его узнаваемым среди членов этого сообщества.

Русская школа середины девятнадцатого века отстала от того, чем жило русское общество. Ее выпускники не узнавались своими привратниками Власти, у них не было узнаваемого образа...

В понятии «образование» скрыт культурно-исторический путь современного человечества и шаги научной революции, изменившей наш мир. Она началась с битвы молодых философов за право говорить так, как думаешь, а не так, как предписывают власти. Ее начало целое сообщество, представителем которого можно считать Декарта, хотя ему предшествовали и Бруно и Галилей. И все они ненавидели те школы, в которых обучались в детстве, иезуитские, религиозные школы.

Поэтому когда Чернышевский в раздражении отказывается читать ответ профессора Духовной Академии на своё вольнодумство, он не просто хамит, он хамит исторически, как хамили его учителя. Как бывший семинарист, он раздражен и возмущен тем, как учили в семинарии, то есть церковной школе. Научная революция рождалась как бунт школяров против учителей.

Эти школяры стали философами. Вначале. Затем они стали естественниками — врачами и натуралистами, и понесли новое с той решительностью,

какой обладает только хирург. За ними потянулись ловцы силы — политики. И начали думать, как перестраивать сознание людей, чтобы люди отдали им власть. И как же его перестраивать?

Софья Перовская говорит о том, что на их дело потребуется два поколения. Об этом же думает и Чернышевский. Два поколения? Отцы и дети. Вся история развивается как борьба поколений.

Мелкий подлыгала, шакал при Шерхане — Чернышевском, Антонович поминал роман Аскончинского «Асмодей наших дней». Роман, во многом схожий с «Отцами и детьми» Тургенева. В нем есть свой Базаров, есть и свои отцы, которые, как светский лев Тургенева, тоже бунтовали в юности на английской манер, только бунтовали «против старой пузатой аристократии», против бояр еще при Петре.

Дворянская интеллигенция смела своих отцов — вольтерьянцев. Те — бояр... Белинский заменил собой Пушкина, или его заменил Бюхнер? Ленин отрицал народничество и воевал с ним... Поколения меняются и воюют с предшественниками. Было ли так до Петра? Кажется, нет. Кажется, тогда мы жили ровней, и молодежь продолжала то, что делали отцы... если только они хоть что-то делали. Ведь именно эту лень и бездеятельность вменил в вину боярству Петр.

Но ведь и крестьянский сын не делал ничего нового и европейского, хотя и трудился круглый год. Год просто был круглым в России, а Европе он вытянут в ступеньку на бесконечной лестнице цивилизации, ведущей то ли в рай, то ли в ад...

Петр разорвал круговорот вещей в природе нашего общества и попытался привязать его кончик к европейской колеснице. И люди сразу распределились в мире по новому устройению, расселись по новым ступеням. Чтобы успеть за прогрессом, нужно было себя к нему приспособить с точностью шестеренки. Для этого работать над своим образом надо с самого детства...

Поэтому наши воспитатели юношества не могли стоять в стороне от происходившего. Позже врачей и натуралистов, позже политических проходимцев и шарлатанов, но все же еще в шестидесятых годах девятнадцатого века появляется работа, которая на века, попросту, до настоящего времени, определила, как работать учителю.

Этот Катехизис русского педагога под названием «**Человек как предмет воспитания**» создал **Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870)**. Когда-то выгнанный из ярославского Демидовского лицея за политическую неблагонадежность, он хорошо чувял веяния нового. И умел думать...

При этом он, вроде бы, умудрился не забыть душу... по крайней мере, он так говорит. Его книга начинается с большого очерка психологии, как ее понимали в то время. То есть с естественнонаучного очерка физиологической психологии. Но при этом Ушинский лишь говорит о том, о чем и Юркевич: психические проявления доступны для нашего наблюдения через телесные проявления. Значит, изучать их можно и так, а для этого надо знать,

как устроен этот анатомический театр души. Но душа есть, и ее надо изучать особо.

Он успел выпустить только два тома, поэтому работа его осталась навсегда незавершенной. И многим, кто читал только начало, казалось, что в целом он предлагает исходить в воспитании детей из их физиологии. Поэтому его ценили даже революционеры, и в пятом томе советской «Философской энциклопедии» в 1970 году ему дается оценка от лица победителей:

«В этой книге, по которой обучались поколения русских педагогов, излагаются прогрессивные представления о развитии целостной личности под решающим воздействием воспитания и обучения. Полагая, что нравственная детерминация, идущая от общих устоев жизни народа, есть решающая сила в построении специфически человеческого уровня деятельности нервной системы, Ушинский искал пути естественнонаучного обоснования педагогики».

Кажется, Ушинского не поняли... Он искал пути для того, как убрать из школы воспитание и впустить в нее образование. Он совсем не понимал, что такое воспитание, и мало думал об этом, он думал о том, как учителям сдать на милость победителя, не слишком теряя свое достоинство, как лечь под естественную Науку и выжить, торгуя живым товаром...

И ведь теперь, по прошествии поколений, наши бездумные педагоги, по своему не менее фанатичны в защите Науки, чем врачи. И они не представляют, как школа может быть другой, как школа может не заполнять детей тем, что составляет содержание науки — математикой, физикой, химией, биологией... Сомневаться в том, что это правильно — кощунство! А что еще может давать школа?!

Она могла бы давать воспитание. Она могла бы учить детей думать, видеть, жить... Но тогда придется думать и учителям, а зачем, если программы уже составлены, и можно хоть чуточку отдохнуть от разума в механическом рае?..

Ушинский не знал, что такое воспитание, и не понимал его. Он не был воспитателем, он был революционером от науки, творящим еще один ее раздел — педагогику или, как он писал в подзаголовке своей книги, — Педагогическую антропологию. Но привить он свое детище стремился к воспитанию. Поэтому он начинает с него свое сочинение:

«1. Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным и растениям, а равно и к историческим обществам, племенам и народам, то есть к организмам всякого рода, и воспитывать, в обширнейшем смысле слова, значит, способствовать развитию какого-нибудь организма, посредством свойственной ему пищи, материальной или духовной» (Ушинский, с. 1).

Это Начало, Исходное рассуждение, а значит, в определенном смысле — принцип, из которого выводится все остальное. И этот принцип содержит в себе исходную ложь.

Никогда в русском языке воспитание не прилагается к растениям, воспитывать можно только тех, кто имеет душу. И никогда воспитание для русского человека до Ушинского и Чернышевского не относилось к организмам...

Подставить на место души организм — значит передернуть, говоря языком карточных шулеров. А говоря на языке прикладной психологии, это означает, что через подмену одного образа или понятия другим, мы соединяем искусственной связью две цепи рассуждений или понятий. И в итоге живое рассуждение, здраво вышедшее из своей родной точки и движущееся по естественному ему пути, завершается вдруг в совершенно противополоственном месте. И это как раз естественно, ведь к нему был приставлен конец из совсем другого рассуждения.

Как Ушинский этого достигает? Множеством ухищрений. В Предисловии он долго возмущается по поводу тех педагогов, кто не заявляет ясно и отчетливо цель воспитания. Говорит о том вреде, который принесет педагог со скрытыми злыми целями, и вдруг заявляет:

«Однако же примем покуда, что цель воспитания нами уже определена: тогда останется нам определить его средства» (Ушинский, с. XII-XIII). И принимается вещать о пользе наук... А к цели больше не возвращается.

Следовательно, он успел незаметно заявить свою цель, и в этом для него больше нет надобности? Судя по предисловию, цель эта научная. И научная она в худшем понимании прогрессорства — как средства, способного ограждать нас от заразы жизни:

«Конечно, если видеть в воспитании только обучение чтению и письму, древним и новым языкам, хронологии исторических событий, географии и т.п., не думая о том, какой цели достигаем мы при этом изучении и как ее достигаем, тогда нет надобности в специальном приготовлении воспитателей к своему делу; зато и самое дело будет идти, как оно теперь идет, как бы мы ни переделывали и не перестраивали наших программ: школа по-прежнему будет чистилищем, через все степени которого надо пройти человеку, чтобы добиться того или другого положения в свете, а действительным воспитателем будет по-прежнему жизнь со всеми своими безобразными случайностями».

«Практическое значение науки в том и состоит, чтобы овладеть случайностями жизни и покорять их разуму и воле человека» (Там же, с. XVII-XVIII).

В сущности, это и есть изложение антропологического принципа в педагогике. Заменить воспитание на образование, заполнить детей научными знаниями или знаниями о науке, вместо воспитания и развития. Но я не хочу делать выводы за автора. Предпоследняя глава первой книги прямо посвящена им принципам. Она называется Рассудок и разум. А в оглавлении это пояснено: «Рассудок как принцип науки; а разум, как принцип практической жизни». Вот там и сказано главное:

«5. В теории можно еще жить одним рассудком; но высшая практическая деятельность требует всего человека, и, следовательно, требует руководства разума. Это замечание, приложимое ко всей общественной, исторической деятельности человека, с особенной силой относится к деятельности воспитательной» (Там же, с. 542-543).

Означает это, что принципы хороши, но жить надо принципиальностью! Попросту говоря, богу — богово, а мы вынуждены приспособляться

к силе, которая захватила наш мир, вот принцип педагога. И не надо русскому учителю слишком умничать, потому что «ум без разума беда!» И далее поясняет «отношение воспитателя к науке примером»:

«7. Самое характеристическое явление науки двух последних десятилетий есть необычайное усиление и распространение естествознания; а вместе с тем и промышленная деятельность народов расширилась и приобрела такое значение, какого не имела никогда. Как бы кто ни смотрел на этот факт, но не признать его никто не может, и, во всяком случае, жизнь человечества сделает бесспорный прогресс, если ею будет руководить более промышленный и торговый расчет, чем властолюбие, слепой фанатизм, национальные гордости и ненависти» (Там же, с. 544).

Еще бы сказал: жить хорошо, а хорошо жить лучше... Понятное дело, лучше нами будет править торговый расчет проходимцев, чем слепой фанатизм непонятно кого, да хоть литературных персонажей!

Впрочем, принцип ясен: два десятилетия усиления естествознания — достаточно большой срок, чтобы бойкие педагоги поняли, на чью сторону надо перескочить. А то ведь и опоздать можно!

«Но если воспитатель останется глух и нем к законным требованиям времени, то сам лишит свою школу жизненной силы, сам добровольно откажется от того законного влияния на жизнь, которое принадлежит ему, и не выполнит своего долга: не приготовит нового поколения для жизни, а оставит ей, во всей ее пестроте, неурядице и часто безобразии, довоспитывать воспитанников его несвоевременной школы.»

«Школе не опрокинуть жизни; но жизнь легко опрокидывает деятельность школы, которая становится поперек ее пути» (Там же).

Бред этот я понимаю с трудом: готовить к жизни, чтобы только ни в коем случае ей не отдать! Но принцип, думаю, проступает с очевидностью, принцип простой: учитель должен держать нос по ветру и быстро ложиться под ту силу, которая правит обществом, чтобы готовить ей пушечное, а в данном случае, промышленное мясо...

И далее обработка сознания в ключе Чернышевского и Сеченова:

«9. Многие боятся естествознания, как проводника материалистических убеждений; но это только слабодушное недоверие к истине и ее Источнику — Творцу природы и души человеческой. Истина не может быть вредна...» (Там же, с. 546).

Да... и на этом воспитывались поколения наших педагогов!..

Каким это образом естествознание стало истиной, да еще и Богом одновременно? Как может быть учителем учителей человек, чья мысль так грубо скачет, и который не может выдержать простого и точного рассуждения на протяжении трех строк? За что же его уважали?

Ну, не за ум, исключительно за разум. Даже за мудрость.

Так бы мучились педагоги, спрашивали бы у своего сердца, как же учить детей, как не предавать их души, но нашелся умный дядечка и сказал: надо менять наши программы, немцы уже давно преподают педагогам психологию, по крайней мере, Лотце, англичане — Локка и Рида, а мы?..

А что мы? Лотце и Рида никто и из профессиональных-то психологов не помнит. Локк давно не считается психологом. С какой стати преподавание их психологий надо было считать и подавать русским людям как достижение? Ведь не прошло еще двух десятков лет, как они были признаны пустышками, вроде того же Бюхнера. Значит, весь пафос Ушинского не по поводу истины, а по поводу того, что надо успевать? И надо уметь чутя силу?

Это во многом верно. И педагог, и учитель должны заявить цель, к которой поведут своих учеников еще тогда, когда только приглашают их к себе. Они должны вывесить ее над воротами своего училища или хотя бы над своим рабочим столом.

Педагог должен четко и однозначно написать: я государственный. Я готовлю рабочих и служащих для того Левиафана, в котором живу. Они должны стать очень хорошо приспособленными к пищеварению его организма винтиками и шестереночками... Возможно, тогда они будут жить хоть чуточку легче, и так я выполню свой долг воспитателя.

Учитель же, в отличие от педагога, мог бы и задуматься, чему он собирается учить детей и что такое воспитание. Но цель определяет и даже творит средства своего достижения. Если цель не заявлена вначале, но создаются средства, значит, она скрыта, и нас обманывают, нас готовят в пищу...

Государственный подход в воспитании вовсе не то, что надо отвергать, призывая к анархии. И я его отнюдь не отвергаю: о своем государстве стоит заботиться, если мы не хотим оказаться в чужом. Но думающие люди, как кажется, могли бы быть ему полезней консервов. Однако...

Однако этого пока не видно в той жизни, от которой Ушинский хотел загородить нас наукой. Пока государство очень не любит думающих людей и предпочитает образовывать, а не воспитывать своих сыновей...

Ну, а если не понятно, почему я завершаю отступление, посвященное принципам, рассказом о педагогике, скажите: кто больше учителей вещал нам о том, что в жизни надо быть принципиальными? Вот через них это понятие и стало из философского психологическим.

Глава 7. Принципы Кавелина

К сожалению, Кавелин очень мало пишет о принципах. Его главная задача — дать определение идеалам и он лишь разграничивает понятия «идеал» и «принцип»:

«Догматики и доктринеры глубоко заблуждаются, смешивая идеалы с принципами или общими началами, за которыми признают неотразимую силу непременно произвести то или другое» (Кавелин, Идеалы, с. 889).

Даже используемые в этом высказывании слова показывают, что Кавелин отвечает здесь на идущую в периодической печати бойню, которую устроили революционные пропагандисты, крича о том, что России надо сменить свои идеалы. Проще говоря, сменить идеалы отцов на идеалы детей. И при этом свободно называя одно и то же то идеалами, то принципами...

Как бы там ни было, но меня больше не интересует история этого понятия, поэтому я постараюсь просто описать то понятие принципа, которым пользуется Кавелин. При этом не надо забывать, что он — академический ученый, философ и прекрасно знает, что такое принципы в философском смысле. Собственно говоря, именно это он и показывает, когда говорит, что не надо смешивать идеалы с *принципами* или *общими началами*.

Вполне допускаю, что Кавелин отчетливо понимает, что Начала философии — это всего лишь Основы, на которых строит свою работу человеческий разум. В отличие от всех философов прошлого, эти основы не ощущались для него как некая данность мира, что-то вроде независимо от человека существующих законов логики. Их нет в действительности, они существуют только в рамках философии.

Это видно потому, что в рамках психологии, особенно прикладной, которой являются этика и политика, Кавелин прекрасно видел природу того, что называли принципами. Если вспомнить Канта, то принципы практические, то есть принципы бытовой и прикладной психологии, это вовсе не принципы в том смысле, в каком они существуют в чистом или теоретическом разуме. Это максимы или, попросту, правила и договоры, которые человек принимает, часто сам с собой.

Вот исходя из этого понимания Канта, которого Кавелин неплохо знал, он и пишет дальше о тех принципах, которые действуют на бытовом уровне:

«Чудодейственных принципов или начал нет и не может быть. Положительная наука, путем точных исследований, пришла к выводу, что в действительном мире нет безусловных начал или принципов; всё условно и относительно» (Там же).

То, что Кавелин говорит о положительной науке, часто принимали за его приверженность позитивизму. Это ошибка. Тогда о положительной науке говорили все, и это был лишь способ выглядеть человеком дела, а не пустым болтуном, какими казались метафизики. Психолог исходно, так сказать, по определению не может быть позитивистом, просто потому, что творец позитивизма Огюст Конт отказал психологии и психологам в праве

на существование. Ненужная наука. Ненужная душа. Нужны — физика, математика, химия... социология.

Высказывание Кавелина нужно рассматривать как раз через Кантовское противопоставление принципов теоретического и практического разума. В прикладной психологии места принципам чистого разума нет, здесь мир воплощений, и действуют лишь практические или условные начала и принципы. Здесь все течет, все меняется, и человеку, чтобы жить, приходится утверждать себя, разбрасывая своего рода якорьки, которыми он закрепляет в глазах мира и себя самого свой собственный образ.

«Каждое явление есть произведение данных обстоятельств, известной обстановки, которые роковым образом делают явление именно таким, каково оно есть. Эта истина равно неопровержима и в применении к природе и к социальному быту. Данное состояние любого общества есть тоже произведение известных условий; сумма и взаимодействие их определяют общественные явления.

Но принцип выражает формулу только известных явлений, и то под условием. Что на лицо имеются известные данные; когда же их нет, а есть какие-нибудь другие, нужен другой принцип, приуроченный к ним.

Поэтому-то принцип и не может быть идеалом» (Там же).

Это высказывание обретает отчетливый смысл, если задаться вопросом: кому нужен этот другой принцип? И ответить: человеку. А именно тому, который пришел к прикладному психологу со своей задачей. У него, безусловно, есть принципы. Но нельзя исходить из того, что они ведут его сквозь жизнь и ее обстоятельства. Ведут — идеалы. А принципы — это правила, по которым люди решают задачи определенного вида. В иных условиях, а значит, в иной задаче, решение должно искаться по другой формуле, то есть исходя из другого принципа решения жизненных задач.

Хотим мы того или не хотим, но принципы, которых мы придерживаемся, — это всего лишь орудия, с помощью которых мы достигаем своих целей. И если моя цель, к примеру, жить в мире души, то я, с одной стороны, должен строить вокруг себя такой душевный мир, а с другой — никогда не предавать себя, не менять этого своего решения жить душой. И это принцип. Но он работает лишь в этом мире.

Но вот я попал в концлагерь или чеченский плен, обстоятельства сменились. И я принимаю решение: отложить построение душевного мира до той поры, пока не вырвусь из плена. И принципом, правящим моим поведением, становится выживание. Но идеал — мир души — сохраняется все это время... и я по-прежнему к нему стремлюсь, быть может, даже умудряюсь выжить, потому что он у меня есть.

«Посредством принципов, и не одного, а нескольких или многих, идеал проводится в жизнь; сами же принципы, как сообразованные с обстоятельствами, не могут заступать место идеала» (Там же).

И далее вопрос для прикладника: что будет, если он во время работы позволит себе видеть принципы, на которых строится поведение нуждающегося в помощи человека, так же, как и его идеалы?

«Оторванный от данных, из которых выведен и к которым относится, принцип есть отвлеченность, мертвая схема, которую обходит жизнь, неистощимая в создании условий и сочетаний фактов» (Там же).

Ответ прост: если начать пытаться человека о том, что он считает своими принципами, он скажет много красивых слов, из тех, что ему внушали в школе, но ничто из этого не окажет воздействия на его поведение. И значит, не сможет быть и решением его задачи. Настоящих своих принципов он может и не осознавать, поскольку они въелись в самый его быт и слишком просты и привычны. Что-то вроде вытирать ноги, входя в дом. Мелочь?

Но за этим и боль от нечистоты, и боль от противостояния давлению общества, и долгий поиск любви, выразившийся в простой заботливости о той, которую наконец-то нашел...

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ РАБОТЫ

Глава 1. Свобода воли

Кавелин видит Этику продолжением психологии и даже вкладывает в нее свои понятия о психологии прикладной. Но его интересует лишь та часть психологии, которая действительно связана с позывами души или, как он это подает, с позывами высшей душевной способности. Ту часть предмета психологической науки, что обычно изучают как продолжение восприятия и называют познавательной способностью психики, он не рассматривает.

Ему нужна душа. И он ищет, в чем она действительно являет себя без помех и примесей, к примеру, высшей нервной деятельности. Мысль его естественно выходит к предмету, который занимал умы всех европейских философов, — к свободе воли. Для христианского мыслителя человек не волен, ибо он в воле божией... Для мыслителя научного он не волен, поскольку он есть машина...

Быть свободной от машинности человеческого тела может только душа.

Что такое вопрос о свободе воли для психолога? По сути, это вопрос о причинах нашего поведения и об ответственности за наши поступки. Ответственности нравственной и юридической, то есть по закону. Иначе: ответственности перед своей душой и ответственности перед обществом.

Если взглянуть на вопрос о свободе воли с этой стороны, то общество однозначно признает, что человек волен в своих поступках, поэтому он должен отвечать за то, чем принес вред другим. И это означает, что для прикладного психолога никакого вопроса о свободе воли не существует: он должен исходить из той данности, в которой живут люди, а люди знают про себя, что иногда совершают поступки, за которые их определенно надо наказывать. Совершают потому, что хотят обхитрить других людей, совершают, зная, что нарушают, и могли бы не нарушать некий договор, но все же выбирают нарушить и поэтому внутренне принимают наказание и заранее готовы к нему.

Это данность и это ответ теоретикам: человечество считает, что человек волен в своих поступках.

Однако стоит задаться и вопросом о том, как же совершается этот выбор, как появляется искушение множить причины причин. К примеру, ты мог выбрать хороший путь и плохой путь. И выбрал плохой, но подумав, понимаешь, что тебя что-то к этому подтолкнуло. Либо бес под локоть, либо необходимость накормить голодных детей, либо плохое воспитание

в детстве... либо это было предопределено судьбой и богами, и ты не знаешь, что тебя заставило сделать это...

На философском уровне исследования вопроса о свободе воли подобные лестницы причин уводили мыслителей к самым разным ответам, которые становились основаниями их философий. Но все эти основания были всего лишь цепями рассуждений, в которых могли оказаться неверны как исходные посылы, так и любые из выводов. Попросту говоря, вся философия воли — весьма надуманная и условная часть философии.

Хуже того, если мы вдумаемся в значения русских слов «свобода воли», то поймем бредовость самого понятия. Это синонимы. Свобода воли — это воля свободы. Для русского языка никакой воли, кроме свободы, нет. Воля естественно свободна. В выражении «свобода воли» скрывается нечто чуждое русскому языку. Что?

Христианское понятие «воли Божьей». Выражение: все в воле Божьей, — привычно и узнаваемо. И означает некую клятву верности христианина, выказывающую его смирение перед Творцом и Господином. Я отказываюсь от своей воли и буду жить так, как определил мне Бог. Ибо он создал этот мир, создал меня и определил судьбы всех людей в этом мире. Верно это или неверно, я не обсуждаю. Мне важно лишь то, как язык обыграл понятие воли.

Я отказываюсь от своей воли и предаю себя в руки Божьи. Вот подсказка. От чего отказывается человек? Если читать просто, то от свободы. Это с очевидностью звучит в выражении. До этого я был свободен повести себя так, как захочу я, а теперь я буду поступать так, как велит мне Бог. А поскольку Бог так просто ничего не велит, то буду ждать, когда придет его повеление или подсказка. Попросту говоря, я не буду совершать поступков, в которых я ощущаю себя тем, кто делал выбор. Я буду вести себя по образцам, не думая и не ища, и постараюсь во всем, что мир принесет мне, презреть божественное присутствие.

С точки зрения мистической, мысль совершенно верная: если ты хочешь познать своего Бога, стоит опустошиться, чтобы ему было куда войти, и затихнуть, чтобы не заглушать его речи своими криками... На деле, правда, это доступно немногим, но это уж не слабость самого способа. Способ верный. Неверно исполнение, но оно — дело верующих, и потому я его не рассматриваю.

Тем не менее, первое понимание воли, выводимое из выражения «отказаться от собственной воли и предаться Богу»: воля — это свобода совершать поступки.

Однако из этого же выражения можно вывести понятие своеволия, как некой силы, позволяющей мне не принять волю Божью. И это же ощущение Силы рождается из выражения «на всё воля Божья». Воля Бога повелевает и предписывает. Если Бог может творить миры и судьбы людей, то он определенно обладает неимоверной силой. И поскольку все это творится «волей Божьей», то, очевидно, воля эта обладает силой. Тем более, что и я могу ей сопротивляться, проявляя своеволие. Значит, я тоже обладаю силой воли!..

Вот так рождается языковая ловушка, из которой умудрились создать и философию и психологию воли. «Волевые процессы» были кошмаром не для одного студента. Да и преподаватели пролили на этом поле немало крови, потому что понять их нельзя, а запомнить трудно и больно. И все потому, что никакой воли нет, а есть согласие психологов таким образом увеличить свою науку и придать ей значимости.

Есть свобода и есть желания. Кстати, когда наши психологи передирают что-то о волевых процессах у английских и американских учителей, их глаза всегда видят, что по-английски речь идет о will, то есть о желаниях. Мы же, не задумываясь, переводим это на русский как «волю».

Есть желания, и есть свобода и несвобода их исполнять.

Воля Божья — это свобода, предоставленная нам самим отвечать за свои желания. Мы можем достигать всего, чего хотим, и нас убьют... А можем соотносить свои желания с желаниями других людей, и тогда рождается нравственность. То есть некий набор правил поведения, которые соблюдают все члены нашего общества, потому что иначе общество сплотится против них и накажет или уничтожит.

А для тех, кто решает плевать на нравственные законы и воплощать свои желания за счет других, общество создает закон и пресекающие его волеи силы. Попросту, защищается от желаний, выходящих за рамки допустимого неким общественным договором, воплощенным в воспитании.

Понимание воли как свободы, которую предоставил нам Творец или Мир, в котором мы себя обнаружили воплощенными, позволяет прикладному психологу сузить и упростить условия той задачи, которую он решает. Мы вполне можем допустить, что где-то за рамками нашего Мира вяжется некая ткань предопределенностей, которая и забрасывает нас сюда. И там в нить моей судьбы вплетаются узлы, которые можно назвать судьбоносными. Узлы эти сработают тогда, когда придет их время, и заставят меня совершить какой-то поступок, который я не буду понимать. Но даже это не отменяет моей вины.

Если я шел в этот мир, или меня сюда посылали, готовя мне такой узел судьбы, то я или посылавшие меня прекрасно знали, каковы будут условия, в которых этот узел сработает. А условия таковы: в этом мире однозначно признается, что человек волен в своих поступках, он способен сделать выбор, и он должен нести ответственность за все, что сделал. Сам ли я совершил свое деяние, осознавая, что делаю, или же это сработала судьба, — если я должен быть за него наказан, я должен быть наказан. И я это принимаю, потому что знаю, в каком мире я живу.

Философские домыслы о том, что все предопределено свыше, не относятся к этому миру, они — лишь детская попытка заглянуть за его границы с помощью логических построений. Но логика бессильна в этом случае — она лишь описание работы разума, который развился в земных условиях и для выживания на Земле. Иначе говоря, наш разум — не помощник за границами нашего мира. Там нужен иной разум, соответствующий тем условиям и обученный решать те задачи...

Мы живем в мире, где ты отвечаешь за свои поступки, потому что ты волен их совершать или не совершать.

И при этом ты очень часто обнаруживаешь себя сделавшим нечто, что тебя самого поражает: ты не знал себя таким! И ты оказываешься в недоумении: кто в тебе сделал это? Не дьявол ли подтолкнул? Не Бог ли проявил свою волю?

Вот отсюда и начинается собственно прикладная психология.

Начинается она с выяснения того, что может побудить человека к совершению тех поступков, которых он не совершал. Иначе говоря, прикладной психолог оказывается нужен тому, кто не понимает, как он оказался в той беде, куда привели его его поступки. Ощущение это рождается тогда, когда человек, всегда знавший, что это он хозяин собственных действий, вдруг обнаруживает, что в нем есть нечто, чему он не хозяин. Вот тогда привычный мир разваливается, и надо возвращать цельность, для чего и требуется помощь.

Академическая психология пыталась выяснить эти движущие силы нашего поведения, дав им имя мотивов. К сожалению, эта тема оказалась очень сложной и, похоже, только запутала психологов уже ко времени Кавелина. Само иностранное для нас название «мотив» положило начало этой путанице, поэтому я хочу сделать отступление и хоть немножко разобраться с этим понятием.

ПОНЯТИЙНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. МОТИВ

Поскольку слово «мотив» использует Кавелин, и использует как понятие психологическое, меня интересует именно психологическое понимание мотивов. По существу, мне нужно не знать, что это такое, а описать то орудие психологического воздействия на поведение человека, которое скрывается за этим словом. Я не говорю: за понятием, потому что в действительности психологи запутались и обозначают именем «мотив» несколько разных понятий.

Рассказывать о той каше, которая царит в головах членов психологического сообщества из-за этого дурного мотива, я не хочу. Во-первых, мне это не нужно. Во-вторых, это уже сделал Евгений Павлович Ильин в большой работе «Мотивация и мотивы».

Надо признать, он проделал титанический труд, попытавшись разобраться с тем, какой смысл вкладывали и вкладывают психологи в свои понятия о мотивах и мотивациях. Великолепное и фундаментальное исследование, единственной слабостью и одновременно силой которого я считаю то, что Ильин идет не от вопроса, что такое мотив и как родилось это понятие, а от вопроса, что те или иные психологи понимают под мотивом.

В силу этого в его работе нет истории возникновения понятия «мотив», но он и не языковед и не культурно-исторический психолог. Он — психолог академической школы, он делает то, что нужно для непосредственной работы его коллегам. И в силу этого его задача оказывается более привязанной к нуждам сообщества, чем будет мое исследование понятия «мотив». Ильин попросту дает возможность академическим психологам хоть как-то выживать в той понятийной свалке, что накопилась вокруг такого важного для них слова. И делает это с потрясающей эрудицией.

Так что мне нет необходимости говорить о том, что о мотивах писали много, даже слишком, нет нужды и перечислять авторов и их точки зрения. За всем этим прошу к Ильину.

Мое же исследование я считаю историко-культурологическим дополнением к его капитальному труду. И в нем я попробую немножко разобраться с тем, как это понятие возникло и что оно должно означать в строгих рамках своего исконного значения.

Эта оговорка не случайна. Чтобы сделать ее очевидной, просто приведу пару выдержек из монографии Ильина. Кстати, это позволит отсечь несколько лишних культурных слоев в понимании мотива.

Сначала отсеку понятие мотивации. Человеку неподготовленному может показаться, что это те же мотивы, только как-то в целом, что ли, или вообще способ говорить о мотивах. Нет, мотивация, хотя и имеет отношение к мотивам, все же понятие совершенно самостоятельное. Возникает оно на полвека позже создания Кавелиным своих психологических трудов:

«Впервые слово “мотивация” употребил А. Шопенгауэр в статье “Четыре принципа достаточной причины” (1900-1910)» (Ильин, с. 65).

Ильин приводит в отношении этого понятия высказывание зоопсихолога Дьюсбери:

«Рассматривая мотивацию человека как психологический феномен, ученые столкнулись со многими трудностями. Прежде всего возникла терминологическая неясность: одинаково и даже как синонимы употребляются термины “мотивация” и “мотив”. “Мотивация” используется даже охотнее, так как, понимая под ней процессы детерминации активности человека и животных, или формирования побуждения к действию или деятельности, в это понятие можно включать что угодно; ведь детерминировать и побуждать может безграничное множество вещей и явлений.

Недаром Д. Дьюсбери пишет, что понятие “мотивация” используется обычно как мусорная корзина для разного рода факторов, природа которых недостаточно ясна» (Там же, с. 17).

Таким образом, понятие «мотивация» лежит, по крайней мере, сейчас, вне поля моего прямого исследования, и я его исключаю из рассмотрения, хотя оно и явно вырастает из того корня, который скрыт в слове «мотив».

Однако с «мотивом» в современной психологии не намного проще!

«Не лучшее обстоит дело с понятием “мотив”. В качестве его называют самые различные психологические феномены: представления и идеи, чувства и переживания (Л.И.Божович), потребности и влечения, побуждения и склонности (Х.Хекхаузен), желания и хотения, привычки, мысли и чувство долга (П.А.Рудик), морально-политические установки и помыслы (А.Г.Ковалев), психические процессы, состояния и свойства личности (К.К.Платонов), предметы внешнего мира (А.Н.Леонтьев), установки (А.Маслоу) и даже условия существования (В.К.Вилюнас).

Врачи ставят даже такой диагноз, как “немотивированные (!) головные боли”, очевидно полагая, что мотив — это любая причина любого явления.

Недаром А.Н.Леонтьев писал, что работы по проблеме мотивации почти не поддаются систематизации — до такой степени различны те понятия, по поводу которых употребляется термин “мотив”, и что само это понятие превратилось в большой мешок, в который сложены самые различные вещи» (Там же, с. 18).

Таково действительное положение дел, так сказать, в родных пенатах психолога. И, похоже, там искать понимания не стоит. Только за рубежом сейчас больше пятидесяти теорий мотива, так что вполне можно доверять Леонтьеву — он в делах сообщества разбирался лучше меня.

Возникает вопрос: как возможно такое разнообразие понимания одного и того же слова? Мое предположение: это связано с различием целей, которых достигают психологи, а значит, и с различием задач, которые они решают. И если это так, то есть надежда, что при четком понимании, какую задачу должен решать прикладной психолог, работая с мотивами, мы вполне

можем договориться о том, что это такое в рамках прикладной культурно-исторической психологии.

Но сначала — культурно-историческое исследование понятия, а уж потом и теория прикладной работы.

Глава 1. Советско-американские мотивы

Само слово «мотив» считается исходно латинским, хотя его и нет в латинско-русском словаре Шульца. Я подозреваю, что это слово появляется лишь в новолатинском языке, возможно, во время Возрождения. Впрочем, Радлов в «Философском словаре» 1913 года издания удачно объясняет, что это лишь производное от исконного латинского слова «двигаю».

«Мотив (от лат. Moveo — двигаю) есть основание, определяющее к деятельности. Мотив есть представление, окрашенное в определенный тон чувством, благодаря чему оно и становится способным влиять на волю и вызывать действие».

Не слишком внятно, явно требует разъяснений. За год до Радлова Ефремов в «Словаре иностранных слов» дает более внятное определение, выводя из французского:

«Мотив фр. — побудительная причина к волевой деятельности всего сознательного существа».

Впрочем, если вдуматься, это определение не менее странно. Судите сами: причина деятельности — она и есть причина деятельности. Можете украсить ее любыми определениями, вроде краткой, сильной, всеобщей, побудительной — они не имеют значения, потому что если она причина деятельности, значит, деятельность начнется без них. Поэтому довесок «побудительная» явно притянут Ефремовым за уши, а еще верней, это уши действительного определения, которое он у кого-то подглядел.

Про «все» сознательное существо и сочетание «всего сознательного существа» с «волевой деятельностью» я и писать не хочу. Но очевидно, что волевая деятельность не может быть принадлежностью «всего сознательного существа». Она относится просто к существу, которое обладает волей. И тогда, либо мотив — причина особой волевой деятельности, либо есть волевая деятельность не всего сознательного существа...

Неладно что-то с определением этого понятия, на мой первый взгляд. К счастью, мотив, кажется, считается вотчиной психологии. Во всяком случае, психологи о нем постоянно пишут. Обращусь-ка я в родные пенаты! А пенаты эти теперь состоят из двух сил: советской традиции и американского прогресса, взламывающего русский психологический рынок.

Обращусь и окажусь перед выбором: либо, как настоящий прогрессивный член сообщества, я должен поискать ума у наших американских учителей, либо посмотреть, что думали об этом русские. Я, конечно, не полноценный психолог, я немножко урод среди психологов, поскольку не умею делать американскую психологию и для меня не работает правило: зачем

самому дергаться, если Маслоу уже все сказал про мотивы?! Но я сожму зубы и заставлю себя сходить на поклон. Конечно, не наобум, а по рекомендации уважаемых мною русских психологов. Вот возьму рекламируемое Зинченко, как «учебник для университетов», по которому и будут теперь учить русских студентов, «Введение в психологию» Аткинсона и команды.

А там открою раздел «Мотивация и эмоции». Не поленюсь и заставлю себя читать очередной имперский понос, написанный высокомерным недочкой и поданный как откровение. Так начинается:

«Вы ведете машину по автостраде, пытаясь успеть на важное для вас интервью по приему на работу. Сегодня утром вы встали позднее, чем было нужно, поэтому вам пришлось отказаться от завтрака, а теперь вас мучает голод.

Кажется, будто на каждом рекламном щите, мимо которого вы проезжаете, рекламируется еда — аппетитный омлет, сочные гамбургеры, прохладный фруктовый сок. В животе урчит, вы пытаетесь не обращать на это внимания, но вам это не удается. С каждым километром ощущение голода усиливается. Вы чуть не врзаетесь в едущую впереди машину, заглядевшись на рекламу пиццы.

Короче, вы охвачены мотивационным состоянием, известным под названием голода.

Мотивация — это состояние, активизирующее и направляющее наше поведение» (Аткинсон, с. 340).

На этом можно и закончить. Глубокое сочинение, вроде текстов на тех самых американских рекламных щитах. И больше определений не будет. Дальше мотивы будут просто поминаться в тексте, как само собой разумеющееся и всем понятное...

Любопытно, а что тот же самый Зинченко, который насаждает в наших университетах этот свет с рекламного плаката, сам думает о мотивах в своем «главном психологическом словаре России»? Ничего не думает, за него о мотиве там думает соавтор Б. Мещеряков:

«Мотив — 1) материальный или идеальный “предмет”, который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, смысл которых состоит в том, что с помощью мотива удовлетворяются определенные потребности субъекта; 2) психический образ данного предмета».

Для любого психолога и философа в этом определении мотива через внешние предметы звучат узнаваемые мотивы. Что-то тут запахло главным мотивологом советской психологии Леонтьевым и английской психологией. И верно, поговорив об англоязычной литературе, Мещеряков сам выдает явки:

«Наиболее глубоко и последовательно раскрывал отношения в фундаментальной психологической триаде “потребности-мотив-деятельность” А.Н. Леонтьев».

Леонтьев, который скромно считал себя единственным философом среди наших психологов, о потребностях и деятельности писал много. И чаще всего этот такая марксистская жвачка, что ни пешему пройти, ни конем переехать... В целом звучит Леонтьев так же странно, как американские Аткинсоны.

В двухтысячном году под названием «Лекции по общей психологии», был издан курс лекций, отчитанный Леонтьевым на психфаке МГУ в 1973–1975 годах, то есть незадолго до смерти. Думаю, что это было лучшее его изложение теории потребностей и ее трудностей, навороченных психологами. Он ее решает, как орешек!

«Итак, я пришел сегодня к тому положению, что для того, чтобы исследовать дальше проблему потребностей человека, нужно ее преобразовать в проблему побудителей, в проблему мотивов» (Леонтьев, с. 431).

Вполне естественно, что после этого и мотивы станут проблемой. К примеру, что такое мотивы. Поглядите, как сходно это с тем, что излагают Аткинсоны:

«Популярное слово современной психологии — фрустрация, срыв от невозможности удовлетворения требований динамических сил и динамизирующих, активизирующих сил, которые могут быть самые разные: все, что может породить фрустрацию при столкновении с преградой, — все это именуется мотивами» (Там же).

А дальше Леонтьев начинает нести какой-то странный и так и не понятый психологами бред про то, что мотив должен быть внешней вещью или объектом... что-то вроде Мещеряковского *материального или идеального «предмета», который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок:*

«Ну вот, значит, мотив выступает как нечто объективное. Вот это и шокирует больше всего моих критиков и оппонентов. Как же: мотив — ведь это всегда где? а может здесь? здесь? Нет, ближе показывают, на сердце. Вот здесь, в сердце у меня побуждение лежит.

А я говорю — вон там.

Нехорошо. Шокирует. Противоестественная операция. Ну, знаете, иногда надо рисковать, идти на противоестественные операции, посмотреть, насколько они, эти операции приводят к эвристичности. Эвристичными называются какие выводы? Те, которые толкают, движут, и исследование оказывается плодотворным с дальнейшим их применением...» (Там же).

О чем это он? О том, что не надо искать побуждения в сердце, в душе? Почему?

Сначала кажется, что «искренний марксист» Леонтьев просто перестарался с прогибанием в сторону правящей идеологии:

«Мы с вами стоим на пути необходимости объективного исследования мотивов в психологии. По данным самонаблюдения, самокопания, смотрения в себя мы не можем решить проблему исследования мотивов, мотивационной сферы личности» (Там же, с. 434).

Прямо из двадцать четвертого года подуло, из того времени, когда Леонтьев, Лурия и Выготский решали совместно с Корниловым эвристическую задачу, как отобразить институт экспериментальной психологии у Георгия Ивановича Челпанова и занять в нем места классиков советской психологии. Нет, в действительности Леонтьев лишь отвел глаза просоветским лозунгом, но вначале я попался и решил поискать определение мотива в той

эпохе. Тогда оно уже определенно должно было существовать, раз за полвека до этого его так свободно употребляет Кавелин.

Однако у Выготского такого определения нет, он просто использует словечко «мотивы» как обычное для образованного человека. Нет его в то начальное время советской психологии и у Лурии. Значит, они заимствовали его из предшествующей эпохи. У кого?

У обворованного ими Челпанова?

Челпанов действительно был классиком и дал определения всем понятиям психологии начала двадцатого века. Однако его определение мотивов вряд ли можно считать удачным. Он дает его в своем знаменитом «Учебнике психологии (для гимназий и самообразования)». Прочитую по десятому изданию 1912 года:

«Мотивы и побуждения. Если мы рассмотрим какое-нибудь волевое действие, то мы заметим, что оно состоит из ряда действий, который в конце концов приводит к одному определенному действию. Это конечное действие мы можем назвать целью действия. Так, например, у школьника, который пошел в школу, а не в поле, такую целью было одобрение родителей. Эта конечная цель определила его действие.

Представление конечной цели какого-либо действия, являющееся причиной самого действия, называется мотивом...

Чувства, связанные с мотивами и являющиеся причиной совершения известного действия или несовершения его, мы будем называть побуждениями» (Челпанов, с. 184).

Совсем не похоже на Леонтьева, разве что и тот, прежде чем заявить свое объективное понимание мотивов, долго перетирает что-то про цели... Зато очень близко к тому, что говорит в этом же году Радлов, как вы читали. И это означает, что в начале двадцатого века существовала определенная культура понимания мотивов, общая для психологов и философов. Кстати, Радлов в той статье поминает датского психолога Гаральда Гефдинга, которого тогда очень любили в России. Не он ли источник понятия о мотиве?

Нет, конечно. Гефдинг сам использует слово «мотив» как обычное для любого грамотного психолога, то есть между делом. Но он хотя бы пытается дать ему определение.

«Мотивом, движущей силой влечения (а также волевого действия в собственном смысле) служит чувство, возбужденное представлением цели, но не чувство (по крайней мере, не в начале или не всегда), вызываемое представлением, что мы, достигнув цели, будем чувствовать удовольствие» (Гефдинг, с. 318).

Но даже если Гефдинг и не источник — эти его «Очерки психологии» изданы в России в 1914 году, а в Германии изданы в 1901 — все же явно ощущается единая культура. И культура эта, могу сказать заранее, отличается от той, которая подпитывала Леонтьева и, наверное, всю школу Выготского.

Эту культуру психолого-философской мысли принято называть континентальной, в противоположность островной — англо-американской. Конечно, обе они, хоть и воевали между собой, но и взаимно обогащались,

многократно переплетаясь. Тем не менее, Леонтьев берет свои «эвристические» откровения не из континентального источника, о котором стоит рассказать чуть подробней. Ведь именно он может быть творцом этого психологического понятия «мотив».

Глава 2. Континентальные мотивы. Гефдинг и Вундт

Итак, Гефдинг вкратце определяет мотив как:

Мотивом, движущей силой влечения (а также волевого действия в собственном смысле) служит чувство, возбужденное представлением цели, но не чувство (по крайней мере, не в начале или не всегда), вызываемое представлением, что мы, достигнув цели, будем чувствовать удовольствие.

Пишет он это на немецком языке, но оригинальные издания его книг мне были недоступны, и поэтому я не знаю, какое в действительности слово переводчик передал словом «мотив», но подозреваю, что это не *motive* и не *motif*, поскольку в немецком было собственное слово для этого понятия.

Поэтому я ишу у Гефдинга не источник прямого механического заимствования, а заимствование смысловое, по сути. По сути же Гефдинг разбирает, что такое «мотив», в главе, посвященной психологии воли. Это тоже лежит в основном потоке всей европейской философии, потому что именно этот философский предмет в действительности родил понятие, названное в психологии на латинский манер мотивом.

Гефдинг тут хорош тем, что, в отличие от современных психологов, он, как Челпанов или Вундт, например, еще не боялся философии, и свободно пытался объяснять психологические понятия философски, благодаря чему выявляются их корни. Можно сказать, что дальше дается философский ответ психо-философу Леонтьеву. Из такого ответа видно, что Леонтьев пытался не из этого источника мысли.

«Психология, как всякая другая наука, должна быть детерминистической, то есть она должна исходить из предположения, что закон причинности приложим и к жизни воли, подобно тому, как допускается, что он имеет значение для всей остальной сознательной жизни и для материальной природы. ...не трудно показать, как существенно важно признание причинной связи в области воли.

1) Много путаницы произошло от того значения, какое придавалось слову мотив. Если под мотивом понимать определяющую силу, которая отлична от нас самих, от нашей природы, то легко показать, что утверждающий зависимость всякой воли от мотивов делает ее рабой чего-то внешнего.

Мы сами в этом случае рабы языка, по которому мотивы действуют на нас как гири, накладываемые на чашку весов. Но мотивом, силой, возбуждающей волю, в действительности всегда бываем мы сами в известной форме или с известной стороны. Наши мотивы являются частью нашего Я, принадлежащего то нашему реальному Я, то скорее периферическим сторонам нашего существа.

Возможность чего-либо стать нашим мотивом основывается на свойстве нашего существа. Наше реальное Я это наш основной мотив. Оно может быть

так сильно развито в известном определенном направлении, что многие мотивы из-за этого делаются абсолютно невозможными. Наоборот, и мотив при частом появлении может изменить реальное Я.

Нашими сознательными мотивами служат известные представления и чувства, без которых невозможно никакое хотение в собственном смысле; и всякое хотение должно быть направлено на что-нибудь определенное, должно иметь определенное содержание или цель. Содержание или цель охватывается представлением и определяет чувство, и то, что мы называем хотением, есть служение этой цели или содержанию, акт, который, как мы видели, в своей простейшей форме проявляется в том, как мы прилаживаемся к выполнению известного движения» (Гефдинг, с. 337).

Определение это, хоть и гораздо более подробное, но настоящего понимания не дает. Причина в том, что Гефдинг слишком глубоко находится в культуре философского мышления, рассуждающего о мотивах, воле и причинности. Поэтому ему кажется, что он говорит ясно, а в действительности это ясно лишь человеку с той же культурой. Попросту говоря, множество смыслов остается скрытыми в том, что сказал Гефдинг и ожидает от нас, как от образованных людей, быть прочитанным между строк.

Действительно ясно из этого рассуждения лишь то, что для Гефдинга и стоящей за ним философской культуры мотивом или движущей силой поступков может быть только Я, то есть нечто, что исходит отнюдь не извне, а как раз из того самого места, вроде сердца, против которого воевал Леонтьев. И это при том, что Гефдинг считает подход психологов вроде Лотце, считавшего психологию наукой о душе, несостоятельным. Он прямо говорит, что его психология, основанная на опыте, — это психология без души.

Как была психологией без души физиологическая психология Вундта, о котором Гефдинг говорит, что он использует сходные с ним понятия о «перемещении мотивов» в своей «Этике». Посчитать отца современной психологии Вундта следующим шагом к источнику понятия «мотив» мне кажется очень оправданным.

Вильгельм Вундт (1832–1920) о мотивах говорит много. В основном он использует это слово без объяснений.

Так в «Принципах физиологической психологии» он говорит о мотивах сразу во Введении, в связи с этической психологией, называя важнейшими язык, миф и обычай. Используется у него это понятие и для объяснения того, как рефлексы вызывают внешние действия. Но это все без определений.

Эта книга, в первую очередь, была посвящена тому, чтобы опровергнуть утверждение Канта о том, что психология никогда не войдет в число точных наук, потому что в ней неприменима математика. Поэтому Вундт занят в ней постановкой экспериментального метода психологии, в чем и преуспел.

Определения он даст в более ранних и более поздних книгах.

В 1911 году во «Введении в психологию» Вундт напишет в разделе «Элементы сознания», в части, посвященной аффектам и волевым процессам:

«Но волевые процессы, конечно, отличаются при этом от обыкновенных аффектов некоторыми признаками, придающими воле ее своеобразный характер. Во-первых, определенные, входящие в волевой процесс представления, более или менее окрашенные в чувствования, находятся в непосредственной связи с конечной стадией, волевым поступком, и последний подготавливается этой связью.

Мы называем такие подготавливающие, связанные с чувствованиями, представления мотивами или “побудительными причинами” действия, “побуждениями” к поступку» (Вундт, Введение..., с. 45).

Довольно прозрачное определение, которым можно было бы и удовлетвориться, будь оно психологическим. Но определение это языковедческое, такое мы могли бы прочитать и в толковом словаре. Психолог должен объяснить нам, как возможно побуждение к поступку. Это первое. Второе — если Гефдинг внес в определение мотива понятие воли, то у Вундта появляются какие-то аффекты. И могу сказать заранее — это не только не случайность, но и прямое присутствие археологических слоев понятия «мотив».

Тем не менее, в определении Вундта ощущается связь с теми определениями, что давали Радлов и Гефдинг. Еще больше оно видно в определении, данном им в 1896 году в работе, которую сам Вундт считал развитием своих ранних трудов — «Физиологической психологии» и «Души человека и животных». В ней, говоря об аффекте и волевом действии, он пишет:

«Эти связи представления и чувства, непосредственно подготавливающие по нашему субъективному восприятию какое-нибудь действие, называются обыкновенно волевыми мотивами.

Но всякий мотив расчленяется, в свою очередь, на элемент представления и элемент чувства, из которых первый можно назвать основанием, а второй — побудительной причиной воли» (Вундт, Очерки психологии, с. 157-158).

Похоже, это прямой источник той традиции в понимании «мотива», которую отрицает Леонтьев, а с ним и современная американская психология. Но Вундт не создает это понятие, он просто дает ему понимание и определение, которое заимствуется определенным научным сообществом. Поэтому для меня остаются два вопроса: когда и как Вундт приходит к своему пониманию мотива, это первый вопрос. Второй может показаться странным: о чем Вундт говорит в действительности?

Вундт впервые дает определение понятию, которое наши переводчики без малейших сомнений переводят словом «мотив» еще в 1863 году во втором томе «Лекций о душе человека и животных», в заключительных лекциях, где подходит к обоснованию Психологии народов — вундтовского варианта культурно-исторической психологии. Там еще нет чеканности определения, Вундт созерцает и размышляет о произвольности действий. Размышление его выносит на поверхность старое философское раздумье о причинности, что является еще одним археологическим слоем в понятии мотива:

«Но если даже приведем в сознание все внешние побудительные причины действия, то они все еще не определяют воли. Потому мы называем все эти внешние факторы не причинами, а только мотивами воли.

Между мотивом и причиной есть существенная разница. Причина производит следствие с роковой необходимостью; а мотив нет. Действие одной причины может быть уничтожено или изменено другою причиной; но и в этом изменении все еще можно открыть следы действия первой причины и даже измерить его величину. Напротив, мотив может только или склонять волю, или не склонять ее, и в последнем случае нельзя заметить уже ни малейшего действия его.

Эта нетвердая связь между мотивом и волею происходит единственно от существования личного фактора. Последний делает все мотивы недостаточными для действительного объяснения поступка, и потому они никогда не могут быть причинами, которые бы вызывали действие с механическою необходимостью, а составляют только условия, определяющие волю.

Но мотивы недостаточны для объяснения воли только потому, что свойства личного фактора и способ его участия в действии внешних факторов нам совершенно неизвестны. Но из того, что мотив, оставшийся недействительным, не обнаруживает ни малейших следов своего влияния на решения воли, мы должны заключить, что внешний мотив в соединении с внутренним фактором действует не так, как в природе действуют сложные причины; но что только одна личность составляет непосредственную причину действия, а мотив действует непосредственно только на личность» (Вундт, Душа, с. 515-516).

Очевидно, что именно отсюда взято утверждение Гефдинга, что *мотивом, силой, возбуждающей волю, в действительности всегда бываем мы сами в известной форме или с известной стороны. Наши мотивы являются частью нашего Я.*

А вот и ответ отца научной психологии Леонтьеву и той школе, которую он исповедовал:

«Мотивы, склоняющие волю, суть звенья всеобщей причинной связи; но личный фактор, который только и делает волю, не может быть включен в эту связь. Подчиняется ли причинному закону это глубочайшее существо личности, на котором в конце концов основаны все различия индивидуумов, этого нельзя решить непосредственно на почве опыта.

Когда нам говорят, что характер человека есть продукт внешних условий, воздуха и света, пищи и климата, воспитания и судьбы, что он, как и всякое явление природы, математически предопределяется всеми этими влияниями, то этим высказывают совершенно бездоказательное мнение» (Там же, с. 516-517).

Не знаю, осознал ли сам Вундт то, что сказал в этих строках. Ведь дальше его жизнь повернулась к тому, чтобы все-таки поверить алгеброй гармонию и внести математику в это неподдающееся математике Нечто. Но что здесь сказано о «глубочайшем существе личности»?

По сути, Вундт дал ответ на долгий философский спор о сути воли и причинности в отношении человека, который предчувствовался в строках многих его предшественников: если физическая причинность не работает в отношении человека, не стоит ли допустить, что в нем есть частица того духа, что сам может быть причиной?

Впрочем, пока мой вопрос преждевременен, и я вернусь к более простому и понятному: о чем говорит Вундт? Очевидно, что о мотивах.

Ан, нет! Это очевидно нашим переводчикам. Причем было очевидно уже в шестидесятих годах девятнадцатого века, то есть за два десятка лет до того, как Кавелин пишет Этику. Но вот беда, Вундт, похоже, использует совсем иное слово, которое наши интеллигенты переводят на английский манер.

Я не могу утверждать этого однозначно — оригинальные труды Вундта были мне, за исключением «Очерков психологии», недоступны. В Предметном указателе к «Очеркам психологии» словарной статьи «мотив» нет. Как нет его и в словаре «Важнейших терминов».

Зато там есть *Trieb* — переводимый русским переводчиком как импульс. Переводчик — приват-доцент Викторов — был плох, уж очень он зависел от простонаучного языка психологического сообщества. Как немецкое слово *Trieb* можно переводить на русский язык нерусским словом импульс? А что это значит по-русски?

Немецко-русский словарь дает три значения: склонность (к чему-либо), порыв, побуждение. А еще в нем есть любопытное словосочетание: *Triebfeder* — пружина.

Так вот Вундт использует в параграфе 14, посвященном волевым процессам, именно это слово, которое нашими психологами однозначно распознается как наш родной и привычный мотив!

Пружина порывов и побуждений...

Я не знаю, использовал ли Вундт англо-французское «мотив» в других своих работах, но «DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY JAMES MARK BALDWIN (1901)» в статье «**Affect**» пишет: *Wundt uses Triebfeder for the affective element in every Motiv...* — Вундт использует *Triebfeder* для обозначения «аффективной» части любого Мотива.

Что такое «аффективная часть» и аффекты вообще — особый разговор. Важно лишь то, что Вундт совсем не говорит о «мотивах». Он говорит о неких побудительных силах, которые, если верить Болдуину, а он хорошо знал американскую и английскую психологию, вовсе не совпадают по значению с понятием «мотив».

Зато *Triebfeder* полностью совпадает с тем, что говорит о мотивах человек, которого Вундт «диалектически отрицал», — Иммануил Кант.

Глава 3. Континентальные мотивы. Кант

Моя задача — найти, откуда в языке Кавелина появилось словечко «мотив». Путь два: либо оно взято им из той культурной среды, в которой он воспитывался, и тогда оно — бытовое понятие, либо он перенял его у кого-то из своих предшественников-психологов.

В 1868 году Кавелин пишет для Вестника Европы статью «Немецкая современная психология», в которой как раз и разбирает все подобные источ-

ники. Пишет в то время, когда работает над «Задачами психологии», поэтому статья оказывается своего рода источниковедческим вступлением к «Задачам», что позволило Кавелину не перегружать сами «Задачи психологии» ничем лишним.

В этой статье он называет всего двух психологов, и честно признаюсь, когда я впервые читал Кавелина, это вызвало у меня удивление, потому что психологами для него оказались Локк и Кант! Для меня же они привычно связывались с философией и вообще никак не относились к психологии. Думаю, в этом виновато мое образование: как историк я изучал их в курсе философии, как психолог — не изучал совсем. И насколько я знаю, психологи их до сих пор не изучают при получении образования.

Между тем, если вдуматься, именно они заложили основы всей научной психологии... хотя кроме них в этом поучаствовало так много людей, кто ныне забыт!

Кавелин пишет о Локке ни мало, ни много:

«Гениальный основатель науки психологии в Англии, Локк...» (Кавелин, Немецкая, с. 369).

А через пару страниц:

«Кант такой же гениальный творец психологии, как Локк, только начавший свои исследования с другого конца; потому-то Кант и не принял выводов английского мыслителя. Между Локком и Кантом произошло недоразумение единственно вследствие того, что психологические приемы того и другого были еще очень несовершенны» (Там же, с. 371).

Далее Кавелин с большим сомнением отзывается об остальной немецкой философии:

«Немецкая философия после Канта есть, если можно так выразиться, инскоказательная психология, легенда, в основании которой лежит правда, но только не та, которую она выдает за правду» (Там же, с. 372).

И под конец, нелестно помянув в связи с вопросом о свободе воли Гегеля, Кавелин пишет:

«Джон Стюарт Милль... разбирая понятие о свободе и необходимости, играет словами не хуже гегельянцев и чрезвычайно остроумно отделяется от вопроса свободы воли» (Там же, с. 373-374).

Это не пустое замечание, потому что вся теория мотивов рождается в мировой психологии, а точнее, еще в философии, из вопроса о причинности в связи с волей и ее свободой. И означает оно то, что именно точка зрения Милля кажется Кавелину совершенно несостоятельной в этом отношении. По крайней мере, в сравнении с воззрениями Локка и Канта.

Второй вывод, который можно сделать из этой статьи, что сам Кавелин вполне мог перенять понятие мотива у Канта. Однако Кавелин пишет: «мотив», а Кант использует немецкое слово *Triebfeder*. Если заимствование и могло быть, то только осмысленное и по сути. А в чем суть кантовского *Triebfeder*'а?

Кант дает ему определение в «Критике практического разума», причем такое, что можно было бы именно его посчитать создателем этого выражения.

Однако он сам начинает использовать это понятие лет на двадцать раньше уже в «Критике чистого разума», которая писалась с 1769 по 1781 годы. И использует его как вполне привычное и всем понятное. Я приведу важнейшие использования, поскольку они дают возможность понять мыслительную среду, в которой это понятие существует.

Чтобы его понять, стоит вспомнить как раз тот самый спор с Локком, который поминает Кавелин, говоря, что эти мыслители шли к одному и тому же с разных концов. В действительности, Локк спорил с Декартом, отрицая и одновременно проживая его мысли. И в первую очередь, пытаясь нащупать, соответствует ли истине утверждение Декарта, что в душе существуют врожденные идеи.

Искал, искал, не нашел и возмутился настолько, что из этого возмущения родилось величайшее философское произведение. И суть его в том, что наши души, как говорил Аристотель, — чистые доски, а все, что мы имеем как идеи, — лишь следы столкновений с действительностью, впечатления, добытые опытом.

Кант пережил точно такое же, но обратное возмущение: он явно не уважает Лейбница и уважает Локка, но он возмущен, потому что не смог объяснить самого себя, приняв, что все, что есть он — лишь плоды опыта. Он явно ощущает, что нечто в наших душах должно быть доопытным, и потому пишет две науки: одну о том, что не может иметь отношения к опыту, а другую о том, как это соотносится с жизнью. Одну он называет чистым разумом, другую — разумом практическим.

В сущности, если упрощать, то чистый разум Канта оказывается нашей способностью созерцать содержания сознания и выводить понятия, опираясь лишь на то, что есть в сознании. А практический разум — это предмет этики. То есть наше нравственное поведение. Поэтому было бы верно говорить об Этике Кавелина на примере «Критики практического разума», но понятия рождаются там, где царит чистый разум. Поэтому начну с него.

В «Антиномиях чистого разума», ведя разговор о причинности, он пишет:

*«В высшей степени примечательно, что практическое понятие свободы основывается на этой трансцендентальной идее свободы, которая и составляет настоящий источник затруднений в вопросе о возможности свободы. Свобода в практическом смысле есть независимость воли от принуждения импульсами чувственности. В самом деле, воля чувственна, поскольку она подвергается воздействию патологически (мотивами чувственности); она называется животной (*arbitrium brutum*), когда необходимо принуждается патологически»* (Кант, Критика чистого разума, с. 328).

Конечно, Кант не писал ни о каких импульсах. Я уже приводил словарь из Вундтовских очерков психологии, где наш бойкий переводчик перевел на русский немецкое слово *Trieb* таким родным простонаучным словечком «импульс». Подозреваю, что и здесь с Кантом поступили сходно. Позывы или побуждения чувственности — вот что такое эти самые мотивы чувственности. А еще проще — телесные позывы, но это придется объяснять, поэтому пока лишь к слову.

А дальше отголосок спора с Локком:

«Следовательно, здесь мы находим то, что вообще происходит в противоречиях разума, который отваживается выйти за пределы возможного опыта, а именно проблему, собственно, не физиологическую, а трансцендентальную.

Поэтому вопрос о возможности свободы затрагивает, правда, психологию, но решением его, поскольку он основывается на диалектических аргументах одного лишь чистого разума, должна заниматься исключительно трансцендентальная философия» (Там же, с. 328–329).

Вот этому совету и последовали психологи, — они просто оставили этот вопрос философам, вместе с пониманием того, что есть мотив или побуждение к действию. В каком-то смысле они очень правы. Действительно, прикладному психологу вовсе не обязательно знать, что думают о побуждениях, которыми определяется поведение человека, философы. И даже вопрос о том, свободна ли воля человека, то есть может ли он сам принимать какие-то решения, или все решено и он — либо игрушка в руках богов, либо игрушка в руках внешних раздражителей, — вроде бы не слишком существенен.

Но если вспомнить то, что говорил о природе мотивов Леонтьев, то надо признать: наша психология исходила из того, что человек не волен — им правят внешние предметы, которые и становятся «мотивами» его деятельности. Почему? Да потому, что так сказал, к примеру, Локк!

А как быть прикладнику? Исходить из того, что это верно, и успокаивать своих пациентов: мол, расслабьтесь, сделать с этим ничего нельзя, так хоть получите свое удовольствие?! Что, кстати, и делала под релаксационную музыку вся советская психотерапия, которая была примером крайней недееспособности психологов.

Или же он может посчитать, что человек — сам творец своей судьбы, что у него есть свободная воля на уровне самых глубоких источников решений и действий, и что он может поменять в своей жизни всё! Прикладник может исходить только из этой установки, иначе вся его работа теряет смысл. И как ни удивительно, эта крайняя убежденность в своей дееспособности, в дееспособности человека, рождается из крайнего идеализма Канта, который должен был бы быть примером потусторонности и неотмирности...

Далее Кант обосновывает возможность свободной причинности и дает понятие «мотива», то есть побуждения к действию в совершенно неподходящем для прикладника месте — в главе о космологической идее свободы. Умные психологи знают: в таких местах рыбы нет! И не ищут. Однако не погнушаемся кусочком хорошего, хоть и непростого, философского рассуждения...

«Закон природы гласит, что все происходящее имеет причину, что каузальность этой причины, то есть действие, предшествует во времени и в отношении возникшего во времени результата, сама не могла существовать всегда, а должна быть произошедшим событием, и потому она также имеет свою причину

среди явлений, которой она определяется, и, следовательно, все события эмпирически определены в некотором естественном порядке; этот закон, лишь благодаря которому явления составляют некую природу и делаются предметами опыта, есть рассудочный закон, ни под каким видом не допускающий отклонений или исключений...» (Там же, с. 332).

Что значит рассудочный закон? Это не что-то от ума, и даже не нечто, что мы увидели, созерцая природу. Это то, как ощущает мой рассудок, точнее, как ощущаю я, когда пытаюсь думать о причинности. Я, быть может, и не прав, но мое сознание знает: у того, что произошло, должна быть причина! И баста!

Откуда во мне взялась такая убежденность? Возможно, из опыта, из бесконечного повторения наблюдений над тем, как происходят события в действительности. Просто произошло накопление наблюдений и перешло в качественный скачок, родивший не осознанное мною понятие о причине. И теперь, поскольку я не осознаю это понятие, но владею им, мне кажется, что это закон природы.

Но возможно и другое, дополнительно к этому: я могу осознавать самого себя, свое сознание, состояние своей души как некую среду, которая не предполагает своего существования без причины, без чего-то, что вызывает в ней движения. Я просто знаю по собственному опыту, что не смогу начать ни одного движения сознания, если не будет какой-то причины, потому что сознание стремится к покою. И это тоже из опыта, но из опыта наблюдений над тем, что предшествует самому опыту.

Конечно, я не сразу понимаю, что устроен так, что мне нужно нечто, что явится толчком для действий, конечно, я прихожу к этому осознанию через опыт самосозерцания, причем в быту, во множестве самых обычных дел. Но опыт тут — не более чем прибор, нечто добавленное ко мне. Само такое устройство моей природы существует до него, оно приходит со мной, как данность, и можно сказать, как впечатанная в природу души идея. Одна из тех самых врожденных идей, о которых говорил Декарт и с существованием которых спорил Локк.

Кант движется от чистого разума в сторону практического, то есть к объяснению нашего поведения и нравственности. И суть его рассуждения сводится к вопросу, который задавали некоторые из хороших психологов: можем ли мы надеяться, что психология станет точной наукой, а прикладник сумеет решать психологические задачи с не меньшей уверенностью, чем математические или физические. Вот что обосновывает Кант через понятие воли и закон причинности.

«Следовательно, все действия естественных причин во временной последовательности сами в свою очередь суть результаты, которые точно так же предполагают причины во временном ряду. От причинной связи явлений нельзя ожидать первоначального действия, благодаря которому происходит нечто такое, чего не было бы раньше» (Там же, с. 333).

Это скрытый спор с Лейбницем, Спинозой и Декартом. Точнее даже, Кант тут принял участие в споре Лейбница со Спинозой по поводу Декарта.

Декарт, с одной стороны, заявил, что конечной точкой всех рассуждений окажется Бог, а с другой — сам же объявил в своей психологии, что душа способна управлять телом, как наездник лошадью. То есть быть причиной его поведения. На это Лейбниц ответил с возмущением. И для него и для Спинозы было бесспорно, что зависимость души и тела близка к математической, а значит, должна быть такой же жесткой по логике построений.

Декарт оказался непоследователен и предал математичность своих собственных исходных построений, на которые и купились великие семнадцатого века. Декарт сумел отменить самого себя просто потому, что в жизни не так, как он написал. Они же, всячески споря с ним, остались верны букве рассудочного построения, почему их век и был назван веком разума.

В сущности, Кант здесь заявляет:

«...и в этом ряду невозможно никакое начало, которое произошло бы само собой» (Там же).

Этим сказано, что человек может быть познаваем и предсказуем до последнего своего действия. Иначе говоря, прикладная психология возможна, и она — точная наука. Но при этом, как кажется, здесь говорится, что человек должен быть подчинен каким-то внешним причинам, а значит, не может быть творцом собственных поступков. Это было бы так, если бы не одно но:

«Человек есть одно из явлений чувственно воспринимаемого мира и постольку также одна из естественных причин, каузальность которой необходимо подчинена эмпирическим законам» (Там же, с. 334).

Да, человек подчинен законам действительности, но при этом он сам — одна из причин. Он — творец причин! Но это между делом, главное для Канта — свободны ли мы от тех причин, которые порождаем в себе, и от той причинности, что подсовывается нам миром. Свободен ли человек, чтобы менять себя и свою судьбу, — не правда ли, вопрос для прикладного психолога?!

Поэтому я позволю себе еще несколько выдержек из его рассуждений, относящихся к нашему самопознанию.

«Но человек, познающий всю остальную природу единственно лишь посредством чувств, познает себя также посредством одной только апперцепции (то есть восприятия высшим чувством, внутренним оком — АШ), и притом в действиях и внутренних определениях, которые он вовсе не может причислить к впечатлениям чувств; с одной стороны, он для себя есть, конечно, феномен (то есть явление — АШ), но, с другой стороны, а именно в отношении некоторых способностей, он для себя чисто умопостигаемый предмет, так как деятельность его вовсе нельзя причислить к восприимчивости чувственности».

Мы называем эти способности рассудком и разумом; главным образом последний совершенно особо и существенно отличается от всех эмпирически обусловленных способностей, так как рассматривает свои предметы только исходя из идей и по ним определяет рассудок, который затем дает эмпирическое приращение своим (правда, также чистым) понятиям» (Там же, с. 334–335).

Нашим поведением на деле правит рассудок, предлагая понятия, по которым мы и действуем. Понятия же эти выводятся разумом из того, что он

считает идеями, а в действительности, из попытки достичь идеала, то есть из присущего разуму стремления выстраивать все свои образы относительно идеальных образцов. Сначала понять, как бы это было идеально, а потом приспособиться к действительности, исходя из того, что возможно и доступно, — вот как работает разум.

При переходе от идеального образа к тому, что возможно в действительности, однозначная причинность чистого разума уступает место долженствованию разума практического. Говоря на другом языке, яблоко **не должно** падать на землю, оно просто падает, потому что так есть. А вот человек **должен** вести себя нравственно просто потому, что так чувствует. Кант называет это нравственным императивом.

И это очень плохо понятое место у Канта, потому что расхожее мнение считает, что Кант предполагал наличие где-то в идеальных пространствах существования какого-то Нравственного императива, который повелевает поведением людей. Повелевает, как некая внешняя по отношению к нам сила.

В действительности все гораздо проще. Любой из нас ведет себя нравственно, даже когда нарушает нравственность. Попросту, совершая любой поступок, мы осознаем, хорошо или плохо себя ведем. Осознаем непроизвольно. При этом мы совершенно свободны в том, чтобы нарушить требования нравственности, то есть тот тонкий голосок, который пищит, что это плохо, несправедливо, бессовестно. Мы запросто можем его заглушить. Но мы не можем его не слышать.

Он вовсе не космический, не от бога, и не из идеального пространства. Он — из нашего опыта. Мы с детства как-то воспитывались, мы с детства приучались либо не совершать плохих поступков, либо совершать их. И что бы мы ни делали, мы всегда знали, что общество нас оценит и похвалит либо осудит. И приучали себя либо слушаться гласа общества, либо не слушаться.

И вот мы нарушаем то, про что знаем, что это правило поведения, которое требует от нас общество, а голосок в душе предательски пищит: осторожней, это опасно. И даже самый прожженный подонок озирается, слыша этот голосок — значит, он вполне действителен. И кричит этот голосок одно: ты должен вести себя правильно! Ты не должен делать этого, потому что так ты нарушаешь закон! А мы отбрасываем его вместе с угрызениями совести.

Кого-то эти угрызения нагонят на смертном одре, кого-то никогда не нагонят, но они были в жизни каждого, и были они как знание о том, что джлжно и что не джлжно.

«Что этот разум имеет причинность, по крайней мере, мы можем себе представить его имеющим причинность, — это ясно из императивов, которые мы предписываем как правила действующим силам во всем практическом.»

Долженствование служит выражением особого рода необходимости и связи с основаниями, нигде больше во всей природе не встречающейся. Рассудок может познать о природе только то, что в ней есть, было или будет. Невоз-

можно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует во всех этих временных отношениях; более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла.

Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг; мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг» (Там же).

Из этого простого и красивого рассуждения, показывающего, что долженствование возможно лишь в мире людей, а точнее, душ или свободных духов, то есть в мире, где есть свобода, и рождается у Канта объяснение, как же при этом возможна причинность нашего поведения, а вместе с ней и его сложность. И определение «мотива», как распознал его переводчик.

«Этим долженствованием обозначается возможный поступок, мотивом для которого служит лишь понятие, между тем как основанием действия одной лишь природы необходимо служит всегда явление» (Там же).

Это важное место, поэтому поправлю и разберу его. Во-первых, не мотивом, а «побудительной пружиной», попросту побуждением к нему.

В естественной природе естествознания, то есть в мире физики, причиной для чего-то служит механическое воздействие одного явления или предмета на другое. Там невозможно самостоятельное начало. Природа невольна.

Человек, человеческий разум способен создавать причины для изменения поведения. Причины эти — его понятия. А для прикладника — образы, которые содержатся в нашем сознании.

«Конечно, необходимо, чтобы поступок, на который направлено долженствование, был возможен при естественных условиях, но эти условия имеют отношение не к определению самой воли, а только к действию и результатам ее в явлении.

Сколько бы ни было естественных мотивов (внешних причин или предметов — АШ), побуждающих меня к хотению, сколько бы ни было чувственных возбуждений, они не могут породить долженствование — они могут произвести лишь далеко не необходимое, а всегда обусловленное хотение, которому долженствование, провозглашаемое разумом, противопоставляет меру и цель» (Там же).

Вот и полноценный философский ответ Леонтьеву. Психолог, конечно, вправе избрать ту или иную сторону и принять любое определение используемого им понятия, но привести доводы в пользу своего выбора он обязан. Леонтьев хотел выглядеть многозначительно, но при этом не хотел изучать источники и немножко скрывал их, чтобы не заметили заимствований. Вот отсюда странности его изложения — он отводит глаза.

Но Кант ответил на его выбор: «мотив» не может быть снаружи. Он всегда внутри. Внешние предметы могут вызывать наши желания, но породят не более, чем хотение. Долженствование не рождается, а без него не родится и побудитель к действию. Мы разумно оценим это желание и изберем то, что нам выгодней или более соответствует душе.

Но это если речь идет о *Triebfeder*, то есть о побудителях к действию. То есть не о мотивах, какими пользуется современная психология. Побуждения к действию, как их видел Кант, составили целый пласт философской и психологической культуры, определявшей нравственное поведение. И именно это понятие легло во основу Кавелинского понимания мотивов как побуждений к действию, исходящих не от внешних причин, а из души, из Я.

Когда рождается это понятие в немецком, я не знаю. Лейбниц его в своих работах не использует, поскольку пишет то на латыни, то на французском. Возможно, его разработал Герbart или Христиан Вольф. Не знаю. Но Кант объяснил его происхождение в «Критике практического разума». Собственно говоря, с него начинается третья глава:

«Если под мотивом (elater animi) понимают субъективное основание определения воли существа, чей разум не необходимо соотнобразится с объективным законом уже в силу его природы, то отсюда прежде всего следует, что божественной воле нельзя приписывать какие-либо мотивы, а мотивы человеческой воли (и каждого сотворенного разумного существа) никогда не могут быть ничем другим, кроме морального закона; стало быть, объективное основание определения, и только оно, всегда должно быть также и субъективно достаточным определяющим основанием поступка, если этот поступок должен соблюсти не только букву закона, но его дух».

В оригинале стоит *Triebfeder*, еще точнее: *Wenn nun unter Triebfeder (elater animi)...* Латинское *elatio animi* означает увлечение, порыв. Немецкое *Trieb* — это как раз порыв, побуждение. *Feder* — пружина. Так создавалось немецкое слово для того понятия, что мы переводим мотивом.

Но Кавелин использует не его и не создает русской замены. Он берет лишь стоящее за этим именем понятие, но использует слово «мотив». В классической латыни его нет. Значит, он мог взять его либо с французского, либо с английского. Пишутся они там по-разному, но звучат в русском произношении одинаково.

Современный читатель, читая Кавелина, ни за что не разглядит за его «мотивом» Кантовский *Triebfeder*, а вместе с ним пройдет и мимо той философской культуры, что стоит за этим словом, и мимо действительного понятия. А действительное понятие, скрывающееся за немецким *Triebfeder*, означает порыв или побуждение, мотив же, если вспомнить его латинскую основу, означал движение.

Побуждение и движение — очень, очень разные вещи и разные действия. По крайней мере, для человека, который хочет, чтобы психология была точной и действенной наукой. Сейчас, говоря о мотивации, мы имеем в виду именно то, что побуждает нас к определенным поступкам. При чем тут движение? Непонятно. Но можно ли сделать прикладную науку из непонятных оснований?

Поэтому я вынужден продолжать свой поиск. Но прежде чем отправиться в Англию и Францию, несколько слов о предшественнике Канта Лейбнице и той среде, в которой рождалось понятие Побудителя к действию.

Глава 4. Континентальные мотивы. Лейбниц

Кант любил Локка и не любил Лейбница. Это сквозит в его «Критике чистого разума».

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) великий путаник и к тому же писал преимущественно на французском. При этом он точно использовал слово *motif*. Вопрос только, какой смысл он в него вкладывал. Для понимания этого нужны две работы Лейбница — «Монадология» и «Теодицея».

Рассказ о нем стоило бы предварить рассказом о Барухе Спинозе, что я, кстати, и сделал вначале. Но у Спинозы невозможно найти чего-то действительно помогающего понять побуждения и мотивы нашего поведения. Он переумничал себя и всех своих современников, создав художественное произведение, вроде футуристической поэзии на тему философии Декарта, но не в рифмах, а в теоремах, то есть языком математики. Гениальное художественное произведение, прославившее автора, но бесполезное психологу. Поэтому знать Спинозу нужно лишь для знакомства с той средой, в которой творил Лейбниц, и не более, чем научные мотивы в философии...

Лейбниц, как и Спиноза, очень сильно болел Декартом и много спорил с ним. К примеру, он доказывал в противовес Декарту, что субстанция не может быть протяженной, издевался над его представлениями о том, как душа управляет телом через шишковидную железу с помощью каких-то очень простых «духов», которые бегают по нервам.

При этом сам он, создавая понятие Монады, в сущности, говорит о ней как о некоем духе, который развивается как душа от простейшего до человеческой способности самопознания.

Исходно, «монада ... есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая, значит, не имеющая частей» (Лейбниц, Монадология, 1, с. 413). Однако при этом в п. 14 звучит:

«И здесь картезианцы сделали большую ошибку, считая за ничто несознаваемые восприятия. Это же заставило их думать, будто одни лишь духи бывают монадами...» (Там же, с. 415).

Все это отрицает Картовых духов шишковидной железы, но так их напоминает!..

Точно так же многое в Монадологии напоминает и Спинозу:

«18. Всем простым субстанциям, или сотворенным монадам, можно бы дать название энтелехий, ибо они имеют в себе известное совершенство и в них есть самодовление, которое делает их источником их внутренних действий и, так сказать, бестелесными автоматами. ...»

49. Сотворенное называется действующим, поскольку оно имеет совершенства, и страдающим, поскольку оно имеет несовершенства. Таким образом, монаде приписывают действие, поскольку она имеет отчетливые восприятия, и страдание, поскольку она имеет смутные восприятия» (Там же).

Иначе говоря, действовать может только та душа, что имеет «адекватные идеи» по Спинозе или «идеи чистого разума» по Канту. К тому же душа

не может оказывать влияния на тело — ведь сказано же Декартом, что они разной природы! Но как-то они при этом взаимодействуют. Как? По закону предустановленной Богом гармонии...

Иначе говоря, Бог изначально задал такие условия существования души и тела рядом друг с другом, что они постоянно совпадают в своих внутренних ощущениях и внешних проявлениях. Лейбниц пояснял это на примере пары механических часов, которые и не связаны друг с другом и не подправляются кем-то, а просто их механика такова, что они идут одинаково.

Именно этим примером предустановленной гармонии Лейбниц, как ему казалось, устранял вопрос о «психофизическом параллелизме», бывший основой психологии Декарта и вызывавший море споров среди метафизиков. Суть его проста: поскольку никто не сумел рассмотреть, как же душа передает воздействие или управление на тело, то это управление вообще не доказано. А раз так, значит, можно строить предположения о природе души вроде того, что она не многим отличается от математической точки или единицы. А значит, вообще не более чем логический знак для рассуждений философов...

Я шучу, но изрядное число метафизиков, вместо того чтобы наблюдать за душой, старательно доказывали ее существование или несуществование логически. Впрочем, схоласты так же мучительно доказывали или оправдывали Бога... Искушение формальной логикой, похоже, непреодолимо для человеческого рассудка на определенном этапе его становления.

Однако, как бы странно ни воспринималось учение Лейбница сегодня, он в своей нравственной психологии дошел до понятия мотива. И сделал он это в главной работе своей жизни, которая называлась «Опыт теодицея о благодати Божией, свободе человека и начале зла». Опубликована она была в 1710 году и означала в переводе с греческого ни много, ни мало — богооправдание.

В сущности же, если исключить из нее заигрывания с Церковью, Властями и наукой в лице французского философа и публициста Пьера Бейля, «Теодицея» является трактатом о нравственности с философской точки зрения. То есть с точки зрения о свободе воли человека. Поэтому в ней вполне естественно возникает вопрос о том, как рождается человеческое поведение. Еще точнее, о том, может ли существовать самостоятельное человеческое поведение.

Начинается интересующее меня место, в ходе которого появится слово «мотив», из очень здравого рассуждения о задаче «Буриданова осла». Очевидно, Бейль сделал какое-то возражение на предыдущую работу Лейбница, и тот свалил собственно Богооправдание в одну кучу споров с Бейлем. В этом смысле Теодицея — очень плохое литературное произведение. Но вот рассуждение прекрасно.

Суть его в том, что при действительном изучении человека нельзя сводить его поведение к софистической знаковости: человек — не философский

осел, который разорвется между двумя одинаковыми охапками сена, поскольку не сможет сделать выбора:

«Потому что вселенная не делится на две половины плоскостью, рассекающей осла посередине в длину, так чтобы и та, и другая половина были совершенно равны и подобны...

Таким образом, внутри и вне осла существует множество не замечаемых нами вещей, которые и вынуждают его направиться в одну сторону скорее, чем в другую.

И хотя человек свободен, а осел нет, но на том же самом основании остается верным и в отношении к человеку, что случай полного равновесия между двумя сторонами невозможен и что ангел или, по крайней мере, Бог всегда мог бы представить основание, почему человек склонен принять избранную им сторону, указав причину или мотив, побуждающий человека на самом деле склониться к этой стороне, хотя этот мотив часто бывает сложным и нам самим непонятным, так как переплетение причин, связанных одна с другой, простирается очень далеко» (Лейбниц, Теодицея, с. 160).

Я вижу в этом рассуждении две важных части. Во-первых, методологическое возражение сторонникам «чистой науки» и «строгих рассуждений», стремящимся изгнать из философии психологизм, а из психологии — прикладную часть. Делается это путем выхолащивания и обеднения того языка, на котором философы пытаются решать свои псевдоматематические задачи.

В сущности, все подобные попытки, включая феноменологию — это мечта философа выглядеть так же научно, как выглядит математик. Отсюда и тяга философов к логическим играм, в которых, как им кажется, они достигают математической строгости философских рассуждений. Математичность Бурданаова осла,дохнушего между двумя охапками сена, предельна, как предельна и его оторванность от действительности. Это важный урок.

Второй урок — это описание причинности наших поступков, как сложнейшей вязи побуждающих позывов, складывающихся исторически. В сущности, заключительные слова Лейбница — это призыв создать науку о побуждениях. Естественно, науку прикладную, потому что теоретические возможности в таком вопросе довольно быстро исчерпаются. Тут теоретические воззрения нужно постоянно подпитывать и подкармливать наблюдениями и проверками.

Далее Лейбниц дает пример подобной теории и, по существу, объясняет, как он понимает, что такое мотивы. Объясняет, как раз показывая, что философы склонны опрощать свои задачи, чтобы решать их логически, в итоге и их решения оказываются схемами, не применимыми к действительной жизни. Но это мелочи, главное — тот образ, что он создает. В сущности, он говорит о том, что существует некая материя — среда или, как сейчас бы сказали, поле — побуждений.

«50. Вот почему приводимый г-ном Декартом довод для доказательства независимости наших свободных действий посредством пресловутого внутреннего живого чувства не имеет силы.

Мы не можем в собственном смысле чувствовать нашу независимость; и мы не всегда замечаем зачастую незаметные причины, от которых зависит наше решение. Точно так же, когда говорят о магнитной стрелке, что она любит поворачиваться к северу, думают, будто она вращается независимо от какой-то другой причины, так как не замечают неощутимых движений магнитной материи.

Однако ниже мы увидим, в каком смысле очень верно то, что человеческая душа есть совершенно естественное собственное начало по отношению к действиям, зависящее от себя самого и не зависящее от всех других творений» (Там же, с. 160).

Уважал Кант Лейбница или нет, но, несмотря на то, что Лейбниц пишет о *motif*'ах, понимание он в это слово вкладывает, как кажется, именно такое, какое будет принято кантианской психологией. Как кажется!

В действительности Лейбниц будет выводить эту самостоятельность или «самопроизвольность» человеческих действий из своей монадологии, а в ней «человеческая душа в некотором роде есть духовный автомат» (Теодицея, 1-52). Иначе говоря, эта монада не должна бы оказывать никакого воздействия на тело, и к тому же она от веку «запрограммирована» Богом на определенные действия... Но не надо забывать, что это лишь упрощенная запись, а далее Лейбниц ее расписывает, исходя из действительности. В сущности, пересматривает и уточняет то, что сделал схематично.

Показав, что воля зависит от множества причин, он пишет:

«...зависимость свободных действий не препятствует тому, чтобы в основании вещей существовала та удивительная самопроизвольность, которая в известном смысле делает душу в ее решениях независимой от физического влияния всех других сотворенных вещей. Эта самопроизвольность, до сих пор весьма мало известная нам и в наибольшей возможной степени усиливающая нашу власть над нашими действиями, есть следствие системы предустановленной гармонии...» (Там же, 1-59).

Эта «самопроизвольность» меня, прикладного психолога, сильно настораживает, потому что, как мы помним, часики тут ходят независимо друг от друга, а значит, я не могу воздействовать на одни с помощью других, я только могу, глядя на одни, предугадывать, что вторые поведут себя так же... В общем, слишком сложно.

Лейбниц это подтверждает в картезианском ключе:

*«Схоластические философы думали, что существует взаимное физическое влияние между телом и душой; но с тех пор, как узнали, что мысль и пространственная материя не имеют между собой никакой связи и что оба этих творения различаются между собой *toto genere*, многие современные мыслители признали, что нет никакого физического общения между душой и телом, хотя всегда существует метафизическое общение...»* (Там же, 1-59).

Любопытно звучит Лейбниц, рассказывая о научном сообществе той ранней поры — в точности, как если бы говорил о современном или о партийном собрании... Все-таки большей части научного сообщества истина — вопрос предпочтения. И дальше, говоря об «уступках» Декарта, Лейбниц

действительно обвиняет его в отступничестве от символа веры, почему у него даже не мелькает подозрения, что Декарт мог просто заметить какие-то несоответствия изначальной математической схемы жизни:

«60. Г-н Декарт пошел на уступки в этом отношении и некоторую часть телесного действия поставил в зависимость от души. Он признал, что ему известен закон природы, по которому, как он полагает, в телах сохраняется одно и то же количество движения. Он признавал невозможным, чтобы влияние души нарушало этот закон тел; тем не менее он думал, что душа может иметь силу изменять направление движения, происходящего в теле, почти так же, как всадник, который, хотя и не дает силы лошади, сидя верхом, тем не менее не перестает управлять ею, направляя ее силу в любую сторону.

Но так как все это совершается посредством узды, удила, шпор и других материальных приспособлений, то понятно, как это становится возможным; но не существует никаких орудий, посредством которых душа могла бы достигнуть подобного действия, — их нет ни в самой душе, ни в теле, то есть ни в мысли, ни в материи, что могло бы служить объяснению этого изменения одного посредством другого» (Там же, 1-60).

Удобное было время — век рационализма. В сущности, его лозунгом должно было бы быть восклицание: не мешайте мне мыслить математикой! И все, что не укладывалось в изначальные аксиомы, как их избрал принять мыслитель, отметалось, даже если его глаза видели это в жизни. Глаза ошибаются, а вот то, что я мыслю — бесспорно!

Дальше Лейбниц опять несет какую-то высокопарную чушь об открытом им законе предустановленной гармонии, знай о том Декарт, так и тот бы признал, кто тут поумнее всех!.. Чушью же я это называю потому, что Лейбниц при этом нисколько не смущается говорить от имени Бога, приписывая его мудрости свои фантазии. Так «мудрецы» той поры, переписываясь с королями и императорами, ненавязчиво навязывали им свои мысли, чтобы направить их правление в сторону просвещенности. Но сквозь эти игры с обработкой сознания вдруг прорезаются ростки действительно глубоких наблюдений:

«...будучи убежден в полном согласии всего этого с высочайшей мудростью Бога, деяния которого находятся в величайшей гармонии, какую только можно себе представить, я не мог не прийти к этой системе, согласно которой Бог с самого начала создал душу в таком виде, что она развивается и в строгом порядке представляет все, что совершается в теле, а тело — в таком виде, что оно само собой исполняет то, что требует душа.

И это совершается таким образом, что законы, приводящие мысли души в порядок для достижения конечных целей сообразно с развитием представлений, должны вызывать образы, гармонизирующие и согласующиеся с телесными впечатлениями в наших органах; равным образом и законы движения в теле, обнаруживающиеся в порядке действующих причин, тоже гармонизируют и согласуются с мыслями души так, что тело вынуждено действовать именно в то время, когда этого пожелает душа» (Там же, 1-62).

В общем, какая разница, как Лейбниц зарабатывал себе славу. Предустановленная гармония или естественная связь души и тела, важно одно: если душа приводит свои мысли в порядок, необходимый для достижения цели, она создает для этого образы, складывающиеся в представления, и тело будет действовать строго в соответствии с этими образами. Это наблюдение над жизнью, и неважно, как его объясняет метафизик или физик. Для прикладника оно — закон.

Физики сейчас, правда, ищут то, что может быть названо уздой и шпорами, то есть те тонкоматериальные среды, что связывают душу с нервной системой, и много говорят о лептонных полях и еще чем-то подобном. Иными словами, связь эта, очевидно, есть, и просто еще наука не имеет средств, чтобы наблюдать ее с достаточной очевидностью.

Но это описание, сделанное Лейбницем, если взглядеться, относится к работе свободной воли, то есть является описанием того, как я сам решаю действовать и действую. Здесь еще нет ни побуждения к действию, ни мотива. Здесь действует Я и только Я. Условно говоря, это уровень чистого разума Канта. Как возможны побуждения?

Безусловно, они возникают на более низком уровне, там, где душа гораздо больше вовлечена в земное бытие и не имеет ни идеальной чистоты, ни совершенства. Побуждения и сама возможность их существования как-то связаны с несовершенством наших душ.

«Справедливо то, что остается еще некоторое несовершенство в устройстве души.

Все совершающееся в душе зависит от нее, но не всегда от ее воли; это было бы уже слишком. Даже не все известно ее разуму, не все представляется ему отчетливо. Ибо в душе существует не только ряд отчетливых представлений, находящихся в ее власти, но и ряд смутных представлений, или страстей, ввергающих ее в рабство» (Там же, 1-64).

Думаю, это очень важное замечание, которое необходимо учитывать при прикладной работе: психологу нечего делать там, где человек сам себе хозяин. Необходимость в помощи возникает лишь тогда, когда он не справляется с собой, условно говоря. А в действительности, с тем, что существует в его сознании, неосознаваемое и даже невидимое нашему разуму. Именно там живет то, что способно не только управлять душой из сумрака, но и захватывать ее в рабство.

Лейбниц еще какое-то время рассуждает об этом, пытаясь увязать свое открытие со своими философскими взглядами, а потом утекает в выяснения отношений со всеми, кто его обидел... Поэтому я с благодарностью оставляю его труды, взяв из них важный взятки: то, как несовершенства души, живущие в ней же, могут захватывать душу в рабство и управлять ею, становясь либо мотивами, либо побуждениями к нашему поведению, должно быть исследовано и описано, как важнейшая часть прикладной психологии.

Однако этой находкой еще не завершается поиск корней понятия «мотив», поэтому я возвращаюсь к определению Леонтьева, как к исходной точке моего поиска.

Глава 5. Мотив-движение. Леонтьев

Мотив — это не побуждение, даже если считать, что мотив — это побуждение к действию, это не побуждение к движению. Мотив — это просто некое движение, если обратиться к исконному значению этого слова. Психологи должны были в самом начале использования этого слова именно так и видеть то, что называли этим именем. А впоследствии, утерев изначальное видение, они не могли не чувствовать странность и не искать утраченного движения.

Путей поиска было два: либо обратиться к собственной истории и попытаться понять, о чем же говорили древние в начале начал психологии, либо что-то придумать. Современные психологи, особенно русские и американские, не любят истории. Американцы потому, что ни у них, ни для них ее нет, русские — потому что им стыдно... Поэтому они предпочитают придумывать.

Одна из самых любопытных и как всегда невнятных фантазий принадлежит главному психологу брежневской России А.Н. Леонтьеву, с которого я и начал это исследование. Он создает ее в лекции, посвященной «структуре сознания». Там он использует множество любопытных образов, вроде «чувственной ткани», «объектного поля», «образа», «значения» и там же вводит понятие «движение».

Понятие это у него двойное. Строит он его от почти разговорных выражений «движение мысли» и «движение образов», выходя на обобщающее понятие «движение сознания». Не буду обсуждать, что Леонтьев понимает под сознанием, хотя это можно как-то понять из такого высказывания:

«Нормальное мышление, нормальное движение сознания без наличия чувственной ткани принципиально невозможно» (Леонтьев, Лекции, с. 99).

Обсуждать же эти понятия не буду, потому что они — не более чем способ говорить, если не показать, что же движется в мышлении и сознании. Леонтьев правомерно-марксистски утверждает, что *«сознание не возникает без существования языка»* (Там же, с. 100), что, очевидно, означает, что подопытную собаку нельзя лишит сознания. А поскольку язык оказывается «носителем значений», следовательно, при «нормальном мышлении» и «нормальном сознании» мы имеем «движение значений».

Тут он, похоже, загоняет себя в старую ловушку, которую сам и называет:

«Далее, мы вплотную подходим к проблеме, которая является камнем преткновения для психологического анализа сознания. Это проблема особенностей функционирования знаний, понятий, мысленных моделей и т.п., с одной стороны, в системе отношения общества, в общественном сознании, а с другой — в деятельности индивида, реализующей его общественные связи в его сознании» (Там же).

После этого понятие «движение значений» оказывается размазано, как каша по тарелке, потому что теперь приходится делать реверансы в сторону марксизма с его общественной природой сознания:

«Таким образом, движение значений обнаруживает себя прежде всего как движение объективно-историческое. И, собственно, история значений, и сами значения, вырванные из внутренних отношений системы деятельности и сознания, вовсе не являются предметом психологии...» (Там же, с. 101).

Естественно, как и движения челюсти при произнесении слов! Зачем же было их сюда впутывать?

Тем не менее, теперь Леонтьев вынужден постоянно биться между теми двумя полюсами, которые сам себе назначил для усложнения жизни:

«Из сказанного выше видно, что существуют два разных движения. Одно движение — это объективное движение значений в языке, движение языковой системы...»

«Это движение, в котором объективное, общественное по своей природе и отвлеченное от отдельного человеческого индивида существование значения переходит в его существование в голове индивида» (Там же).

Почему в голове? Ведь сам же говорил о сознании! Наверное, индивиды их туда кушают... Впрочем, там, в головах, начинается песня:

«Причем такой переход есть не простая конкретизация значения или превращение из общего в единичное, а начало той жизни значений, в которой они единственно и обретают свою психологическую характеристику. Значения как бы охватываются пламенем нового движения, движения в процессах деятельности и сознания конкретных индивидов. В этом новом движении происходит удивительное событие, а именно возвращение абстракций значения к той реальной действительности, от которой в свое время значение было отвлечено, отторгнуто и начало свое самостоятельное движение в истории языка, истории общества, культуры и науки» (Там же).

Так происходит переход от «объективно-исторического» вида движения к движению «психофизиологическому»:

«Таким образом, существует движение, соединяющее абстрактное с чувственным миром, в котором я существую и который я отражаю в наличных формах, наличными возможностями, которые суть возможности психофизиологические...»

«Движение, соединяющее абстрактное значение с чувственным миром, представляет собой одно из существеннейших движений сознания.»

«Движение, соединяющее чувственность и значение, есть не что иное, как отражение движения самой жизни человека. Я же заменяю понятие “жизнь” менее общим и более специальным понятием “деятельность”» (Там же, с. 102).

Какой молодец! А зачем, любопытно узнать? Зачем советским психологам было нужно так уродовать действительность? Наверное, чтобы она влезла в их заготовки...

Да и бог с ними! Главное, что Леонтьев отказывается от жизни, ради «момента», который меня и интересует. «Момент» этот — пример того дикого обращения и с жизнью и с языком, благодаря которому носитель значений — русский язык — был в рамках нашего научного сообщества изуродован до простонаучного языка, в котором царит произвол, а исключительно

одаренные детишки могут играть со значениями до такой степени, что потом сами не понимают, что значат их слова.

И читатель вроде меня не понимает или только думает, что понимает, потому что во все сказанное вложены особые смыслы, понятные только создателю этого произведения. Я, и вправду, не понимаю — это он о деятельности или о жизни:

«Но для того, чтобы понять это движение как формулу отражения, порождаемого деятельностью человека в обществе, нужно ввести еще один “момент”. Ведь деятельность человека активна в том смысле, что она чем-то побуждается и что-то ее направляет как бы на себя. Напомню, что действие со всеми своими способами, порождающее сознательное отображение действительности в языковой форме, разворачивается только в том случае, если в нем есть нечто движущее» (Там же).

Что очевидно, мы добрались до мотива. Причем Леонтьев пытается увязать смысл слова «мотив» с марксистскими представлениями о сознании. Очень хочется понять, как сюда вписывается движение. Пока ясно: действие разворачивается, если есть нечто движущее. Движущее что? Что движется с помощью этого движущего? Может быть, действие? Как странно. Разве действие может двигаться? Что движется при действии? Все-таки, наверное, действующее тело... Или Я.

Леонтьев обходит этот вопрос, наверное, потому, что сам запутался в последнем высказывании, и сразу переходит к движущему, похоже, тайком цитируя Бергсона:

«Обычно это движущее изображается в двух формах: первая, особо подчеркиваемая в старой психологии, — это то, что движет изнутри, потребности, влечения субъекта. Это напор изнутри. Но нас сейчас интересуют не столько сами эти внутренние состояния и их динамика, их цикличность, сколько их конкретизация» (Там же).

Любопытно, почему? Леонтьев тут же предлагает возможное объяснение, которое выглядит «логичным», как выглядят «логичными» открытия, совершаемые во сне:

«Эти внутренние состояния могут определить направленность деятельности лишь тогда, когда они определенным образом конкретизированы. Иначе же они бесполезны. Что стоит взятое абстрактно чувство жажды? Пока это чувство не наполнено представлением о предмете, оно не побуждает действие. Оно начинает побуждать действие только тогда, когда возникает представление о предмете потребности. Только когда человек видит или представляет стакан воды, жажда “бросает” его к стакану, то есть нужно, чтобы потребность была представлена в предмете, предметно» (Там же).

Да-а... Крупнейший психолог Советского союза! Как говорили герои Гоголя: вы, батенька, заврамшись!

Впрочем, он и сам это чувствует и быстро-быстро подстиляет соломки:

«Если потребность не опредмечена, то она способна только побудить направленное поисковое поведение, заставить меня метаться, обследовать ситуацию» (Там же, с. 102-103).

Понятно, что при таком понимании человека Советский Союз не мог иметь прикладной психологии. Зато имел кучу оригиналов от искусства, звавшегося науками о человеке. Просмотреть и выплеснуть, как грязную воду вместе с кучей неродившихся детей, эти две последние строчки, мог только намеренно уводивший всех пришедших в психологию детишек гамельнский крысолов.

Именно «неопредмеченные потребности», смутно ощущаемые, но вызывающие тоску и разочарование в жизни, заставляющие метаться, искать, исследовать, и есть та струя сознания, на которой должен строить свою работу прикладной психолог. Проще говоря, именно здесь и стоит дверь в мир прикладной психологии. Но на ней университетский завхоз повесил табличку с объявлением:

«Тот предмет, который движет, направляет на себя деятельность, и есть мотив деятельности. Иными словами, предмет деятельности есть ее действительный мотив» (Там же, с. 103).

Мотивы на дне стаканов, наверное, и истина там же... Советский народ спивался, а психология в Советском Союзе пристойно умирала...

Леонтьев дальше распинается о том, как стаканы и прочие предметы «представлены в сознании», но я опущу это. В разделе, посвященном мотивации, он еще раз заявит, что стоит *«на пути необходимости объективного исследования мотивов в психологии. По данным самонаблюдения, самокопания, смотрения в себя мы не можем решить проблему исследования мотивов, мотивационной сферы личности»* (Там же, с. 434).

Умел человек красиво загнать! Наверное, он бы нравился красным революционным матросам! Но в этом разделе он как-то быстро забывает о предметности мотивов и делает открытие:

«Цели могут быть мотивами» (Там же, с. 435).

И тут же пробалтывается:

«Кстати, это положение было сформулировано в самом начале XIX века» (Там же).

Кем, он не говорит, но через страничку начинает воевать от лица своих «противоестественных мотивов» с обычным человеческим пониманием счастья. Воюет строго так, как велели партия и вожди: человек должен быть общественным винтиком, должен служить общественным целям, положить жизнь на благо общества, а не наслаждаться своим личным мелким человеческим счастьем и, наверное, вообще, не быть человеком и не жить, поскольку все это можно заменить деятельностью.

Как это знакомо по советским временам массовой обработки нашего сознания! Леонтьев тут, как он сам говорил, искренний марксист. Но самое удивительное, что союзника он находит на стороне — этот тот самый вдохновитель Чернышевского, шотландский логик и этик Джон Стюарт Милль.

Что ж, вполне можно распрощаться с воинственной советской психологией, и посмотреть этот островной источник понятия «мотив».

Глава 6. Шотландско-британские мотивы. Милль и Бентам

Я опускаю все несвязные рассуждения Леонтьева о счастье, поскольку они полностью заимствованы из английского утилитаризма девятнадцатого века, созданного Иеремией Бентамом и Джоном Стюартом Миллем. К тому же Леонтьев не этик и поэтому смог использовать все эти рассуждения только для того, чтобы показать психологическому сообществу свою крутизну. По-настоящему они у него не сварились, к тому же он, кажется, не подозревал о том, что их использовали Чернышевский и Сеченов, и поэтому не смог увязать даже с традициями русской естественнонаучной психологии.

Опускаю я эти рассуждения и у Милля младшего, и его предшественника Иеремии Бентама. Их можно было бы обсуждать в рамках этики, но пока меня интересует лишь происхождение понятия «мотив».

Как я уже сказал, у меня сильнейшее подозрение, что Леонтьев заимствовал свое предметное понятие мотива именно у Милля и выдал за свою крайнюю оригинальность. Как говорится, новая шутка — хорошо забытая шутка.

Собственно говоря, для того чтобы понять Миллев мотив, мне будет достаточно его знаменитой «Системы логики», изданной в 1843 году. В ней все сказано. Поэтому я опущу вторую его знаменитую, но довольно позднюю работу 1864 года «Утилитаризм» и не буду ее разбирать. По сути она ничего не добавляет к его пониманию времен «Системы логики».

Что же касается «Системы логики», то о мотиве Милль говорит, как это и должно быть, в части, посвященной «Логике нравственных наук», то есть в его Этике. Как я это уже показывал, для большинства европейских философов вопрос о мотивах возникал в связи с понятием воли и причинности. Для Милля он лежит в рамках несколько иного сочетания философских взглядов — причинности, воли и необходимости. В связи с этим я приведу эпиграф из Кондорсе, который Милль помещает перед этим разделом. Это значимое и многозначное высказывание.

«Если человек может почти с полной уверенностью предсказывать явления, законы которых он знает; если даже и тогда, когда эти законы ему неизвестны, он может, на основании опыта, с большой вероятностью предвидеть будущие события, — то почему мы должны считать химерической попытку начертать сколько-нибудь правдоподобную картину будущих судеб человеческого рода на основании результатов истории?»

Единственным основанием веры в естественные науки служит идея о том, что как известные, так и неизвестные нам общие законы, управляющие вселенной, необходимы и постоянны... Почему принцип этот должен быть менее верным в приложении к развитию умственных и нравственных способностей человека, чем по отношению к другим процессам в природе?»

Наконец, так как самые умные люди руководятся в своем поведении единственно только мнениями, составляемыми на основании опыта... то почему станем мы запрещать опираться на это основание философу в его предположениях...» (Кондорсе. Цит. по: Милль, Система, с. 758).

Самая главная мысль этого высказывания: в восемнадцатом веке естественники еще отчетливо осознавали, что их выбор обойтись без гипотезы бога и души есть лишь иная разновидность веры. Но Милль вряд ли обратил на это внимание, потому что те же слова можно было прочесть и как обоснование возможности из психологии сделать точную науку наподобие физики. Именно это он и делал вслед за Контом.

Тем не менее, сама по себе мысль, что психология может быть точной наукой, необходима для любого прикладного психолога как основание, позволяющее ему работать. От себя же скажу: психология — единственная точная наука. Просто потому, что все остальные науки лишь используют те понятия и образы, которые психология имеет своим предметом. Она — о самых основах всех точных знаний и строгих рассуждений, она о самой природе этих знаний и рассуждений...

Итак, Милль строит свою психологию в рамках Этики, как науки о поведении, начиная со второй главы раздела:

«1. Вопрос о том, приложим ли закон причинности к человеческим действиям в том же строгом смысле, как и к другим явлениям, есть тот знаменитый спор о свободе воли, который, по меньшей мере, уже со времен Пелагия, разделяет как философов, так и теологов. Учение, решающее этот вопрос в положительном смысле, называют обыкновенно “учением о необходимости”, так как оно утверждает необходимость и неизбежность человеческих хотений и действий» (Милль, с. 761).

Милль сразу заявляет, что является сторонником именно этого учения и, объясняя его, впервые вводит понятие мотива:

«2. Правильно понятое учение о так называемой “философской необходимости” заключается просто в следующем: раз даны, во-первых, мотивы, действующие на душу известного индивидуума, а во-вторых, его характер и строение, то можно безошибочно заключить о том, как он будет действовать.

Другими словами, если мы в совершенстве знаем человека и если нам известны также все побуждения, под влиянием которых он находится, то мы можем предсказать его поведение с такою же уверенностью, с какой предсказываем всякое физическое явление» (Там же, с. 762).

Далее Милль дает обоснование свободы воли в рамках законов причинности. Ведь кажется, что если причинность жесткая, то и свободы у нас нет. Мы игрушки судьбы, необходимости или внешних стимул-реакций.

«Говоря, что все человеческие поступки происходят “по необходимости”, мы хотим указать только на то, что они непременно будут иметь место, если ничто им не помешает» (Там же, с. 764).

Это последнее: если ничто им не помешает, — и есть полнейшее обоснование нашей свободы. Ведь мы всегда можем осуществить выбор и не

делать то, к чему нас вынуждают. Даже обречь себя на смерть. Но обычное наше поведение, сказал бы я современно, будет соответствовать тому, что составляет содержание нашего сознания, иначе говоря, если ничто не подтолкнет нас к осознанному выбору, мы пройдем по тем образам действия, которые у нас есть. И в этом смысле человек культуры предсказуем и познаваем.

Человек может бездумно следовать поведенческим образцам, которые навязывает ему общество или культура, может бороться с ними, воспитывая и совершенствуя себя. Но если психолог знает, в рамках каких образцов существует человек, он будет точен, и если он знает, исходя из каких установок человек воспитывает себя, он опять же будет точен.

Далее Милль уходит в лоно взрастившей его ассоциативной психологии и становится менее внятен. Именно здесь и появляются те разговоры о целях, которые позаимствовал Леонтьев. Здесь же появляется и понятие предмета, к которому мы стремимся.

«4. Прежде чем учение о причинной обусловленности человеческих действий можно будет считать свободным от запутанности и недоразумений, присущих ему в сознании многих людей, надо отметить, помимо наличности у человека способности к самовоспитанию, еще один факт.

Когда говорят, что воля определяется мотивами, то под мотивами не всегда и не исключительно разумеют предвкушения удовольствий или страданий...

Достоверно во всяком случае, что мы постепенно, под влиянием ассоциаций, начинаем стремиться к средствам, не думая о цели: предметом нашего желания становится само действие, и мы выполняем его безотносительно к какому бы то ни было мотиву, кроме него самого» (Там же, с. 767).

Из навязчиво повторяющихся ассоциаций рождаются привычки, которые, каким-то образом, становятся целями. Очевидно, лишь одним из видов целей:

«Привычка известным образом направлять свою волю называется обыкновенно “целью”, и к причинам наших хотений, а также вытекающих из них действий, надо отнести не только склонности и отвращения, но также и такие цели. Только тогда, когда наши цели стали независимыми от тех чувств страдания и удовольствия, из которых они первоначально возникли, можно сказать про нас, что мы имеем установившийся характер» (Там же).

Все это было еще самым началом науки о поведении, поэтому оставляет ощущение недосказанности или незавершенности. Причем учение это, при всей своей зависимости от позитивизма, отнюдь не однозначно, и в нем еще надо бы разбираться и разбираться. Тем не менее, на этом учение Милля о мотивах завершается, и следует весьма неоднозначное заключительное высказывание, которое и смутило душу главного психолога Советского Союза. Очевидно, возможностями, вытекающими из старого приема ловить души в мутной воде: верую, ибо абсурдно!

«При указанных поправках и объяснениях учение о причинной зависимости наших хотений от мотивов, а наших мотивов — от представляющихся нам желательных для нас предметов (в связи с различиями в индивидуальной вос-

Глава 7. Шотландские мотивы. Милль старший

приимчивости к желаниям) можно, как я надеюсь, считать достаточно установленным для целей нашего трактата» (Там же).

Да, наверное, Миллю было достаточно этих рассуждений, чтобы продолжать строить свою социальную физику, но я, честно говоря, не понимаю последнего высказывания. И у меня нет ясности ни с тем, что такое эти предметы, ни со странными различиями в восприимчивости к желаниям... а перевертыш с зависимостью желаний от мотивов, зависящих от желательного, и вовсе смущает мой ум.

Поэтому я хочу понять, откуда Милль заимствовал свое понятие мотива. Заимствовать он его мог у тех своих предшественников, которых поминает в этом разделе. А поминает он Бекона, Юма и своего отца, Джеймса Милля.

Конечно, он мог заимствовать это понятие и у Бентама, которого очень уважал и которому следовал в своей Этике, однако Бентам использует слово «мотив» лишь походя, как само собой разумеющееся. Он говорит о мотивах, которые движут людьми, но не говорит о том, что такое мотивы. Поэтому я его опущу и сразу перейду к отцу ассоциативной психологии Джеймсу Миллю.

Глава 7. Шотландские мотивы. Милль старший

Отец Джона Стюарта Милля — **Джеймс Милль (1773–1836)** — безусловно, оказал на сына огромное влияние и мог быть тем источником, из которого Д.С. Милль взял свое понятие о мотиве.

Джеймс Милль, в сущности, был творцом ассоциативной психологии. Понятие ассоциации было создано значительно раньше и использовалось многими еще до него, но именно он построил на нем первую научную психологию. Сделал он это в 1829 году в двухтомнике «Анализ феномена человеческого ума» (*Analysis of the Phenomena of the Human Mind*).

В России эта книга до сих пор не переведена, поэтому я буду рассказывать о его понятии мотива по второму изданию 1869 года. Во втором томе просто есть глава (XXII), называющаяся **Motives**. Глава большая, но само понятие мотива выводится Миллем в начале и довольно коротко, поэтому я переведу его целиком. Но начну с самого общего обоснования, так сказать, принципа, который оправдывает для Милля старшего все. Это существование Боли и Удовольствия. С них начинается глава, посвященная мотивам:

«Мотивы.

*Приятные и болезненные состояния,
рассматриваемые как наши собственные действия.*

При созерцании болей и удовольствий как будущего, другими словами, предвкушая их или веря в их будущее существование, мы замечаем в определенных случаях — они независимы от наших действий; в других случаях замечаем, что они следуют из чего-то, что может быть сделано или осталось несделанным нами.

Так, в определенных случаях мы предвидим, что болезненное ощущение или ощущения будут даны нам, но что-то может быть сделано нами, что предохранит от этого. И то же самое: приятное ощущение или ощущения могут быть даны нам, но не раньше, чем что-то будет сделано нами, что поведет к этим ощущениям» (Mill J., Analysis, с. 256).

Из этого Милль уходит в рассуждения про ассоциации, которые, собственно говоря, и являются его главной целью. Мотивы, в сущности, появляются лишь «как всем понятное» научное словечко, которое усилит теорию ассоциаций.

«Когда идея удовольствия ассоциируется с нашим действием как его причина, это рассматривается как последствие определенного нашего действия, и как неспособное на другое существование; или когда причина удовольствия рассматривается как последствие нашего действия и как неспособное на иное существование, производится определенное состояние ума, которое, поскольку оно есть “тенденция к действию”, верно называют мотивом (a peculiar state of mind is generated which, as it is a tendency to action, is properly denominated Motive)» (Там же, с. 258).

Дальше Милль сложно рассуждает о том, когда верно применять слово мотив, когда нет, и о том, что не всякий мотив производит действие, поскольку может быть погашен встречным мотивом. Также выводит классы мотивов, выводя их из того, к чему ведут действия: обжорство, секс, пьянство...

Как видите, никакой попытки понять, что такое мотив сам по себе, Милль в действительности не делает, для него все уже решено и работает с механической неизбежностью, как сама механическая ассоциативная психология.

Правда, редактор этого издания, а это, судя по всему, друг его сына и убийца ассоциативной психологии Александр Бэн, приписал к этой небольшой главке большое пояснение, в котором сделал любопытную попытку объяснить, почему в слове мотив звучит понятие о движении. Сначала он все так же механично повторяет мысли об ассоциации удовольствия и боли с действиями, а потом вдруг вопрошает:

«A motive is something which moves — moves to what? To action”

Мотив это нечто, что движет — движет к чему? К действию». (Там же, с. 262).

Гора родила мышь. Это объяснение напоминает мне так называемые «народные этимологии», когда люди, особо о собственном языке не задумывавшиеся, пытаются объяснить его странности, как бог на душу положит, а их бойкий ум сумеет подивить окружающих. К примеру, в позапрошлом веке родилось мнение, что vareжки занесли на Русь варяги, поэтому правильно их надо звать варяжки...

Нигде в слове «мотив» нет намека на то, что он «ведет к движению». Есть лишь четкое этимологическое содержание: это слово означает движение, значит, оно само относится к чему-то движущемуся. Что движется в мотивах?

Глава 8. Шотландские мотивы. Юм

Шотландцы, как и многие другие горцы, любили сами себя и своих мыслителей, поэтому они старались следовать собственным школам философии. Милль младший следует Миллю старшему, а Милль старший Дэвиду Юму.

Дэвид Юм (1711–1776) был из юных гениев. «Трактат о человеческой природе», сопоставимый с Локковским «Опыт о природе человеческого разума», он написал в возрасте от 23 до 25 лет и долго недоумевал, почему публика не заметила этого сочинения. В нем он, кстати, во многом не соглашается с Локком, в то же время следуя ему и пользуясь разработанным им языком. Но Юм болел естествознанием, будучи в поездках во Францию, знакомился с французскими просветителями и гордился дружбой с ними. А этическим своим работам осознанно пытался придать значимость, делая их похожими на книги о физике...

Издававший Юма в России А.Ф. Грязнов отметил эту его черту:

«Подобно некоторым другим британским философам XVIII века, Юм сравнивает и сближает принципы своей “моральной философии” (и прежде всего принцип ассоциации) с ньютоновским законом гравитации. При этом для шотландского философа характерно подчеркивание непознаваемости причин действия как принципов “человеческой природы”, так и естественного притяжения в телесном мире.

Вообще аналогия с механическими закономерностями как таковыми должна была, по его замыслу, поднять значимость описываемых им закономерностей “духовного мира” до эталонного уровня ньютоновского естествознания» (Грязнов, с. 10).

Именно Юм был источником мечты Джона Стюарта Милля о том, что можно создать своего рода социальную физику или химию, в которой связи между причинами поступков и поступками будут настолько жестко определены, что психология станет точной наукой в общем ряду естествознания.

При этом его собственные понятия о причинности поступков действительно были односторонни, хотя и не лишены здравого смысла.

Юм признавал жесткую причинность, но не считал возможным вывести ее рассуждениями или логически. То, что причинность в наших поступках есть, показывает нам лишь жизненный опыт. Это рассуждение он производит в третьей части первой книги «Трактата о человеческой природе», начиная с главы 3, «Почему причина всегда необходима».

«Начнем с первого вопроса — о необходимости причины. В философии общепризнано положение: все, что начинает существовать, должно иметь причину существования.

Обычно этим положением пользуются во всех рассуждениях как само собой разумеющимся, не доказывая его и не требуя его доказательств» (Юм, 1-3,3).

Далее он приводит все возможные, на его взгляд, доказательства, опровергает их и заявляет в конце главы:

«Но если к мнению о необходимости причины для каждого нового порождения мы приходим не с помощью знаний или научного доказательства, то это мнение необходимо должно иметь своим источником наблюдение и опыт» (Там же).

Иными словами, доказательства и не требуются...

От общей природы причинности, как обязательной части естественной природы, Юм переходит к причинности человеческих поступков, начиная с самой возможности понимания причинных связей. В пятой главе той же третьей части он начинает, а далее разворачивает разговор об ассоциациях, которые и определяют причинность наших поступков.

«В состав всех наших аргументов относительно причин и действий входят как впечатление памяти или чувств, так и идея того существования, которое порождает объект впечатления или же порождается им. Таким образом, мы должны объяснить в данном случае три вещи: во-первых, первичное впечатление, во-вторых, переход к идее связанной с ним причины или действия, в-третьих, природу и качества этой идеи» (Там же, 1-3,5).

Далее он звучит все более узнаваемо, благодаря Миллям:

«...когда мы размышляем о причинах или действиях, воспринимается или припоминается только один объект, а другой мы добавляем в соответствии со своим прошлым опытом».

«Таким образом, развивая [свою мысль], мы незаметно для себя открыли новое отношение между причиной и действием как раз тогда, когда всего меньше ожидали этого и были полностью поглощены другим предметом. Это отношение — постоянное соединение причины и действия» (Там же, 1-3,6).

Так рождается «идея необходимой связи», довольно быстро переходящая в ассоциацию идей:

«...я все же утверждаю, что единственными общими принципами, ассоциирующими идеи, являются сходство, смежность и причинность» (Там же).

Отсюда остается один шаг до привычек как повторяющихся и потому усиливающих ассоциаций. А от привычек Юм «естественно» переходит к «природе и действию воспитания».

«Все мнения и понятия о вещах, к которым мы привыкли с детства, пускают корни так глубоко, что весь наш разум и опыт не в силах искоренить их, причем влияние этой привычки не только приближается к влиянию постоянной и нераздельной связи причин и действий, но во многих случаях и превосходит его» (Там же, 1-3,9).

Каким-то образом, которого я не понимаю, это все было связано для Юма с верой и ею и объяснялось. Но я не хочу разбираться в тонкостях его рано развившегося ума. Мне важно найти, как он понимал мотивы. Поэтому я опушу все о связи веры со страданием и удовольствием, положенными в основание понятия о мотиве Джеймсом Миллем, и сразу перепрыгну во вторую книгу Трактата, туда, где начинаются «картезианские места» Дэвида Юма, посвященные воле и аффектам. Это третья часть Второй книги.

Глава третья прямо называется «О мотивах, влияющих на волю». Но разговор о мотивах в действительности начинается еще в первой главе третьей части — «О свободе и необходимости». Начинается весьма по-бытовому, без малейшей попытки определить, что такое мотив. Сказав, что переходит к объяснению прямых аффектов, то есть впечатлений, вызываемых непосредственно добром или злом, страданием или удовольствием, Юм начинает плясать от физической печки:

«Общепризнано, что действия внешних тел необходимы и что в передаче их движения, в их притяжении и взаимном сцеплении нет ни малейших следов безразличия, или свободы. Всякий объект принуждается абсолютным фатумом к движению определенной степени и определенного направления и так же мало может отойти от той точно обозначенной линии, по которой он движется, как и превратиться в ангела, духа или какую-либо высшую субстанцию. Поэтому действия материи следует рассматривать, как примеры необходимых действий; и все, что в данном отношении однородно с материей, должно быть также признано необходимым.»

«Чтобы узнать, обстоит ли так дело и с действиями духа, мы начнем с исследования материи и рассмотрим, на чем основываются наши идеи о необходимости ее действий...» (Там же, 2-3,1).

Далее Юм говорит о «соединении» объектов и о том, как делается «заключение» нашим духом, то есть «наблюдение связи». Вот это и порождает первое упоминание мотива:

«Но чтобы придать своему рассуждению большую силу, я рассмотрю указанные частности отдельно и сначала докажу на основании опыта, что наши действия имеют постоянную связь с мотивами, темпераментом и обстоятельствами...» (Там же).

Джеймс Милль будет развивать эту мысль о связи мотивов с темпераментом. Но что такое эти мотивы? Юм не отвечает прямо, но предлагает хитроумно-наивную аналогию, в сущности, сводящую на нет все его предшествовавшие потуги выглядеть Ньютоном духа:

«Мы, несомненно, должны признать, что сцепление частиц материи происходит от естественных и необходимых принципов, на какие бы затруднения мы ни наталкивались при выяснении последних.»

«И на том же основании мы должны допустить, что человеческое общество зиждется на сходных принципах; в последнем случае наше основание даже более веско, чем в первом: ведь мы не только наблюдаем, что люди всегда ищут общества, но можем даже объяснить принципы, на которых зиждется эта всеобщая склонность.»

«Разве более достоверно, что два гладких куска мрамора крепко соединятся, чем то, что два молодых дикаря разного пола будут совокупляться?» (Там же).

Видимо, очень хотелось доказать, что в психологии все так же, как и в физике — все-таки великое открытие! Должно было прославить.

Вот насчет дикарей не так понятно, но если вспомнить, что английская леди той поры должна была спать отдельно и принимать джентльмена в постели одетой, и лучше, делая вид, что вообще не заметила, как он с ней

совокупился... Думаю, так рождалось подозрение, что для настоящего англичанина вовсе не обязательно то, что обязательно для дикарей. Какое же это тогда доказательство обязательности связей?

Впрочем, бог с ним, с этим странным примером, он нужен Юму, только чтобы перейти к естественнонаучности мотивов:

«Теперь мы должны показать, что поскольку связи между мотивами и поступками свойственно то же постоянство, как и связи между какими-либо операциями природы, то и влияние ее на ум таково же, то есть что она принуждает нас заключать от существования одних к существованию других» (Там же).

Из этого рассуждения рождается для Юма понятие «моральной очевидности». В его рамках мотивы становятся некими механическими побудителями к движению, как это можно понять. Но это не говорится прямо, потому что собственно мотивы его не интересуют.

Юм, безусловно, был вдохновителем и Миллей и других английских философов, но, похоже, понятие мотива было им самим заимствовано готовым у кого-то из предшественников. У кого?

Глава 9. Островные мотивы. Локк

Начинал **Джон Локк (1632–1704)** как естественник, помогал физику Бойлю в его опытах, потом ударился в политику, долгие десятилетия был компаньоном лорда Эшли, вместе с которым вынужден был сбежать в Голландию, где и написал к 1690 году главный труд своей жизни **«Опыт о человеческом разуме»**. В Голландию в семнадцатом веке бежали все творцы нового мировоззрения — Спиноза, Декарт...

С Декартом и спорит Локк в своем «Опыте». Чуткие на всяческие политические драки марксисты тут же сделали из этого орудие в своей революционной борьбе, объявив Локка материалистом, который сражался против реакции и картезианского идеализма:

«Локк материалист; он признавал объективное существование вещей и считал, что идеи и представления являются результатом воздействия этих вещей на наши органы чувств. В своем главном произведении “Опыт о человеческом разуме” Локк подверг резкой критике учение Декарта о “врожденных идеях”...» (Краткий философский словарь, 1954).

От этого всего один шаг до избранного марксистом Леонтьевым понятия о мотиве как внешнем предмете, который вызывает в нас желание действовать. Что же касается политической судьбы Локка, то надо признать, он стал одним из вдохновителей французского Просвещения, и его чрезвычайно уважали все просветители, что и передалось по наследству марксистам и революционерам всех мастей. Как-то уж очень удачно он вписывался в то, чтобы перевернуть мировоззрение человечества и лишить его бога и души...

Как бы там ни было, но философские понятия, заявленные Локком, должны были быть заявлены, и пройти мимо них современному человеку невозможно. Я думаю, именно Локк был и творцом этого всем приевшегося выражения «мотив». Во всяком случае, ни у Бэкона, ни у Гоббса я этого понятия найти не смог. Возможно, они его еще не употребляли. Собственно говоря, и сам Локк еще не употребляет, но разрабатывает и обосновывает.

Делает он это именно в «Опыте о человеческом разумении». В нем вообще очень много того, что разрабатывается всей британско-шотландской школой философии и психологии. Глава двадцатая Второй книги посвящена «Модусам страдания и удовольствия», в ней и в последующей двадцать первой главе постоянно говорится о счастье и его мере как движителях поведения. В частности, в параграфе 52 главы 21, где речь идет «о свободе разумных существ», сказано:

«Ведь склонность и стремление их природы к счастью являются для них обязанностью и побуждением заботиться о том, чтобы не совершить ошибки и не проглядеть его, и таким образом она необходимо принуждает их к осторожности, вдумчивости и осмотрительности в направлении своих отдельных действий как средств к достижению высшего блага» (Локк, 2, 21-52).

Это узнаваемая суть моральных философий всей островной школы. Разговор о выборе образа жизни, как морали, основанной на борьбе за счастье, продолжается до 72 параграфа (в русском издании это семидесятый параграф), а в семьдесят третьем (71 по русскому изданию) Локк переходит к уже знакомым по его последователям рассуждениям о свободе воли и необходимости. И здесь впервые появляется понятие движения в отношении человека.

Как это переведено у нас:

«Свобода есть сила действовать или не действовать сообразно указанию ума. Сила направлять способности к действию в одних случаях на то, чтобы вызвать движение, а в других — покой, есть то, что мы называем волей» (Локк, 2, 21-71).

Способность к движению в оригинале передана словами «*faculties to motion*». Далее весь параграф посвящен этой способности двигать или не двигать телом, которая определяется моей волей.

Предпоследний параграф посвящен, в сущности, тому определению мотива, который использовали Милль и Леонтьев, хотя само слово «мотив» и не звучит:

«В таких случаях движущаяся или мыслящая субстанция получает исключительно извне впечатление, которым она приводится в действие, и, таким образом, действует только благодаря своей способности получать такое впечатление от некоторых внешних действующих сил» (Там же).

Но Локк отчетливо называет эту способность «пассивной силой», говоря, что тут с нами играет шутки язык, который может говорить о многих вещах, как об «активных действиях», в то время как они таковыми не являются, как к примеру, ощущение солнечного тепла.

«Но когда я обращаю свои глаза в другую сторону или отодвигаю свое тело от солнечных лучей, я в собственном смысле активен, потому что привожу себя в это движение по своему собственному выбору, своей внутренней силой. Такое действие есть результат активной силы» (Там же).

Все эти рассуждения нужны Локку, чтобы в последнем 75 (73) параграфе дать некую «классификацию» самых «первоначальных идей, из которых произошли и составлены все остальные». Это можно посчитать Сердцем всей философии Локка!

Это место почти верно переведено нашими переводчиками, поэтому я приведу сразу русский перевод, и поскольку оно важно, я приведу это построение Локка целиком.

«Таким образом, в кратком очерке я дал обзор наших первоначальных идей, из которых произошли и составлены все остальные. Если бы я захотел рассмотреть этот вопрос как философ, изучить, от каких причин зависят наши идеи и из чего они состоят, то я уверен, что все они могли бы быть сведены к указанным немногим первичным и первоначальным идеям, а именно к Протяженности, Плотности, Подвижности, или способности быть приведенным в движение; эти идеи мы получаем от тела через чувства.

*И далее к Восприимчивости или способности восприятия либо мышления, и к Двигательной силе (**Motivity**) или способности приводить в движение, что путем рефлексии получаем из наших умов»* (Там же).

А далее Локк добавляет **«прошу позволения пользоваться этими новыми словами»**. В оригинале: «...use of these two new words». Он говорит именно о двух новых словах, то есть о восприимчивости и способности приводить в движение, *Motivity*. Это значит, он считал себя их создателем.

Вот, очевидно, и ответ, кто создал понятие «мотив». На этом можно было бы и успокоиться, посчитав, что мотив — это то, что способно приводить нас в движение. И движется тут... кстати, а что движется? Опять же тело? Или я? Моя мысль? Или же идеи, о которых Локк и говорит?

Вопрос совсем не праздный, потому что на этом описании самых простейших кирпичиков нашего сознания можно было бы и закончить эту главу, но Локка вдруг почему-то уносит в какие-то странные рассуждения о «minute bodies», «крошечных телах», движениях частиц и «неподдающихся восприятию частей»...

Я приведу эту концовку главы, потому что в ней, что очевидно, скрыт либо ответ, либо загадка, над которой и бьется Локк.

«Если мы присоединим к указанным идеям Существование, Продолжительность и Количество, которые относятся и к первому и ко второму виду, быть может, мы получим все первоначальные идеи, от которых зависят все остальные.

Ибо, мне думается, ими можно было бы объяснить природу цветов, звуков, вкусов, запахов и всех других наших идей, если бы только мы обладали способностями, достаточно острыми для того, чтобы заметить различным образом модифицированные протяжения и движения тех мельчайших тел, которые производят в нас эти различные ощущения...» (Там же).

И так далее...

О чем это он?

Мой современный ум говорит: о молекулах и атомах? А были ли они известны Локку к 1690 году? И что могло ему быть известным, если вспомнить, что в этом сочинении он сражается с Декартом?

Глава 10. Континентальные мотивы. Декарт

Философия была в Европе и до **Рене Декарта (1596–1650)**, но это была «философия отцов», философия официальная и разрешенная Церковью. Попытки думать по-своему кончались, как у Бруно или Галилея, — либо костром, либо отречением. Декарт воспользовался тем, что Европа после Реформации перестала быть единой, что в ней появились места, где можно спрятаться от длинных рук католической Церкви, сбежал в Голландию и писал так, как хотелось молодым. В итоге родилась пусть не слишком удачная, зато своя «философия детей». С ней они перевернули, если не мир, то Европу, ибо она была революционна...

В наследии Декарта есть одна работа, над которой издевались чуть не все современные психологи, однако эта работа заложила основы всей современной психофизиологии, как его «Рассуждение о методе» заложило основания современной науки. Работа эта называлась «Страсти души» и была последней из работ Декарта, она издана в 1649 году. Вот какие любопытные примечания сделал русский издатель этого произведения, бывшего, в сущности, психологией Декарта:

«Замысел его возник в ходе переписки с принцессой Елизаветой. Однако если эта переписка была сосредоточена вокруг этических вопросов, то в своем письме от 14 августа 1649 года Декарт подчеркнул, что его намерение состоит в том, чтобы “объяснять страсти не как оратор и даже не как моральный философ, но только как физик”» (Декарт, Страсти, прим., с. 638).

Мы опять имеем удивительное сочетание психологии, этики и физики... Все то, чем и болела европейская мысль Нового времени. И страсти — *passion*, от которых один шаг до аффектов, столь занимавших всех упомянутых мною европейских философов. Кстати, Декарт поминает и их под названием «других состояний».

Работа эта действительно стала образцовой для всех моральных философий, возникавших в семнадцатом, восемнадцатом и частично девятнадцатом веках. С ней спорили, ей подражали, ее классификации меняли на свои... Очень много издевались над тем, что Декарт помещает душу в шишковидную железу и пытается объяснить душевные движения как движения крошечных духов, которые живут в этой самой железе... Но все были очарованы тем, насколько механично, а значит, подобно физике удалось выстроить психологию!

Не буду углубляться в декартово понятие о воле, но перескажу, как он видел «устройство души». Думаю, психологи должны знать, с чего начиналась их наука. Рассказ этот начинается с 30-31 параграфов.

В параграфе 30 он обосновывает, условно говоря, право на математическое понимание души. Доводы его, мягко сказать, диковаты, но для него абсолютны: он же не может помыслить ничего иного!

«30. ...

Это очевидно из того, что никоим образом нельзя помыслить половину или треть души или представить себе занимаемое ею пространство, и также из того, что душа не становится меньше, если отделить какую-нибудь часть тела, но она покидает его, если уничтожить связь между его органами».

Народ почему-то вполне мог представить себе занимаемое душою пространство, прямо называя не только его, но и те ощущения, которые происходят с душой, когда она болит или радуется... Но такое понимание разрушило бы исходную логико-математическую посылку, что душа — сущность простая, значит, неразложимая и потому неуничтожимая, то есть бессмертная. Иными словами, это болезненное наследие христианской схоластики, когда вещь предпочитали не изучать через наблюдение, а доказывать и обосновывать логикой.

Далее, начиная с параграфа 31, излагается собственно психология.

«31. В мозгу имеется небольшая железа, в которой душа более, чем в прочих частях тела, осуществляет свою деятельность.

Надо также иметь в виду, что, хотя душа соединена со всем телом, тем не менее в нем есть такая часть, в которой ее деятельность проявляется более, чем во всех прочих. Обычно предполагается, что эта часть — мозг, а может быть, и сердце: мозг — потому, что с ним связаны органы чувств, сердце — потому, что как бы в нем чувствуются страсти.

Но, тщательно исследовав это, я считаю, что часть тела, в которой душа непосредственно осуществляет свои функции, ни в коем случае не сердце и не весь мозг, а только часть его, расположенная глубже всех; это очень маленькая железа, находящаяся в мозговом веществе, в центре мозга, и так расположенная над проходом, через который духи передних его полостей сообщаются с духами задней, что малейшие движения этих духов и, обратно, малейшие изменения в движении духов могут значительно изменить движения этой железы».

Что это за «маленькие духи», подобные «крошечным частичкам» Локка, я не понимаю. Да это и не важно. Важно, что они движутся по нервным путям и именно они вызывают страсти души. Происходит это так:

«43. ...

Когда хотят представить себе нечто, чего никогда не видели, это желание может вызвать такое движение железы, какое необходимо для направления духов в те поры мозга, которые должны открыться, чтобы данная вещь могла быть представлена. Когда хотят в течение некоторого времени сосредоточить свое внимание на рассмотрении того же предмета, такое желание все это время удерживает железу наклоненной в одну сторону. Когда, наконец, хотят идти или передвигать свое тело как-нибудь иначе, то вследствие такого желания железа направляет духи к мышцам, служащим для этого действия».

Когда нужно вызвать другое мышечное действие, железа наклоняется в другую сторону, и духи движутся к другим мышцам. Иногда появляются

сложности, которые не позволяют вызвать соответствующие движения, поскольку есть помехи или связь с определенными мыслями.

Я не хочу пересказывать все трудности управления страстями, главное для меня сейчас заключено вот в этой механической картине внутренних движений, которые и рождают соответствующие душевные состояния:

«46. ...

Особое обстоятельство, мешающее душе быстро изменять или сдерживать страсти, дало мне основание указать в данном выше определении страстей, что они не только вызываются, но и усиливаются особыми движениями духов».

Декарт не использует слово *motif*. Он говорит только о *mouvement* и *action* — движении и действии. Но это его движение настоящее, и есть то, что движется:

«47. ...

Можно различать два вида движений, вызванных в железе духами. Одни движения представляют душе предметы, влияющие на чувства, или впечатления, находящиеся в мозгу, и не оказывают на волю никакого воздействия. Другие движения воздействуют на нее; это как раз те движения, которые вызывают страсти или сопровождают их движения тела».

Это есть полноценное определение мотива, как побуждения к действию души и телесным движениям, без использования самого слова «мотив».

Вот его, думается мне, и передал словом *Motivity* Локк, а крошечных духов Декарта сделал недоступными восприятию частицами...

Я не могу быть уверен в своих выводах однозначно, все-таки я слишком плохо знаю европейскую философию, и очень даже возможно, упускаю какие-то звенья. Однако, Декарт определенно задал движение ума всем последующим мыслителям, задал именно как необходимость осмыслить высказанное им. И Локк спорит именно с Декартом. Так что, думается мне, даже если формально есть еще какие-то упущенные мною части этой головоломки, по существу, понятие мотива рождалось именно из этого странного и большого механикой представления об устройстве человеческой души, посетившего однажды воспаленный ум французского гения...

Мотив — это движение духов, которые живут в нашем мозге и передают движения от души к частям тела, вызывая телесные движения и определенные поступки, соответствующие телесным страстям.

Полная абсурдность этого фантастического представления была неприемлема даже для революционеров-просветителей, уж очень не соответствовала действительности. Однако, само понятие движения, вызывающего поступки, уже вошло в философскую культуру, легшую в основу Просвещения, и вот «мотив» сохраняется, а содержание его подменяется на более приемлемое с точки зрения современной картины естествознания.

Поскольку естествознание так и не смогло создать полноценного описания действительной души, то традиция подмены содержания понятия мотива развивалась, заполняя его новыми предположениями каждый раз,

когда естествознание отказывалось от предыдущих своих достижений и выдвигало новые гипотезы. Именно так понятие «мотив» и превратилось в свалку самых бессмысленных домыслов...

Думаю, что самым разумным было бы оказаться от картезианского понимания мотива как движения, и перейти к кантовскому пониманию его как побуждения к действию. И стоило бы вообще выкинуть латинское звучание и заменить его на русское. Даже если оно будет состоять из двух слов, они, по крайней мере, будут точно передавать то, что мы хотим сказать.

Благие пожелания. Для того чтобы они стали возможны, надо знать, что хочешь сказать. А психологи хотят знать, как использовать простонаучное модное словечко мотив. И всегда будут хотеть именно этого, потому что перед ними стоит задача стать членами сообщества, а не найти истину.

Лишь поставив перед собой прикладную задачу помогать человеку в решении его и именно его задач, независимо от того, какие задачи он хочет решить, мы в состоянии увидеть помехи в достижении поставленных им целей, и тогда становится возможным найти все, что составляет как его движение к цели, так и то, что этой цели достичь не позволяет. Вот тогда станет ясно, что никакого просто «движения» не существует, а существуют желания и то, что их побуждает...

Но это уже разговор из следующей книги, прямо посвященной прикладной психологии.

Глава 2. Кавелин о свободе воли

Мне не хочется вдаваться в философские сложности вопроса о свободе воли. Как я уже показал, для меня он несколько надуманный, я даже допускаю, что он достался современной философии и психологии в наследство от схоластики. И они занимаются им по привычке.

Но чтобы сделать ясной самую его суть, я перескажу то, что думал об этом Кавелин в «Задачах этики». В его рассуждениях содержится не только то, что думали об этом философы, но и описание причин многих сложностей современной психологии. Ведь именно на этом схоластическом вопросе академическая психология разошлась с действительностью, а значит, потеряла возможность быть прикладной.

Кавелин переходит к рассуждению о свободе воли от определения идеализма и предмета собственно психологии. Собственно психология — это наука о душе. И начинается она там, где в общем мареве «психических явлений» лежит граница между тем, что относится к телу, и тем, что является чисто идеальным, то есть относящимся только к сознанию, и может быть названо «высшей способностью души». Душа живет воплощенной в тело, но она не прямо взаимодействует с ним, а через созданную ею искусственную среду, состоящую из образов, то есть идей. Идеальность этой среды означает всего лишь то, что она состоит из образов и того «вещества», из которого эти образы творятся.

Я приведу исходные мысли Кавелина:

«Итак, корень идеализма и идеалов совершенства лежит в высшей способности. Мы не можем от них отделаться как от своей тени, каким бы путем ни шли, куда бы ни обратились, потому что прирожденное человеку свойство действует и тогда, когда мы не замечаем этого действия и наша личная воля в нем вовсе не участвует.

Мы привыкли называть это свойство или способность души сознанием, хотя такое название весьма неточно и неправильно передает характер того факта, который им означает. В том смысле, какой мы ему обыкновенно придаем, сознание есть только акт мышления; мы же имеем в виду ту психическую способность, вследствие которой душевная жизнь и деятельность удваивается и является усугубленной, совершается как бы в двух ярусах» (Кавелин, Задачи этики, с. 916).

Пока не буду разбирать, как Кавелин понимает «нашу личную волю». Но обращаю внимание на то, что он говорит о сознании. Он отчетливо заявляет: понятие сознания у нас двойное. Мы можем говорить о сознании как о некоем способе обретения знания. К примеру, осознавая себя, мы обретаем некое знание себя. Потеряв сознание, мы теряем и способность знать, что происходит. Вот об этом и говорит Кавелин как об «акте мышления».

Но выражение «содержание сознания», придуманное психоаналитиками, раскрыло нам другую сторону сознания: оно способно иметь, а значит, создавать, обретать и хранить содержания. Как оно их создает? Удваивая мир

с помощью творения его образа и образов всех доступных нашему восприятию вещей и явлений. Чтобы мыслить, мы сначала должны создать орудия мышления — и это разные уровни сознания: творение и использование образов.

Один из уровней этой деятельности осознается нами, а другой — нет, или не всегда осознается. Поэтому Кавелин, вслед за Лейбницем принимая понятие о бессознательной деятельности, говорит:

«Правильнее было бы различать отправление той и другой не названиями: сознательные и бессознательные, а названиями: непосредственные и вторичные, так как последние могут быть бессознательными подобно первым» (Там же).

Это важное для прикладника замечание: деятельность сознания можно, вслед за психоанализом, считать частично недоступной нам и называть бессознательной. Это вызовет сопротивление у тех, кто, подобно Локку, будет исходить из знаковых значений слов, а не из действительности: если нечто названо сознательным, оно всегда должно осознаваться — значит, бессознательное невозможно.

Но бессознательное есть, мы это знаем из опыта. Следовательно, вопрос не логический — мы просто не описали действительность с нужной полнотой. А еще точнее: мы либо дали одно и то же имя двум разным вещам, либо не поняли природы того, что называли этим именем. Приравняв сознание к сознанию, мы сузили явление. Но если мы будем наблюдательны, то увидим, что его надо разделить на два очень разных проявления: мы говорим про сознание, когда что-то осознаем. И мы говорим про сознание, которое содержит в себе образы. Способность сознать не может содержать в себе образы, чтобы содержать, нужно быть либо емкостью, либо средой.

Вот это допущение и должен сделать психолог, вглядываясь в сознание. Сознание — это некая среда, у которой есть несколько способностей. Одна из них — создавать из себя образы, как вода создает из себя водовороты и струи. Другая — с помощью этих образов отражать мир, то есть повторять его, выполненным в своем веществе, в сущности, в веществе сознания. Третья — хранить эти образы и предоставлять для использования. Эту способность сознания можно назвать памятью. И четвертая способность — сознать то, что воспринято. Иначе говоря, превращать уже имеющиеся образы в особый вид знания, гораздо более яркого и действенного, чем знание после обычного восприятия.

Русский народ, и в частности, мазыки, называли само вещество сознания и ту среду, которой оно является, парой. Пара — это пароподобное вещество, родственное душе. Иногда так и говорили, что у животных души нет, одна только пара... Этнографы встречали подобные выражения многократно, и я не буду на нем задерживаться, поскольку подробно рассказывал раньше.

Но для прикладника принципиально важно видеть устройство той среды, с которой ему придется работать. И устройство это многоярусно, говоря словами Кавелина. Без понимания этого не понять нашего поведения.

«Изложенным выше взглядом на психическую организацию вообще и человека в особенности проливается яркий свет на свойства нравственной деятель-

ности и на так называемую свободу воли. Та и другая, как известно, представляют ряд загадочных явлений, ставящих в тупик психологов и остающихся до сих пор необъясненными, несмотря на все усилия.

«Что такое нравственная деятельность?» (Там же, с. 916-917).

С этого вопроса начинается в действительности любая прикладная психология, потому что до его появления психолог просто не нужен совершающему поступок человеку. Человек, совершающий свои поступки осознанно, отдавая себе отчет в том, что делает, что достигнет и как на это отзовутся другие люди, может прийти к двум итогам. Он либо и получит то, что хотел, либо вдруг мир станет для него неожиданным и расколется его уверенность в себе.

Пока человек знает себя и мир до такой степени, что всегда получает от мира то, что предполагал получить, у него нет нужды в психологе, он — здоровый и цельный человек.

Вот если мир начал отвечать на его действия не так, как он ожидает, у него появляется сомнение в себе, и тогда он начинает искать средство вернуть свою уверенность, а с ней и цельность. Тут он обратится к тем, кто может помочь: мудрым людям, психологам, психотерапевтам и психиатрам.

Нравственная деятельность — это деятельность, в которой мы не только исполняем то, что задумали, но еще и оцениваем себя, глядя на себя глазами общества. Именно эта исходная двойственность нравственной деятельности и дает внутренний раскол, который может исцелить психолог. Но сначала он сам должен понять: подавляющее большинство наших поступков — нравственны просто потому, что мы живем в обществе. А это значит, за все эти поступки мы можем быть наказаны и осознаем это, когда собираемся их совершить.

«Теологи, моралисты и юристы одинаково признают условиями нравственной деятельности нормальное состояние и зрелость ума и свободу воли.

Поступок подлежит нравственному вменению, если совершен умышленно, или только необдуманно. Действие, совершенное без участия сознания или под давлением непреодолимой силы, устраняющей участие свободной воли, не признается нравственно вменяемым» (Там же, с. 917).

Кавелин был одним из крупнейших наших юристов. Поэтому он дальше показывает, как непросто определить степень умышленности поступков, а значит, и их вменяемости в вину человеку. Но психолог может спокойно отбросить эти сложности, потому что юрист и моралист находятся снаружи, а психолог всегда вместе с тем, кто мучается от нравственной боли. Врать психологу бессмысленно, потому что он просто не сможет помочь.

Поэтому психолог всегда может задать простой вопрос: а сам-то ты считаешь себя виноватым? И будет работать, исходя из того, что чувствует нуждающийся в его помощи в глубине своей души. Задача психолога — помочь человеку обрести душевный покой, и поэтому ему нет дела до того, кто этот человек: узник или победитель. Душа болит и в тюрьме и на троне...

Кавелин говорит о том, что благодаря сложной судебной практике «*доверие к непогрешимости основных учений нравственного вменения стало колебаться*».

В то же время, возникло, вследствие точных научных исследований и критики, сомнение, да существует ли воля вообще, как особая, самостоятельная сила или орган психической деятельности?» (Там же).

Сомнение в наличии свободной воли родилось как раз из недоверия к «длинным рядам блистательных и неопровержимых доводов», которыми она доказывалась, и ее невозможность доказана таким же «длинным рядом блистательных неопровержимых доводов». В сущности, это было философское, даже метафизическое сомнение в том, свободен ли человек, или же он раб необходимости и внешних обстоятельств.

«С нашей точки зрения, свобода воли не есть иллюзия, а действительное явление; только наука до сих пор смотрела на него не так, как следует, и потому не могла его объяснить».

Все, что существует и происходит в мире, есть необходимый результат известных условий. Еще нигде и никогда не открыто факта, который бы существовал без сочетания условий, при которых он может появиться и быть» (Там же, с. 918-919).

«В природе и в социальной жизни явления совершаются с роковой неизбежностью только при действии известных условий...»

С условиями, производящими явление, часто смешиваются поводы; но и это тоже грубая логическая ошибка. Повод есть только обстоятельство, благоприятствующее явлению, а не условие его необходимости. Простуда, сырой воздух благоприятствуют чахотке, сильное душевное потрясение — разрыву сердца; но не они, с роковой необходимостью, производят расположение к органическим повреждениям, которые оканчиваются смертью.

«Что мы сказали о необходимости, то вполне применяется и к свободе воли. Она точно так же не есть нечто само по себе безусловное и безотносительное, а есть явление возможное и необходимое только при известных условиях. Нет их налицо — нет и свободной воли» (Там же, с. 920).

Иначе говоря, при определенных условиях человек не волен в своих поступках. Мысль простая и очевидная. Кавелин всего лишь сделал ее философское обоснование, объяснил, как она возможна. Я намеренно показал ход его мыслей, чтобы стало ясно, что такое обоснование существует и длинный ряд рассуждений, выводящих его, проделан. Но психолог вполне может исходить из здравого смысла, а точнее, из жизненного опыта, который показывает: довольно часто обстоятельства складываются так, что человек не волен в себе и совершает поступки, которые не совершил бы, будь он свободен.

Это очевидно. И вопросы не в этом. Для прикладника они начинаются дальше: существуют ли такие случаи, когда человек совершает поступки, не понимая, почему он их совершил?

Почему прикладная психология начинается с этого вопроса? Да потому, что пока человек делает то, что хочет, и получает то, на что рассчиты-

вал, он целен и не нуждается в психологе. И до тех пор, пока он делает не то, что хочет, но понимает, как его заставили это сделать, как вынудили, несмотря на отсутствие его желания, он тоже здоров, и мир не является для него неведомым.

Нужда в психологе появляется лишь тогда, когда человек перестает понимать либо себя, либо то, как он оказался в неведом мире... Вот тут нужен тот, кто поможет, тот, кто знает, что может действовать в нас помимо нас, и тот, кто знает, как ходить по неведомым мирам. А кто может быть таким проводником и советником? Психолог, душевед, потому что познание себя есть знание своей души, и по мирам путешествует она же...

Правда, есть еще тот, кто путешествует в душе, как в некоем теле, по этим мирам. Тот, кто вселяется с ее помощью в эти тела, и кто с удивлением обнаруживает, что он не хозяин собственным поступкам, и его тело ведет себя странно и незнакомо...

«Свободная воля не есть особая сила, или особый самостоятельный фактор; она только особого рода отправление или функция одного и того же деятеля, которую мы выделяем из других и обозначаем особым названием...» (Там же, с. 922).

Свобода воли не есть сила, это всего лишь нечто, что принадлежит тому деятелю, который вдруг обнаруживает, что его путешествие на Землю в этом теле идет не так, как он предполагал: что-то разлаживается в работе устройства воплощения, и его надо чинить... Суть расстройств: деятель не может больше управлять собой, и его жизнь теряет смысл. Что случилось?

Кавелин объясняет: нарушена связь поступков с сознанием, в сущности, ты перестал осознавать те движущие силы в себе, которые вызывают потребность в действиях.

«Теснейшая связь свободной воли с сознанием наводит на мысль, что объяснения самопроизвольности должно искать в этой психической функции» (Там же, с. 923).

Глава 3. Кавелин о мотивах

«Теснейшая связь свободной воли с сознанием наводит на мысль, что объяснения самопроизвольности должно искать в этой психической функции» (Там же, с. 923).

Отсюда начинается учение Кавелина о мотивах. Я использую *большое* слово «учение» для обозначения крошечного рассуждения размером всего в несколько страниц. Почему? Не только потому, что Кавелин излагает своё понимание мотивов и вообще побудительных причин поведения в 1872 году, то есть на самой заре научной психологии, а значит, создавая одно из самых первых описаний этого явления в психологии. И не потому, что Кавелин открыл в этом рассуждении что-то такое, чего не знали до него или без него.

Для меня это важно именно как начало прикладной психологии, потому что смысл приведенного выше высказывания в том, что помочь человеку

в его бедах психолог может только тем, что сделает его помехи доступными сознанию... Позволит их осознать.

Эта мысль придет в психологию лишь через полвека, после того как Фрейд сделает ее общепризнанной, улучшив европейцев через их болезненную похотливость. Но и ему придется пробиваться сквозь сопротивление научного сообщества чуть не четверть века.

После него множество школ практической психологии будут использовать осознание как основное средство психотерапевтического воздействия, явно или скрытно считая основоположником этого направления Фрейда. Но, как вы видите, начальное понимание было разработано уже Кавелиным. И разработано оно, исходя из философии воли, можно сказать, как фундаментальная теория прикладной психологии, чего лишены все практические школы, начиная с психоанализа.

Отвечая веяниям времени, Кавелин постарался говорить об источнике мотивов естественнонаучно, сравнивая то, что происходит в человеке, с прочими биологическими существами. Подход этот верен, поскольку душа наша вселена в тело, и мы не можем отказаться от телесных потребностей, разве что захотим умереть. Поэтому и рефлекторные теории физиологов, и биологические описания развития чувствительности от низших организмов к высшим верны в той части, в которой они относятся к телам.

И для человека, признающего, что душа есть и что она отлична от тела, не признать верности биологии и физиологии нельзя. Недопустимо лишь подменять науку о душе физиологией. Физиологию и биологию надо учитывать, как учитывает душа потребности и возможности собственного тела: если ты пришел, чтобы решить какую-то задачу в воплощенном состоянии, прежде всего ты должен обеспечить себе само воплощенное состояние. А потому ты будешь учитывать тело и заботиться о нем...

Кавелин говорит:

«Известно, что всякая психическая деятельность, какова бы она ни была, вызывается каким-нибудь возбуждением. На низших ступенях психической жизни возбуждение является в виде материального толчка, который сообщается центральному органу и из него прямо и непосредственно выходит уже в виде произвольного рефлексивного движения» (Кавелин, Задачи этики, с. 923).

Материальный толчок — это всегда нечто, связанное с телом, ничто другое и толкнуть-то нельзя. Попросту — это либо какие-то внутренние позывы, вроде голода или очищения, или же внешние воздействия, в сущности, представляющие опасность для тела. Центральный же орган — это то, что управляет движениями тела. Именно движениями, рефлексивно или нет, не важно. Это я подчеркиваю особо, потому что многие психологи склонны считать, что мозг может думать или чувствовать. Мозг, как центральный орган высшей нервной деятельности, определенно может управлять движениями. А вот может ли он думать, — вопрос, и когда мы так считаем, это вывод, сделанный на основании некоторых наблюдений, но никогда и никем не доказанный научно!

Правда, любой физиолог может в ответ на мое замечание заявить: а что еще может думать? Не желудок же?! Как вы понимаете, ответ чрезвычайно убедительный, потому что на него нечего ответить... особенно на митинге, но опять же не научный. Доказательство от обратного: если больше нечему, так это! Но вот начинают нейропсихологи исследовать работу мозга и ничего внятного о том, как он думает, сказать до сих пор не могут... И это настоящий ответ, ответ научный. Как мы думаем, наука пока не знает.

Очевидно, что в человеке есть рефлекторная деятельность, сходная со всеми биологическими существами. И есть еще способность думать, которая, как считалось всегда, отличает человека от животного, то есть от того, чем управляется наше тело. Поэтому Кавелин показывает, что человек качественно превосходит биологический уровень действий.

«В человеке и возбуждение, и роль центрального органа, и движение или деятельность становятся еще на высшую ступень, подвергаются еще большим существеннейшим превращениям» (Там же, с. 924).

Это высказывание требует сделать замечание: когда Кавелин говорил о некоем «центральном органе» низших существ, было как-то понятно, что это он, наверное, имеет в виду какие-нибудь нервные узлы, впоследствии развивающиеся в мозг. Но почему он так странно говорит о человеке? Как ни странно, но именно такой странный способ говорить позволяет ему избежать физиологической однозначности. Да, у нас есть большой нервный узел, управляющий движениями. У слонов и китов он еще больше, хотя мы не считаем, что они умней или лучше думают. Значит, дело не в его величине?

Мы все помним из школьных учебников биологии эти цепочки сравнений величины мозга и развития животных. И все, думаю я, испытывали легкое удивление, что у человека, как у самого умного, не самый большой мозг. И наоборот, что есть те, у кого мозг больше, а мозгов меньше... В этом есть странность, которую все люди естественнонаучного мировоззрения ощущают, но не могут высказать.

В сущности, даже не странность, а противоречие. И чтобы с ним смириться, мы сами себе объясняем: ну, мозг — это всего лишь вещество, и если его у кого-то больше, это еще не значит, что он использует его лучше. Вот и у людей, вроде того же математика Гаусса, было всего полтора кило мозгов, и ничего, был поумней многих. Может быть, даже поумней Тургенева, у которого мозгов было два кило двести грамм... Количество мозгового вещества не напрямую определяет умность или способность думать.

Похоже, что так. А вообще, определяет ли объем мозгового вещества способность думать? Или же он определяет лишь способность управлять телом? И нужно этого вещества иметь в пропорции с телом, а не с задачами, которые решаешь? Вот при таком допущении все встает на свои места и становится понятно, почему у больших тел больше мозгов.

Но в таком случае Кавелинский «центральный орган» становится именем не для мозга, а для того, что отвечает на возбуждения. В телах, в существах биологических — это нервные узлы или мозг, а вот для человека это может быть то, что думает...

И Кавелин прямо отмечает, что отличие человека в том, что для него *«внешние возбуждения и впечатления заменяются мотивами, идущими от центрального органа. Дифференциация психической деятельности переносит ее внутрь человека и прерывает непосредственную связь между внешним возбуждением и деятельностью. ...деятельность является результатом не внешнего толчка или возбуждения, а внутреннего побуждения или мотива, который оказался сильнее других»* (Там же).

Как вы понимаете, Кавелинское понимание мотивов полностью противоречит пониманию Леонтьева и стоящей за ним английской школы утилитаризма. К тому же, он полностью отрицает значение рефлексов для понимания человеческой деятельности: рефлекс у людей возможен, но они возможны лишь на бессознательном уровне управления телом. В действительности же мы нарабатываем не рефлекс, а привычки, а это значит, что речь идет о совсем другом устройстве: привычка не есть работа нервной системы, это связь, образующаяся в сознании!

И не учитывать это в прикладной работе нельзя, хотя бы потому, что ни один психолог еще не смог использовать вбитые в него понятия о рефлексах в работе с живыми людьми. В работе психолога эта теория бесполезна, разве что для понимания разницы между человеком и лягушкой. А вот понимание привычек было бы очень важно, да вот беда, их не изучают в наших университетах!..

Кстати, отмечу и определение мотива, которое походя дал Кавелин. Для него мотив — это то, что побуждает к деятельности, но идущее из «центрального органа», то есть из того места, которое думает, а значит, принимает решения. Мотив — это внутреннее побуждение. При этом мотивы могут быть сильнее или слабее, потому что сильнее или слабее могут быть побуждения.

Я пока сохраню само имя «мотив», поскольку Кавелин говорит о том, как принято это называть в научной психологии. Но на будущее сохраню для себя лишь русское название: побуждение. Оно тем лучше, что в нем свободно просматривается обозначенное им понятие, доступное любому русскому человеку.

И дальше приговор всей правящей до сих пор англо-советской школе психологии:

«Таким образом, на высшей ступени психическая жизнь достигает высшей степени сосредоточенности и относительной независимости от окружающей среды» (Там же). Естественно, что после такого заявления его должны были забыть в советское время. Да и то сказать: разве психическая жизнь свободна от окружающей среды? Ведь Маркс и Энгельс показали, что сознание — есть продукт общественного и исторического воздействия среды! Да и кто из психологов, как тот же Леонтьев, не видел простым и невооруженным глазом, что люди тянутся к внешним искушениям и бегут от внешних опасностей?! Очевидно?

Очевидно! Очевидна разница между психологом и не психологом.

Шарлатан может стать и академиком, поскольку удобен властям. Но не видеть, что, глядя на внешний предмет, являющийся для него важным, он делает выбор, нельзя. А раз делает выбор, значит, не реагирует непосредственно, как сделало бы тело или рефлекторная машина, а проживает все, что связано с этой вещью или явлением в своем внутреннем мире. Сначала проживает там, потом делает выбор и лишь потом действует... Физиологу не выгодно это видеть, а прикладному психологу нельзя не видеть, потому что иначе он не поможет человеку, а значит, будет не нужен.

Видеть психологу подобные вещи жизненно необходимо, потому что иначе он становится просто не нужен людям, а психологию нужно закрыть как профессию. Так что видеть это — требование выживания самой профессии.

«Вот эта-то относительная самостоятельность психических движений, ее относительная независимость, по крайней мере, отсутствие непосредственной ее зависимости от внешних возбуждений, и рождает понятие о свободе воли» (Там же).

Глава 4. Как образуются мотивы

Если предыдущая часть рассуждений Кавелина о побуждениях относилась, условно говоря, к философским основам психологии, то дальше он переходит, так сказать, к общей психологии или к устройству нашего сознания, без знания которого нельзя перейти к прикладной работе.

«Но деятельность сознательная, по мотивам, есть только одна сторона свободной воли. Чтобы вполне ее выяснить, необходимо знать, как образуются самые мотивы, как они между собой относятся и что дает им силу вызывать деятельность» (Кавелин, Задачи этики, с. 925).

Здесь завершается физиология, и начинается собственно психология, поскольку дальше мы можем исследовать только с помощью «психических наблюдений». Думаю, этим «научным» именем Кавелин в данном случае обозначил самонаблюдение. Но сначала теоретическое обоснование подобного исследования, начиная от описания предмета. Эта часть «Этики» даже по языку узнается как продолжение и развитие «Задач психологии»:

«Начнем с того, что предметами второй или так называемой сознательной психической деятельности становятся самые разнообразные психические явления и факты, не имеющие между собою ничего общего, или находящиеся друг к другу в весьма далеком отношении и сродстве.

Мы одинаково сознаем и явления окружающего нас мира — природы и социальной жизни — и явления нашей собственной, личной жизни, материальной и психической. Они в сознании остаются различными между собою, но получают одно общее всем им свойство, именно способность быть предметами психической переработки и сознания.

Одно это уже показывает, что сознание не есть только зеркало, пассивно отражающее впечатления, а что ему соответствует органическая деятель-

ность, претворяющая, перерабатывающая в себе то, что в нее поступает, делающая его способным стать предметом сознания...» (Там же, с. 925-926).

Не знаю, отрицает ли тут Кавелин марксистскую теорию отражения, мне гораздо важнее то, что он рисует сознание Устройством, которое осуществляет определенную деятельность. На это я хотел бы обратить особое внимание. Вся академическая школа психологии так или иначе проговаривается, говоря о явлениях сознания, что в сознании что-то происходит, что-то меняется, даже перерабатывается... И при этом все психологи молчат о том, как это возможно.

Это какой-то заговор научного сообщества, явно уходящий корнями в картезианскую метафизику, понимавшую сознание как не имеющее протяженности, поскольку Декарт явно смешивал сознание с душой. Это видно из того, что он приписывал душе и способность осознания, и способность думать и мыслить, которые последующая психология отнесла к сознанию. Но то, что не имеет протяженности, но существует, непроизвольно превращается в точку, в некую математическую абстракцию, вроде центра самоосознания...

Так и родилось понимание сознания, как чего-то непространственного, а значит, не могущего иметь содержания. Академические психологи, прекрасно чующие силу и деньги, давно признали психоанализ с его бессознательным, но до сих пор не признали того, что его понятия о содержаниях сознания разрушают мечту о сознании как точке осознания. Сознание, подобное лампочке, которая включается и выключается, освещая окружающее, противоречит пониманию сознания как некой емкости с содержаниями. Противоречие это режет глаза. Оно очевидно!

Но вот второе противоречие не такое яркое: все разговоры о том, что в сознании что-то происходит, должны наводить на мысль, что емкость эта должна иметь свое устройство! И это тоже очевидная мысль, как очевидно и странное противоречие: мы считаем сознание точечным, но при этом говорим о памяти, о переработке впечатлений, о мышлении, в конце концов! Это основные предметы академической психологии. Но чтобы они все могли происходить, необходимо, чтобы что-то их не только содержало, но и обеспечивало им возможность работы!

Шила в мешке не утаишь. Психологи, конечно же, видели странность своей науки, но отвели себе глаза тем, что дедушка Сеченов и иже с ним от физиологии и нейрофизиологии объяснят это устройством мозга... Ан не объяснили, и похоже, и не объяснят уже. Ну, никак не получается это у физиологов. Физиологи, кажется, придумали, как снять с себя ответственность — они ждут четкой постановки задачи от психологов. А психологи? А психологи вообще ни в чем не виноваты... Их, можно сказать, нет, так хорошо они спрятались...

Не знаю, что имел в виду Кавелин под словами об «органической деятельности сознания», но для меня это означает то, что кроме объема и устройства у сознания есть еще и определенная вещественность. Вещество сознания совсем иное, чем вещество тела, возможно, это какие-то поля,

как предполагают физики, но оно есть! И это соответствует и народным представлениям, и моему собственному опыту прикладной работы. Но я писал об этом невещественном веществе сознания и души в других книгах, и поэтому здесь лишь напоминаю о том, что без этого допущения большая часть задач прикладного психолога просто не будет разрешаться.

Итак, сознание не только определенным образом устроено, но, благодаря этому, оно просто и даже в определенном смысле механично перерабатывает все, что в него поступает:

«Что бы сознание в себя ни приняло из внешнего мира и внутренней психической жизни, — все получает в нем свой, если можно так выразиться, особый значок и сохраняется, остается в нем, когда явление, достигнувшее сознания, уже исчезло и перестало производить впечатление или ощущение» (Там же, с. 926).

Теория знаков, как мы знаем, была доведена до состояния модного поветрия бойкими дельцами от науки, умеющими делать выгоду из определенных научных находок. Но это было уже после Кавелина, который описывал все это просто затем, чтобы понять, как работает сознание.

«Сделавшись предметом сознания, обратившись в нем в значок, явление теряет, в этом новом своем виде, непосредственную силу и принудительность внешнего толчка, возбуждения или впечатления. Не они, а уже нечто другое становится внутренним побуждением для деятельности, которое мы выше назвали мотивом.»

«Как сознательность представляет высшую степень сосредоточения психической жизни, так и мотив, неразрывно связанный с сознательностью, может зародиться только в стремлениях и наклонностях личной, индивидуальной природы и жизни человека» (Там же).

Если вспомнить, что Кавелин уже разделил предмет психологии на две части, которые условно можно отнести к телу и душе, то теперь он вносит еще деление в ту часть нашей науки, которая относится собственно к душе.

Начинается это от наблюдения: впечатления, прямо сейчас приходящие в наше сознание из внешнего мира, действуют сильно. Настолько сильно, что мы готовы сорваться с места и наделать глупостей, которые нам самим покажутся странными, имей мы время подумать. Это есть, но это не значит, что при этом впечатления и возбуждения, идущие из внешней среды, действуют напрямую, подобно рефлексам. Они все равно проходят в ту часть сознания, в которой осознаются, понимаются, осмысляются и передаются на исполнение. И мы в любом случае совершаем выбор: сорваться с места и действовать, или поймать себя, успокоить и заставить подумать...

Подумать — это обработать новые впечатления с помощью тех образов, что хранятся уже в нашем сознании как итоги жизненного опыта, соотнести с ними и превратить в задачу, которую решит наш разум. Для этого надо превратить все части задачи в однородные, чтобы их можно было соотносить, — вот в чем заключается «обработка новых впечатлений». Прикладник

должен, условно говоря, просто глазами видеть, как происходит эта «обработка» впечатлений в сознании обратившегося к нему человека.

«Не различая бессознательной, полусознательной и вполне сознательной деятельности, мы нередко смешиваем мотив с впечатлением или внешним толчком; но это большая ошибка.

Мотив зарождается внутри нас, вытекает из нашей индивидуальной природы и принимает в сознании определенный, формулированный образ, материалом для которого служит то, что поступило в сознание, стало для него доступным. В сознании, стремления и наклонности человека преобразуются в намерения и цели, подбирая из накопленных в сознании данных те, которые всего ближе к ним подходят, более всего им соответствуют» (Там же, с. 926-927).

Вот это и есть описание «обработки», которую совершает наше сознание со всеми имеющими для нас значение впечатлениями.

В сущности, впечатления оказываются лишь внешним толчком, разрешением действовать, поскольку являются знаками сложившихся условий, то есть условий, позволяющий осуществить то или иное намерение, решить одну из хранящихся в глубинах нашего сознания задач.

Например, вы увидели лоток с горячими пирожками, подошли, купили и съели один. Почему? Потому что увидели пирожки? Нет, либо потому, что были голодны, либо потому, что в вашем сознании жила мысль о том, что, увидев пирожки, надо их есть. Мотивом, то есть побуждением в Кавелинском смысле, была эта скрытая в сознании цель. Мотивом в Леонтьевском смысле был лоток с пирожками.

Однако, добираясь до лотка, вы пропустили несколько десятков киосков и магазинов с другими продуктами и даже не помните о них. Значит, все эти внешние «толчки» не были действительными побудителями к действию. Сработало только то, что ответило на ваш внутренний запрос и стало решением уже заготовленной задачи. Мотив или побуждение — это внутреннее содержание нашего сознания.

Живет оно в виде цели, а воплощается, срачиваясь с внешним впечатлением, которое узнается как подходящее, в Образ, точнее, в Образ действия, ведущий к цели, которым задача и будет решена. Мотив — это некая предрасположенность, живущая во мне до тех пор, пока я не обнаружу подходящие для ее осуществления внешние условия.

«Одновременное существование в человеке самых разнообразных предрасположений, наклонностей и стремлений, преобразующихся в сознании в цели и формулированные задачи, предполагает, с одной стороны, общую всем им среду, в которой они, несмотря на всё их разнообразие, приводятся, так сказать, к одному знаменателю, как разнообразная пища в желудке, а с другой — возможность сопоставления различных стремлений и наклонностей, и следовательно, их взаимные столкновения и борьбу.

Общая всем им среда есть, как мы видели, так называемая сознательная деятельность, которая нейтрализует внешние побуждения и впечатления и в то же время превращает предрасположения и наклонности человека в определенные формулированные цели» (Там же, с. 927).

Вот самое общее теоретическое описание устройства сознания. Его еще надо разворачивать и уточнять, но основа заложена. А вот описание его работы, так сказать, механика:

«Что касается столкновения и борьбы мотивов, то это факт бесспорный, общедоступный, едва ли кем не изведанный по собственному опыту. Борьба эта решается по законам механики: который мотив сильнее, тот и одерживает верх над другими и формулируется в цель и задачу, которая разрешается действием или поступком.

В таком преобладании более сильных мотивов над слабыми есть нечто роковое, неотразимое. Моралисты не могут примириться с таким неизбежным исходом столкновения мотивов и указывают на разные средства, которые будто бы имеют силу и власть отвлечь его. Тщетные усилия!

Против него нет ни заклинаний, ни чар. Единственное средство отклонить нежелательные фатальные последствия борьбы мотивов — это изменить взаимные отношения самих мотивов, усилить одни, ослабить другие, словом, изменить условия их борьбы» (Там же, с. 927-928).

Это азы всей прикладной психологии. Чтобы почувствовать, как механически один мотив, то есть одно побуждение, побеждает другой, поставьте себя в условия задачи, которую решали многие философы, писавшие о свободе воли, — вообразите себя Буридановым ослом. То есть представьте, что вам надо сделать выбор между куском пищи и глотком воды. И вы очень скоро поймете, что одно из побуждений возобладает с механической неизбежностью, зависящей от того, чего вы хотите сильнее: есть или пить.

Но это простая задача в рамках телесных потребностей.

А прикладная психологическая работа начинается после них, в царстве душевных задач. Там все очень похоже, вот только часть побуждений можно изменить, а часть просто убрать, вычистив из сознания. Но это уже совсем другой разговор.

Заключение нравственности

Мир, в котором мы живем, мир, избранный нашей душой для решения ее задач, это не природа. Мы живем в мире-природе лишь в самом раннем детстве, когда даже людей способны видеть как природные явления.

Однако довольно скоро люди выделяются из той общей и нерасторжимой целостности, которой является мир, и ребенок начинает понимать, что люди живут сразу в двух мирах: природном и воображаемом, который зовется обществом. Он познает общество сначала как семью, дом, потом как двор, улицу, но постепенно этот второй мир разворачивается для него на все человечество, и он понимает, что даже человечество не исчерпывает этого мира, потому что люди умудряются спрятать внутри него свои явные и тайные мирки, которые мы можем называть сообществами...

Мир-природа требует от человека одного — разума. Если ты научился думать, ты выживаешь в нем.

Миры-общества гораздо хитрее, и каждый заставляет подбирать ключик под себя, ключики эти поведенческие. Чтобы мир-сообщество раскрылся и впустил тебя, нужно показать, что ты свой. Часто за вход надо платить, как платят за высшее образование, и деньгами и душой. Затем, уже находясь внутри, чтобы мир принял тебя и позволил выживать, требуется вести себя весьма определенным образом, а именно таким, как предписывают нравы этого сообщества.

Так рождается нравственное поведение.

Оно начинается с семьи, хотя мы и не осознаем, что дома ведем себя нравственно, — уж слишком привыкли и считаем, что такое поведение — это просто обычное поведение. Да, это обычное поведение, но обычное поведение — это именно нравственное поведение.

Мы понимаем это лишь тогда, когда попадаем в иные культуры и осознаем, что дома тоже можно вести себя по-разному. И проявляется это в том, что мы оцениваем чужое поведение, выставляем ему свои оценки. К примеру, у русских средней полосы и севера принято обращаться к родителям на ты, у тех, кто ближе к Украине, на вы. Южные русские считают северных грубыми из-за того, что они обращаются на ты к родителям. Северные же считают, что это лишь признак глубинного внутреннего родства и ответно оценивают южных как лицемеров: обращается-то на вы, а сам не заботится о собственных родителях...

Оценки, оценки, оценки... хорошо-плохо, хороший мальчик, плохой мальчик... это всего лишь нравственность, управляющая поведением. Зачем? Чтобы можно было хоть как-то ужиться и выжить. Да еще, быть может, чтобы научиться выживать в мирах более тонких и духовных, чем Земля...

Если мы хотим стать прикладными психологами, мы должны овладеть психологией поведения. Но психология поведения — это всегда наука о нравственном поведении. Иного поведения не существует. Просто потому, что вне общества мы вообще не ведем себя. Мы живем и действуем в природе целостно, как живут и действуют животные: разумно, но не нравственно. В природе ты один на один с миром как с задачей выживания. В обществе ты всегда посреди толпы, где каждый встречный такая задача.

Поэтому прожить жизнь в обществе — не поле перейти. Сквозь толпу надо вести себя очень и очень осторожно, потому что за ошибки убивают. Не всегда телесно, ведь сообщества — это духовные миры. Поэтому в них чаще убивают не тело, тела из них лишь изгоняют. Но это изгнание звучит как: чтоб твоего духу здесь не было! Иными словами, это та же смерть, только для духа. Ибо мы умираем и в этом мире, когда наш дух покидает его.

Нравственное поведение — это самая суть прикладной психологии. Поэтому я выделяю рассказ о нем в особый раздел.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ПРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Я продолжу свое исследование на основе все тех же «Задач этики» Кавелина. Он посвятил нравственному поведению несколько глав, назвав в них слишком много существенных психологических черт нашего поведения, чтобы можно было позволить себе упустить это, затеяв говорить все заново. Он — основоположник прикладной культурно-исторической психологии, и если я смогу сказать о ней что-то свое, то добавляя к заложенной им основе.

Разговор о нравственном поведении Кавелин ведет, начиная с четвертой главы «Задач». В самом начале он подводит итоги тому, что раскрыл в предыдущих главах, как психологическое основание поведения. Из этого основания буду исходить и я.

«Мы видели выше, что отличие человека от остальных животных состоит в том, что он действует по сознанным мотивам, то есть вследствие побуждений, идущих от него самого, в нем заключающихся и прошедших через его сознание.

Побуждений такого рода великое множество, и они так же разнообразны, как и источники, из которых они возникают. Всякого рода наклонности и потребности, материальные и психические, нажитые и унаследованные, созданные самим человеком или вызванные в нем, сознательно или бессознательно, внешней обстановкой, обстоятельствами и влияниями, могут, пройдя через сознание, обратиться в психические мотивы.

Мы знаем также, что между мотивами те одерживают верх, которые сильнее» (Кавелин, Задачи этики, с. 952).

Вот, так сказать, общепсихологическая основа, позволяющая изучать поведение человека. Далее Кавелин самым кратким, но ярким образом показывает, как на этой основе развивается поведение нравственное.

«Если бы на всем земном шаре существовал всего один человек, и он был бесплотный дух, безусловно отрешенный от природы, а между тем, у него были бы мотивы деятельности, то при таких невообразимых условиях человек мог бы беззаветно отдаваться сильнейшему мотиву и безразлично действовать по всевозможным мотивам: в определении их относительного достоинства не было бы никакой надобности.

Но человек есть часть природы, высший из всех организмов на земле, живет между другими живыми людьми, в правильном с ними сожителстве. В интересах своего личного сохранения и существования, он не может без оглядки действовать по первому встречному, хотя бы и сильнейшему мотиву, а вынужден сдерживать одни, усиливать другие» (Там же).

Нравственное поведение рождается сдержанностью и выборами и является, как сказали бы сейчас, стратегией выживания в мире людей. Я бы, правда, добавил, что это стратегия выживания для решения той задачи, ради которой ты пришел. Без этой поправки человека не всегда можно понять, потому что он не ведет себя как общественное животное, по определению американских социологов.

Глава 1. Деятельность и поведение

Главу, в которой Кавелин начинает разговор о нравственном поведении, он начинает с рассуждения о деятельности. И вместо нравственного поведения он тоже говорит о нравственной деятельности. Очевидно, что понятие «поведение» в то время еще не стало психологическим, психологи еще не отличали его от деятельности. И это стоит отметить и задаться вопросом: почему вместо поведения психологи начальной поры говорят о деятельности?

Я думаю, что это связано с тем, что именно во второй половине девятнадцатого века психология выделяется из философии и еще не имеет собственного полноценного понятийного языка. Если вспомнить, то временем рождения научной психологии как самостоятельной науки принято считать 1879 год, год создания Вундтом экспериментальной психологической лаборатории в Лейпциге. 1879 год — это на пять лет позже выхода Кавелинских «Задач психологии» и всего на пять лет раньше «Задач этики». Иными словами, Кавелин творит прямо во время Начал.

И поэтому он использует тот язык, что был принят у философов, пишущих о душе, но делает переходы к собственному языку психологии. И это чувствуется в его работе. Вот исходное определение, которое я поясню дальше:

«Субъективная деятельность и есть нравственная; субъективные идеалы — нравственные идеалы. Учение о нравственной деятельности и нравственных идеалах есть учение о нравственности или этика.

Нравственность и знание ведут человека разными путями, к одной и той же главной, последней цели — возможному его удовлетворению и благополучию» (Кавелин, Задачи этики, с. 957).

Как видите, нравственность с помощью одной из своих частей — нравственной деятельности — ведет человека к его цели. Где ведет? Вполне очевидно, что в том мире, где живет человек, значит, сквозь этот мир, потому что для достижения цели надо преодолеть какой-то путь, а значит, и соответствующее ему пространство.

Нравственность ведет, и значит, нравственная деятельность — это поведение. Или способ, каким человек — не нравственность же, в самом-то деле! — ведет себя в соответствии с нравами общества, в котором хочет достичь своей вершины. Но почему все-таки философы говорят о деятельности?

Думаю, потому, что вся предшествующая философия была рационалистической, то есть унаследованной от века разума, как это называлось. Век разума — это время, когда философы пытались понять и воспитать свой разум. Отсюда дикое увлечение всяческими логиками, как науками о правильном мышлении... то есть о том, как должен правильно работать разум. С этого начинается Декарт, и это подспудно живет до сих пор в каждом классическом философе.

Но и у современных философов и у их великих предшественников была исходная ошибка, которую подарил им тот, кого тысячелетия звали без имени — Философ. Аристотель. Создав Логику, в которой он попытался описать работу разума, он вложил в нее соблазн: писать так, будто именно твой разум самый совершенный, и потому тебе дано знать, как думать лучше. И в итоге все логики, которые рождались после него, были учебниками того, как думать, а не описаниями работы настоящего разума.

Описанием работы разума смогла заняться только психология, философы так и не смогли преодолеть болезнь исключительности и собственного великопия, они все до сих пор в той или иной мере считают себя логиками...

Что в этом плохого?

Только то, что разум не работает так, как предписывает логика. Он работает так, как работает, но как он работает по-настоящему, не знает никто из философов, просто потому, что никто из них не задавался целью изучить это. Да и зачем, когда можно изучить логику?! А логика научит думать даже лучше, чем может разум! В итоге философы знали, как надо думать, но не знали, как это происходит в действительности.

Они как бы не имели простейшего представления об этом, некоей основы или исты, говоря по-русски. А значит, улучшали они не ее, а свой собственный разум или разум тех, кого наблюдали и кем были недовольны. Однако и свой разум и разум окружающих философ застают уже сложившимся, то есть имеющим всяческие дополнительные к исте вкрапления, внесенные культурой и историей. В итоге те, кого с детства учили математике, считали хорошим разум, склонный к математике... те, кого с детства учили логике, не понимали, как можно быть нелогичным...

Разум для философов Нового времени всегда был предметом гордости, поскольку он выделял их из серой и тупой средневековой толпы, внутри которой и вызревала научная революция. Именно поэтому он стал орудием исключительности, а не думания. И так до сих пор им и остается.

Когда из философии выделилась психология, она должна была озаботиться тем, чтобы иметь свой собственный предмет, иначе она не соответствовала понятию науки. Иметь в качестве предмета душу психология не хотела, потому что это лишало ее естественности. Значит, предметом должно было стать нечто, что не хотела изучать философия, но что могло вызвать уважение у других научных сообществ, победивших в битве с Церковью. И психология избрала изучать то, что хоть как-то связано с телом, но раньше относилось философами к душевным проявлениям.

Самой очевидной связкой тела с душевными проявлениями было восприятие. Если подходить к нему строго, оно вообще не относится к психологии, поскольку относится только к телу. Психология, начинающая себя от телесного восприятия, не имеет к душе никакого отношения, и потому оправданно считалась физиологами частью физиологии.

Восприятие, будучи телесным по сути, не более чем развившаяся раздражительность простейших, и поэтому вполне может быть соотнесено с рефлекторной теорией. Но вот хитрость: человек, можно сказать, не пользуется низшим уровнем восприятия. С его помощью он только получает впечатления, но затем перерабатывает их в своем сознании, о чем и писал Кавелин. В итоге вопрос о том, как использовать восприятие, решается не телом, а душой. И мы привычно относим это к душевным проявлениям или к психической деятельности.

Выражение «психическая деятельность» — привычно, и связано оно с понятием «деятеля», то есть того Я во мне, что осуществляет все эти действия. Именно оно и отразилось в том, что Кавелин говорит о деятельности нравственной.

Однако это не весь взятки, что можно взять из истории психологии и философии.

Век разума, то есть время господства рационалистической философии, приучило философов верить, что они действительно знают, что такое разум. В итоге, о чем бы происходящем в сознании ни говорил философ, он знал, что говорит о разуме и о «деятеле», который за ним стоит. Следовательно, для классического философа, что бы ни происходило в его «голове» — это деятельность разума. Итогом этой связки оказалось то, что философы перекрыли себе возможность понять действительность, а выражение «деятельность» прочно связалось в общественном сознании с разумом.

Мы можем уверенно говорить: если речь идет о деятельности, значит, она — о разуме.

Что я имею в виду, говоря, что философия перекрыла себе возможность понять действительность? А то, что работа сознания не так проста, и что в нем есть кроме разума еще кое-что. И это знал народ, и можно было заметить самому, позволь себе кто-то из философов понаблюдать за тем, как он думает, действует и ведет себя. Но философы не видели этого, потому что их внимание было улучено логикой. Философ, наблюдающий за собой, непроизвольно наблюдает за соответствием происходящего законам логики. Для такого наблюдения нужен психолог.

Но психологи тоже не сделали этого наблюдения. Не знаю точно, почему. Наверное, побоялись вторгнуться на поля философии, — они ведь очень воспитанные и правильные ребята. А может быть, потому, что научное мировоззрение в изрядной мере мировоззрение шарлатанов и плутов, которые хотят убедить народ, что он должен оплачивать их досуг. А для этого надо доказать, что все народное — глупо и смешно, и лишь наука научит простых людей, как им жить и как стать умнее.

Поэтому наука, особенно во время своего бурного завоевания мира в девятнадцатом веке, старалась искоренять все народные знания о действительности, объявляя их суевериями и мракобесием. А светом считала только свои самые передовые открытия. Мы прекрасно знаем, как смешны сейчас эти «самые передовые» открытия той поры. Я это не раз показывал в своих книгах. И мы можем представить, как смешны будут открытия нашей поры через сотню-другую лет, если Земля протянет столько под научным игом...

Но это не важно, важно лишь то, что ученому стыдно и предосудительно прислушиваться к народу. А между тем ученые знают лишь слова разум и мышление, а народ использовал множество родственных понятий, говоря о том же самом. Любой ученый, конечно, тоже знает эти слова, поэтому, когда я их перечислю, может показаться, что я возвел на науку напраслину. Но не путайте бытовое знание языка, которое есть у любого ученого, с научными терминами, то есть с понятиями, которые использует наука.

Так вот, наука знает разум, рассудок, мышление и воображение. При этом разум и рассудок — знает философия. В психологии эти понятия не прижились. Психология знает только мышление и воображение. А поскольку при этом психологам явно не хватает языка для обозначения разума и рассудка, она заимствовала чужое слово интеллект.

А вот народ, говоря о сознании, различает ум, разум, рассудок, мышление, мудрость, глупость и неглупость, дурь, толк, воображение, сообразительность и множество дополнительных словечек, вроде мозгов и мозговитости, которые пока можно опустить. И каждое из этих имен содержит за собой рабочее понятие, без которого образ мира был бы неполным. Иначе говоря, народ использует все эти понятия одновременно, как равнозначные орудия, которые должны быть в полном наборе и вовсе не замещают друг друга.

Но этот ряд понятий составляет лишь одну нить, которая соплетается со второй, в которой каждому из них соответствует действие. И разуму тут соответствует деятельность, а вот поведение, которое и составляет суть прикладной психологии, соответствует мышлению.

Я не хочу раскрывать значения всех этих понятий в этой работе. О них надо писать особо. Пока мне достаточно того, чтобы стало ясно: с психологической точки зрения деятельность и поведение совершенно разные понятия, поскольку соответствуют разным частям или состояниям сознания. И мы не можем не различать их или путать, если хотим достичь точной и действенной прикладной работы.

Да и какой я психолог, если не чувствую разницу, скажем, между выражениями: разум думает, значит, думая, я человек разумный. А мышление — мыслит, и значит, мысля, я становлюсь МЫСЛИТЕЛЕМ!

Думать может и дурак, почему ему постоянно советуют: думай, думай, дурачина! А вот мыслить дано не каждому, и это почетно и делает меня исключительным...

Разве за этим нет качественно различных психологических состояний?

Глава 2. Субъективная деятельность

Кавелин не только хорошо образован, в отличие от большинства современных психологов, но как я уже говорил, он психолог, вышедший из философии. Поэтому его язык часто не очень понятен современному психологу, или же понимается из психологии, а нужно бы из философии. Или же он понимается из марксизма... а это значит, вообще не понимается, а узнается.

К примеру, как понять его высказывание, что субъективная деятельность и есть нравственная деятельность? Есть два способа: первый — заглянуть себе куда-то за бровями и попытаться дать определение понятию «субъективность». Второй — прочитать Кавелина. Как я понимаю, если вы — прикладной психолог, то сейчас сделали именно первое. И даже если удержались от определения, у вас должен был быть такой позыв. Хотя бы просто потому, что именно в этот миг у вас в руках нет книги Кавелина, и значит, второе вам недоступно.

В действительности мы не можем не исполнять подобных упражнений, которые нам предлагают, как не можем не думать о Белой обезьяне. Разум сам бросается искать ответы на вопросы, которые идут извне, почему они и кажутся мотивами нашей деятельности. Самое большее, на что мы способны, когда нам делают подобное предложение, — быстро поймать себя за хвост и запретить туда смотреть. Но попытка уже сделана... Вы попытались дать определение субъективности и либо сделали это, либо отказались это делать.

Если бы я писал книгу для философов, я бы ограничился именно этим — определением понятия. Но я пишу для психологов, психологи — это те, кто должен обеспечивать другие науки исходным материалом для их исследований, поэтому они должны видеть глубже. И поэтому я хочу предложить вам, если вы прикладной психолог, конечно же, еще одно упражнение: скажите, когда я просил вас дать определение понятию «субъективность», что вы пытались сделать?

Подскажу. У вас был выбор: вспомнить определение «субъективности». Найти его в одном из словарей. Попытаться дать его самому. Вообще не давать определения, а рискнуть поглядеть в себя и просто описать то, что вы ощущаете собственным понятием о субъективности.

Что же вы делали: занимались определением понятия «субъективность» или же пытались понять, о чем идет речь, когда говорят о «субъективности»?

Для философа, который работает со знаками понятий, может быть и достаточно определения. Но для психолога, особенно прикладного, этого чертовски мало. Никто не будет платить ему деньги за то, что он ловко дает определения. Ему будут платить за то, что он помог в решении жизненной задачи. Значит, он должен понимать, о чем идет речь, когда говорят о субъективности. Или чем-то еще иным.

И уж тем более он не имеет права ограничиться своим университетским понятием о субъективности, когда ее поминает такой большой психо-

лог, как Кавелин. Кавелин пишет свои работы до марксизма и чрезвычайно продуманно, поэтому, говоря: «субъективная деятельность», — он отдает себе отчет, что использует заимствованное из науки имя, чтобы назвать нечто, что существует без имен и есть у каждого. И он это нечто видит и понимает. И даже описывает, чтобы было понятно, что такое «субъективная деятельность» на взгляд психолога.

Я приведу его описание позже. А пока я бы хотел сделать понятийное отступление и разобраться с тем, что такое субъективность, которая так сильно засорила нашу речь за последние полтора века.

ПОНЯТИЙНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. СУБЪЕКТИВНОСТЬ

Писать о субъективности скучно, читать еще скучней... а между тем, «на этом рубеже легли и Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили»...

Попросту говоря, именно психолог должен иметь осознанное и очень определенное отношение к этому понятию, потому что без него он даже не психолог! Почему?

А вспомните университет. И, я думаю, не ошибусь, если предположу, что у вас было как везде: вам строго и определенно внушали, что субъективности надо избегать. Что субъективность — это плохо, а настоящий исследователь должен быть объективным. И вы непроизвольно поняли тогда, что даже научные статьи надо писать как «мы», а не как «я»!

Почему? Почему сообществу психологов так важно исключить субъективность из своей жизни? Думаю, вы и сами понимаете, что это требование действительной научности. Настоящая наука может быть только объективной, потому что только так можно избежать ошибок субъективности. Субъективным оценкам нельзя доверять...

Что это значит? А то, что задача «подлинной научности» — вызывать доверие у тех, кто оплачивает существование науки. Очень похоже на задачу шарлатана, которому чрезвычайно важно мнение общества о себе. От этого мнения зависит его преуспеяние в жизни.

Психология, как экономическое предприятие определенного сообщества, — дело шарлатанское, именно поэтому и идет вся битва за объективность. И началась она тогда, когда психологи почувствовали, как сильно преуспели в обществе те науки, что объявили себя естественными. Именно тогда они избрали примкнуть к сообществу победителей и стать пусть малым, но среди важных. Вот тогда пролег тот рубеж, на котором ложились все, кто жил душой, а проскакивали только ничтожества...

Почему так жестко?

Да потому что, если говорить кратко и просто, как душа просит, субъективность в психологии — это признание души. Объективность — отказ от этой «гипотезы» и признание человека лишь биологической машиной. Исключить субъективность, использовать в исследованиях лишь измерения и статистику, не давая воли собственным чувствам и оценкам — это и есть работа с тем, что относится только к телу.

Иначе говоря, заявив о том, что будут объективными, сообщество психологов сменило предмет своей науки — выкинуло психологию и стало еще одной наукой о теле, разделом физиологии.

Все, что изучает Объективная психология, не имеет отношения к душе, а значит, совершенно бесполезно в работе прикладного психолога. Это нужно только затем, чтобы получить диплом и с ним допуск, разрешение работать психологом. После того, как это сделано, Объективную психологию надо выбросить и заняться делом.

А дело, с которым к вам придут люди, никогда не относится к тому, что изучают в своих лабораториях и аудиториях академические психологи. Оно всегда душевное. И очень, очень субъективное.

На этом рубеже, где легла наука о душе, придется сделать выбор. Без него все дальнейшее чтение бесполезно и только перегрузит вашу память.

Глава 1. Субъективность психологов

Я уже попытался показать, что субъективность чрезвычайно важна для нашего академического психолога. Это понятие скрывает в себе угрозу для психолога и указывает на какой-то нравственный принцип, который каждый член сообщества обязан знать и соблюдать. Но при этом психологи о субъективности почти не пишут, и далеко не все психологические словари упоминают ее. В том числе и иностранные.

Статьи «субъективность» нет, к примеру, в словаре Зинченко и Мещерякова, считающем себя главным психологическим словарем России. А большинство тех, кто имеет такую статью, не идут дальше толковых словарей. Кстати, толковые наши словари тоже не все знают это слово сейчас, хотя его знал еще Даль. Но неважно. Чтобы дать представление о том, как же в среднем видят субъективность психологические словари, приведу ее определение из Толкового словаря Ушакова 1940 года издания. Он определяет субъективность через «субъективный»:

«Субъективный. Свойственный, присущий только данному лицу, субъекту // Лишенный объективности, пристрастный, предвзятый».

Как видите, под этим именем скрываются два весьма различных понятия. Одно — философское — субъект как лицо, человек или тот самый деятель, к которому и относится субъективная или нравственная деятельность. Второе — нравственное, потому что субъективный значит пристрастный, предвзятый, что равносильно отсутствию объективности. Хотя, объективность эта — еще та штучка, потому что объект означает всего лишь предмет... Как предметность стала синонимом непредвзятости?

У этого явно есть своя история, скрытая в принципе, который исповедуют психологи. Принцип этот прямо не называется, поэтому его придется вытаскивать у психологов методом перекрестного допроса словарей. Все они, так или иначе опираясь на приведенное выше языковедческое определение, проговариваются или умалчивают о чем-то, что знают о субъективности сверх известного языковедам. Вот к этим дополнительным слоям в их определениях я и хочу приглядеться.

Просто чтобы подкрепить доверие к собственным словам, приведу, так сказать, классические определения субъективности психологами сначала из словаря Копорулиной и др. 2003 года:

«Субъективность (Subjectivity) — 1. исходное положение о том, что каждый человек живет в максимально личном, субъективном мире переживаний, и этот мир оказывает главное влияние на его поведение; 2) отношение к чему-

либо, определяемое личными взглядами, интересами или вкусами субъекта, отсутствие объективности».

С точки зрения русского языка слегка бредовое определение, зато с точки зрения научной психологии всё верно. Единственное, ради чего его стоило привести, это ради того, что написано латиницей, да не на латыни. Как видите, к 2003 году психологи сменили ориентацию, и предпочитают быть не Третьим Римом, а провинцией Империи...

Затем из словаря Немова:

«Субъективный — термин, используемый в следующих двух основных значениях: 1. Присущий или относящийся к человеку как субъекту. 2. Пристрастный, необъективный, сугубо личный».

Как латинское слово, обозначающее «лежащий, находящийся под чем-либо, подчиненный, покоренный, подвластный», стало обозначать человека? Через языковедческое понятие «подлежащего»? Очень странно... И как подлежащий или покоренный стал пристрастным? Полное ощущение, что либо на действительное значение слова никто не обращал внимания, либо никто не обращал внимания на то, как сделали такое с этим словом...

Кстати, американцы обошлись с субъектом еще круче. Артур Ребер не считает, что это даже человек:

«Субъект. Организм (человеческий или другой), который является участником (добровольным или нет) эксперимента...»

Вот это крутая настоящая психология! Есть чему поучиться нашим провинциалам! Смеяться или плакать после такого?..

История этого понятия еще звучит в словарях, выпущенных старым, советским поколением русских психологов. В 2005 году словарь «Общая психология» устами Брушлинского дает, на первый взгляд, проходное, ничем не примечательное определение из тех, что никто не читает. Но если взглянуть, оно, с одной стороны, всё соткано из образов, присущих еще предыдущей эпохе, а с другой, очень философично. И то и другое — указатели направления, в котором уходят корешки.

«Субъективное — 1) принадлежащее человеку как субъекту. В этом исходном смысле у людей все психическое объективно существует только как субъективное, то есть как качество индивида. Нет ничьих ощущений, чувств и т.д. Субъективной является всякая психическая, всякая познавательная деятельность — в т.ч. и та, в ходе которой человек раскрывает объективную реальность и которая выражается в объективной истине;

2) неадекватное, одностороннее и т.д. (отсюда субъективизм, субъективистское и т.д.). Психология изучает объективные закономерности субъективного в обоих этих смыслах. Субъективизм (в строгом смысле этого слова) порождается — сознательно или бессознательно — только субъектом, но и только им он может и должен быть преодолен».

Любопытно... Что-то вроде: человечность порождается только человеком, и как ее преодолеть, проклятую?! Иными словами, если субъективизм — это некое качество субъекта, с какого дуба свалилась на нас задача его преодо-

ления? Но ведь мы, даже ничего не понимая, уже чуем: субъективизм — это как-то плохо, и стоило бы его, если не преодолеть, то уж отречься точно...

Откуда это?

Словарь «Психология», выпущенный Петровским совместно с Ярошевским в конце советской эпохи дает больше подсказок. Он не имеет статьи «субъективность», но зато в нем есть многозначительная статья «субъект». Многозначительная она потому, что в нее вложено то, что обычно словаря-ми относится к субъективности, а то и к субъективизму.

«Субъект (от лат. Subjectum — подлежащее) — индивид или группа как источник познания и преобразования действительности; носитель активности.

Идеализм во всех его проявлениях усматривает источник активности субъекта в нем самом. Диалектический материализм как философская основа научной психологии рассматривает субъект как продукт исторического развития и связывает его активность с особенностями деятельности людей».

В этом определении так много странностей, вроде этой мутной активности, что остается только воспользоваться предложенной дорожкой в основу научной психологии — марксизм. Марксизм — это уже почти философия, по крайней мере, именно своим отношением к субъективности он пытался заявить о том, что хочет быть с одними философами против других.

Глава 2. Субъективность марксистов

Марксизм явление, конечно, двойное. В нем есть та часть, которая верно описала мир и потому должна быть сохранена и востребована. Но есть и то, что от Сатаны, условно говоря. В основном я буду говорить именно об этой части, и чтобы выделить ее, дам имя — Вульгарный марксизм.

Как пример, можно привести «Философские тетради» Ленина, написанные им после четверти века революционной деятельности. До этого он не очень стремился получать образование, был, так сказать, профессиональным недоучкой, но перед первой мировой войной занялся наконец философским самообразованием, читал и конспектировал Гегеля, Лейбница, Фейербаха, даже Аристотеля...

Итогом оказалось удивительное открытие, которое в советское время замалчивалось: идеализм не ошибка, а неправомерное, одностороннее преувеличение действительной характеристики, крупницы знания, а «умный идеализм» ближе к «умному материализму», чем «глупый материализм»...

А что бы Ильич еще мог сказать, не отымись у него язык к концу жизни, когда он пересматривал всю свою жизнь!

Но не сказал, и не только потому, что таковы были требования партийной дисциплины, которая, кстати сказать, является всего лишь нравственностью определенного сообщества и определяет его нравственное поведение. Но и потому не сказал, что избранная им нравственность требовала проявлять активность, а не думать!

В словарных определениях субъективности уже звучало это словечко, которое я называл мутным — активность. Вот ее надо обязательно учитывать при попытке понять, что же такое субъективность. В каком-то смысле они противоположности, хотя это никак не вытекает из прямых значений этих слов. Но тут за два века существования марксизма был наверчен такой клубок путаницы и искажений, что все вывернулось в свои противоположности многократно. Сам Властитель лжи позавидовал бы!

Но началось все не с Маркса, самые сливки умудрился слизнуть Гегель! Именно он первым укрутил субъект в нечто, чем может всему миру показать, кто всех умнее. Даже Ильич в тех же философских тетрадах писал, что *«невозможно полностью понять “Капитал” Маркса и особенно его первую главу, не изучив и не поняв всей гегелевской “Логики”. Следовательно, полвека спустя никто из марксистов не понял Маркса»*.

Это он писал около 1915 года, то есть как раз накануне революции, которую делали как раз на основе непонятого марксизма...

Думаю, как не понять всего марксизма без гегелевской «Логики», так и не понять марксистского отношения к субъективности, без гегелевской «Феноменологии духа», потому что это основная работа, в которой Георг Вильгельм Фридрих Гегель говорит о субъекте. Впервые издана в 1807 году.

Густав Шпет, переводя ее, писал о языке Гегеля:

«Перевод — не комментарий; и трудности, которые пришлось преодолеть переводчику, — особого рода. Прежде всего самый язык Гегеля, даже в устной речи шокировавший Шиллера и Гете. Но, несмотря на своеобразную лексику, небрежную конструкцию, стилистически причудливые обороты и сбивающие с толку повторения местоимений, — это язык заметно яркого стиля...» (Шпет, От переводчика, с. 5).

Заметно яркий стиль — это очень важно для философа, как заметно яркая прическа и одежда для обитателя эстрады. Это — униформа, профессиональная одежда, по которой встречают. Гегеля узнают как философа по первой странице любой его книге — мудрено! Значит, любитель мудрости писал...

И вот на этой почти недоступной пониманию основе Маркс построил свою революционную теорию! А потом марксисты так же здорово понимали Маркса! И это им, однако, не мешало проявлять революционную активность. Думаю, даже больше того: верую, ибо абсурдно, — очень выгодно, потому что позволяет делать то, что хочется тебе, но от имени бога или учителя.

Как бы там ни было, не поняв Гегеля, не понять марксизм. Поэтому я хочу посмотреть, как Гегель определяет субъект. Он делает это несколько раз на протяжении «Феноменологии духа», но если не считать за определения всяческие литературные выкрутасы, мысль его сводится к одному: субъект — это субстанция. А субстанция?.. это и есть субъект...

Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из самого Гегеля. Первый раз он касается субъекта и субстанции еще в Предисловии:

«[II. Развитие сознания до уровня науки. — 1. Понятие абсолютного как субъекта]. — На мой взгляд, который должен быть оправдан только изложением самой системы, все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект...

Живая субстанция, далее, есть бытие, которое поистине есть субъект или, что то же самое, которое поистине есть действительное бытие лишь постольку, поскольку она есть движение самоутверждения, или поскольку она есть опосредование становления для себя иною. Субстанция как субъект здесь чистая простая негативность, и именно поэтому она есть раздвоение простого, или противопологающее удвоение, которое опять-таки есть негация этого равнодушного различия и его противоположности...» (Гегель, с.15).

Простите, я не любитель сложной поэзии, остальное можете почитать сами. Могу лишь добавить к прочитанному, что гений, который сможет понять всю «Логикку» Гегеля и сумеет приложить ее к «Феноменологии духа», поймет, что все это вовсе не так уж глупо и может иметь место... Гениев таких бывает, судя по Марксу и Ленину, — один на эпоху, остальным же придется удовольствоваться ролью либо последователя, либо противника. Но понять, что такое для Гегеля субъект или субстанция из этого отрывка, как вы понимаете, нельзя, а он использует здесь эти слова впервые! Очевидно, дав исходные определения где-то раньше. Мы же должны сами позаботиться о том, чтобы понять великого...

Естественно, что революционные пропагандисты, неся это в пролетарские массы, не могли рассчитывать, что пробудят в этих массах понимание, поскольку сами тоже ничего не понимали. Но нести они продолжали. Значит, что-то было и в гегелевской зауми, и в необразованности Энгельса, и в путанице Маркса... Что? Нечто, что пугало и зачаровывало. Нечто, что пленяло души и увлекало их на поиски мечты и нового мира, мира, безусловно, духовного, где душам будет жить легче, как в раю...

Кстати, Маркс в «Тезисах о Фейербахе» тоже поминает субъект, возможно, именно в гегелевском смысле и весьма неожиданно:

«1. Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и феербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой».

Маркс умеет запутать! Его можно понять и так, что предмет, то есть объект, надо «брать» не созерцательно, а субъективно. Это неверное понимание. В действительности Маркс говорит: главный недостаток предшествующего материализма в том, что он рассматривает предмет (объект), действительность, чувственность только как объект, созерцая его, а не как человеческую деятельность, не как субъективность. И тем самым делит мир на материализм и субъективность, которая есть идеализм.

Остальное вообще понять нельзя, как и все остальные «тезисы». Да их и не пытались понять, потому что они — лишь небольшие пометки, в которых все высказано для себя, а потому непонятно. Поэтому из них просто взяли цитату — завершающий «тезис» — и предложили всем запомнить наизусть: *Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.*

Если взглядеться, в этот последний тезис, то в нем переход от нравственности к нравственной деятельности: марксист против созерцательности, он за активность и деятельность. Это не натяжка и не передергивание. В 1967 году «Философская энциклопедия» в статье «Партийность» вбивает гвоздь в крышку этого гроба, тем самым отсекая возможность каких-либо разночтений:

«Принцип партийности резюмирует противоположность марксизма всем созерцательным концепциям... Только с точки зрения деятельности, в которой общественный человек есть творец истории и (в этом смысле) самого себя, преодолевает превращение объяснения в оправдание» (ФЭ, т. 4, с. 218).

Партийность считалась философским принципом марксизма. Это, конечно, плохая оценка философии, но зато многое и даже очень многое объясняет, если мы спустимся на психологический уровень. Философия, а ею считался марксизм, была своего рода Небесами для всех идеологических работников Советского союза. С этих Небес, правда, не спускались директивы — это было делом Олимпа, то есть Политбюро ЦК КПСС во главе непосредственно с громовержцами, начиная со Сталина. Но с Небес спускались образы, которые нельзя было не принимать, потому что тогда начнут гроыхать директивы...

Образы эти, или, говоря интеллигентней, идеи, были общеобязательны, и соблюдение их было вопросом жизни или смерти. Поэтому психологов можно понять и простить. В то время. Не сейчас, когда они отказываются пересматривать собственную историю. А отказываясь смотреть в то постыдное для них время, они тем самым отказываются и понимать, как же пришли к тому, что имеют в их собственной теории.

Поэтому я кратко опишу ту Идею, из которой родилось запутанное понятие субъективности наших психологов.

Глава 3. Субъективность марксистов. Продолжение

Как я уже говорил, идея субъективности как предвзятости, пристрастности, односторонности и вообще ложности родилась в середине девятнадцатого века как пример действительного понимания Гегеля Марксом и марксистами. Как вы помните, Гегель считал, что субъект — это субстанция, но считал это в таких словах, что понять его верно смог только Маркс... если верить Ленину, конечно...

Верно ли это, я не знаю, потому что Гегеля не понимаю и поэтому предоставлю судить вам самим. Я привел одно определение из самого начала «Феноменологии духа», приведу второе из конца:

«Но лишь после того как он (дух — АШ) отрешился от последней (от индивидуальности — АШ) в образованности, сделал ее благодаря этому наличным бытием и провел ее через всякое наличное бытие, пришел к мысли о полезности и постиг в абсолютной свободе наличное бытие как свою волю; лишь после этого, таким образом, он извлекает мысль из своей самой внутренней глубины и провозглашает сущность как «я = я».

Но это «я = я» есть движение, которое рефлектируется в себя само; в самом деле, так как это равенство «я» себе самому противостоит этому чистому различию, которое, будучи различием чистым и в то же время предметным для знающей себя самости, должно быть выражено в виде времени, так что, подобно тому как прежде сущность была провозглашена единством мышления и протяжения, ее следовало бы понимать как единство мышления и времени; но предоставленное себе самому различие, лишенное покоя и опоры время, напротив, рушится само в себя; оно есть предметный покой протяжения, последнее же есть чистое равенство себе самому, «я».

— Или: «я» есть только самость, оно есть равенство самости с собой; но это равенство есть совершенное и непосредственное единство с самим собою, или: субъект есть в такой же мере субстанция» (Гегель, с. 407).

Я точно знаю, что есть люди, которые верят, что понимают Гегеля. И думаю, что его действительно можно понять. Но понял ли его Маркс, я не знаю. Как и Ленин. И сомневаюсь я в этом потому, что именно марксизм родил то понимание субъективности, которого наши психологи боятся как жупела.

Возьмем исходное понятие «субъект». В 2002 году «Краткий философский словарь» А.П. Алексеева дает ему такое определение:

«Субъект и объект. В теории познания субъект — это источник познавательной активности, объект — это то, на что направлена познавательная активность субъекта. Без субъекта нет и объекта».

«Краткий философский словарь» Розенталя и Юдина 1940 года дает, можно сказать, обратное этому определению:

«Субъект и объект. В философии под субъектом разумеется существо, одаренное сознанием и волей, познающее и действующее в соответствии с собственными целями. Субъекту противопоставляется объект как внешний предмет, на который направляется сознание и деятельность субъекта.

Идеалистическая философия говорит: “Нет объекта без субъекта”, то есть внешний мир не существует вне сознания и независимо от него. Диалектический материализм, наоборот, утверждает, что “объект существует независимо от субъекта”, следовательно, без материального бытия нет и не может быть никакого сознания».

Лично для меня — ошибаются и те и другие. Мой опыт говорит, что вещи, конечно же, существуют и тогда, когда я их не воспринимаю. Но вот жесткая зависимость сознания от материального бытия ощущается натяжкой,

хотя бы с точки зрения строгого рассуждения. Это: «диалектический материализм утверждает» — «следовательно», и не может быть ничего иного, — не вытекает из самого рассуждения. Утверждать можно что угодно, но действительность такова, какова она есть. И тут как раз и видно, что вещи существуют независимо от нашего желания, даже если это сознание. И даже независимо от воли ЦК или Политбюро...

Впрочем, это сейчас не так уж важно. Важнее то, что субъект, о котором идет речь, это *существо, одаренное сознанием и волей, познающее и действующее в соответствии с собственными целями*.

Думаю, что прикладные психологи поняли: спор идет как раз вокруг того существа, что придет к вам на прием. И описываются как раз те его свойства, которые позволяют психологии существовать как профессии. В сущности, речь идет о поведении, только это названо почему-то совсем другими именами. Любопытно, почему?

Определенная подсказка есть в русских словарях той поры, когда марксизм еще не стал определять наш язык. В 1902 году Чудинов пишет:

«Субъективный. Отличающийся личной точкой зрения на вещи, в противоположность объективному».

Отличающийся личной точкой зрения... Узнается? Чудинов — языковед, составитель словарей, но он не писатель, он хорошо знает, но все-таки плохо чувствует русский язык. Это определение не должно было стоять через запятую, потому что отличаться **личной** точкой зрения можно в противоположность **общественному**, а не объективному... А вот за такие поправки можно и в морду! Или на Соловки. Тут в дело вступает партийность и вопрос становится принципиальным.

Кстати, Даль тоже подсказывает. Просто вчитайтесь в то, как русские понимали субъективное в промежутке между Гегелем и Чернышевским:

«Субъективность. Состояние по прилагательному субъективный. Субъективность писателя, способность проникаться чужими мыслями и чувствами, ставить себя на место другого, со всеми свойствами его».

Вам не кажется, что раньше это называлось душевностью или душевной открытостью? Впрочем, эта подсказка не столь очевидная, достаточно того, что это понимание меняется, буквально, в ближайшие десятилетия после выхода Далевского словаря на то, что мы и застаем как правящее: субъективность — это предвзятость, лживость и проч., и проч...

Это не произошло само собой, это было сделано путем целенаправленной работы по изменению сознания наших людей. Работы, которой занималось огромное сообщество идеологов, то есть творцов и внедрителей идей, самых разных рангов. Вся эта работа отразилась в главном идеологическом справочнике развитого социализма — «Философской энциклопедии». В 1970 году крупнейший советский философ Лекторский пишет, явно учитывая пожелание Ленина исходить в понимании марксизма из Гегеля:

«Субъект (от лат. Subjectus — лежащий внизу, находящийся в основе) — носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид или социальная группа), источник активности, направленной на объект. С точки зре-

ния марксистской философии субъективный индивид выступает как субъект с присущим ему самосознанием (т.е. переживанием собственного “Я”) постольку, поскольку он в определенной мере овладел созданным человечеством миром культуры: орудиями предметно-практической деятельности, формами языка, логическими категориями, нормами нравственных и эстетических оценок и т.д.».

И дальше что-то про активность...

Вслед за этим тот же Лекторский дает определение субъективному. Хорошее, мне кажется, определение, философское:

«Субъективное — то, что свойственно субъекту или производно от его деятельности. В философии нового и новейшего времени субъективное нередко дуалистически противопоставляется объективному как некое “внутреннее” достояние субъекта внешней объективной реальности. При этом субъективное понимается как существующее в двух видах: как з н а н и е и как п е р е - ж и в а н и е субъектом самого себя, в отличие от окружающих существ и предметов.

Марксистская философия считает вопрос об отношении субъективного и объективного производным от проблемы субъекта и объекта, а сами категории субъективного и объективного — соотносительными, переходящими друг в друга».

Прекрасное определение: субъективное — это просто то, что свойственно человеку, как человеку. Попросту — это человеческое или человечность, если вспомнить Сократа. В том же смысле, в каком лошади свойственна лошадность...

Вот только я не понял последнего абзаца... А вы? Что там считает марксистская философия? Ну, гегельянцы! Умели же сказать, чтобы никто не понял!

А я объясню. Что считала и думала о субъективном марксистская философия, «Философская энциклопедия» объяснила в предыдущем томе, вышедшем в 1967 году. Сделала она это в статье Партийность. Там это звучит совсем не так невнятно.

Во-первых: *«Решение мировоззренческих проблем всегда партийно, а не нейтрально по отношению к борьбе прогресса и реакции, творческих сил обновления мира и косных сил традиции».*

Если вы не знаете, то напомним о том, что писал в главе о принципах врачей и натуралистов: именно в шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годах девятнадцатого века, то есть когда субъективное стало ложью, врачи и натуралисты пошли в народ, чтобы нести прогресс и воевать с традициями. И воюют до сих пор, вырезая русскую народную культуру, поскольку она вся традиционна... Вырезают именем прогресса, как суеверия и косность. И вырезали уже почти всё, чем была велика и прекрасна матушка Россия...

Партийность — вот чем была заменена человечность в марксистской философии, и это жуткое орудие!

«По генезису и механизму действия следует различать, с одной стороны, субъективистскую партийность, которая означает привнесение в философию извне готовых (в том числе взятых из обыденного сознания) предпосылок, подде-

жащих лишь “выражению” и идеологической разработке, и которая низводит философию до роли служанки религиозных, политических, юридических и иных идеологических сил и институтов; с другой стороны — объективную партийность, то есть направленность решения мировоззренческих проблем, обусловленную только предметом философского анализа.

Именно объективную партийность марксизм возвел в свой принцип».

Даже не буду говорить о том, насколько подло и лживо это звучит. Прием старый: обвинять того, кто виноват уж в том, что хочется мне кушать, в собственных грехах. Так легче возмущаться!

Но обращаю внимание на странное упоминание «обыденного сознания». Понятно ли, откуда не советуют привносить в философию предпосылок? Для прикладного психолога как раз это принципиально: объективная философия от лица партии не советовала брать предпосылок из жизни! Могли ли психологи ослушаться? И могла ли родиться из этого принципа наука, более далекая от жизни, чем наша академическая психология? За что боролись, в том и сидим...

Установка эта исходила еще от Маркса. Опуская ссылки на тома, приведу лишь текст ФЭ с цитатами. Как вы увидите, здесь уже всю применяется понятие «принципиальность»:

«Первая — это партийность беспринципности, “полная оглядок”; вторая — партийность принципиальности, обязывающая “...исследователя истины прямо стремиться к ней, не оглядываясь ни вправо, ни влево”. Первая старается “...приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошибалась), а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами...”, это — “низость в отношении науки”; вторая есть партийность самой науки».

Чудовищная, бесчеловечная машина Науки, творила свои войска руками и умами идеологов, которые беспринципно плевали на то, ошибается ли наука и как она ошибается: главное — не оглядываться ни вправо, ни влево, шагать по трупам и головам и ни в коем случае не прислушиваться к тому, что снаружи, где живут люди...

Естественно, наш Ильич не мог остаться в стороне от этой кормушки, крошившей тела и души, и тоже принял участие в борьбе против субъективизма. Это знамя подхватили из его рук те самые марксисты, которые, как он писал, через пятьдесят лет не поняли Маркса и построили социализм в отдельно замученной стране. Как жилось в ней психологии, мы знаем из истории. Эта наука едва не была запрещена полностью и едва-едва умолила убрать кованный сапог со своего хребта...

«В условиях социализма марксистский принцип партийности ориентирует на преодоление элементов субъективизма, как практического, подменяющего реальное решение реальных проблем администрированием, так и идеологического, подменяющего компетентный научный анализ суесловием».

Есть искушение посчитать, что, говоря «субъективизм», идеолог из «Философской энциклопедии» имел в виду лишь что-то философское, вроде

субъективного идеализма. Думаю, что одного упоминания администрирования достаточно, чтобы развеять эту иллюзию философичности. Хорошо ученые люди, читая такое, понимали все верно: от врага народа надо отречься всецело и в любых его проявлениях! Вот и попробуйте прочитать это не как философы из будущего, а как практичные и озабоченные выживанием психологи из той эпохи.

Ну и догадаться сами, у кого при чтении слов о какой-то науке, подменяющей научный анализ суесловием и субъективизмом, захолонуло сердца... И сделать вывод о том, как это сказалось на поведении целого сообщества.

Заключение субъективности

Вот такое неожиданное заключение я позволяю себе сделать: не было у слова субъективность того значения, за которое его избегают психологи: пристрастность, предвзятость, односторонность — определения, взятые, как вы помните, из психологических словарей Немова и Петровского. В этом значении, субъективность — слово исключительно русское, как и интеллигентность.

Но исходно субъективность означала всего лишь то, что свойственно человеку «как субъекту», то есть как деятелю! А уж если быть совсем точным в философском смысле, то исходно как Я, которое мыслит и тем достоверно доказывает свое существование. Именно так, потому что первым в европейской философии начал использовать и рассматривать это понятие именно Декарт, и именно он посчитал это «когито» (когито эрго сум — я мыслю, значит, я существую) единственным достоверным основанием для любого рассуждения...

И именно эту вершину достоверности марксизм превратил в вершину недостоверности в интересах своей партийной борьбы. Как вы думаете, почему? Ответ уже звучал в приведенных мною марксистских цитатах: потому что философским основанием марксизм избрал воинствующий материализм, как орудие уничтожения главной опоры существовавшей в то время Власти — Церкви. Чтобы осуществить переворот и занять место на Олимпе, надо было выбить из-под вражеского трона подпорки, поэтому уничтожали Церковь, а за ней и традиции — богов, суеверия, древние знания, культуру...

А Декарт верил в душу!

Именно поэтому метафизика, выросшая из его сомнений, была объявлена лжеучением и уничтожалась вместе с его подходами к пониманию мира. Субъективность, с которой воевали марксисты, не была просто личностной ненадежностью человека, это была ненадежность его души, как союзника в борьбе за власть. В сущности, ненависть к субъективности — это как раз ненависть к душе, как основному источнику суеверий и веры в божественность этого мира...

Если вы сомневаетесь в том, что субъективность в этом значении только русское понятие, сравните с тем, как это слово используется в европейских языках. Они все знают слова «субъективность» и «субъективное», но именно в том значении «принадлежащего субъекту», то есть как личное. Ни в одном из доступных мне словарей этого подчеркивания, что субъективное — это ложное, нет.

«Французско-русский словарь» Ганшиной просто переводит все производные французского *subjectif* через «субъективное». Перевод, конечно, плохой, но никаких дополнительных значений не указано, и это уже показательно.

«Англо-русский словарь» Мюллера либо делает то же самое, либо говорит о грамматическом подлежащем. «Новый большой англо-русский словарь» Апресяна и Медниковой повторяет то же самое. Наши словари будто не знают о том, что в других языках у слова субъективность могут быть дополнительные, оценочные значения, которые нам стоило бы знать и учитывать. Они переводят эти слова кальками, не утруждая себя мыслью о том, что мы поймем иностранцев не так, как они хотят, а вложив собственное понимание в их слово.

Один из толковых словарей английского языка — «Харраповский карманный словарь английского» Коллина приводит значения, которые, мне думается, ставят некий предел, дальше которого оценочность в использовании слова «субъективность» в английском не идет: «*subjektive — seen from your own point of view*». Это не предвзятый и не недостоверный — это всего лишь личностный: видимый с моей собственной точки зрения. И это никак не выходит за рамки философского понимания субъекта и за рамки культурно-исторической психологии: каждый имеет свое мнение и каждый видит мир со своей точки зрения и из своей культуры. И это истинный взгляд, хотя человек может ошибаться.

Декарт верил в душу и сомневался в том, что содержания его мыслей верно отражают мир, но не сомневался в достоверности того, что мыслит. Но высказал он это так, что заложил основы для скептической философии, то есть для философии сомнения. В сущности, именно он дал основания для такого презрительного понимания субъективности.

Субъект, то есть Я — безусловно есть, и Я безусловно мыслю, но то, что я мыслю, и то, как я мыслю, заслуживает только презрения. Это было основной, исходной мыслью его метода, и в силу этого должно было бы заслужить того же самого презрения и сомнения, его философию отрицали, а вот презрение и сомнение почему-то подхватили. Вот исходное рассуждение «Рассуждения о методе»:

«Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить себе, что все когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов.

Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы

я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии» (Декарт, Рассуждение, с. 268-269).

Рассуждение это слабое и уязвимое во многих своих положениях. К примеру, дикой натяжкой выглядит сомнение в том, что наши представления сомнительны, потому что могут привидеться нам и во сне. Очевидно, и настоящие деньги сразу же теряют свою покупательную способность, как только ребенок сможет их нарисовать, к примеру...

Понятно, что Декарт говорит всего лишь о толчке, который перекинул его к сомнению в действительности мира, которое впоследствии довел до предела Беркли. И сомнение во всем, что мы мыслим, можно рассматривать и самостоятельно, но все же это показатель качества самой способности рассуждать. Декарт еще только начинает, и потому в него желательно не стрелять — он играет, как умеет.

И самое главное, что умеет он логически, а не психологически. Он вдруг замечает, что сам мыслящий — Я или субъект — несомненен, и вместо того, чтобы уйти в осознание этого, вместо того, чтобы понять, как это есть и что это, он хватается новую игрушку и превращает ее в логический знак — начало цепи рассуждений!..

Вот прямо тут, можно сказать, в руках был миг осознания себя душой, — и бегом, бегом прочь, в поля, в песочницы, в детский сад... строить новую логику и завоевывать величие в глазах праздной и тупой толпы...

Вот так же и психологи обошлись с субъектом. Плевать на то, что слово плохое и, скорей, затемняет смысл. Оно все же имя и указующий перст, взглядишь в него, шагни за, заговори о том же самом на родном и понятном языке — и можно было стать психологом...

Глава 3. Субъект и его деятельность. Кавелин

О деятельности советские психологи писали много. Даже слишком. Настолько слишком, что одно упоминание психологического труда, посвященного деятельности, вызывает у выпускника психфака рвотные позывы... Безусловно, это связано с тем, что все эти психологические труды не имели отношения к психологии, а разворачивали марксистское понятие деятельности как активности субъекта по изменению окружающего мира, а через это по изменению себя...

Наблюдение это, безусловно, верное, но из него сделали, с одной стороны, догму, которую надо было лишь разжевывать и вкладывать в тупые головы пролетарских масс, а с другой — лом, которым с добавлением какой-то матери можно было взломать любую задачу психологического сообщества. К примеру, сделать докторскую или даже стать академиком. Кстати, академиком без этого стать точно было нельзя...

При этом за понятием деятельности, безусловно, есть психологическое содержание. Не такое огромное и ампириное, как его раздули в советское время, но важное и обязательное для понимания прикладника.

Кавелин пишет о деятельности задолго до того, как она стала знаменем прогресса. Поэтому он пишет кратко и просто, говоря лишь о том, что необходимо учесть, чтобы понять нравственность и нравственное поведение. Возможно, он что-то упускает, а в чем-то не прав. Но он — первый из русских психологов, кто поднял этот предмет. И поэтому его исследование деятельности, безусловно, является основанием для всей русской психологии. Его можно уточнять и, наверное, улучшать, но не признавать можно было лишь по крайней «субъективности» в том самом русском смысле предвзятости и научной нечистоплотности, что прижился у наших психологов и философов.

Кавелинскую теорию деятельности не приняли именно потому, что он разработал ее без марксизма и, в сущности, до марксистов. По крайней мере, в психологии. Но это вовсе не свидетельство ее ложности. Это всего лишь свидетельство его гениальности.

Итак, Кавелин в четвертой главе «Задач этики» сводит воедино все, что исследовал до этого: идеалы, принципы, мотивы, — чтобы объяснить, как устроена нравственная деятельность. Прежде он показывает, что нравственная деятельность есть деятельность субъективная. Как вы сейчас понимаете, не в том смысле, в каком понимают это выражение психологи, а в смысле философском: это деятельность субъекта. А субъект, если мы обратимся к философским первоисточкам, в частности, к Декарту, — это деятель или то Я, что осознается мною мыслящим, когда я заглядываю в себя.

Но чтобы понять, как это Я от мышления доходит до нравственности, психологу необходимо увидеть устройство той среды, которая и обеспечивает Я возможность проливаться в мир, меняя его и воплощая себя в культуре. Кавелин, верный культурно-историческому подходу, идет к этому средо-

точию жизни и деятельности Я от внешних вещей, которые и были названы под именами мотивов, принципов и идеалов.

Это не значит, что они творят Я, наоборот; но через них проще прийти к пониманию Я именно потому, что они снаружи и их легче понять. Кавелин идет по очевидностям и намеренно говорит так, чтобы его услышали даже злые и опасные в то время физиологи:

«Мы видели выше, что отличие человека от остальных животных состоит в том, что он действует по осознанным мотивам, то есть вследствие побуждений, идущих от него самого, в нем заключающихся и прошедших через его сознание» (Кавелин, Задачи этики, с. 951-952).

Откуда берутся эти побуждения? Из той самой «психической среды», что окружает душу и копится как внутренняя часть культуры, ее нематериальная часть. Это он описывал еще в «Задачах психологии».

«Побуждений такого рода великое множество, и они так же разнообразны, как и источники, из которых они возникают. Всякого рода наклонности и потребности, материальные и психические, нажитые или унаследованные, созданные самим человеком или вызванные в нем, сознательно или бессознательно, внешней обстановкой, обстоятельствами и влияниями, могут, пройдя через сознание, обратиться в психические мотивы.

Мы знаем также, что между мотивами те одерживают верх, которые сильнее» (Там же, с. 952).

Не надо забывать еще и о том, что пришедший к психологу человек, кроме вот такой каши из разнообразнейших желаний и потребностей, принесет и сдержанность, то есть неравномерное распределение силы своих побуждений. А это меняет суть задач, которые ему надо помочь решить. Когда он просто хочет чего-то и не может этого достичь, надо понять, какова задача, и показать ему слабость его разума, из-за которой задача и не решается. А значит, если нет сдержанности, задача психолога — обучать разум человека, помогать ему учиться думать.

Но сдержанность рождает скрытность. В итоге человек становится лживым и неровным. К примеру, научная педагогика, в отличие от народного воспитания, запрещает бить детей и интеллигентов, это запрещает и современное общественное мнение и закон вместе с карательными органами. Детей все равно бьют, без этого не получается, а значит, нельзя не бить. Просто потому, что дети проверяют родителей на искренность и делают многие вещи намеренно, чтобы понять, можно ли им верить. Это, так сказать, отрицательное доверие: сказал ударю, значит, должен ударить! И мир стал понятней. Но отрицательное доверие — это тоже доверие. И это доверие, возникающее между детьми и родителями.

Оно для ребенка — лишь продолжение отношений в песочнице, где вторгшегося в твой мир захватчика надо остановить любыми средствами, начиная с лопатки. И это естественно, как и во взаимоотношениях государств. Но посередине — между детьми и государством — естественность почему-то становится запретной. Наверное, так естественной науке было

проще управлять нами, насаждая противоестественность. В итоге, родители сдерживаются и копят желание ударить ребенка.

А когда все-таки делают это, то бьют сильнее, чем он заслужил, и обижают его. Сдержанный удар — совсем не то же самое, что вовремя отшлепать по попке и тут же простить, поскольку наказание уже свершилось. Естественное наказание воспринимается ребенком лишь как точное объяснение разуму, куда ходить нельзя. А вот сдерживавшийся удар, переросший в ненависть, оскорбляет и ранит душу. И все мы знаем по себе или другим, что не можем бить, потому что чувствуем: если ударю — убью! Попросту, сорвусь и ударю сильнее и разрушительней, чем хотел.

Мир, в котором правит естественная Наука, запрещает бить тела и учит бить в душу... Называется это воинское искусство интеллигентностью...

Это простой пример того, как сдержанность искажает наши желания и позывы. Она, конечно, тоже оправданна, поскольку, как пишет и Кавелин, я — не единственный человек на всем земном шаре. Я вынужден учитывать других людей и их желания, и сдерживать одни побуждения и усиливать другие. Какие? Именно те, что позволяют сдерживать первые. К примеру, позыв к выживанию в сообществе.

«Такая необходимость одинакова в применении к мотивам, порождаемым и животными потребностями и самыми идеальными стремлениями души.

Меня мучит голод, но я вынужден сдерживать себя и не отнимать нужную мне пищу у того, кому она принадлежит; мне до смерти не хочется оторваться от работы, которая занимает и радует меня; но у меня есть дела, которыми я должен заняться, или я знаю и чувствую, что мне необходимо отдохнуть, и бросаю свою работу» (Там же).

Из побуждений рождаются цели, которые и определяют нашу деятельность.

«Если ничто сильнейшему мотиву не мешает, он получит вид цели, и станет причиной целесообразного действия» (Там же, с. 953).

Кавелин еще много исследует то, как различные желания управляют этим, воздействуя на побуждения, но я опускаю эти тонкости, потому что их надо изучать в прикладной части КИ-психологии. Выделю лишь главное: в нас есть желания, которые побуждают нас к действиям. Но при этом желания эти увязаны в сложнейшую сетку, в которой исполнение одного зависит от другого. И это значит, что мы не можем прямо стремиться к тому, чего хотим, а должны соотносить это движение со множеством последствий, которые вызовем. В итоге, желаний много, а вот в цели, которые можно достигать, превращаются лишь те, которым мы это позволим.

«...у животных соображения не идут выше ближайшей потребности самосохранения и удовлетворения непосредственной нужды.

Человек, благодаря способности перерабатывать свои психические состояния в новые формы, подымается до самых далеких соображений, не имеющих с его мотивами никакой непосредственной связи, так что нужно внимательно проследить целый, иногда весьма длинный ряд выводов и заключений, чтобы от-

крыть отношение между ними и мотивами, которыми они управляют, которые регулируют.

Соображения лежат в основании того, что мы называем идеалами» (Там же).

Как вы понимаете, это прямой урок прикладному психологу, как ему вести исследование той задачи, с которой пришел к нему человек. Проскочить мимо такого исследования значит не понять человека. А понимать человека — это главное качество, которым должен обладать психолог. Тому, как понимать другого, надо обучаться осознанно и не жалея на это труда.

И если честно, то я считаю, что в университетах пониманию этого короткого абзаца Кавелина должно быть уделено хотя бы пара семестров. Хотя в действительности настоящий прикладной психолог будет совершенствоваться в этом годами...

Глава 4. Мотивы и идеалы деятельности

Соображения лежат в основе того, что мы называем идеалами... Это выражение Кавелина не так уж просто для понимания. Как и последующее разъяснение:

«Идеал есть то представление или понятие, которое связывает разрозненные мотивы в родно целое и дает им одно общее направление. Смотри по мотивам, идеалы бывают очень различны. Есть идеалы близкие, связывающие в одну группу одни наличные мотивы, — и более отдаленные, сводящие в один аккорд не одни настоящие мотивы, и те, которые являются потом» (Кавелин, Задачи этики, с. 953-954).

В чем здесь сложность? По крайней мере для меня она в том, что мое понятие об идеалах обратно сказанному: идеал служит исходной основой или движителем для множества побуждений. А Кавелин, как кажется, говорит об обратном, о том, что имеются разрозненные побуждения, из которых и рождается нечто их связывающее, что мы и называем идеалом.

Это не так, уже в следующих строках Кавелин скажет:

«Есть идеалы личные, индивидуальные, дающие мотивам строй в интересах только данного индивидуального лица, и более или менее общие, когда они отвечают интересам какой-нибудь группы людей — фамилии, племени, местного общества, сословия, народа, государства, всего человеческого рода. По свойству мысли подыматься по лестнице обобщений до самых высших отвлеченностей, каждый идеал, как бы он ни был узок и тесен, стремится подыскать для себя общие основания, оправдаться общими соображениями и тем постепенно обобщается» (Там же, с. 954).

Идеалы стремятся подыскивать для себя общие основания и так же они вбирают в себя побуждения. По крайней мере, так это видится наблюдателю.

Странность изложения как раз и связана с тем, что Кавелин пытается передать ощущение наблюдателя, пытающегося созерцать одновременно некий идеал и входящие в него побуждения и соображения. Идеал будто

соплетается из них, будто ткется, как некий сложный ковер, на котором изображено царство мечты...

Для наблюдателя естественнонаучного, который идет от тела, движение к идеалу и будет через побуждения или, на его языке, мотивы. Так же и для приверженца «положительной науки», то есть науки, исходящей из того, что дано, а не из того, что желанно. Кавелин же и относит себя к таковым.

Но приглядимся: вот Пушкин говорит, что его идеал хозяйка да шей горшок. О чем он говорит в действительности? Зная Пушкина, мы понимаем, что он говорит о чем-то совсем ином. Либо он, как полагается денди, издевается над общественным вкусом, либо он, как полагается великому художнику, мечтает о покое для творчества... И в том и в другом случае за словами и поступками мы найдем устремление к чему-то такому, что никак не рождается из желания поесть шей или не думать об их приготовлении, поскольку это забота хозяйки.

Он достиг такой творческой зрелости к этому времени, что смог сказать такое, что не по плечу ни одной посредственности. Он превзошел свою среду и смог говорить просто о самом великом, а это значит, он говорит простые слова не телом, а пребывая в величии своего духа. Он высказывает какие-то желания своей души и вполне мог бы сказать: теперь мне по душе тишина деревенского уединения. Однако душа не ест шей, а если и любитесь хозяйкой, то отнюдь не как телом, а тем, как эта женщина сумела воплотить идеал хозяйки...

Идеал — это нечто, что душа принесла с собой и лелеяла как смутную потребность не физического тела. Это нечто вызывало движение духа, заставляющее искать и творить иную жизнь. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...» Вот так идеал, живущий в нашей душе, вызывает к жизни случайным узнаванием и заставляет потом поменять всю жизнь, превращая ее в поиск мимолетного видения... Вся жизнь Пушкина-поэта была посвящена поиску этого идеала, и это отнюдь не был поиск женщин, это был поиск Женщины...

Как вы помните, нигилисты времен Чернышевского и Ленина, презирали Пушкина и тех романтиков, что читали его. Такой способ поведения казался слабачеством. Искать надо было не утонченных воспоминаний души, а того, что можно пощупать и расчленивать. Поиск идеалов продолжался, но теперь их нельзя было видеть и называть движениями души. Вот это и заставляет Кавелина идти от непосредственных жизненных потребностей и побуждений, убеждая носителей новой культуры делать следующий шаг созерцания. Там, за побуждениями, собирая их в некую цельность, — идеал!

Про то, что это — позыв души, Кавелин уж и не заикается.

Но мы психологи и смотрим на все только через душу. И понимаем: если душа позовет, человек сделает все, чтобы было по душе. Даже если не признает ее или считает уязвимым признаваться в том, что у него есть душа. Поэтому мы должны понимать: телесные потребности, как бы много их ни было, в идеал сложиться не могут. Просто потому, что тело успокаивается, получив свое. Для рождения идеала нужно нечто, что не удовлетворится

после того, как тело накормлено и обласкано. Нечто, что ищет более тонких наслаждений, выходящих за потребности.

А именно то, что пришло в этот мир затем, чтобы насладиться веществом, для чего ему и потребовалось приспособление, обладающие способностью к восприятию. Душам не дано испытывать то, что могут испытывать тела. Души проходят сквозь вещество, воспринимая его как призрачный мир. И лишь воплощенность дает им возможность насладиться этим прекрасным и яростным миром бушующим...

Ради этого стоит удовлетворить тело. Тогда оно успокаивается, как будто весь этот шумный бал случайно замирает на мгновение, и в эту щель безвременья проливается восприятие поэта или мистика, выхватывающее из мира то, что хочет почувствовать душа. Этими поэтами и мистиками бываем все мы в те мгновения, когда превышаем потребности удовлетворенных тел. Попросту, в такие мгновения все люди живут жизнью души.

Именно такие условия, которые позволяют так жить, и считаем мы идеальными для наших истинных желаний. Именно их и создаем, разматывая из себя, как паучок ниточку, цепью бесконечных задач: если я хочу этим наслаждаться, мне придется сделать то-то, то-то и то-то... а для этого необходимо...

И так далее, и так далее, и так далее... до телесных потребностей, без удовлетворения которых ничего невозможно. Вот так они и становятся некой основой для созидания идеальных условий нашей жизни. И при этом не имеют к идеалу никакого отношения. Точнее, они просто в другом мире и являются главной помехой для достижения идеала, поэтому человеку их неизбежно приходится учитывать и удовлетворять, если он хочет воплотить свой идеал жизни или найти идеал в избранном им человеке...

Этот поиск и это усилие — главное в жизни любого человека, который придет к прикладному психологу за помощью. Собственно говоря, именно видение этой битвы за идеал и лежит в основе искусства понимания другого. Об этом и говорит Кавелин:

«Но было бы ошибочно видеть в идеале только одну эту сторону, именно общую мысль, продукт мышления. Как предмет созерцания, возбуждающий в нас известные ощущения или чувства, мысль, представление еще не есть идеал; идеалом они становятся, когда вызывают деятельность, дают мотивам известный общий строй и руководят ими, направляя их так или иначе в виду известной цели» (Там же).

Этим наблюдением Кавелин подошел к понятию целеполагания, а я бы сказал, и целеустроения. Мы — чрезвычайно целеположные существа. Слово «цель» не русское, оно привилось у нас лишь в первой трети восемнадцатого века. Но сейчас оно очень хорошо передает состояние нацеленности человека на нечто, что его ведет. На идеал. Хотя раньше сказали бы: на достижение Мечты. О целеустроении надо говорить особо и много, поэтому я пока ограничусь лишь замечанием: Кавелин заметил важнейшее орудие приклад-

ной психологической работы. Без владения понятиями цели, целеполагания и целеустрояния понять человека и помочь ему невозможно.

«В этом смысле идеал и цель — синонимы; только словом цель — означает ближайший, непосредственный, практический идеал, а слово идеал — более отделенная и обширная цель, с ударением на общую мысль, которая всегда лежит в основании сознательной, осмысленной деятельности, но ступевывается в ближайших, практических поступках, и все ярче выступает вперед, чем цель отдаленнее, общее и обширнее» (Там же).

Если бы выразить эту мысль по-русски, а не на том языке, на котором Кавелин вынужден был говорить с современниками, то прозвучала бы она так: словом цель обозначается ближайшее желание, а словом идеал — отдаленная мечта. И чем больше мечта, тем она кажется менее достижимой...

Но Кавелин говорит, как говорит. Он решает задачу этики, а это значит, он занят прикладной задачей воздействия на нравы своей эпохи. Я не вправе от него требовать простого психологического языка. Мне приходится его понимать, потому что я принимаю ту задачу, которую он решал. Поэтому буду переводить для себя используемые им выражения, к тому же это позволит лучше понимать эпоху и культуру, в которой он творит.

Что же касается психологии, скрытой в его этике, то следующим шагом он переходит к деятельности:

«По различению предметов, на которые направлена сознательная деятельность, идеалы бывают субъективные и объективные. Это различие весьма существенно, но на него почти не обращают внимания, что не мало способствует путанице понятий, заслоняющей смысл этических учений.

Всякая сознательная деятельность может быть направлена или на условия и обстановку человеческого существования, или прямо и непосредственно на сознательные мотивы деятельности. В первом случае, цель ее — такая переделка условий и обстановки, чтоб они отвечали желаниям человека, благоприятствовали, или хотя бы не мешали, или менее мешали его интересам, выгодам и пользам, как он их понимает; во втором, задача — прямо, непосредственно действовать на самые мотивы, ослабить одни, усилить другие, соответственно цели или идеалу.

Конечный результат и объективной и субъективной деятельности один и тот же — произвести нужное, полезное или желательное человеку действие» (Там же, с. 955).

Итак, с чем бы ни пришел к психологу человек, он сражался за какую-то мечту, которая, если мы приглядимся, была душевной потребностью, и где-то на этом пути либо попал в ловушку, либо совершил ошибку. И в итоге не смог совершить действия так, чтобы получить желаемое...

Всё, других задач в психологии не бывает. Либо ошибка, либо ловушка. Ошибка — это слабость разума, который не смог решить задачу, выстроенную жизнью. Ловушка — это плохое знание мира, то есть слабо выстроенный образ мира, в котором и строятся условия для решения задач.

Разум, бьющийся за воплощение идеалов, то есть душевных потребностей, либо не владеет теми орудиями, с помощью которых мог бы решить эти задачи, либо не имеет всего необходимого для их решения, поскольку не познал мир и общество.

Чаще всего, именно общество, поскольку оно сложнее.

Все задачи, связанные с обществом, как миром, в котором живут наши души, — нравственные задачи.

Чтобы решать задачи мира, нужны знания, чтобы решать задачи общества — владение нравственностью, как прикладной наукой выживания в обществе.

«Нравственность и знание ведут человека, разными путями, к одной и той же главной, последней цели — возможному его удовлетворению и благополучию. Оба, в отдельности взятые, недостаточны и бессильны для достижения этой цели; только идя рука об руку они вместе представляют действительную, непобедимую силу» (Там же, с. 957).

Нельзя победить и достичь своей мечты в обществе, если не познал мир природы в достаточной мере. Как нельзя и сбежать от людей и жить только природной жизнью. Земля обучает наш разум в самом начале нашего пути, когда ребенок познает мир как явление стихийное. Но как только он понимает, что жить ему придется в обществе, эта часть разума становится основанием, — материком, — на которое ложатся знания об устройстве более сложного и тонкого мира — мира людей.

Но мир людей — это мир тел, обретших души... И только в этом случае деятельность тел становится нравственной. Животные нравственности не имеют.

Глава 5. Нравственные идеалы

Следующая, пятая глава «Задач этики» Кавелина уже гораздо больше этическая, чем психологическая. Поэтому подсказки психологу мне из нее придется извлекать. Они скрываются в понятии субъективных или нравственных идеалов.

Кавелин, строя этику, пытается говорить о том, как прививать эти идеалы, чтобы родилась «нравственная личность». Идеалы, которые он хотел бы привить, в сущности — христианские. И личность в итоге этих усилий должна родиться не нравственная, а высоконравственная, по сравнению с обычными людьми. Возможно ли это и чего будет стоить, я рассматривать не берусь. Я не этик, а психолог.

А как для психолога для меня ясно одно: нет человека, который бы не был личностью, и нет личности, которая не была бы нравственной. Человек, живущий в обществе, создает множество личин для защиты от него и для управления им и так творит себе личность. Сам способ творения личности, как вы понимаете, учитывает нравы общества и потому нравственен.

Вопрос не в том, отразилась ли общественная нравственность в личности — она там всегда и обязательно отразилась. Вопрос лишь в том, как она отразилась: послушно, как это бывает у хороших мальчиков и девочек, или наоборот, как сопротивление общественным требованиям, что создает плохих мальчиков и девочек. Кавелин, как этик, работает над тем, чтобы наше общество состояло из хороших людей. Оно, и правда, приятней...

Как психологи, мы будем исходить из того, что все люди обязательно нравственны, но лишь немногие высоконравственны, да и те не во всем дотягивают до собственных идеалов и до идеалов их воспитателей. Однако, вот ведь фокус! — даже те, кто осознает себя плохим мальчиком или девочкой, имеют идеалы высоконравственной личности. И это очевидно уже по тому, что оценить себя плохим можно только относительно знания какого-то хорошего поведения.

Человек, совершающий нарушение какого-то нравственного требования, знает, что заслуживает наказания с точки зрения общества. Сам он может быть с этим согласен или не согласен. И если он согласен, даже скрывая проступок, он будет непроизвольно искать наказания, а если не согласен, будет возмущаться. Как вы понимаете, и та и другая причина скрытности повлекут за собой разное поведение и тем выстроят разные задачи для психолога.

Не буду пока вдаваться тонкости прикладной работы, выложу ту нравственную основу, что разработал Кавелин. Итак:

«Настоящая суть этики — это субъективные идеалы, которые она ставит сознательной жизни и деятельности человека» (Кавелин, Задачи этики, с. 961).

Это, безусловно, прикладная задача: создать в сознании людей некие личные идеалы, которые поменяют их жизнь. И мы точно знаем, что это возможно и работает. И христианство, приходя в этот мир, вносило свои идеалы, и коммунизм идеалами увлек полмира на саморазрушение. Идеалы можно создавать и ставить сознанию. И люди в состоянии их принимать.

Может ли это делать психолог?

Конечно, ничто ему в этом не мешает, как и быть, скажем, экстрасенсом или гипнотизером и помогать людям, попросту меняя их личности. Но психологическая ли это задача? Будет ли такой подход соответствовать самому нашему предмету?

Думаю, ответ очевиден: какой-то особо одаренный психолог в своей работе может применить и то, и другое. Но перестанет быть психологом.

Прикладной психолог, если хочет работать чисто, должен идти от изучения души пришедшего к нему человека. И помогать он должен только в том, что нужно этой душе. Все остальное — навязывание своих представлений, в общем-то, тот же коммунизм или фашизм, если довести это до крайней степени развития. Да и вдумайтесь сами: какая же это помощь другой душе, если ты просто вынул из нее ее собственное содержание вместе с уроком, ради которого она пришла, и вставил, как дискету с программой,

нечто, удобное для тебя или общества?! С тем же успехом можно напоить человека успокоительными, как это делают психиатры с теми, кого не умеют лечить. И пусть ходит полутруп — убить, вроде бы, не убили... сажать не за что...

В общем, та часть этики, которая имеет отношение не к нравственности, а к высоконравственности, безусловно, оправдана в рамках этой науки, но никак не подходит психологии, поскольку подменяет ее предмет. Тем не менее, это надо знать, хотя бы для того, чтобы осознавать себя и свою науку:

«Характеристическая особенность всех этих идеалов та, что они имеют задачей и целью вывести человека из узкого, тесного круга обособленной индивидуальности и поднять его до идеального типа человека, — типа, сложившегося через отвлечение и обобщение качеств и свойств человеческой природы, признаваемых в данное время, при известных обстоятельствах и по господствующим понятиям и взглядам, за самые совершенные» (Там же).

Однако, осознание предмета психологии — не весь психологический взят, который извлекается из этических рассуждений Кавелина. В сущности, он описывает вторую сторону той задачи, с которой к вам пришел человек, — ее условия. Задача может не решаться только по двум причинам: либо разум человека недостаточно совершенен, либо он плохо знает мир, то есть не в состоянии учесть условий собственной задачи.

Как понять человека, Кавелин говорил в предыдущей главе, теперь он говорит о том, как понять условия его задачи. А что это за условия? Это всегда одно — Мир. Мир как природа, и мир как общество или сообщество. Кавелин, как юрист, всегда был государственным. И в своей Этике он, не замечая того, говорит от лица государства, невольно описывая устройство его нравственного воздействия через господствующие взгляды и понятия.

Но в любом сообществе будет то же самое. Оно точно так же будет «выводить человека из узкого, тесного круга обособленной индивидуальности», насаждая «идеальный тип» поведения, требующегося именно в этом сообществе. И воздействовать будет, либо насаждая господствующие взгляды и понятия, либо угрожая убить с помощью изгнания или уничтожения тела.

Чтобы понять человека, нужно понять, что его задача складывалась в подобных условиях, и он не справился, скорей всего, именно с тем, как променять свой идеал, свою душевную мечту на правильное поведение. Именно душевную, поскольку другие сбой, в которых не участвует душа, опять же не относятся к нашему предмету.

Я не буду рассказывать о том, какие идеалы Кавелин считал бы идеальными для создания из России идеального государства. Это взгляды его лично и его культуры. И вовсе не задача психолога выбирать из множества известных человечеству идеалов те, которые поддерживать. Его задача — помогать душе человека проходить свои уроки, а уроки так же различны, как и идеалы.

Но при всем этом я хочу показать, что мы часто не понимаем, насколько любые идеалы присутствуют в нас одновременно. И это нельзя не учитывать психологу.

Начну с плохих. Сейчас, когда весь мир играет в компьютерные игры, а это значит, когда в эти игры играют и все хорошие мальчики и девочки, видно, какую живую радость вызывает у них возможность сплутовать и обмануть своих врагов. Плут или вор — один из основных персонажей так называемых РПГ — ролевых игр. Как и убийца — то бишь воин — герой просто всех подобных игр.

И ведь мы никак не можем назвать всех, кто увлекается этими играми, плохими или безнравственными людьми. В жизни они одни, в мечтах и грезах — другие. И это означает, что идеал как мечта о жестокой или безнравственной (в смысле высоконравственности) личности живет в нас. Просто мы избрали другой путь, а игры используем как психотерапевтическую разгрузку.

Так же поразительно и то, как хорошие идеалы живут в самых плохих людях. Взять хотя бы тех же плутов и воров по жизни. Плут или трикстер — персонаж древнейшей мифологии. Народ постоянно восхищался ловким плутом и сохранил множество так называемых бытовых сказок, посвященных ворами и плутам. В мифологичности этого образа явно есть подсказка: он, говоря юнгиански, архетипичен, он — одно из оснований нашего разума. Приглядимся.

Кавелин призывает изменить мир:

«В числе этических идеалов на первом плане стоит стремление прежде всего к истине, правде и душевной красоте» (Там же).

Это то, чего еще нет, но к чему надо уйти. От чего?

«Везде, во всем, в глубине своей души и в сношениях с другими, стремясь прежде всего к истине, правде, душевной красоте. Ложь, обман, лицемерие, лукавство только кажутся самыми простыми, ближайшими средствами достижения практических целей; на самом деле, практический результат, сам по себе, как все объективное, не впрочем и легко изменяется, если он не закреплен нравственной стороной дела» (Там же, с. 962).

Уйти надо от лжи, обмана, в сущности, от плутовства.

Но есть огромное сообщество людей — блатной мир, — который, как кажется, весь построен на лжи, обмане и лукавстве. Относятся ли к нему требования Кавелина? Вот ведь поразительное чудо: внутри своего сообщества блатные живут по очень строгим нравственным понятиям. Пожалуй, даже по более жестким, чем у нас. Почему? Да потому, что они живут в более тесном мире, где беспредел просто поведет к аду.

Приведу всего один пример: отношение к крысятничеству — воровству у своих. Крыса, как вы понимаете, не может украсть много. Но застигнутый за крысятничеством подвергается жесточайшему наказанию, и внутренний, то есть нравственный запрет крысятничать тоже чрезвычайно силен. Почему?

Что обычно ворует «крыса»? Мелочи, вроде пачки сигарет или чая из тумбочки возле шконки, то есть кровати. В чем же ужас этого преступления? И почему потребовалось вырабатывать нравственное отвращение к подобным деяниям? Да потому, что тумбочки эти нельзя запирать. Они на виду,

они в тесном помещении, где все постоянно находятся рядом с ними, и если не будет нравственного запрета, то воровать из тумбочек будут всё и у всех. Даже блатные и воры в законе не окажутся защищены, потому что тюрьма есть тюрьма, и создать себе особые условия там не просто...

Точно таково же отношение к карточным шулерам. Их уважают строго по правилу: не за то бьют, что воровал, а за то, что попался. Иными словами, шулер имеет право передергивать лишь тогда, когда выступает бойцом от лица своего сообщества против чужих — терпил и фраеров, то есть внешних людей. Но обмануть своих — это преступление, за которое бьют страшно. Со своими надо играть честно.

И вот мы видим: целые сообщества, вроде блатных, цыган или банкиров, живут обманом чужих людей, но требуют чрезвычайной честности внутри себя. А за обман своих изгоняют или убивают. Заказывают, как сейчас это называется у банкиров.

Это значит, что идеалы честности живут во всех, и более того, они работают и могут вызывать болезненные душевные сломы, казалось бы, у самых бездушных людей. Почему?

Все потому же, что и эти идеалы архетипичны. То есть, как и идеалы плута и хитреца, живут в основании нашего разума с самого раннего нашего детства.

Кавелин не зря пишет, что ложь, обман, лукавство кажутся самыми простыми, ближайшими средствами достижения целей. Именно так это и происходит с разумом, когда он обучается и развивается. Пока разум животный, он просто пытается брать то, что хочет. Когда он понимает, что брать чужое нельзя, потому что за это бьют, он взрослеет и из животного становится детским. Тогда он продолжает брать чужое, но так, чтобы его не заметили: воруя или обманывая.

И лишь повзрослев, разум обнаруживает, что честно можно зарабатывать больше, а страдать меньше. Надо всего лишь познать Мир и его устройство...

Это естественные шаги в развитии разума, и потому они повторяются как в личном развитии каждого отдельного человека, так сказать, в онтогенезе, так и в общественном развитии, в филогенезе. Мы все прекрасно помним из истории, что ранние, молодые общества нисколько не стеснялись вести себя, как плохие дети. Вспомнить хоть тех же викингов, татаро-монгол, германцев или теперешних ортодоксальных мусульман и американцев.

Сумеет ли этика когда-либо перестроить сознание не только отдельных людей, но и больших детей, именуемых обществами, я судить не берусь. Но не знать устройства собственного и общественного мышления психолог не может. Без этого прикладные задачи не решаются.

Заключение

Любое поведение людей нравственно просто в силу того, что общества заставляют нас принимать свои нравы и вести в соответствии с ними. При этом общество постоянно воспитывает нас, принуждая быть «высоконравственными», то есть такими, какие более всего удобны обществу. Высоконравственное поведение поощряется окружающими людьми, которые хвалят хороших мальчиков и девочек и ругают плохих.

Воспитание настолько же привычно и всеобщее, как и питание. Мы привыкаем считать его некой средой, которая естественна для жизни. В действительности это совсем не естественная среда, это культура, то есть то, что культивируется, возвращается и питается целенаправленно, хотя и не совсем осознанно.

Кавелин завершает рассказ о нравственном поведении как раз советом воспитывать высококонравственные личности, то есть возвращать их с помощью воспитания, превращая хорошее поведение в привычки.

«Только воспитанием и беспрестанным упражнением мысль обращается в действительность, и их различие исчезает совсем: идеал становится действительностью, действительность — идеалом» (Кавелин, Задачи этики, с. 1017).

Не знаю, действителен ли этот совет в этическом отношении. Но с точки зрения психолога, воспитание, безусловно, повинно в большей части тех болезненных срывов, с которыми к психологу будут обращаться люди. Именно с его помощью общество пыталось сделать из мальчиков и девочек идеальных граждан, принуждая их постоянно упражнять свою мысль, превращая ее в образцы поведения.

В сущности, Кавелин в той части своей Этики, что посвящена пожеланиям о том, как надо прививать нравственность, просто описал то, как это и происходит в обществе. И значит, описал пути, которыми создаются ловушки для наших душ, превращающиеся в психологические задачи. Это подсказка, потому что пути в ловушку — это и пути из них. Надо только суметь прочитать Книгу судеб как вперед, так и назад.

Этим и должен овладеть прикладной психолог.

Как научиться читать судьбу человека? В общем-то, так же, как и научиться его понимать. Разница только в том, что понимать его надо в тех условиях, что сложились сейчас, когда он попал в беду. А вот судьба размазывалась клубочком-самокатом с самого раннего детства.

И записана она в нас воспитанием... можно сказать, мы впитываем ее с молоком матери, а потом съедаем с родительским хлебом... в итоге чего становимся тем, что ели...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ПИТАНИЕ ВОСПИТАНИЯ

Люди приходят к психологу, чтобы разобраться в своих душевных бедах, — без беды в психологе просто нет надобности. Это первое, что надо понимать в пришедшем, и это есть, даже если он изображает из себя сильного, независимого или тупого. Любой человек, кого судьба свела с психологом именно как с психологом, в беде, хотя может этого и не осознавать. Чаще всего потому, что запретил себе иметь душу. Разве это само по себе уже не беда?!

Однако беды эти, по сути своей, не более чем задачи. Причем всегда задачи для разума. И только!

Почему?

Думайте сами: душа бессмертна или, по крайней мере, не смертна на Земле. Тела уходят, а души воплощаются снова и снова, порой так много, что начинают вспоминать предыдущие жизни. При этом воплощаются они именно здесь, именно в земных условиях. А что это за условия?

Во-первых, это сама Земля, то есть природа. И одно это уже задача для разума, потому что в природных или физических условиях Земли нужно суметь выжить. Разум и есть орудие, обеспечивающее выживание в природе. Но что такое разум?

Подробно я сейчас о нем говорить не могу — для этого нужна отдельная книга. Но в самом кратком виде — это одно из проявлений ума. А ум — это способность сознания обтекать плотности знания. Конечно, знания о мире. Тела обтекают плотности действительного мира Земли, ум делает то же самое в воображении, обеспечивая телу возможность действительного избегания того, что его разрушит. Надо только понимать, что под «плотностями» подразумевается все, что может причинить вред.

Телу его могут причинить как твердые или острые предметы, так и огонь, холод, голод, жажда... Для тела это очень разные вещи, но вот для ума, который работает лишь с образами сознания, все они одинаковы, и мазыки называли их плотностями. Сознание течет, как поток, налетая на все, с чем сталкивается в мире, и делая с него отпечатки. Ум работает с этими отпечатками, обтекая те, что сообщают об опасности выживанию, и стремясь к тем, что его улучшают. Рыба ищет, где глубже, ум — где лучше...

Разум как раз и обеспечивает уму возможность такого обтекания, решая все сложные случаи как задачи. Разум легок и подвижен и может работать чрезвычайно быстро. Настолько быстро, что люди умудрились не просто выжить на Земле, но еще и пережить всех своих основных биологических врагов. Их разум был быстрее и глубже.

Но разум нужен лишь там, где задачи не повторяются, где даже похожие задачи всегда различны. Он нужен там, где всегда нужно думать.

И означает это, что разум и есть та среда, в которой воплощается душа, или которую воплощает душа, принося ее с собой в самые разные условия. Например, Земные. Принося, и ставя между собой и вещным миром, как некую свою защитную оболочку, которая позволяет ей выживать в самых разных мирах. Именно поэтому все беды, в которые душа попадает за время земной жизни — это задачи для разума... Он должен научиться обеспечивать душе выживание в любых условиях, в которых она захочет извлечь свой новый урок.

Однако когда мир-природа освоен, люди создают свой, искусственный мир, именуемый обществом. Но, как помните, в старину и общество звалось миром, как это звучит в знакомом нам всем выражении про крестьянскую общину: миром судили...

Общество оказывается гораздо опаснее природы. Природу можно познать и победить, общество хитрее, потому что его создают те, кто победил природу — самые страшные хищники этой планеты. И мы уже в раннем детстве понимаем, что выживать в природе мы достаточно научились, надо учиться выживать среди людей. И переносим свою способность обучаться на изучение общества.

Для этого мы создаем особое орудие — личность. В сущности — набор из множества личин, приспособленных решать самые важные для нас задачи, которые постоянно подсовывает общества. Именно постоянно. Личины рассчитаны только на те повторяющиеся задачи, для которых созданы. Это многообразные ключи для одного и того же замка. Вроде личины школьника. Она нужна, чтобы обеспечить выживание в школе, и будет действовать годы, пока вы не выйдете на свободу из этой душевной тюрьмы.

После этого личина школьника еще долго, возможно, дольше, чем годы ученичества, будет жить и медленно отмирать. Кому снились ужасные сны о том, что снова надо готовиться к выпускным экзаменам, а он не знает предмета, поймет меня...

Почему в обществе возможно жить заготовленными образцами поведения? Потому что с человеком, при всех его хитрости и коварстве, можно договориться, и все люди стремятся договариваться. Это позволяет переводить все лучшие находки разума, которыми тот решал какие-то общественные задачи, в образцы. Из образцов рождается мышление.

Мыслить, как видели это мазыки, — это *слить мы*. То есть думать так, чтобы учитывать общество. Кстати, и **смысл** — это то, что *меня с мы сливает*.

Как вы уже поняли из сказанного: разум всегда решает задачи так, как это нужно для понимания природы или стихии, в которой избрала жить душа. И задачи общественные он решает так, как если бы мир-общество был такой же стихией. Но в обществе, за счет способности людей договариваться и хранить договоры, превращая их в обычаи, многие задачи повторяются. Разум запоминает эти повторяющиеся задачи и вместо того, чтобы решать их каждый раз заново, просто извлекает из памяти лучшее решение.

Таким образом, мышлением оказывается одна из частей разума — а именно та, что не может думать, а использует уже готовые ответы. Ей нужно лишь узнавать задачи. Зачем?

Затем, чтобы провести по этим образам меня сквозь общественную ловушку. Так из мышления рождается поведение. Мышление ведет меня, или я веду себя в соответствии с мышлением.

Разум не умеет водить, он действует. И я действую, когда я в разуме.

Еще раз повторяю: о разуме надо говорить подробней, и я сделаю это в особой книге. Пока же моя задача лишь дать представление и позволить увидеть устройство нашего сознания в самых общих чертах, чтобы психолог сам мог проследить, как же сложилась та ловушка, в которую попал человек.

А складывается она обычно исторически. Иначе говоря, чаще всего ловушки, в которые попадают люди, выстроены ими самими, как неверные ключи к тем задачам, которые подсовывает жизнь. Человек, создавший себе наиболее удачные образцы поведения, не может поверить, что столько усилий пошло зря, и он не справляется с задачами этого мира.

Болезненней всего это видно на примере пенсионеров советского возраста. Как страшно они переживали то, что государство обещало им сытую и спокойную старость, да обмануло... Они переживают не из-за малых пенсий, в действительности. Они переживают из-за того, что жизнь прошла зря — их лучшие и страшно дорогие заготовки не работают... а ведь за них было плачено душой!

Большая часть поведенческих задач, с которыми люди приходят к психологу, связана именно с тем, что человек не в силах выбраться из собственной мышленческой ловушки. Его инструменты не работают, и он не знает, стоит ли продолжать эту жизнь, раз она не позволит достичь того, зачем избиралась.

Не забывайте: то, что наши души приходят сюда учиться и решать задачи самосовершенствования, может не осознаваться человеком, но тоска его настигнет. Жизнь вдруг становится бессмысленной и теряет ценность, человек мечется, пьет, рушит все вокруг себя... А всех-то дел — вспомнить, зачем пришел! И начать еще раз.

Образцы поведения не работают, когда надо думать. Как ключ, который не подходит. Его можно крутить и крутить в замочной скважине, но замок не откроется. Чтобы справиться с задачей, нужен пересмотр жизни, отказ от образцов и включение разума. Попросту говоря, надо заставить себя думать...

Это непросто, потому что думать нас не учили, а к тому же еще и отбили охоту, воспитав хорошо пригнанными к обществу винтиками и шестеренками. Чтобы вернуть способность думать, придется идти вспять и вскрывать слой за слоем те пробки и крышки, что общество наложило поверх нашего разума.

Вот для этого и надо иметь представление о том, как нас воспитывали и что такое воспитание.

Глава 1. Воспитание

О воспитании надо писать много и особо. Само по себе оно — не предмет психологии, а вполне самостоятельная наука. О ее важности говорит и то, какой отклик получила книга Ушинского «Человек как предмет воспитания», на которой до сих пор строится наша школа. При этом, как вы это поняли из главы, посвященной Ушинскому, он подменил действительное воспитание образованием, предложив сделать школу подготовительной ступенью к Науке. В смысле вхождения в научное сообщество. Почему школа и готовит к вступительным экзаменам в университеты.

Однако воспитание — это не то, что придумала наука для преобразования общества. Воспитание — искусство древнее и всегда живое, в отличие от Науки, которая может и исчезнуть на этой планете. Воспитание — это способ, каким общество обеспечивает свое выживание, обучая людей, как быть единым народом. В обычных обществах, то есть в обществах, живущих по обычаю, воспитание могло переходить в ученичество, если у ребенка явно проявлялись к нему задатки, но большая часть людей могла прожить жизнь лишь с помощью того, что вложило воспитание.

Через него народ передавал все, что было нужно для жизни человека. С учетом того, конечно, что при этом он вписан в общество и оно поддерживает его, как одного из своих. Выйти из общества в то время могли только совершенно выдающиеся личности, вроде колдунов и шаманов. В общем, потеря членства в обществе была подобна смерти... Вот почему воспитание связано с питанием и выживанием. Без него — смерть, а оно учит тому, как добывать пропитание себе и своим близким, и этого достаточно на самом исходном уровне. Это Основа или Начало человеческого развития.

Психологу того, что заложено в сознание человека воспитанием, не изменить и, вообще, ничего с этим не сделать. Это — как судьба. Сменить ее может только сам человек, но для этого он должен обладать невероятной силой. Единственное, что может и должен психолог, — понять, как же воспитание вписалось в сознание пришедшего к нему человека и повлияло на его поведение. Именно воспитание творит ту культуру, в которой мы живем. Причем как внешнюю, так и внутреннюю, отраженную в содержании нашего сознания. Поэтому о воспитании надо иметь общее понятие, и надо уметь разбираться в том, какое именно воспитание получил тот человек, что пришел к вам.

При этом надо учитывать, что общая часть у всех людей одной культуры, то есть одного народа, обязательно есть. Ее надо видеть как основной нравственный закон, по которому живет человек. Греки назвали бы его Этос. Мы — Мир. Он — тот исходный камень, вроде Амбера из романов Желязны, относительно которого строятся тени. А тени, как вы понимаете, — всегда искажения этого архетипа или образа.

Вот в этих искажениях и скрывается часто ответ на вопрос, почему жизнь человека пошла не так, как он хотел, и где искать причину ошибки, закрывшейся в его решение жизненных задач.

Я не хочу вдаваться в тему воспитания слишком подробно в этой книге. Поэтому просто привожу те главы, что уже писал для предыдущей книги. В них сказано все необходимое для понимания воспитания. Более глубокое изучение этой части нашего сознания возможно уже в рамках собственно прикладной психологии.

Итак, воспитание — настолько привычное слово, что мы вообще не понимаем, что оно значит. Мы просто никогда об этом не задумывались. И очень важно, что Пушкин говорит в «Онегине» именно о воспитании, — это дает понять, что воспитание пронизывает всю нашу жизнь. Хотя мы привычно относим его только к детству.

Мне кажется, что вообще никто и никогда не давал определения понятию «воспитание». Нет, конечно, словари о нем пишут, но я имею в виду развернутое определение, определение-описание, которое бы позволило начать исследование. Причина этого в том, что до прихода Науки в этом не было надобности, а с ее приходом умы заняты образованием и описывали только его.

Академический «Словарь русского языка» прямо относит воспитание к управлению поведением: «Навыки поведения, принятые семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной и личной жизни».

Воспитать же — «1. *Вырастить (дав образование, привив какие-либо навыки, правила поведения и т.п.). 2. Путем систематического воздействия, влияния сформировать чей-либо характер, какие-либо качества*».

Как вы видите, суть воспитания явно подменяется академическим умом на образование. При этом отчетливо проступает задача воздействовать, чтобы придать форму, образ — сформировать.

Полтора столетия назад Даль, который и сам был очень естественнонаучным человеком, все же понимал воспитание чуточку иначе:

«Воспитать, воспитывать кого, заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении вскармливать, возвращать (о растении), кормить и одевать до возраста; в высшем значении научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно».

Как видите, в старину в воспитание входило понятие об ученичестве, а сейчас оно заменено на понятие образования. И это не просто слова, это действительное различие между этими слоями нашего сознания.

Более того, даже когда вы пытаетесь защищать академическое образование, доказывая себе, что все же учились в это время и что были преподаватели, которые учили, а не только образовывали, вы говорите лишь о том, что внутри Образования сохраняется слой воспитания.

Именно отсюда известный всем мечтателям поиск Настоящего Учителя. Мы все ищем Учителей с большой буквы не только потому, что хотим чуда, но и потому, что в нас жив слой воспитания, где живет память о том, как нас учили жить.

Глава 2. Питание

В слове «воспитание» явственно звучит основа — питание. И Даль, и русские сказки отчетливо связывают воспитание с задачей «кормить ребенка до возраста». «Возраст» в данном случае — это обозначение того перехода, когда ребенок становится взрослым и может кормить себя сам. Попросту, самостоятельно выживать.

Ясно, что в разных мирах и разных обществах этот возраст должен наступать в разное время. Прокормить себя собирательством или охотой можно и в том возрасте, который мы называем сейчас подростковым. Беспризорники, живущие в больших городах и выживающие за счет попрошайничества и помоек, современный пример такого выживания.

Питание воспитания — это некое исходное Начало, заложенное в наше сознание и всегда присутствующее в нем как ядро, из которого растет личность. Если вдуматься, то питание это относится к телу, и это значит, что воспитание решает самую первую задачу, с которой воплощается душа: оно обеспечивает ей возможность дожить до своей главной задачи — Скумы, как называли ее мазыки.

Душа не сможет решить ту задачу и извлечь тот урок, ради которых пришла на Землю, если не будет иметь соответствующего орудия, обеспечивающего ей возможность просто приступить к решению этой задачи. Орудие это — тело, и его надо сначала взрастить и напитать жизненными соками, а потом обучить, чтобы однажды оно позволило приступить к главному.

Когда-то главное начиналось там, где воспитание переходило в ученичество. Почему я так считаю? Просто делая такое допущение как вывод из наблюдений за действительностью: наш мир движется именно через увеличение знаний, развитие познавательной способности от простого восприятия природы к воображаемым мирам. Когда-то ученичество было не по силам большей части нашего народа, и Петр первый приучал к нему силой. Чего стоит только знаменитые «сено-солома» для обозначения правого и левого!..

Затем даже великолепное профессиональное образование, о котором в прежние времена можно было только мечтать, стало презренным, а в профессионально-технические училища направляли из школ самых бездарных. А люди пошли дальше и выше, получая по нескольку высших образований. И вот мы живем в огромной «информационной деревне», а наши дети проводят половину жизни в виртуальных мирах, где решают какие-то важнейшие для себя задачи, уже непонятные родителям...

Человечество движется от питания тела, которое стало сейчас, в век изобилия, очень простым и легким делом, к жизни совсем не телесной. Мир все больше превращается в место жизни не для тел, а для душ... Хотя при этом кажется все более бездушным...

Как бы там ни было, когда-то главное начиналось там, где воспитание переходило в ученичество, потом там, где ученичество переходило в обра-

зование, а теперь, кажется, и эта грань потерялась. Похоже теперь главное начинается в компьютере, то есть в приспособлении, позволяющем не только жить воображением, но еще и сохранять эту «психическую среду» постоянно, тем самым превращая ее в Третий мир, после мира-природы и мира-общества...

Как бы там ни было, выжить современно, то есть за счет высокотехнологического производства, можно, только получив соответствующие знания, научившись обращаться с соответствующим источником жизненной силы, например, станком, машиной или компьютером. Мы не рассматриваем их с этой точки зрения, но если задуматься, профессиональное образование учит не просто тому, как работать на станке, а тому, как выживать, извлекая с помощью станка жизненную силу. Это надо осознавать, чтобы понять магические основы ученичества.

Выжить за счет общества, за счет самих общественных связей и общественного устройства еще сложнее. Тут нужно самому создать соответствующее орудие — оно называется либо Образом себя, либо Обликом и создается сейчас на основе Образа образованного человека. Вот в чем главная задача Образования.

Образование — вполне волшебная вещь, она не только учит, она сразу творит из человека совсем иное существо, существо следующего порядка, с вращенным в его сознание приспособлением для жизни в иных мирах, чем Земля. Образование, встроенное в интеллигента, — это что-то вроде крыла, искусственно привитого к живому телу. С помощью его летают в искусственных мирах, возвращенных поверх земли, как когда-то создавался рай...

Но все это возможно только в том случае, если ты воспитан, если тебя научили, как выживать на Материке, на той Земле, на которой мы растим сады цивилизации. Воспитание — это обучение тому, как прокормить себя до садов цивилизации и после того, как эти сады обсыплются, словно позолота с икон, и мир снова станет Древним...

Глава 3. Сила воспитания

Воспитание гораздо более действенно, чем образование. Для того, чтобы лишить образование силы, достаточно впустить в себя мысль о том, что образование — это искусственно привнесенный в тебя образ. Впустить — значит принять и осознать эту мысль. И тогда вся окружающая жизнь начнет подсовывать подтверждения, каждое из которых будет дополнительно разрушать очарование образования.

Что удивительно — при этом сохранится всё! И сам образ образованного человека, и все знания, которые были обретены вместе с образованием. Ты вовсе не станешь чем-то диким, невежественным и даже необразованным. Пропадет только ловушка, в которой держит нас наша бездумность.

Если же это освобождение придет до поступления в какой-нибудь из рассадников образования, вы пройдете это испытание, которым являются университеты, гораздо легче, просто получите нужные вам знания, легко сдадите все экзамены и обретете свидетельство, необходимое для жизни в этом обществе. И если будет нужно, сумеете выглядеть очень образованным человеком... не будучи человеком образования. Вот чудо! И это чудо чисто психологическое. Ничего другого за образованием нет.

С воспитанием так просто не распрощаться. Воспитание — это та основа, которая превращает живое существо в человека. Человек — это не прямоходящее без крыльев. Это общественное существо, которое все остальные узнают как человека. Собственно говоря, именно узнавание и делает нас людьми. Остальные, даже если имеют человеческие тела, нелюди. Если не боги, конечно...

Воспитание — обучение на человека. И это такая сила, что никаким осознанием его из себя не вытравить.

Но при этом, если вы решили стать прикладным психологом, вы не можете и не научитесь различать в себе и других этот слой культуры. Он — то, что надстроено над животно-телесной основой. И поскольку под этой основой лежат глубинные слои звериной сущности нашего тела, без сильного воздействия справиться с этим было невозможно. Воспитание — как толстая старая мозоль на ноге. Даже если ее удалить, она очень быстро восстановится. И с этим ничего не сделать. По крайней мере, в начале работы над собой. Но можно научиться видеть воспитание.

В сущности, воспитание выражается в определенном способе вести себя, то есть все в том же поведении, которое и является основным предметом той психологи, которая еще не в состоянии изучать душу прямым созерцанием. Все наши ведут себя определенно-узнаваемым образом. Каким — не столь важно. В каждой культуре своим. Важно лишь само искусство вождения себя. Это искусство, эти способы вождения — тени, которые отбрасывает душа на стену пещеры по имени общество.

В них — собранная поколениями мудрость, говорящая о том, как надо действовать, чтобы дожить однажды до главного. А поскольку главное — это то, зачем пришла душа, значит, как это ни странно, но именно в помехах душевности, которыми, по сути своей, является воспитание, спрятан путь к ней...

Его надо научиться видеть, как множественные слои вязкой сдержанности в себе. Просто попробуйте прямо сейчас сделать что-нибудь совершенно недопустимое, неприличное, и вы увидите, как вначале будете свободно двигаться внутри себя, а потом что-то вас остановит. Что-нибудь вроде мысли: ну, я уже попробовал... почти... Или: не дурак же я, чтобы такое делать при людях. Или просто непередаваемый словами страх и запрет...

Это и есть пути, которыми спелената наша душа. И называются они приличиями. А крепятся на Лицо. Именно Лицо Человеческое и есть тот

плод, который взращивается воспитанием. И это вовсе не просто словесное выражение. Лицо, точнее Человеческое лицо, которое требуют не терять, — сложная вязь мышечных напряжений, определяющих способы телесного движения, способы говорить, и способы думать — все, что и составляет понятие Поведения.

Пытаясь делать недопустимые для вас вещи, вы будете напрягать свое Человеческое лицо, и так научитесь его видеть. Если оно станет для вас видимым, дальше можно будет начать описывать сами уроки воспитания, которые в вас вкладывали, когда творили это Лицо.

Глава 4. Учиться, чтобы выжить

Как только вам становится виден слой воспитания в себе, как только вы начинаете узнавать свое Человеческое лицо, станут доступны главные тайны всей нашей способности учиться: в ее основе лежит задача выжить.

Мы учимся всю жизнь и всегда только потому, что избрали жить. И в итоге мы выживаем. И если человек жив, хоть и необразован, значит, он прекрасно учится, а образование ему не нужно. Образование вообще не нужно для выживания, если только ты не избрал выживать в среде образованных людей, куда без него не пускают.

Вот это понимание надо проверить по жизни, просто исследуя каждое проявление своей образованности или учености вопросом: а зачем я этому учился?

И вы увидите: с самого раннего детства вы отчетливо осознавали — либо я научусь этому, либо погибну. Иногда как живое существо. Иногда как член какого-то сообщества, то есть мирка. Иногда как образ себя, каким сам себя хотел сделать в этой жизни.

Но смерть неразлучная спутница всего обучения.

И это надо принять.

Смерть лучший советчик и единственный настоящий учитель на этой Земле.

Но это не единственная тайна.

Вторая тайна объясняет, почему один обладает низкой способностью обучаться, а второй — высокой. Суть ее в том, что выжить надо зачем-то.

Выжить надо как телу, но тело нужно душе для того, зачем она пришла сюда. Вот эта задача души, Скума, на языке мазыков, и определяет нашу способность обучения. Чем выше эта задача, тем выше и способность.

И это очень важно для психолога. Люди с низкой Скумой будут очень редко обращаться к психологу. Им просто не нужно ничего, кроме воспитания, для того, чтобы выживать и достигать поставленных целей.

Это надо увидеть: если к тебе, как к психологу, пришел человек, значит, его душевная задача выше, чем позволяет достичь воспитание. И сле-

дующее, что надо увидеть, что он выжил в этом мире, значит, воспитание ему дано правильное, обеспечивающее выживание. Но он почему-то доволен своей жизнью.

Сейчас даже неважно, почему. Это у каждого свое. Важно лишь видение того, что сознание человека уложено слоями: внизу — воспитание, скорее всего, такое же, как и у тебя, над ним ученичество, затем образование, а выше этого — та битва, которую мы обычно называем жизнью. Но это именно то пространство, в которое мы вступаем, когда посчитали, что достаточно подготовлены для главного. Это Поле Скумы!

Пусть чаще всего это будет выглядеть как самый обычный быт. Не попадитесь и не верьте — это поле битвы, на котором оттачиваются совершенства души. Там главное, причем настолько главное, что пронизывает жизнь человека насквозь и проявляется в бесконечном количестве мелких и мельчайших действий, событий, переживаний.

Мы стремимся к идеалам, мы хотим вершить большие дела, вроде парходов и небоскребов, делать открытия, достойные Нобелевской премии, творить романы или фильмы, меняющие мир... но души наши в это время ведут бесконечную битву за совершенство на главном поле сражений, ради которого и пришли. И битва эта за душевность...

Душевность же — это как лошадность или человечность, если вспомнить Сократа. То есть всего лишь за чистоту свойств того, что называется душой. Этой чистоты не достичь в крупных схватках просто потому, что в мелких складках надо промывать тонкими щеточками... вроде разборок на кухне или возвращения любви к собственной жене... Это — Скума, это тот смысл жизни, который теряют многие из обращающихся к психологу.

Человек, который отработывает самые простые и грубые душевные черты, удовлетворится воспитанием. Человек с задачей достичь утонченного совершенства души будет искать для нее среду, в которой отзовутся именно те ее грани, что не затронуло воспитание. Поэтому человечество и придумывает все новые способы развлечений, все новые технологии, и все новые орудия выживания.

Чтобы совершенствовать душу, надо выживать в тех мирах, где она отчетливо несовершенна. Впрочем, человек большой души, наверное, может удовлетвориться и самым простым бытом, потому что в каждом кусочке быта, как и в каждой частице мира, есть все...

Но он, скорее всего, и не придет к психологу. К психологу придет тот, чья Скума не исчерпывается возможностями, предоставляемыми воспитанием, но кто не может ее достичь, потому что на его пути оказались помехи. Где эти помехи?

Может показаться, — где-то в том мире, где он живет.

Там внешние обстоятельства, вроде тех потребностей, что не являются побуждениями или мотивами. Настоящие помехи в одном из тех слоев сознания, которые обрел человек за свою жизнь. Что-то мешает ему либо рассмотреть задачу, в которую он попал, либо решить ее. Вот это и есть предмет исследования для психолога.

По большому счету, мы не можем не рассмотреть то, что перед нами. Наше восприятие подобно зеркалу — оно всего лишь отражает, и значит, мы всегда всё видим. Как же получается, что мы не можем что-то рассмотреть?

Ответ прост: мы подменяем то, что перед нами, на что-то из своей памяти, из своего прошлого, в сущности, из культуры. Мы глядим на происходящее, а видим нечто, что вложено в наше сознание, и узнаем происходящее этим образом из прошлого. Чаще всего, как раз из воспитания. И очень многие из обращающихся к психологу скажут: я не могу принять того, что со мной происходит, потому что я не так воспитан...

Это и определяет задачу психолога: понять, что за задачу хочет решить человек, и найти помеху. А затем показать человеку, где эта помеха коренится в его сознании. Корень может жить где угодно и иметь самое различное происхождение. Он может войти в человека в бессознательном состоянии.

Но в любом случае воспитание будет отвечать за то, что человек его не осознает. Даже если какая-то вражеская спецслужба зазомбирровала вас под наркотиками или инопланетяне промыли вам сознание, человек одного воспитания будет замечать странности своего поведения, а человек другого — не будет.

Описывать, какие могут быть воспитания у разных людей, бессмысленно. Основа их все равно такая же, как у любого из нас, если мы росли в одной культуре. Но выявить те отличия, которые мешают человеку начать работу над собой, — это важнейшая задача в работе прикладника.

Попросту говоря, как только стало понятно, в какую беду попал человек и что он хочет, стоит просто спросить его: а почему он не справился с этим сам. Ведь человек, у которого нет помех, сможет решить любую задачу, которую подстроили ему его душа и судьба. Просто отступит, подумает, и начнет учиться, чтобы повисить свои способности. Как же получается, что многие люди не справляются со своими бедами?

Ответ в воспитании: в нем не заложили основ для самосовершенствования или заложили помехи ему. С них и надо начинать.

Для этого нужно всего лишь вытащить из человека описание той части его воспитания, которая не дала ему возможности рассмотреть задачу и начать самосовершенствование. Таким образом, он сам расскажет о своем воспитании все, что необходимо знать психологу.

И тогда станет ясно, только ли в воспитании дело, и можно будет перейти в следующие слои культуры, где может корениться помеха.

Заключение воспитания

Самое главное, что должен знать про воспитание психолог — это то, что оно не завершается никогда и не ограничивается детством! Тюремные воспитывают до самой старости, соседи не утомляются вкладывать в нас свое душевное тепло, про домашних не стоит и напоминать...

Мы воспитываем и воспитываем друг друга, чтобы жить однажды в обществе себе подобных, кем мы хотели бы видеть людей...

При этом сами мы можем быть далеко не идеальны, но постоянно занимаемся воспитанием других. Лишь немногие дорастают до осознанного самовоспитания. Что не значит, что самовоспитанием занимаются только они. Им занимаются все, потому что люди постоянно работают над собой и меняют себя. Даже самые тупые и злые...

Это так же, как и с нравственностью самых безнравственных сообществ. Все люди постоянно заняты воспитанием и изменением себя. Они постоянно возвращают в себе какие-то черты, и к тому же хотят видеть вокруг себя не тех, кто похож на их личности, а себе подобных, то есть подобных тому, что они осознают собой. Личности почему-то никем так не осознаются!

А что осознается мной? Тот душевный человек, который постоянно сражается за справедливость, за верность договорам, за честь и достоинство. Вот ведь шутка! Но самые бесчестные люди при этом всегда требуют честности и искренности от других. Они-то в этом разбираются!

Воспитание и самовоспитание с нами на всю жизнь. И поэтому человек, пришедший к психологу, способен измениться и вскормить в себе такую черту, которой не обладал ранее, вскормить именно как часть своего тела, взрастить, отрастить... К примеру, разум. Ему только надо понять, чего ему не хватает для решения его задач. И убрать помехи. Конечно, это будут части не физического тела, и даже не личности... хотя и там и тут изменения отразятся.

Чем же нужно обладать прикладному психологу, чтобы помочь человеку в его беде?

Если мы вдумаемся, то орудий у нас вовсе не так уж много: мы точно должны знать хотя бы самое общее устройство человека. Мы должны понимать, что устройство это всё направлено на обслуживание души. И мы должны уметь не только различать помехи, но и убирать их, то есть владеть очищением сознания. А после этого мы должны быть способны помочь человеку решить свою задачу. Для этого надо владеть Наукой думать...

Наука думать, то есть овладение собственным разумом и его совершенствование, лежит глубже воспитания, являясь его основой. Строится она прямо на Образе мира, который предшествует в нашем сознании всему — и личности, и нравственности, и поведению, и даже мировоззрению. Но о ней я здесь не пишу, потому что это особая тема, которой надо заниматься очень глубоко.

Вот, пожалуй, и всё. В общем. Подробней стоит говорить только при обучении прикладной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ СРЕДСТВА ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В Заключении предыдущего раздела я уже перечислил все те средства, которыми должен владеть прикладной психолог. Но не сказал одной важной вещи, с которой стоило бы начинать всю нашу учебу.

Психолог может помочь только тому, кто этого хочет. Когда дело касается души, нельзя ни помогать, ни лечить, ни благодетельствовать насильно. И не потому, что какой-то нравственный закон запрещает это, а просто потому, что опыт показывает: если человек сам не хочет, ты ему ни за что не поможешь.

Это значит, что среда, в которой работает прикладной психолог, гораздо уже той, в которой работают психиатры, психотерапевты и даже практические психологи. Им платят деньги не за то, что они исцеляют людей, а за то, что они их лечат. Прикладной психолог не может просто пускать пыль в глаза или тратить свое время на тех, кто хочет лечиться, но не вылечиться. Конечно, он может делать и это, но тогда он шарлатан, а не психолог. Тогда он ради денег потерял соответствие собственному имени и предмету, и эта книга не для него.

Психолог работает с идеальными сущностями, зовущимися по-русски образами. В этом смысле он идеалист и должен быть идеален в своих подходах и требованиях. Только тогда он начнет видеть душевную среду и сможет добиться успеха. Малейший слой лжи затуманивает видение, и дальше потянутся кривые, хитрые, не те дорожки... И будет утеряно главное.

А главное для психолога — познать душу! Не забыли?

Душа же — это как раз то, что обладает в нас видением. И чем ближе ты к душе, тем лучше твоё видение, тем оно ясней и чище. Если видение начало теряться, значит, ты сбился с пути... ты больше не психолог, ибо избрал другую цель в жизни.

Это просто и это до жестокости однозначно. Либо ты ищешь душу, либо ты не психолог! И я не хочу описывать то, кем ты станешь. Я предпочитаю заниматься психологией и психологами.

Но если ты психолог, ты не можешь не посвятить себя самопознанию. Вот главная тайна прикладной психологии. Ибо без этого ты не обретешь видение души и не познаешь ее.

Именно поэтому ты не будешь работать с теми, кто не хочет сам работать над собой, потому что работать над собой психологически — это познавать себя и совершенствовать свою душу.

Заключение

Но чтобы помогать в этом другим, надо этим владеть.
Доктор, исцели себя сам...

А что касается средств и орудий, то они названы. Это знание устройства человека, очищение и наука думать. О них я написал в других книгах и не хочу писать в этой. Даже если я очень много недосказал, все же пересказывать кратко то, что уже сказано достаточно, бессмысленно. Действительно избравший прикладную психологию, всё найдет сам.

А в остальном *sapienti sat*.

УКАЗАТЕЛИ*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрамова А. 206.**
Августодунский Г. 48.
Австрия 189,
Александр I 186.
Александр II 186, 199.
Алексеев А.П. 299.
Америка 3, 4.
Амстердам 157, 172.
Анаксимандр 154, 156.
Англия 111, 154, 171, 238, 245.
Антонович М.А. 113, 215.
Апресян Р.Г. 101, 109, 111, 112, 131, 304.
Аравия 92,
Аристотель 36, 74, 98-103, 105-108, 110, 114,
120, 132, 154, 155, 159-161, 172, 175, 239, 287,
295.
Аристофан 99.
Аткинсон Р.Л. 230, 231.
Ауэрбах А. 60.
Афины 103.
- Базаров Евгений 196, 197, 200-203, 215.
Байрон Ч.Г. 176, 190, 292.
Бачинин В.А. 19.
Бейль П. 154, 247.
Белинский В.Г. 153, 176, 194-196, 200, 215.
Бентам И. 111, 196, 202, 207, **256**.
Бергсон А. 254.
Беркли Дж. 166, 305.
Бернет Дж. 101, 102.
Бернье Ф. 172.
Божович Л.И. 228.
Бойль Р. 172, 264.
Болдуин Д. 237.
Брагинская Н. 101.
Бруно Дж. 214, 267.
Брушлинский А.В. 294.
Бэкон Ф. 183, 259, 265.
Бэн А. 108, 260.
Бюхнер Л. 198, 201, 202, 212, 215, 219.
- Введенский А.И. 198-200.
Велланский Д.М. 199.
Вилюнас В.К. 228.
Виндельбанд В. 75.
- Владимирская губ. 4, 62.
Владиславлев М.И. 198.
Вольф Х. 245.
Востриков А. 191.
Вундт В. 3, **233**, 286.
Выготский Л.С. 3, 4, **135**, 231, 232.
Вяземский П.А. 191.
- Галилей Г. 214, 267.
Галич А. 198.
Гассенди П. 172.
Гаусс К.Ф. 277.
Гегель Г.В.Ф. 99, 109, 124, 154, 191, 193, 238,
295-300.
Гельмгольц Г.Л.Ф. 113, 204.
Гераклит 101, 114-116.
Герbart И.Ф. 245.
Германия 126, 154, 183, 186, 200, 232.
Герцен А.И. 194, 198.
Гете И.В. 159, 296.
Гефдинг Г. 232, **233**.
Гоббс Т. 171, 207, 265.
Голландия 264, 267.
Головин С. Ю. 60, 96.
Гримм Я. 61.
Грязнов А.Ф. 261.
Губский Е.Ф. 109, 154.
Гумбольдт В. 47, 78, 79.
Гусейнов А.А. 98, 101, 109, 111, 112, 114, 115.
- Даламбер Ж.Л. 52.
Даль Вл.И. 73, 104, 134, 293, 300, 324.
Данилевский Н.Я. 189.
Дания 189.
Декарт Р. 155, 156, **157**, **162**, 167-173, 183,
214, 239, 241, 246-250, 264, **267**, 287, 303-306.
Демокрит 116, 172.
Дидро Д. 52.
Достоевский Ф.М. 111, 112, 192.
Дьюсбери Д. 228.
- Евдокс 168.
Европа 3, 10, 38, 79, 88, 92, 103, 111, 118,
163, 167, 176, 181, 182, 185, 189, 193, 201,
209, 210, 215, 267.

* Указатели составлены Е.Н.Самойленко и М.А.Матвеевой, при участии Е.А.Кузнецовой.

** Цифры обозначают номера страниц.

Указатели

- Екатерина II 111.
- Жуковский В.А. 194.
Жулия Дидье 140.
- Зинченко В.П. 19, 20, 58, 96, 131, 230, 293.
- Иванов Вл.Г. 100.
Иванов Вяч.Вс. 85.
Ивановская обл. 62.
Ивин А. 57.
Иконников С. 134.
Ильин Е.П. 227, 228.
Индия 92, 134.
- Йегер В. 107.
- Кавелин К.Д. 4, 20, 25, 28, **30**, 33-37, 41, 75, **110**, **117**, **119**, **124**, **127**, 131-134, **143**, 145-153, 157, 176, **220**, 223, 227, 232, 237-239, 245, **271**, **275**, 279-281, 285, 286, 288, 290, 291, **306**, 309-318.
Калкидий 116.
Кант И. 99, 105-107, 110, 128, 132, **139**, 143, 148, 154, 155, 174, **176**, 182-184, 191, 193, 195, 220, **237**, 246, 249.
Карпов В.Н. 6.
Квинси Т. де 192.
Кессиди Ф. 107.
Кирсанов Аркадий 196, 198, 201.
Кирсанов Павел Петрович 201.
Ключевский В.О. 8.
Ковалев А.Г. 228.
Ковровский р-он 4.
Козлов А. 111.
Кондорсе Ж.А. 256.
Конт О. 110, 113, 123, 176, 183, 207, 220, 257.
Копорулина В.Н. 60, 96, 293.
Кордуэлл М. 60.
Корнилов К.Н. 231.
Корсини Р. 60.
Коул М. 3.
Кропоткин П.А., кн. 75, 111, 199, 202.
Крутов Н.Н. 105.
Ксенофонт 99.
Кузнецов В.Г. 54.
- Лейбниц Г.В. 154, 156, **170**, 176, 183, 239, 241, 245, **246**, 272, 295.
Лейпциг 286.
Лекторский В. 300, 301.
Ленин В.И. 54, 55, 79, 110, 111, 134, 139, 146, 153, 182, 207, 213, 215, 295, 297-299, 310.
Ленский («Евг.Онег.») 176, 190.
Леонтьев А.Н. 228, 230-236, 240, 244, **252**, 256, 258, 264, 265, 278.
Лермонтов М.Ю. 118, 189, 190.
- Лобачевский Н.И. 5.
Локк Дж. 155, 163, 164, 166, **167**, 171-173, 175, 176, 183, 207, 218, 219, 238-241, 246, 261, **264**, 268, 272.
Локки 72.
Лонэ Жиль де 172.
Лосский Н. 75.
Лотман Ю.М. 190, 191.
Лотце Р.Г. 218, 219, 234.
Лурья А.Р. 231, 232.
- Македонский Александр 100, 128.
Макиавелли Н. 190.
Маковельский А.О. 114, 115.
Максимович М.А. 199.
Маркс К. 54, 204, 205, 207, 212, 278, 296-299, 302.
Марченко Н. 190.
Маслоу А. 228, 230.
Мешеряков Б. 19, 58-60, 96, 131, 230, 293.
Милль Дж. Стюарт 75, 107, 111, 112, 197, 202, 204, 208, 210, 238, 255, **256**, 259, 261.
Милль Джеймс 108, **259**, 261-263.
Мильтон Дж. 207.
Молешот Я. 201.
Монтескье Ш.Л. 207.
Москва 193, 198.
Моуди Р. 18.
Мур Д. 155.
Мюллер М. 61, 304.
- Нарский И. 168, 172.
Некрасов Н.А. 194.
Немов Р.С. 60, 96, 150, 151, 294, 303.
Николай I 186.
Ницше Ф. 75, 99.
Ньютон И. 84, 140, 208.
- Одоевский Вл. 194.
Ожегов С.И. 53, 78, 96, 130, 151.
Онегин Евгений 176, 190.
- Павел, имп. 186, 198.
Павлов И.П. 4, 199.
Панаев И.И. 194.
Париж 154.
Перовская Софья 199, 200, 215.
Пестов А. 185.
Петербург 112, 195.
Петр I 79, 88, 118, 186, 187, 189, 215, 324.
Петровский А.В. 19, 20, 58, 96, 131, 295, 303.
Печорин 190.
Платон 26, 99, 100, 107, 132, 134, 140-143, 148, 159, 160, 165, 169, 172.
Платонов К.К. 228.
Плотин 116.
Пруссия 189.

- Пушкин А.С. 122, 186, 187, 190-192, 194-198, 215, 310, 323.
- Радлов Э.Л. 53, 54, 106, 134, 155, 156, 170, 182, 183, 185, 229, 232, 235.
- Разин А.В. 97, 99, 109.
- Ребер А. 60, 150, 294.
- Рембо А. 292.
- Рид Т. 218, 219.
- Риккерт Г. 59, 75.
- Рим 103, 104.
- Риман Б. 5.
- Рожанский И. 115.
- Розанов В.В. 117, 118.
- Розенталь М. 299.
- Россия 31, 38, 53, 58, 60, 79, 80, 86, 88, 90, 93, 102, 103, 111-113, 118, 119, 145, 146, 152, 157, 170, 173, 176, 181-183, 185-196, 198, 199, 201-203, 206, 214, 215, 220, 232, 252, 259, 261, 293, 315.
- Рубинштейн С.Л. **135**.
- Рудик П.А. 228.
- Руссо Ж.-Ж. 207.
- Русь 95, 187, 260.
- Савинский р-он 4.
- Салтыков-Щедрин М.Е. 131.
- Самарин Ю.Ф. 117.
- Сахаров А. 85.
- Сеченов И.М. 30, 80, 91, 112, 113, 134, 153, 195, 196, 201, 203, 204, 212, 218, 256, 280.
- Советский Союз 4, 15, 81, 112, 168, 254, 255, 258, 298.
- Соединенные Штаты 81, 210.
- Сократ 36, 99, 100, 115, 116, 134, 142, 301.
- Соловьев Вл. 75, 183, 189.
- Соссюр Ф. 34.
- Спенсер Г. 110.
- Спиноза Б. 140, 241, 246, 264.
- Срезневский И.И. 104.
- Сталин И.В. 54, 136, 139, 186, 213, 298.
- Станкевич Н.В. 194.
- Степанов С. 96.
- Стобей И. 114, 116.
- Суворов О. 154.
- Теофил 171, 173, 174, 175.
- Толстой Л.Н. 111, 192.
- Трофимов И. 19, 20.
- Тургенев И.С. 153, 157, 192, 194, 196-198, 200, 202, 215, 277.
- Турция 189.
- Тынянов Ю.Н. 192.
- Ушаков Д.Н. 52, 53, 132, 293.
- Ушинский К.Д. 131, **212**, 322.
- Фасмер М. 154.
- Фейербах Л. 295.
- Фигнер А.С. 191.
- Филалет 171, 173-175.
- Фихте Г. 154, **182**, 193.
- Фонвизин Д.И. 51.
- Франция 79, 154, 171, 173, 182, 186, 245, 261.
- Фрейд З. 96, 276.
- Хекхаузен Х. 228.
- Хомяков А.С. 194.
- Цицерон 103.
- Чаадаев П.Я. 111, 187-189, 191, 192.
- Челпанов Г.И. 231-233.
- Черных П.Я. 153.
- Чернышевский Н.Г. 30, 80, 111-113, 134, 182, 192, 194, 195, 197, 200-202, 212, 214-216, 218, 255, 256, 300, 310.
- Чехов А.П. 173.
- Чудинов А.Н. 300.
- Шведова Н.Ю. 53, 96, 130, 151.
- Шекспир В. 72.
- Шелер М. 75.
- Шеллинг Ф. 124, 154, **182**, 187, 191, 193, 199.
- Шиллер Ф. 296.
- Ширинский-Шихматов П.А. 194.
- Шлейермахер Ф. 47, 53.
- Шпет Г.Г. 296.
- д'Экштейн, барон 187.
- Энгельс Ф. 278, 297.
- Эшли, лорд 264.
- Югославия 189.
- Юдин П. 299.
- Юм Д.— 183, 259, **261**.
- Юркевич П.Д. 205-207, 210, 215.
- Эльконин Б.Д. 135.
- Ярошевский М.Г. 20, 58, 96, 131, 203, 295.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Principium 156, 157.
Triebfeder 237, 245.
- Ад 13, 215.
Академия 80, 98, 99.
Аксиология 57.
Активность 295, 296, 300.
Антропология 3, 216.
Аристократизм 90, 197, 198.
Аристократия 186.
Аристократы 89, 90, 187.
Арифметика 164.
Архетип 322.
Архэ 155-157.
Ассоциации 259, 260-262.
Аффект 235, 237, 263.
- Бездеятельность 215.
Бездумность 16.
Бездуховность 16.
Безнравственность 157.
Безысходность 193.
Бес 73.
Беспокойство 86.
Бессмертие 140, 172.
Бессознательное 171, 272, 280.
Беспринципность 302.
Библиотеки 85.
Биомасса 208, 209.
Биомашины 15.
Битва 51, 74, 80, 123, 132, 181, 192, 202, 328.
Битва Богов 134.
Битва за мир **42**.
Бихевиоризм 9, 20.
Благо 102, 134.
Блаженство 73, 74, 133.
Бог 24, 31, 55, 73, 79, 81, 83, 86, 89, 92, 93, 116, 156, 165, 173, 174, 185, 202, 208, 224, 242, 247, 249, 250.
Богатая внутренняя жизнь 18.
Бодрствование 39.
Божественность 116, 174, 303.
Божество 101, 114-116, 134, 142.
Боль 14, 64, 74, 128, 193, 222, 259, 273.
Большой взрыв 84.
Борьба 86.
Борьба за выживание 35.
Бояре 186.
Боярство 215.
Брань 88.
Бретерство 192.
Бретеры 176, 192.
Буддизм 121.
- Буриданов осел 247, 248, 283.
Быт 328.
Бытие 182, 299.
- Ведогонец 40.
Ведогонь 38.
Век разума 288.
Вера 14, 80, 158, 196, 202.
Вершина мира 47, 63, 75.
Вечность 44.
Вещественность 142, 280.
Вещество 26, 29, 33, 36, 204, 213, 272, 277, 280, 281, 311.
Вещь 26, 33, 35, 68, 95, 142-144, 165, 184, 264.
Взгляд 55, 57, 67, 68, 151.
Взрачивание 213.
Въдение 41, 331.
Вино 15.
Власть 78, 93, 102, 213, 214, 303.
Внешнее устройство 14.
Внешние чувства 31.
Внешний мир 31, 32.
Внимание 18, 43.
Внутреннее зрение 33.
Внутренние чувства 31.
Внутренний взор 41.
Внутренний мир 17, 100.
Внутренний человек 17.
Внутренняя жизнь 21.
Водма, Водьяма 47, 63, 65, 66, 69, 149.
Водмать 63.
Водьяма см. Водма.
Возбуждение 276, 278, 281.
Возвращение 73.
Воздействие 48.
Возмущение 211.
Возраст 324.
Возрождение (эпоха) 103, 229.
Волевые процессы 235.
Волоха 29, 37.
Волшебник 13.
Волшебство 13.
Воля 181, 223-226, 233, 234, 236, 240, 244, 245, 265, 271, 274.
Воля Божья 224, 225.
Воображение 18, 86, 144, 289.
Воплощение 33, 39, 41, 42, 44, 47, 70, 95, 118, 138, 141, 169, 180, 221, 275.
Воплощенность 142, 311.
Вор 72, 316.
Воспитание 76, 87, 88, 131, 135, 213, 214, 216, 217, 219, 307, 318, **322**, 324, **325**, 327-330.

- Воспоминания 34, 141, 142, 175, 310.
Восприимчивость 266.
Восприятие 36, 41-43, 56, 161, 163, 272, 288, 311, 329.
Вошенная дощечка 36.
Впечатления 31, 32, 35, 36, 41, 42, 44, 47, 124, 166, 167, 174, 242, 250, 265, 269, 278, 281, 282, 288.
Врачи 200, 202, 214, 301.
Вред 319.
Врожденные знания 175.
Врожденные идеи 171-173, 264.
Вселенная 48, 84, 85, 95.
Вульгарный марксизм 295.
Выбор 15, 16, 23, 68, 69, 73, 88, 122, 223-225, 257, 265, 279, 281, 293.
Вывод 159, 160.
Выгода 93, 112, 211.
Выживание 24, 35, 42, 45, 78, 86, 167, 284, 286, 320, 322, 328.
Вырей 44.
Высоконравственность 315, 316.
Высшее образование 79, 324.
- Гармония 247, 250, 251.
Гвор 41.
Гекатонхейры 207.
Гений 115.
География 51.
Геометрия 164.
Героический эпос 49.
Гипнотизер 314.
Глупость 289.
Голова 25.
Горние стрелки 158.
Государство 14, 100, 103, 111, 121, 214, 315.
Гражданин 100.
Греки 115, 128, 155, 322.
Грядки 65.
- Даймон 115, 116.
Даймонион 115.
Дао 155.
Движение 86, 245, 252-254, 263, 265, 266, 269, 270, 277.
Движение значений 252, 253.
Дворянство 118, 186, 187, 189.
Дедукция 160, 161, 163.
Действенное мировоззрение 66.
Действительность 18, 55, 59, 91, 125, 132, 133, 145, 149, 159, 160, 173, 288, 304, 305.
Действия 19-21, 120, 148, 167, 232, 235, 240, 246, 249, 254, 258, 260, 265, 269, 283, 289.
Декабристы 186, 188, 191.
Демократы 89.
Демон 115.
- Денди 190, 191, 196, 310.
Дендизм 189, 190, 192.
Дети 144.
Деятель 127, 275.
Деятельность 127, 130, 148, 217, 218, 229, 253, 273, 276, 278, 288, 289, 297, 306, 312.
Диалектический материализм 299.
Дифференциация 125.
Добро 112, 121, 134, 263.
Добродетель 100-102, 117.
Доверие 307.
Договор 14, 23, 97, 152, 164, 220, 223, 320, 330.
Договор о пощаде 14.
Договор о свойстве 91.
Договор умолчания 91.
Дока 10, 11, 13.
Долженствование 243, 244.
Достоверность 158, 303.
Достоинство 330.
Древнее знание 62.
Дуализм 208.
Думание 165.
Дурак 289.
Дурь 289.
Дух 16, 23, 41, 73, 108, 172, 246, 285, 310.
Дух Божий 128.
Духи 268, 269.
Душа 3, 7, 15-17, 22, 23, 25-33, 36, 38-45, 64, 69-71, 73, 81, 86, 102, 105, 107, 108, 119, 123, 127, 128, 141, 144, 149, 166, 169, 174, 175, 184, 203, 221, 223, 246, 247, 249-251, 268, 272, 276, 280, 303, 308, 310, 319, 321, 324, 326, 328, 331.
Душевед 275.
Душеведение 7.
Душевная боль 44, 45.
Душевная жизнь 40, 148.
Душевная среда 25, 29.
Душевное тепло 43.
Душевность 24, 43, 44, 81, 300, 326, 328.
Душевные впечатления 42.
Душевные явления 206.
Душевный мир **35, 40**.
Душевный покой 44.
Душевный человек 330.
Дуэль 189, 191, 192.
- Единство 107, 187, 209, 299.
Естественная наука 16.
Естественнонаучность 50, 51, 81, 287.
Естественность 83, 307.
Естествознание 85, 185, 199, 200, 212, 218, 244, 261.
- Ёмкость 280.

- Материк 313.
Материя 172, 204, 249.
Матерная брань 88.
Машина 26, 55, 80, 86, 87, 112, 223.
Медицина 200, 208, 211.
Место 51, 93, 114, 143.
Метафизика 57, 184, 280.
Метод психологии 7.
Механика 84, 204.
Мечта 63, 69, 91, 130, 138, 297, 311, 312, 315, 316.
Мещанин 192.
Мир 7, 15, 16, 24, 27, 29, 31, 37, 39-41, 44, 45, 47, 48, 51, 55, 65, 73, 81, 95, 114, 142, 145, 148, 167, 225, 283, 312, 315, 322.
Мир вещей 35.
Мир души 33, 43, 69, 143, 169.
Мир идей 143.
Мир-общество 24, 68, 284, 320.
Мировидение 23, 47.
Мировоззрение 23, 31, 47, **48, 52, 54, 58, 61, 67, 70, 75, 76, 80, 91, 107, 117, 121, 149, 188.**
Мировоззрение действенное 66.
Мировоззрение естественнонаучное 79.
Мировоззрение защитное 66.
Мировоззрение напоказ 66.
Мировоззрение научное 79.
Мир-природа 24, 283, 284, 320.
Миф 234.
Мифологичность 91.
Мифология 72, 183.
Младенец 42.
Множественность 71.
Мода 16.
Мозг 25, 26, 30, 36, 38, 89, 90, 203, 276, 277.
Молва 146.
Монадология 249.
Монады 156, 246.
Мораль 74, **96**, 103-106, 109, 110.
Моральная философия 261.
Мотив 91, 144, **227, 229, 233, 237, 246, 252, 256, 259, 264**, 275, 278, 279, 282, 283, 285, 307, 308, 310.
Мотивация 227, 228, 230, 245.
Мрак 89.
Мракобесие 289.
Мракобес 112, 146.
Мудрец 10, 188.
Мудрость 13, 61, 62, 128, 134, 207, 218, 250, 289, 326.
Музыка 40.
Мыслитель 289.
Мысль 34, 35, 266.
Мышление 49, 82, 100, 165, 178, 179, 287, 289, 299, 321.
Мышление договоров 152.
Мышление исключительности 49.
Навык 83.
Наказание 123, 308, 314, 316.
Наклонность 281, 282, 307.
Наркомания 16.
Наркотики 38, 209.
Народ 26, 61, 63, 107, 145, 189, 207, 208, 289, 316.
Народная культура 301.
Народники 133.
Наслаждение 112.
Настроение 257.
Натуралисты **198.**
Натурфилософия 182.
Наука 16, 61, 66, 79, 86, 89, 92, 93, 110, 117, 132, 158, 182, 185, 201, 207-209, 213, 218, 289, 302, 308.
Наука о душе 31.
Научная революция 214.
Научное мышление 49.
Научное сообщество 86, 210.
Научность 292.
Начало 123, 135, 147, 156, 164-166, 180, 185, 206, 216, 220, 242, 324.
Небеса 13, 25, 37, 39, 69, 75, 80, 131, 142, 143, 148, 169, 208, 298.
Небо 40.
Недостоверность 303.
Независимость 239, 278.
Неистинность 159.
Нейроны 26.
Ненависть 308.
Неопредмеченные потребности 255.
Непознаваемость 261.
Непредвзятость 293.
Непротиворечие 175.
Нервная система 28, 32, 43, 107, 108, 251.
Несовершенство 128, 129, 143, 251.
Несомненность 158.
Нечистота 129.
Нигилизм 201, 202.
Нигилист 196, 197, 200, 202.
Новорожденный 37.
Норма 97, 152.
Норов 105.
Нрав 74, 95, 100, 104, 114, 121.
Нравственная деятельность 273.
Нравственная личность 119, 313.
Нравственное чувство 119.
Нравственность 74, 88, **96**, 103-111, 114, 117, 119, 120-123, 128, 131, 139, 182, 225, 243, 284, 286, 306, 314, 330.
Нравственный императив 243.
Нус 142.

Указатели

- Облики 72, 325.
Оболочка 29, 41, 43, 66.
Образ 14, 22, 25, 26, 28, 29, 33-39, 43-45, 68, 77, 78, 84, 90, 115, 125, 141-144, 165, 167, 213, 272, 298, 319.
Образ действия 43, 68, 69, 74, 127, 282.
Образ мира 45, 47-51, 63, 74, 76, 79, 312.
Образ себя 45, 68, 74, 325.
Образец 16, 25, 71, 131, 224, 320-322.
Образование 47, **78**, 85, **87**, 90, 92, 186, 213, 214, 216, 217, 325, 327, 328.
Образованность 186.
Образованный человек 82, 86, 87, 90-94, 122, 325, 326.
Образы вещей 68.
Обучение 78, 83, 217, 326.
Общественное мнение 16, 86, 88, 146, 210, 307.
Общество 23, 24, 30, 45, 51, 66, 69, 72, 73, 78, 93, 97, 102, 109, 116, 128, 223, 225, 273, 283, 284, 315, 320.
Объект 297, 299.
Обыватель 16.
Обычай 16, 95, 114, 121, 122, 202, 234, 322.
Определение 19, 21, 56, 83, 229, 300.
Опыт 128, 163, 166, 240, 256.
Орган 125, 276.
Организм 206, 211, 212.
Органы восприятия 35, 41.
Органы чувств 167, 264.
Основа 154, 155, 165, 180, 220.
Основание 165.
Основоположение 179-181.
Осознание 35, 126, 128, 276, 280, 305.
Остроумность 82.
Ответственность 223.
Отдохновение 39, 40.
Открытость 300.
Отношения 74.
Отпечатки 35, 36, 319.
Отражение 59.
Отрицание 202.
Отцы 193, 198, 202, 215.
Офени 62.
Охота 7, 64, 145, 324.
Оценка 284.
Очевидность 24, 158, 161, 167.
Очищение 16.
Ошибка 312.
Ощущения 41, 260.

Память 18, 26, 34, 36, 40, 43, 175, 262, 272, 280.
Пара 25-27, 36, 37, 43, 272.
Партийность 298, 302.
Партия 207.

Педагог 218.
Педагогика 216.
Педология 135.
Первоисточник 143.
Первоначало 187.
Первообраз 135, 142, 143, 156.
Первооснова 142, 156, 166.
Первопричина 156.
Переход 145.
Переходная среда 37.
Питание 319, 322, **324**.
Пифагорейцы 165.
Плотность 39, 40, 43, 142, 266.
Плотный мир 24.
Плоть 28, 29, 43, 44, 50, 55, 141, 319.
Плут 72, 316, 317.
Побудители 245, 282.
Побуждение 232, 235, 237, 240, 245, 248, 251, 252, 257, 265, 269, 278, 281, 282, 285, 307-309.
Поведение 9, 11, 13, 14, 17, 18, **19**, 23, 25, 26, 45, 47, 48, 51, 69, **70**, 77, 78, 87, 90, 96, 97, 102, 106, 108, 121, 123, 131, 137, 149, 180, 181, 188, 239, 242-245, 258, 284, **286**, 306, 315, 320, 321.
Поверхность души 36.
Повод 274.
Подвижность 266.
Подлый люд 208.
Позитивизм 123, 220, 258.
Позитивная философия 183.
Познание 161, 178, 184.
Позывы 239, 248, 276, 308.
Покой 45, 74, 86, 208, 241, 265, 273.
Поле 280.
Полеты 39.
Политика 107, 213, 220.
Польза 111, 112, 197, 211.
Помеха 77, 79, 82, 87, 91, 106, 328-330.
Понимание 35, 37, 52, 82, 161.
Понятия 43-45, 52, 142, 169, 179.
Порыв 64, 237, 245.
Порядок 23, 83, 84.
Поселенная 95.
Поступок 120, 141, 152, 181, 223, 225, 235, 244, 274, 261.
Потребности 14, 21-23, 64, 69, 121, 137, 221, 276, 307, 311.
Правда 316.
Правила 22, 23, 96, 120, 122, 181, 220, 221.
Правила поведения 89, 105, 122, 128, 181, 225, 243.
Право 122.
Прагматизм 112.
Практический разум 239, 243.
Предания 117.

- Предвзятость 298.
Предмет 12, 28, 124, 144, 184, 269.
Предмет психологии 77.
Предопределенность 225.
Предрасположенность 282.
Предрассудки 202.
Представление 55, 60, 63, 67, 141, 143, 234, 235, 250, 251.
Привратник 73.
Привычка 122, 123, 202, 258, 278.
Прикладная наука 5.
Приличия **87**, 120, 326.
Принцип 147, 148, 150, **151**, **154**, **157**, **162**, **167**, **170**, **176**, **186**, **193**, **198**, **204**, **212**, **220**.
Принципиальность 157, 176, 179, 189, 193, 206, 207, 217, 302.
Принципиальный человек 172.
Припоминание 169.
Природа 44, 45, 182, 209, 320.
Пристрастность 298.
Причинность 234-236, 238-244, 248, 256, 261, 262.
Причина 148, 235, 236, 240-242, 261.
Пробуждение 119.
Программы 147.
Прогресс 55, 61, 67, 83, 136, 153, 197, 215, 218, 235, 301.
Прогрессорство 135, 217.
Прогрессор 98.
Продолжительность 266.
Прозрение 85.
Пролетариат 133.
Прообраз 131.
Пропаганда 199.
Просветление 166.
Просвещение 79, 83, 88, 117, 181, 264.
Простец 72.
Простонаучье 67, 82.
Пространство 33, 40, 48, 50, 268.
Противоестественность 307.
Противоречие 175.
Протяженность 266, 280.
Процесс 209, 212.
Прошлые жизни 43.
Психика 17, 67, 85, 107, 125, 144.
Психическая деятельность 124, 288.
Психическая среда 25, 28, 29, **30**, 307.
Психические действия 32.
Психические факты 32, 34.
Психическое зрение 34.
Психоанализ 88, 280.
Психолог 13, 14, 20, 60, 62, 82, 84, 88, 159, 275, 280, 331.
Психологизм 166.
Психология 6, **8**, 23, 30, 60, 148, 184, 205, 220, 233, 257, 267, 287.
Психология академическая 6.
Психология ассоциативная 108, 259.
Психология культурно-историческая 3.
Психология объективная 292.
Психология прикладная **12**, 46, 117, 118, **119**, 126, 221, 226, 274.
Психология сознания 108.
Психология теоретическая **124**.
Психология этическая 234.
Путешествия души 39, 40.
Путь 28, 63, 65, 66, 69, 75, 129, 170.
Развилки-ростани 73.
Разочарованность 190, 255.
Разум 29, 35, 45, 68, 88-95, 123, 141, 142, 158, 160, 161, 163, 165, 168-170, 174, 175, 177, 180, 181, 185, 189, 202, 207, 217, 220, 221, 225, 243, 251, 262, 287, 289, 308, 313, 319-321.
Разум практический 239.
Разум чистый 239.
Разумение 168.
Разумность 94.
Рай 13, 40, 44, 73, 75, 92, 93.
Рассудок 18, 140-142, 179, 180, 183, 217, 241-243, 289.
Рассуждение 102, 155, 156, 158-160, 163, 184, 224.
Расширение сознания 38.
Рационализм 88, 250.
Ребенок 23, 43, 44, 103, 214, 308.
Революция 79, 80, 83, 90, 93, 110, 111, 145, 147, 157, 159, 172, 181, 186, 188, 202, 208.
Религия 80, 86.
Рефлекс 12, 67, 203, 204, 278.
Реформа 186.
Родина 118, 188.
Родовая знать 89, 90.
Родовитость 92.
Родовспоможение души 44.
Рождение 73.
Русский человек 193, 197.
Русский язык 253, 300.
Рядки 65.
Самонаблюдение 279.
Самоопределение 60.
Самоосознавание 280.
Самопогруженность 18.
Самопожертвование 112.
Самопознание 7, 10, 65, 66, 116, 140, 166, 242, 246, 331.
Самопроизвольность 249.
Самосовершенствование 321.
Самосозерцание 241.
Самосохранение 308.

Указатели

- Самоубийство 192.
Свет 43, 44.
Свобода 181, 224, 225, 244, 257, 265.
Свобода воли **223**, 247, 257, 275, 279, 283.
Свободомыслие 157, 186.
Своеволие 224.
Сдержанность 307, 308, 326.
Сердце 66, 231, 268.
Сердце Водмы 66.
Сила 10, 62, 78, 171, 202, 213, 218, 224, 265, 322.
Сила воли 224.
Система 49, 53, 55, 67, 69, 83.
Сказительство 49, 51.
Сказки 51.
Скотская жизнь 15.
Скрытность 307.
Скума 324, 327, 328.
Славянофильство 189, 193.
Слепок 45.
Словарь 19, 54, 58, 60, 96.
Слои 87.
Слух 43.
Смерть 25, 34, 192, 327.
Смысл 320.
Сноразум 39, 45.
Собь 29, 37.
Совершенство 45, 130, 131, 140, 143, 144, 246, 271.
Совершенствование 45, 129, 145.
Совесть 123, 133.
Советская власть 133.
Советский народ 107.
Содержание 25, 33, 77, 141.
Содержание сознания 36, 271, 280, 282, 322.
Созерцание 5-7, 28, 140, 208, 297, 311, 326.
Созерцательность 298.
Сознавание 35-37, 272.
Сознание 25-27, 33, 35-37, 39, 43, 48, 56, 59, 67, 76, 77, 116, 117, 124-127, 133, 138, 149, 175, 178, 241, 252-255, 258, 271, 272, 278, 281-283, 319.
Сознательность 124, 281.
Сон 29, 37-40, 165, 167, 304.
Соображение 308, 309.
Сообщество 65, 73, 82, 88, 156, 212, 213.
Состояние 35, 39, 48, 75.
Состояние сознания 70.
Социализм 133, 136.
Способность 34, 41, 74, 125, 144, 266, 272.
Справедливость 330.
Среда 9, 26, 29, 34, 149, 241, 271, 272, 278, 306, 331.
Старики 62.
Стогно 37.
Страсть 267-269.
Страх 113, 192, 326.
Стремление 65, 109, 131, 132, 145, 282, 308.
Стремнина 64, 65, 69.
Стремянка 47, 65, 69, 76.
Субстанция 155, 166, 184, 246, 265, 296, 297, 299.
Субъект 293-297, 299-301, 304, **306**.
Субъективизм 294, 302.
Субъективность 290, **292**, **293**, **295**, **298**.
Судьба 225, 242.
Суеверие 55, 202, 206, 303.
Сушность 331.
Счастье 13, 102, 103, 108, 111, 112, 116, 255, 265.
Творение 128, 272.
Творчество 144.
Телесность 11, 17, 26, 93, 142.
Телесные впечатления 42.
Телесные потребности 15, 276.
Тело 18, 21, 22, 24, 25, 27, 38, 41-44, 47, 69, 70-72, 81, 86, 93, 116, 127, 141, 249, 250, 268, 276, 277, 310, 319, 324.
Тело общественное 23, 72.
Тело сна 40.
Тело физическое 23.
Тело-личность 24.
Телушка 24.
Тель 22, 23, 29, 39, 44, 72.
Тень 7, 326.
Теория 5, 6, 61, 207.
Террористы 145, 201.
Тетива 65.
Ток жизни 7.
Толчок 276, 282, 305.
Тонкоматериальная среда 25, 26, 251.
Тоска 118, 119, 255.
Точка зрения 152.
Точка осознания 280.
Тропос 115.
Тщеславие 191.
Тьма 89.
Убеждение 122, 151, 154, 207, 209.
Убежденность 152, 173, 241.
Убийство 192.
Угрызения совести 123, 243.
Удовольствие 259, 260.
Узел 37, 225.
Узнавание 310, 326.
Ум 92, 180, 181, 289, 319.
Умность 92.
Умозаключение 178, 179.
Управление 13, 14, 29, 47, 102, 146, 247, 313.
Урок 315, 324.
Условие 149, 274, 315.

- Устремление 130.
Устройство 10, 12, 27, 93, 280, 306, 321.
Устройство человека **13**.
Утилитаризм 111, 112, 197, 211, 256.
Учеба 128.
Учение 78, 275.
Учение о необходимости 257.
Ученичество 83, 322-325, 328.
Ученый 86, 91, 213, 289.
Учитель 219, 323.
- Факт** 34.
Физика 84, 86, 98, 216.
Физиология 200, 203, 211, 216, 288.
Философ 54, 97, 116.
Философия 26, 98, 116, 140, 170, 184, 193, 199, 208, 261.
Форма 323.
- Хандра** 191.
Характер 115, 236, 257, 258.
Химия 15, 16, 204, 209, 212, 216, 261.
Хитрец 72.
Хитрость 128.
Ховряк 72.
Хотение 244, 258.
Хранилище 34.
Христианство 93, 115, 314.
- Целеполагание** 311.
Целеустройство 65, 69, 75, 311.
Цель 46, 63, 65, 66, 91, 118, 131, 144, 147, 148, 158, 217, 228, 232, 234, 258, 270, 282, 286, 312, 316, 317, 327.
Ценностное отношение 74, 75.
Ценность 57, 60, 69, 74, 75, 94, 121, 145, 186, 192, 321.
Церковь 88, 89, 93, 185, 267, 287, 303.
Цивилизация 32, 210, 215, 325.
- Чародей** 13.
Человек 9, 14, 17, 21-24, 55, 68, 70, 73, 74, 124, 139, 144, 165, 181, 225, 243, 244, 273, 285, 289, 314, 321, 328.
Человеческое лицо 327.
Человечность 301, 328.
Чернь 208.
Честь 189, 191, 192, 198.
Чистота 74, 143.
Чувство 27, 34, 40, 109, 149, 165, 173, 232, 233, 235, 242, 269, 311.
Чувствование 235.
Чудо 22.
Чужбина 119.
- Шеллингизм** 193.
Шут 72.
- Щап** 72.
Щедрость 81.
- Эйдос** 26, 141-143.
Экстрасенс 314.
Энциклопедия 19, 57.
Этика 74, 75, **96, 99**, 106, 107, 109, **110**, 114, 117, 119, 123, 126, 128, 188, 202, 220, 286, 314.
Этикет 89, 97, 103, 105.
Этос 114, 116, 322.
- Я** 65, 71, 167, 182, 185, 234, 236, 245, 251, 254, 266, 288, 299, 304, 306.
Явление 120, 209, 242, 279-281.
Ядро 17, 18, 22.
Язык 10, 20, 21, 36, 51, 71, 73, 85, 96, 104, 105, 110, 155, 180, 234, 253.
Языковед **52**, 88, 96.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bain Alexander.* The senses and the intellect. — London, 1855.
- Bentham Jeremy.* An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. — Penguin books, 1987.
- Kant I., AA V:* Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der Urtheilskraft, 1788.
- Locke J.* An Essay Concerning Human Understanding: 6th Edition, 1690.
- Mill J.* Analysis of the phenomena of the human mind. — London, 1869.
- Mill J. S.* Utilitarianism. — Penguin books, 1987.
- Wundt W.* Principles of Physiological Psychology. — 1904.
- Алексеев П.В.* Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М.: Академический проект, 2002.
- Андреев А.* Мир Тропы. Очерки русской этнопсихологии. — СПб.: Тропа Троянова, 2006.
- Андреев А.* Магия и культура в науке управления. — СПб.: Тропа Троянова, 2004.
- Анчел Ева.* Этнос и история. — М.: Мысль, 1988.
- Аристотель.* Большая этика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. — Т. 4. — М.: Мысль, 1984.
- Аристотель.* Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. — Т. 4. — М.: Мысль, 1984.
- Аткинсон Р.Л. и др.* Введение в психологию. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
- Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. — М., 1990.
- Бачинин В.А.* Психология. Энциклопедический словарь. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005.
- Белинский В.Г.* Русская литература в 1843 году // Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. — Т. II. — М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948.
- Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
- Большой толковый психологический словарь. — Т.1 (А-О). Ребер А. — ООО «Издательство АСТ»; Издательство «Вече», 2001.
- Введенский А.И.* Судьбы философии в России // Введенский, Лосев, Радлов, Шпет: Очерки истории русской философии. — Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991.
- Виндельбанд В.* От Канта до Ницше. — М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998.
- Востриков А.* Книга о русской дуэли. — СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Вундт В.* Введение в психологию. — СПб.: Питер, 2002.
- Вундт В.* Душа человека и животных. — СПб., 1866.
- Вундт В.* Очерки психологии. — Московское книгоиздательство, 1912.
- Гегель Г.В.Ф.* Система наук. Феноменология духа. — СПб.: Наука, 1994.
- Гефдинг Г.* Очерки психологии, основанной на опыте. — СПб.-М., 1914.
- Грязнов А.Ф.* Разумный скептицизм в жизни и философии // Юм. Сочинения в 2-х томах. — Т. I. — М.: Мысль, 1996.
- Губин В.Д., Некрасова Е.Н.* Основы этики: Учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.
- Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.* Этика: учебник. — М.: Гардарики, 2006.
- Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. — М.: Цитадель, 1998.
- Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. — М.: Книга, 1991.
- Декарт Р.* Страсти души // Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. — Т. I. — М.: Мысль, 1989.

Список литературы

- Декарт Р.* Правила для руководства ума // Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989.
- Декарт Р.* Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989.
- Декарт Р.* Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989.
- Декарт Р.* Разыскание истины посредством естественного света // Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1989.
- Жюлиа Д.* Философский словарь. — М.: Международные отношения, 2000.
- Иванов Вяч. Вс.* Наука о человеке: Введение в современную антропологию: Курс лекций. — М.: РГГУ, 2004.
- Иванов В.Г.* Этика. — СПб.: ПИТЕР, 2006.
- Ильин Е.П.* Мотивация и мотивы. — СПб.: ПИТЕР, 2000.
- Кавелин К.* Задачи психологии. Соображения о методах и программе психологических исследований. — СПб., 1872.
- Кавелин К.Д.* Задачи психологии // Кавелин К.Д. Полное собрание сочинений. — Т. 3. — СПб., 1899.
- Кавелин К.Д.* Задачи этики // Кавелин К.Д. Полное собрание сочинений. — Т. 3. — СПб., 1899.
- Кавелин К.Д.* Идеалы и принципы // Кавелин К.Д. Полное собрание сочинений. — Т. 3. — СПб., 1899.
- Кавелин К.Д.* Немецкая современная психология // Полное собрание сочинений. — Т. 3. — СПб., 1899.
- Кант И.* Критика практического разума. — СПб.: Наука, 2005.
- Кант И.* Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994.
- Кант И.* Религия в пределах только разума // И. Кант. Трактаты и письма. — М.: Наука, 1980.
- Кант И.* [Об органе души] // И. Кант. Трактаты и письма. — М.: Наука, 1980.
- Кессиди Ф.Х.* Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. — Т. 4. — М.: Мысль, 1984.
- Колесникова А.* Бал в России: XVIII – начало XX. — СПб.: Азбука-классика, 2005.
- Кордуэлл М.* Психология А-Я: Словарь-справочник. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
- Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. — Политиздат, 1988.
- Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя, П. Юдина. — Государственное издательство политический литературы, 1954.
- Краткий философский словарь / Под ред. М. Розенталя, П. Юдина. — Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940.
- Кропоткин П.А.* Этика. — М.: Политлит, 1991.
- Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф.* Философия: dtv-Atlas. — М.: Рыбари, 2002.
- Ладатко Л.В.* Этика и культура управления. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
- Лейбниц Г.В.* Монадология // Лейбниц. Сочинения в 4-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1982.
- Лейбниц Г.В.* Теодицея // Лейбниц. Сочинения в 4-х томах. — Т. 4. — М.: Мысль, 1989.
- Лейбниц Г.В.* Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Лейбниц. Сочинения в 4-х томах. — Т. 2. — М.: Мысль, 1983.
- Леонтьев А.Н.* Лекции по общей психологии. — М.: Смысл, 2000.
- Локк Дж.* Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения в 3-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1985.
- Лопатин Л.М.* Личность и мирозерцание С.С. Корсакова // Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. — М., 1911.

Список литературы

- Маковельский А. Досократики. Доэлеатский и элеатский периоды. — Минск: Харвест, 1999.
- Марченко Н. Быт и нравы пушкинского времени. — СПб.: Азбука-классика, 2005.
- Мельникова Е.А. Образ мира. — М.: Янус-К, 1998.
- Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. — М.: Издание Г.А. Лемана, 1914.
- Мур Дж. Принципы этики. — М.: Прогресс, 1984.
- Нарский И.С. Джон Локк и его теоретическая система // Локк. Сочинения в 3-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1985.
- Немецко-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1971.
- Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: в 2 ч. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
- Новая философская энциклопедия: в 4-х томах. — Т. 2 — М.: Мысль, 2001.
- Новая философская энциклопедия: в 4-х томах. — Т. 3 — М.: Мысль, 2001.
- Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. — М., 1912.
- Общая психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского — М.: ПЕРСЭ, 2005.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: ООО «А ТЕМП», 2006.
- Пестов А.Л. Философия откровения и откровения философии Ф.В.Й. Шеллинга // Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. — Т. 1. — СПб.: Наука, 2000.
- Петербургские трактиры и рестораны. — СПб.: Азбука-классика, 2006.
- Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2002.
- Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
- Политический словарь / Под ред. Б. Эльцина. — Л.: Прибой, 1927.
- Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. — СПб.: Питер, 2003.
- Психологический словарь / Авт.-сост. В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева, Л.М. Балабанова; под общ. ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
- Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1990.
- Радлов Э.Л. Философский словарь. — М., 1913.
- Разин А.В. Этика: учебник для вузов. — М.: Академический Проект, 2006.
- Робинсон Д.Н. Интеллектуальная история психологии. — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. — СПб.: Питер, 2003.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. — М.: Педагогика, 1989.
- Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // Сеченов И.М. Элементы мысли. — СПб.: Питер, 2001.
- Сеченов И.М. Кому и как разрабатывать психологию? // Сеченов И.М. Элементы мысли. — СПб.: Питер, 2001.
- Скоморох И., Соколова Н. Первая Ведогонь. — СПб.: Тропа Троянова, 2005.
- Словарь русского языка / Под ред. Евгеньевой А.П. В 4 томах. — М.: Русский язык, 1985.
- Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. — Минск: Харвест; М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.
- Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 2004.

Список литературы

- Современный словарь иностранных слов. — М.: Русский язык, 1992.
- Спиноза Б.* Этика. — М., 1911.
- Степанов С.* Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Изд-во Эксмо, 2003.
- Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. В 4-х томах. — Т. 1. — М.: ОГИЗ, 1935.
- Тургенев И.С.* Отцы и дети. — М.: Художественная литература, 1976.
- Ушинский К.* Человек как предмет воспитания. — СПб., 1868.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. Т. 1. — М.: «Прогресс», 1986.
- Философский энциклопедический словарь / Ред. Губский Е., Кораблева Г., Лутченко В. — М.: ИНФРА-М, 1997.
- Философский энциклопедический словарь / Под ред. А.Ивина. — М.: Гардарики, 2006.
- Философская энциклопедия. В 5 т. Ред. Константинов. — М.: Советская энциклопедия, 1960–1970.
- Фихте И. Г.* Факты сознания. — Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000.
- Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. — М.: Наука, 1989.
- Чаадаев П.Я.* Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. — Т. 1. — М.: Наука, 1991.
- Чаадаев П.Я.* Эштейну Ф. 15.IV // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. — Т. 2. — М.: Наука, 1991.
- Челпанов Г.* Учебник психологии. — М., 1912.
- Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь. В 2-х т. — М.: Русский язык, 1993.
- Чернышевский Н.Г.* Антропологический принцип в философии. — ОГИЗ, 1948.
- Чудинов А.Н.* Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — СПб.: Изд. Губинского, 1902.
- Шевцов А.А.* Введение в общую культурно-историческую психологию. — СПб.: Тропа Троянова, 2000.
- Шевцов А.А.* Общая культурно-историческая психология. — СПб.: Тропа Троянова, 2007.
- Шевцов А.А.* Введение в самопознание. — СПб.: Тропа Троянова, 2006.
- Шевцов А.А.* Очищение. В 3 томах. — Т. 1. Организм. Психика. Тело. Сознание. — СПб.: Тропа Троянова, 2004.
- Шевцов А.А.* Очищение. В 3 томах. — Т. 2. Душа. — СПб.: Тропа Троянова, 2005.
- Шевцов А.А.* Очищение. В 3 томах. — Т. 3. Русская народная психология. — СПб.: Тропа Троянова, 2006.
- Шевцов А.А.* Самопознание и Субъективная психология. — СПб.: Тропа Троянова; Иваново: Издательское товарищество «Роща Академии», 2003.
- Шевцов А.А.* Учебник самопознания. — Иваново: Издательское товарищество «Роща Академии», 2007.
- Шеллинг Ф.В.Й.* Философия откровения. — Т. 1. — СПб.: Наука, 2000.
- Шпет Г.* От переводчика // Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. — М.: Наука, 2000.
- Эльконин Б.Д.* Психология развития. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
- Юм Д.* Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Сочинения в 2-х томах. — Т. 1. — М.: Мысль, 1996.
- Юркевич П.Д.* Из науки о человеческом духе // Юркевич П.Д. Философские произведения. — М.: Правда, 1990.
- Ярошевский М.Г.* История психологии. — М.: Мысль, 1985.
- Ярошевский М.Г.* Наука о поведении: русский путь. — М.-Воронеж, 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
----------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

НАЧАЛА..... 5

Глава 1. Психология	8
Глава 2. Прикладная психология	11
Глава 3. Строй или устройство человека	13
Глава 4. Внешнее устройство человека	14
Глава 5. Внутреннее устройство	17
Глава 6. Поведение	19
Глава 7. Миры, сквозь которые мы ведем себя	22
Глава 8. Настоящий мир психологии	24
Заключение начал	28

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

УСТРОЙСТВО МИРА ДУШИ 29

Глава 1. Психическая среда Кавелина	30
Глава 2. Особенности психической среды	33
Глава 3. Душевный мир. Впечатления и сознание	35
Глава 4. Душевный мир. Сон и полеты души	37
Глава 5. Душевный мир. Это воплощение	40
Глава 6. Битва за мир	42
Заключение Мира души	45

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

МИР, КОТОРЫЙ ТЫ ИЗБРАЛ.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 47

Глава 1. Мировоззрение	48
Глава 2. Мировоззрение лингвистов	52
Глава 3. Мировоззрение философов	54
Глава 4. Мировоззрение психологов	58
Глава 5. Народное мировоззрение	61
Глава 6. Мое мировоззрение	67
Глава 7. Мировоззрение и поведение	70
Глава 8. Ценности мировоззрения	74
Заключение мировоззрения	76

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.	
ОБРАЗЫ СОЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ	77
Глава 1. Образование	78
Глава 2. Как решать образовательные задачи	81
Глава 3. Приличия образования	87
Глава 4. Прикладная работа с образованием	90
Заключение образования	94
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.	
НРАВСТВЕННОСТЬ	95
Раздел первый. Общие понятия	96
Глава 1. Нравственность, мораль, этика	96
Глава 2. История понятий этика, мораль, нравственность	99
Глава 3. Что же такое нравственность философов?	106
Глава 4. Этика Кавелина. Исходные предпосылки	110
Раздел второй. Этика — психология	114
Глава 1. Кавелин. Задачи этики	117
Глава 2. Кавелин. Прикладная психология	119
Глава 3. Кавелин. Теоретическая психология	124
Глава 4. Кавелин. Идеалы	127
<i>Небольшое понятийное отступление. Идеал</i>	<i>130</i>
Глава 1. Идеал языковедов и марксистов	130
Глава 2. Идеал психологов. Выготский и Рубинштейн	135
Глава 3. Немецкий классический идеал. Кант	139
Глава 5. Идеалы Кавелина.	143
Глава 6. Идеалы и принципы	145
<i>Понятийное отступление. Принципы</i>	<i>150</i>
Глава 1. Принципы языковедов	151
Глава 2. Философские принципы	154
Глава 3. Принципы Декарта	157
Глава 4. Принципы Декарта. Продолжение	162
Глава 5. Принципы Локка	167
Глава 6. Принципы Лейбница	170
Глава 7. Принципы Канта	176
Глава 8. Принципы Фихте и Шеллинга	182
Глава 9. Принципы пушкинских времен	186

Содержание

Глава 10. Принципы отцов	193
Глава 11. Принципы врачей и натуралистов	198
Глава 12. Антропологический принцип Чернышевского	204
Глава 13. Принципы педагогов. Ушинский	212
Глава 7. Принципы Кавелина	220
Раздел третий. Основы прикладной работы	223
Глава 1. Свобода воли	223
<i>Понятийное отступление. Мотив</i>	<i>227</i>
Глава 1. Советско-американские мотивы	229
Глава 2. Континентальные мотивы. Гефдинг и Вундт	233
Глава 3. Континентальные мотивы. Кант	237
Глава 4. Континентальные мотивы. Лейбниц	246
Глава 5. Мотив-движение. Леонтьев	252
Глава 6. Шотландско-британские мотивы. Милль и Бентам	256
Глава 7. Шотландские мотивы. Милль старший	259
Глава 8. Шотландские мотивы. Юм	261
Глава 9. Островные мотивы. Локк	264
Глава 10. Континентальные мотивы. Декарт	267
Глава 2. Кавелин о свободе воли	271
Глава 3. Кавелин о мотивах	275
Глава 4. Как образуются мотивы	279
Заключение нравственности	283
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.	
НРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ	285
Глава 1. Деятельность и поведение	286
Глава 2. Субъективная деятельность	290
<i>Понятийное отступление. Субъективность</i>	<i>292</i>
Глава 1. Субъективность психологов	293
Глава 2. Субъективность марксистов	295
Глава 3. Субъективность марксистов. Продолжение	298
Заключение субъективности	303
Глава 3. Субъект и его деятельность. Кавелин	306
Глава 4. Мотивы и идеалы деятельности	309
Глава 5. Нравственные идеалы	313
Заключение	318

**ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.
ПИТАНИЕ ВОСПИТАНИЯ..... 319**

Глава 1. Воспитание	322
Глава 2. Питание	324
Глава 3. Сила воспитания	325
Глава 4. Учиться, чтобы выжить	327
Заключение воспитания	329

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ИЛИ СРЕДСТВА ПРИКЛАДНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 331**

УКАЗАТЕЛИ:

Именной указатель	333
Предметный указатель	336
Список литературы	344

Серия «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Александр Александрович Шевцов

**ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНУЮ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ**

Художник *Я. Темная*
Компьютерный дизайн *А. Глебов*
Технический редактор *М. А. Матвеева*
Выпускающий редактор *Е. Н. Самойленко*

Сдано в набор 02.05.2007. Подписано в печать 13.06.2007.
Формат 70X100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 20,2.
Тираж 800 экз. Заказ № 2109.

Академия Самопознания:
сайт: www.acasam.ws, эл. почта: editor@acasam.ws
Изд. товарищество «Роша Академии», книги и видеоматериалы АС:
сайт: <http://www.roscha-academii.ru>, эл. почта: it@roscha-academii.ru
«Сорока», учебные семинары АС в сети Интернет:
сайт: www.soroka.ws, эл. почта: soroka@soroka.ws

Издательство «Тропа Троянова»
199406, Санкт-Петербург, а/я 27
E-mail: itt@tropa-trojanova.com
Интернет: www.tropa-trojanova.com

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»
Санкт-Петербург, Промышленная ул, 38/2

ISBN 978-5-89798-055-0



9 785897 980550